

УМБЕРТО ЭКО

ЭКО

Ex Libris



Остров накануне

Эко

Остров накануне

«Остров накануне» (1995) — третий и на сегодня последний роман Умберто Эко, знаменитого итальянского ученого и писателя, автора всемирно известных, увенчанных многими литературными премиями романов «Имя розы» (1980) и «Маятник Фуко» (1988).

В обманчиво простом (в сравнении с предыдущими романами) повествовании о драматической судьбе молодого человека XVII столетия, о его скитаниях в Италии, Франции и Южных морях, внимательный читатель обнаружит и традиционную для Эко бесконечную гирлянду цитат, и новое обращение автора к вопросам, которые никогда не перестанут волновать человечество, — что есть жизнь, что есть смерть, что есть любовь. На русском языке в полном объеме «Остров накануне» публикуется впервые.

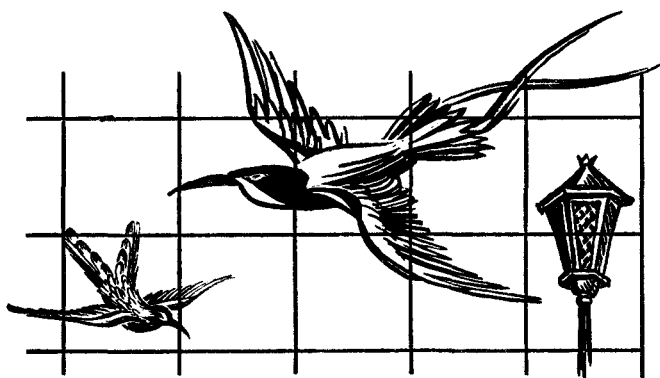
ISBN 5-89091-076-0



9 785890 910769

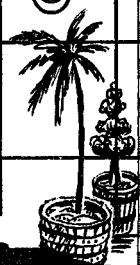
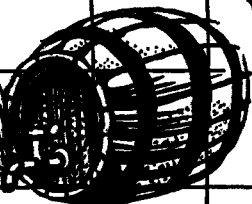
Симпозиум





УМБЕРТО ЭКО

Остров Накануне



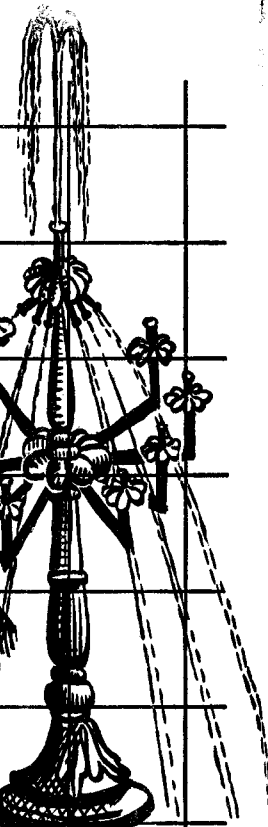
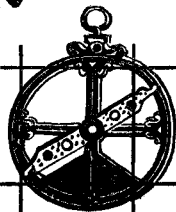
178

177

176



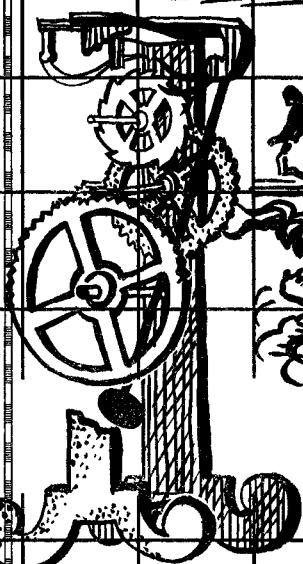
Ex Libris



14



15

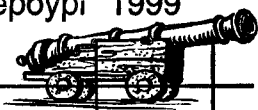


16

* СИМПОЗИУМ *

Санкт-Петербург 1999

17



178

179

180

179

ББК 84.4 Ит
Э40

Umberto Eco
L'ISOLA DEL GIORNO PRIMA

*Перевод с итальянского
и предисловие*

Елены Костюкович

Художник

Михаил Занько

Эксклюзивные права на издание художественных произведений Умберто Эко на русском языке принадлежат издательству "Симпозиум".

Всякое коммерческое использование текста, оформления книги, оформления и названия серии — полностью или частично — возможно исключительно с письменного разрешения Издателя. Нарушения преследуются в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

- © R.C.S Libri S.p.A. — Milan, Bompiani, 1994
- © Издательство "Симпозиум", 1999
- © Е. Костюкович, перевод, 1999
- © Е. Костюкович, предисловие, 1999
- © М. Занько, оформление, 1999
- ® М. Занько, Издательство "Симпозиум":
серия "Ex Libris", промышленный
образец. Патент РФ № 42170

ISBN 5-89091-076-0 (т.3)
ISBN 5-89091-037-X

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Первый (“Имя Розы”, СПб, Симпозиум, 1997) и второй (“Маятник Фуко”, СПб, Симпозиум, 1998) романы Умберто Эко, невзирая на эрудированную насыщенность текста, печатались и в журнальном и в книжном изданиях практически без комментариев: избыток сносок нарушил бы художественный эффект, на что Эко не соглашается.

Это правило остается в силе и в отношении третьего и на настоящий момент последнего его романа “Остров накануне” (1994).

Разумеется, нельзя забывать при чтении, что “Остров накануне” — связка цитат. В ней смонтированы куски научных и художественных произведений авторов в основном XVII века (в первую очередь Джованн Баттиста Марини и Джона Донна, о чем программно заявляется в двух эпиграфах к роману, хотя внутри текста цитаты из Донна и Марини не отмечаются). Используются и Галилей, Кальдерон, Декарт и очень широко — писания кардинала Мазарини; “Селестина” Рохаса; произведения Ларошфуко и мадам де Скюдери; узнаются Спиноза, Боссюэ, Жюль Верн, Александр Дюма, от которого перебежал в текст Эко капитан гвардейцев кардинала Бискара, Роберт Луис Стивенсон, некоторые реплики Джека Лондона (“...тогда же и перестал знать” — знаменитый финал “Мартина Идена”) и другой литературный материал.

Широко используются сюжеты живописных полотен от Вермеера и Веласкеса до Жоржа де ла Тура, Пуссена и, разумеется, Гогена; многие описания в романе воспроизводят знаменитые музейные картины. Анатомические описания созданы на основании гравюр из медицинского атласа Везалия (XVI в.), и поэтому Страна Мертвых названа в романе Везальским островом.

Имена собственные в книге тоже содержат второй и третий планы. Автор намеренно не дает читателю подсказок. Но следует, наверно, предупредить русскоязычного читателя о том, что точно так же как в имени Вильгельма Баскервильского, философа-сыщика из “Имени Розы”, сочетались отсылки к Оккаму и к Конан Дойлу (Хорхе из Бургоса не нуждался в пояснениях: этот образ символизировал Хорхе Луиса Борхеса с выдуманной им Вавилонской библиотекой), так же полны подтекстов имена в романе “Остров накануне”.

Рассмотрим сложный и потаенный лингвистический сюжет: откуда взялось имя главного героя, Роберта де ла Грив Поццо ди Сан Патрицио? Он, выброшенный кораблекрушением в необитаемое место,

безусловно должен напоминать читателю Робинзона Крузо. Робин — уменьшительное от Роберт, и именно Робертом зовут героя нового романа. Но связь этим не ограничивается. Робин по-английски это малиновка, птица семейства дроздовых, *Turdus migratorius*. По-итальянски эта птица называется *tordo*, а на пьемонтском диалекте *griva*, то есть Грив. Таким образом фамилия Роберта имеет тот же смысловой подтекст, что и имя, и это дает ему полное право именоваться Робинзоном.

Но и здесь хитросплетение не кончается. Имя Роберта называется Грив Поццо ди Сан Патрицио. Выражение “Поццо (колодец) Святого Патриция” по-итальянски означает также “бездонная бочка, прорва”. Раблезианская подоплека имени подкрепляет собой и богатырски-былинную фигуру отца героя, и фигуру матери, по-барочному составленную из кулинарных рецептов. Английский же эквивалент того же выражения — *widow's cruse*, т. е. библейский “кувшин вдовицы” или “неистощимый источник”. Так выплывает слово “Крузо”, и таким сложным путем имя Роберта де ла Грив Поццо ди сан Патрицио играет в прятки с именем персонажа Дефо — Робинзона Крузо!

В то же время автору важен и другой игровой момент, связанный с “птичьей” символикой. Немецкое имя “робина”-дрозда — *Drossel*. Каспар Вандердроссель — имя иезуита, второго “живого” героя книги, единственного собеседника героя. Каспар Шотт — так звали реального исторического прототипа героя, иезуита. Ему принадлежит настоящее авторство сложных механизмов, описанных у Эко в романе.

Заметно также, что в этой книге “птичьей” фамилии почти обязательны. Медика-исследователя долгот с “Амариллиды” зовут доктор Берд. Чего еще ждать от произведения, которое, судя по одному из интервью Эко, даже называться первоначально должно было “Голубка Огненного цвета”?

Исторические прототипы героев романа поддаются разгадыванию, но нужно знать подробности их биографий. Отец Иммануил — иезуит Эмануэле Тезауро, автор широко, хотя и скрыто, цитируемого в тексте трактата “Подзорная труба Аристотеля” (1654). “Диньский каноник”, читающий лекции об атомах и цитирующий Эпикура — несомненно, Пьер Гассенди. Обаятельный и гениальный Сирано де Бержерак выведен в романе почти портретно, зовут его в данном случае Сан-Савен. Это потому, что крещальное имя реального прототипа, Сирано де Бержерака (1619–1655), — Савиньен. Кроме того, в этой фигуре немало и от Фонтенеля. В любом случае, Эко цитирует сочинения Бержерака и при создании монологов и при написании писем к Прекрасной Даме, умело вставляя в текст фразы вымышленного Сирано из пьесы Ростана, сочиняющего письма к Роксане.

Богато содержательны не только имена героев, но и имена неодушевленных предметов. “Дафна” и “Амариллида” (так называются два корабля в романе) — названия двух лучших мелодий флейтиста XVII века Якоба ван Эйка (вспомним, что оба корабля — флиботы,

flûte, “флейты”). Немаловажно помнить, что флейта — именно тот музыкальный инструмент, на котором почти профессионально играет сам автор, Эко. Вдобавок дафния и амариллис — названия цветов. Цветок *Amaryllis* принадлежит к семейству *Liliales* класс *Liliopsida* подкласс *Lillidae*, а Прекрасная Дама романа носит имя Лилея... Раз начав плести подобные цепочки, трудно остановиться: потому-то автор и сам ничего не комментирует, и от издателей и переводчиков ожидает того же.

Пожалуй, единственной изначально непреодолимой лингвистической преградой явилось то обстоятельство, что по-итальянски остров, *isola*, так же как и корабль, *nave*, женского рода. Роберт по-мужски обладает своей плавучей крепостью — *nave* — и вождедает встречи и объятья со своей обетованной землей, идентифицируя ее с недостижимой любовницей (будем помнить, что по-французски “остров” выговаривается как “лиль”, близко к “*lilia*”). На сюжетном уровне это передано, но на словесном — непередаваемо.

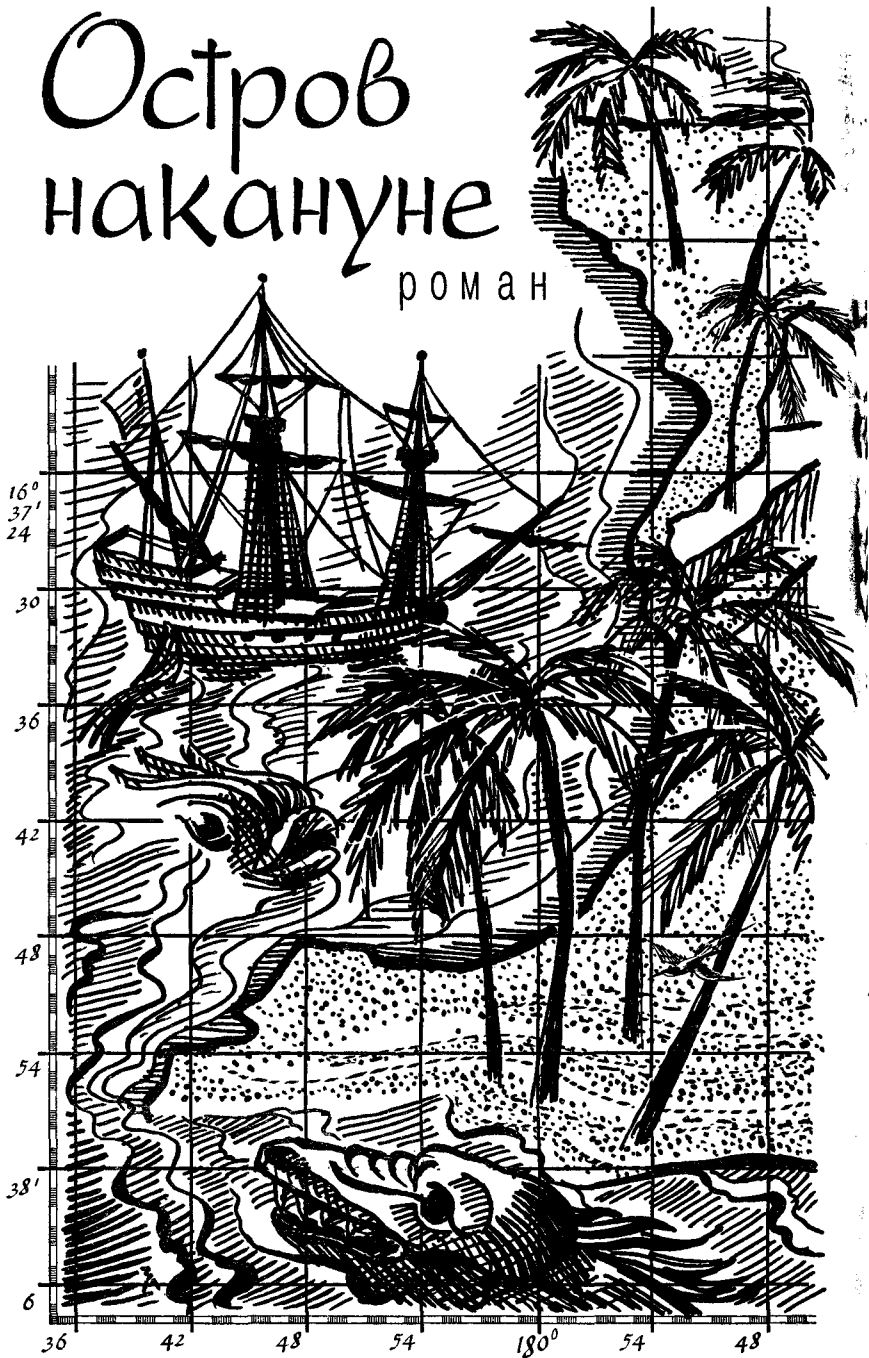
И последнее. Названия глав этого романа (что мало кто замечает) являют собой каталог тайной библиотеки. Все 38 заголовков, кроме двух оригинальных (“Пламяцветная голубица” и “Колофон”, невзирая на то, что в большинстве случаев звучат вполне по-итальянски, могут при размышлении быть возведены к названиям реально существующих литературных и — еще в большей степени — научных произведений, созданных в период барокко в разных странах мира. Многие эти словосочетания “на слуху” у европейца, но не у русского читателя. Поэтому этот единственный аспект (и именно в силу его структурообразующей функции) переводчик позволяет себе откомментировать в сносках, сообщая также название соответствующего произведения на языке оригинала.

Кроме того, по норме русскоязычной издательской традиции даются подстраничные переводы иноязычных вкраплений, за исключением самых простых и очевидных, и за исключением тех, которые незаметно переведены внутри текста. Мы старались как можно меньше нарушать эстетику издания, предпочитаемую автором (полное отсутствие сносок).

Чтобы ярче осветить приоритетные принципы перевода, формулируемые самим Умберто Эко (с которыми его русский переводчик отнюдь не всегда солидаризируется), мы публикуем в конце тома в Приложении инструкции автора для переводчиков “Острова накануне” (по тексту У. Эко, напечатанному в журнале “Эуропо” 12 октября 1994 г.).

Остров накануне

роман





Is the Pacific Sea my Home?

John Donne, "Hymne to God my God"

Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?

Racconto il dolor mio

a l'insensata riva

a la mutola selce, al sordo vento...

Ahi, ch'altro non risponde

che il mormorar de l'onde!

Giovan Battista Marino, "Eco", La Lira, XIX



Что, Тихий Океан — мой дом?

Джон Донн "Гимн Господу моему Богу"

Глупец! К кому реку? Бедняк! Что порываюсь?

С печалью обращаюсь

К бесчувственному берегу,

Немому камню и глухому ветру.

Увы! много мне ответа,

Чем говор волн, и нету!

Джован Баттиста Марино, "Эхо", сборник "Лири", XIX

1. ДАФНА¹



Дщеславлюсь униженностью, и будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль”.

Роберт де Ла Грив пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле — августе 1643 года.

Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтоб не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтоб не попадала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке? Письма не сообщают сколько, и подводят к представлению о вечности; однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба (как пышно выражается сам), он, такой некрепкий, он, ночное животное из-за природного порока.

Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы “Амариллиды”, и плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на

¹ Мелодия “Daphne” создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком Младшим (1590–1657), ему же принадлежит мелодия “Amaryllis”, что соответствует имени другого корабля у Эко (в тексте корабль назван по-итальянски “Amarilli”). См. примечания к названиям глав 7 и 32. (Здесь и далее примеч. перев.)

очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива.

Была ночь, он дремал и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез “Дафны”.

И вдруг при полной луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака, рядом с якорной цепью, свисает шторм-трап (Лествицей Иакова назвал бы его фатер Каспар!), и сразу обрел присутствие духа. Видимо, сила отчаяния: он сопоставил, больше ли истратит силы на крик (но глотка была вся сухой пламень) или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт не четок в описании, но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, по тому трапу худо-бедно взлез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, ополз по сваленному такелажу, отыскал дверь полубака... Бессознательной побуждкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепочке. Пил сколько мог вместить и рухнул насытившийся, во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что она давала и попить и поесть. Проспал он не менее суток, следует думать; ибо когда он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь.

Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто-нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутри с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом.

С полубака было два хода: к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем, аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных портов и надстройку полуюта. На шевеления Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно одной мили абрис Острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете

худосочных сумерек, но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент.

Он перешел к противоположному борту. Там открывались — на этот раз далеко, почти на линии окоема — отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее вода, все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтоб он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься меж двумя массивами земли.

Неплохая ситуация для потерпевшего: опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю. Так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот: пустоты моря, пустоты видимого с моря Острова и пустоты корабля. Эй на борту, прокричал он на известных ему языках. Крик вышел очень слабым. Молчание. Как перемерли. Редко когда он выражался — при падкости на сравнения — до такой степени буквально. Или почти буквально... Именно об этом “почти” я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать.

Вообще-то, я уже начал. Человек в измождении в волнах океана; смилостивившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбуз и увидел лампу и огниво, было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы еды: вяленая рыба и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскреести ножом. Рыба была очень соленая, но пресной воды вдовостаток.

Должно быть, он быстро восстановил силы, или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя, настолько высокопарно он живописует роскошества этого первого пира: николи Олимповы боги не вкушаше подобного яства,

о сладкая амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь... Все это писал Роберт владычице своей души:

“Солнце тени моей и свет среди моей ночи,

для чего небеса не истребили меня той самою бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прозорливого моря восхитили бренное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злоключивом, неизбывно сокрушаться судилось моей душе?

Быть может, если только умилившись небеса не готовят мне помощь, вы не получите строки, кои сице начертая, и снедаемый, факелу подобно, светом этих морей, затемнюсь я перед вашими очами, уподобившись Селене, коя, чрезмерно, увы! наслаждавшись сиянием своего Солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты, и не споспешествуемая лучами Повелителя своего — Светила, сначала утончается наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем, дотлевающий светоч, расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем вами, бессловесен, ибо вы ко мне не речете, беспамятен, ибо в вашей памяти не имею места.

Я всего только жив! Пылающая тусклота и сумеречное пламя, тащусь, как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несвязных противопоставлений, старается переслать мысли вашей. Спасая естество на деревянном утесе, на пловучем оплоте, заложник моря, от моря меня обороняющего, покаранный милосердыми небесами, в сокровенном саркофаге, отверзтом всяческому солнцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть вас хотя бы однажды.

Госпожа, пишу вам поднося, недостойный подарок! безуханную розу моей тоски. Но тщеславлюсь униженностью, и будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль”.

Как верить глазам? Судя по дате этой первой бумаги, Роберт сел писать сразу вылезши из воды, и обзавелся писчими припасами в каюте капитана еще до того как осмотрел корабль, куда попал. Но ушло ведь хоть какое-то время у него на поправку сил, он же был как раненое животное? Вероятнее, перед нами маленькая любовная хитрость. В реальности сперва он разведаль, куда его занесло, а потом, пища, датировал задним числом.

Но зачем? Ведь он знает, полагает, страшится, что письма не дойдут, и пишет для саморастравы (растравной отрады, как выразился бы он, но не поддадимся стилю!). Нелегкое занятие — реконструировать действия и чувства героя, безусловно пышущего настоящей страстью, но неясно, выражающего ли то, что чувствует, или то, что в его времена требовалось чувствовать согласно правилам... Хотя что знаем мы о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и которая из них первична?

Значит, писал он для себя, и это не литература, а времяпрепровождение подростка, мечтающего о недостижимом, страница испещряется слезами, не по той причине, что Она далека, Она составляла собою только образ даже и когда была близко, — а из сострадания к самому себе, влюбленному в любовь...

Вообще-то роман слепить из этого можно, но откуда же, откуда приступать?

Я думаю, что первое письмо он все же сочинил впоследствии, а сперва попробовал понять, где очутился, и это будет рассказано в следующих посланиях. И опять: как понимать дневник, где тшцатся наделить наглядностью, при помощи пронизательных метафор, нечто осмотренное слабыми глазами в ночное время суток?

По свидетельству Роберта, глаза у него страдали с тех пор, как пуля оцарапала висок в Казале. Допустим; хотя почти вслед за тем он пишет, что подслеповатость развилась из-за чумы. Роберт неоспоримо был деликатного здоровья, и, как я могу судить, вдобавок ипохондрик. Половину его светобоязни мы отнесем за счет черной желчи, а вторую половину спишем на какое-то застарелое раздражение, возможно обострившееся от препаратов господина Д'Игби.

Похоже, что все плавание “Амариллиды” Роберт просидел под палубой, отчасти бережась от света, отчасти прикидываясь, чтобы лучше приглядывать за происходившим на нижних ярусах. Многие месяцы были проведены в полной темноте или при свете лампадки — а затем три дня на деревянной руине под слепящим заревом не то экваториального, не то тропического солнца. Когда его принесло на “Дафну”, то по болезни или после пережитого, но света он выдерживать не мог. Первую ночь он провел на кухне, оклемался и отправился смотреть корабль второю ночью, а потом уж так и складывается, как завелось. День его пугает, и не только глаза не терпят света, но саднит обожженная спина. Он отсиживается в логове. Луна, по его описаниям обворожительная, дарует свежесть ночами, а днем горний свод таков же, как и в других местах. Ночью он разгадывает новые созвездия (именно их он называет героическими гербами и таинственными эмблемами природных тайн). Будто на театральном спектакле, он убеждает себя, что именно таковы будут законы его жизни на долгое время, а может быть, навсегда, и воссоздает Госпожу на бумаге, дабы не утратить ее, но сознавая, что не многое потерял, потому что не много ему принадлежало.

Поэтому он ухоранивается в ночные бодрствования, как в материно лоно, и вдвойне неколебим в намерении не видеть солнца. Может, он подражает венгерским оборотням, или тем из Ливонии либо из Валахии, которые ширяют, неугомонные, от заката до восхода, а по петушином крике укладываются в гроба.

Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после высадки. Он накричался сколько нужно, и мог полагать, что на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть трупы, обнаружить то, из-за чего, собственно, на борту не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительностью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано описывается корабль, его части, судовый набор. Многое на вид ему знакомо и наименование он слышал от матросов; многое другое он не умеет назвать и лишь описывает внешнюю наглядность. Но даже в отношении знакомых ему

отделов судна, видно сразу, что команда на “Амариллиде” подбиралась из отребья семи морей, потому что название одних частей ему, видно, перепало от француза, других от голландца, третьи он величает по-английски. Он употребляет термин “staffe” (по-итальянски “зажимы”), имея в виду балестрилью, то есть параллактические линейки; чувствуется влияние объяснения доктора Берда, от английского “staff angle”. Читающему кажется странным, что Роберт оказывается то на полуяоте, то на верхней палубе, то на квартал-деке, то на шканцах, пока он не догадывается, что все это названия одного и того же места. Роберт пишет вместо “люки” “пушечные порты”, но это я ему готов простить охотно, потому что так было в морских приключениях, которые я читал мальчишкой; мы находим у него парус-попугайчик, *parrocchetto*, в моих отроческих книжках так назывался фор-брамсель, то есть верхний парус передней мачты, фока, но не будем упускать из виду, что у французов *reguche* — это крюйс-брамсель и принадлежит он бизань-мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда называет *artimone*, подражая французам, но периодически пишет *mizzana*, видимо, искажая итальянское слово *mezzana* и не учитывая, что для французов *misaine* — это фок-мачта (но, прошу внимания, отнюдь не для англичан, которые называют *mizzen-mast* мачту, самую близкую к корме). Роберт пишет на деревенский манер *gronda* (“сточная труба”), имея в виду шпигат, который в морском языке того времени обычно звучит как *ombrinale*. В общем, я намерен разобраться в нагромождении и изложить его привычными нам терминами. Даже если в чем-то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком пострадает.

Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у кока, Роберт наконец отважился при свете луны выступить на полубак.

По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с “Амариллидой” и пришел к выводу, что “Дафна” тоже относилась к типу голландских “флейт”

(fluyt, flüte, или fluste), то есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек, просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой, и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства (и без того скудные), навешивая койки так, чтобы в кубрике было невпроступ, — и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников. “Дафна” — флибот, но крупнее “Амариллиды”, и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутительном взбрызге пучин.

В любом случае то, что “Дафна” являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шляпка, на экипаж в полном составе; она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде, даже на якоре с подобранными парусами в тихом заливе.

В тот первый вечер он направился напрямиком к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, словно спрашивая у кого-то позволения... Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают-компанией: зал L-образной формы, а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На “Амариллиде” командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь на “Дафне”, похоже, старались сэкономить пространство и выгородить место для чего-то еще. И точно, притом что налево из кают-компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер.

Стол был завален картами, Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании.

Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная нотгурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света; небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что-то подобное (но не такой тонкой работы) имелось на “Амариллиде”, и назывались эти таблицы Региомантовыми картами циклов Луны.

Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел Остров и смог — как выражается сам Роберт — рысьим оком проникать его немоту. Попросту говоря, Остров открывался где был и раньше, на своем прежнем месте.

На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже, не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя выходное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе; обул сапоги и вроде снова вступил в родную среду. Лишь теперь, благородным дворянином, в должном обмундировании, а не измочаленным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль, и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахнутом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и с чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля; все остальное — непроходимая чаша *anker, passer, sterre-kyker, goer*; не много радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых писем бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по-латыни: *pestis, quae dicitur bubonica*.

Ну вот он, след, вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта: он переболел чумой за тринадцать лет до того, а как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством; змей заразы не решается атаковать вторично чресла того, кто единожды возобладал над ним.

Тем не менее этот след не столь уж многое открывал. Скорее он открывал простор для нового беспокойства. Предположим, что умерли все. Но тогда где же, в беспорядке наваленные на верхнем деке, трупы последних, тех кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей?

Отсутствовала шлюпка. Остатки команды, или вся команда, покинули корабль. Что их выжило с зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может?

Роберту показалось: промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово *rottenest* (гнездо пасюков, канавных крыс?), и он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую у подножья стены нечисть, чтоб не сробеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда-то на "Амариллиде". Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погань щекотнула по его лицу в полудреме, и как на вопль примчался доктор Берд. Потом над Робертом потешались все, что-де на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться несколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям.

Однако крыс, по крайней мере здесь на полуюте, не было заметно. Может, отсиживаются в трюме, красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса. Роберт произнес про себя: если все дело в крысах, следует выяснять и понять обстановку. С крысами нормальными, и в нормальном количестве, можно как-то сосуществовать. Впрочем, каким еще им быть, этим крысам? спросил себя Роберт, и отвечать ему не захотелось.

Роберт отыскал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну; ружье было типа калибер — так звали его англичане — и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка; вряд ли он собирался разгонять пулями крысы рати. И даже зачем-то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен.

Он собрался исследовать судно от юта до бака. Пройдя через камбуз, по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в провиантскую. Там были

складированы припасы — вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса, экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы. Кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие-то клубни не встречавшейся формы, но съедобного вида, безусловно годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту “Амариллиды” после первых заходов на тропические острова, эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал сокровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого-то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, попахивавшая гнилью, из нее были спечены уложенные рядом с мешками муки хлеба; эти хлеба напоминали те безвкусные шишки — картофель, — которые шли в пищу у индейцев Нового Света.

У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран, потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтоб сохраняться про запас. Воды было немного, но имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее, и это всегда случается у меланхоликов, для них любой знак судьбы — провозвестие злокачественных чудес.

Быть выброшену на опустошенный корабль уж само по себе довольно странное дело, но уж хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень; это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания; но найти перед собой посудину в таком глазоутешном виде, прямо приготовленную для дорогого долгожданного гостя, прямо похожую на настоящее подношение, вот что действительно начинало отдавать серой, и посильнее чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изыс-

канного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые к пиршеству столы... Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу, среди испарений серы, поджидает то исчадие ада, которое и подстроило ловушку.

Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары рассказали, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься врассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота.

Убедиться, что нет заклятья! Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладко, что ощущение коварства только усугубилось в нем. Вот, прошептал он себе, я уже во власти очарованья, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, пресуществляю их сущность, вот-вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогтятся, тело опухнет кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона.

Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого-то спящего на корабле. Из-за переборки послышалось, правда, не мышье попискивание, а чириканье, щебетанье, кто-то скребся коготками. Значит, чара существовала, ночные исчадия собирались на шабаш в каком-то закуте.

Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедля атаковать этот их Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость, и убеждал себя, что не эту ночь так будущей, но придется ему столкнуться с Ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Взбежал на палубу

по трапу и, к счастью, языки зари уже слизывали белесый воск с металла орудий, изласканных бликами луны. Занимается день, сказал он себе с облегчением, а от дня я обязан убежать.

Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтоб не видеть солнца — палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней.

Разбудораженный, он видел во сне крушение судна, сон соответствовал регламенту барокко, по которому даже в грезах, даже в первую очередь в них, пропорции обязаны украшать концепт, преувеличения — оживлять, таинственные сближения — придавать рассказу содержательность, размышления — глубину, эмфазы — возвышенность, аллюзии — загадочность, а каламбуры — тонкость.

Я полагаю, что в те времена и в таких морях больше кораблей тонуло, нежели возвращалось в порт; но кому выпадало сокрушаться впервые, этот опыт, надо думать, давал последствия в виде повторяющихся кошмаров, а привычка к изящному оформлению доводила эти кошмары до живописности Страшного Суда.

С вечера воздух занедужел, простуда дулась, как небесный глаз, набухающий слезами, бессильный выносить отлив широководной глади. Кисть природы ступевала линию закроя и глазоему блазнились туманные далекие веси.

У Роберта мутило в кишках, пророчество неминуемой морской смуты, он распростирался на ложе, баюкаемый пестуньей циклопов, задремывал среди тревожных снов, в которых грезил, будто видит сон о снах, коими чревата изумляющая космопея, о снах, которые пересказываются тут. И пробужден был вакханальей громов, стенаньем корабельщиков, струи захлестывали койку, на бегу всунулся доктор Берд и прокричал идти на шканцы и крепко держаться за что угодно, лишь бы оно держалось тверже его.

На верхней палубе смятение и вопли, безысходность, и люди будто Божией десницей воздеты в воздух и швырну-

ты в море. Некоторое время Роберт цепляется за исподний парус бизани (так, во всяком случае, я истолковал его рассказ), покуда мачта не валится, испепеленная громами, и рей не выгибается, подражая кривой орбите звезд, а Роберта не дошвыривает до основания грот-мачты. Там добросердечный матрос, приторочивший себя к комлю мачты, не имея места присоседить Роберта, бросает ему конец и кричит, чтоб привязался к двери, сорвавшейся с полубака и донесенной до них водою, и к счастью Роберта, дверь с ним на месте захребетника отскальзывает к планширю, потому что в это время грот-мачта перешибается пополам и разносит на две полы череп доброхотного помощника.

Через пробоину в борту Роберт видит, или ему мстится, будто видит, хоровод теней и молний, в волнистом луге, в прозорах света, но тут, я думаю, он просто не может удержаться от красивых цитат. Трещат райны, мачты гнутся, от натуги снасти рвутся. Слово за слово, а тем временем "Амариллида" перекашивается в сторону беженца, готового бежать, и Роберт на своей доске, как ветер растворил глубокие пещеры, соскальзывает в них. Рухая, он наблюдает над собою седого Океана, который грозные валы до облак простирает, и в мореке зениц подъять падших пирамид, и водянистую комету, которая блудит лихой орбитой в водовороте мокрых неб и в пучине след ее горит, пока везде громады воют и груды брызг скрывают свет. Где гром и молния, там ярость возвещает разгневанный тайфун и море возмущает. И в безднах корабли скрывает, бурный, крут; где сошло небо с понтом и сечется с горизонтом, брега богов зовут на брань, когда в морях шумит волнение и рев. Роберт упоминает и пенных Альп кипучие наклоны, среди которых буруны как почталыоны, и Цереру цветоносную в блистании сапфиров, и скаканье и разлет рассыпанных опалов, как будто теллурическая дочь Прозерпина захватила главенство, взбунтовав против плодородящей матери.

В окружении разной дикой твари, рыкающей вокруг него бессчетно, пока кипят серебряны подливы среди хлопотливейших забот, в один прекрасный момент Роберт прекращает зрительствовать на спектакле и, превращаясь в действующее лицо, теряет чувства и ввиду обморока не знает больше

ничего. Только впоследствии он предположит, созерцая свой сон, что доска, по благососрадательному распоряжению, или по автоматизму пловучего материала, сама сплясала ту же джигу, то припадая, то подскакивая, и утихомирилась в протяжной сарабанде, поскольку ярь стихий смешала порядок плясок на балу, и все более дальними околичностями отдалила Роберта от пупа карусели, куда все же была всосана, двусмысленный волчок в руках сынов Эола, незадачливая “Амариллида”, задрав кормило к небесам. А с нею и последние живые души в ее утробе: еврей, кому удел найти в Небесном Иерусалиме тот Иерусалим земной, которого он так и не обрящет; мальтийский рыцарь, навсегда отрешенный от острова Эскондида, доктор Берд со споспешниками и, наконец избавленный добровольительной натурой от медицинского ухода, тот несчастный бесконечно израненный пес, о котором, кстати, я еще не имел возможности здесь рассказать, поскольку Роберт его описывает несколькими письмами позже.

В общем, предполагаю, что из-за бреда и из-за бури сон Роберта оказался до того неровным, что свелся к кратчайшему времени, которому сулилось заменить воинственным взбодрением. И действительно он, смирившись с мыслью, что снаружи, предположительно, день, и утешенный соображением, что мало света проникается внутрь через мутные иллюминаторы юта, и надеясь, что существует достаточно тенистый трап, ведущий с верхней на нижние палубы, приосанился, обвесился оружием и выступил в бестрепетной безнадежности на разведывание причины недавнего ночного перепуга.

Вернее, не выступил. Мне очень неловко, но виноват Роберт, который в письмах Владычице утверждает разное, то есть не передает достоверный порядок того, что происходило с ним, а старается сделать из письма новеллу, вернее первобытный вариант не то письма, не то новеллы, и ставит в ряд сюжетные ходы, не зная, который выбрать, расставляет шахматы, не решив, какой ход совершить.

Сначала он пишет, что спустился в недра “Дафны”. Почти вслед за этим мы читаем, что он был разбужен утрен-

ним брезгом и отдаленным концертом. Звуки доносились, неусомнительно, с Острова. Роберт вообразил ораву туземных жителей, которые выплывают на каноэ и осаждают корабль, и ухватил мушкет. Звуки, правда, не походили на боевые кличи.

Была заря, солнце еще не било по стеклам; Роберт вынудил себя пройти на галерею, внюхался в море, сдвинул ставню и полуприкрытыми глазами попробовал разглядеть берег Острова.

На "Амариллиде" Роберт, никогда не хаживавший на мостик, слыхивал, как другие пассажиры рассказывали про огнезарные рассветы, как солнце нетерпеливо закидывает стрелами мир. А тут он бесслезным оком принимал пастельный пейзаж, пузыри тяжелых туч, легонько окаймленных перламутром, и нежный полуотлив, полуоттенок розы, лившийся из-за островного края, будто нарисованного кобальтовой акварелью на шероховатой бумаге.

Но этой почти северной палитрой живописалось перед ним довольно, чтоб уяснить, что силуэт, выглядевший ночью скалою, представлял собой лесистый холм, крутым откосом нависавший над песчаной полосой прибоа, где пальмы оттеняли белый пляж.

Постепенно песок отсверкивал все сильнее, и на его краю зашевелилось что-то вроде крупных окостенелых пауков, перебивавших черствыми конечностями по воде. Роберт на расстоянии догадался, что это перекаати-водоросли, но яркость солнца нарастала и ему пришлось оставить обзор.

Он подумал, что когда отказывают глаза, слух должен выручать, и доверился своему слуху, почти полностью завесил иллюминатор и притиснулся ухом к щели, воспринимая шумы, поступающие с Острова.

Хотя ему и помнились восходы солнца среди родных холмов, он понял, что впервые в жизни слышит такое птичье пение; в любом случае столько песен одновременно, и до того разнообразных, он не слыхивал никогда.

Тысячами они здравствовали солнце, и ему показалось, что узнает среди голосов и вопли попугаев, и щелканье соловья, и кантилену дрозда, и крик жаворонка, и несметные

чириканы разных ласточек, и вдобавок жесткое скрипенье цикады и сверчка, и он гадал, взаправду ли слышит этих животных, или их антиподных двоюродных родственников... До Острова было недалеко, но ему мерещилось, что эта музыка привееяла к кораблю на своих крыльях дурман померанцевых цветов, аромат базилика, как если бы воздух над всею бухтой налился благоуханием... С другой стороны, рассказывал же ему господин Д'Игби, что в путешествиях он узнавал о близости земли по душистым атомам, заносимым на борт ветрами.

Но, чем больше он внюхивался и слушал невидимое многоголосие, будто с башенного зубца или через амбразуру бастиона наблюдал за формированием армейского полукруга в ложбине под горой, и за дальними подступами, и за водной преградой под стеной крепости, он все сильнее ощущал, что уже видел то, что воображает вслушиваясь, и пред лицом безмерности, обложившей его, снова чувствовал себя в осаде, и рука инстинктивно тянулась зарядить мушкет. Он был в Казале. Перед ним разворачивался фронт испанской армии, со скрежетаньем повозок, с клацаньем оружия, слышались теноры кастильцев, гоготня неаполитанцев, грубое бурчание ландскнехтов, а на их фоне какое-то острое рыдание трубы, долетавшее приглушенно, как через вату, и тупые бухания аркебузы, вроде хлопущек на деревенском празднике.

Похоже, что жизнь вся протекла между двумя осадами, и одна явилась зеркалом другой, с тем исключительным различием, что ныне, при замыкании десятилетнего круга, водная преграда была уж чересчур надежной и чересчур окружной, так чтобы сделать невозможной любую вылазку; и Роберт снова окунулся в атмосферу Казале.

2. О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В МОНФЕРАТО¹



Ошестнадцати годах жизни до Монферрато, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает только если, по его понятиям, оно имеет отношение к “Дафне”, так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь: будем разбираться в полунамеках.

Семья Поццо ди Сан-Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Грив на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а следовательно, была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрато. Глава семьи, говоривший по-французски с женой, по-монферратски с людьми и по-итальянски с посторонними, к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажной колке или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоня голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж

¹ Французская историческая хроника “Histoire Journalière de ce qui s’est passé dans le Montferrat” (первая половина XVII в.).

замок, могла оказаться сокровищницей. Брожению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в южной башне.

Так что можно сказать, что он не был полным невеждой, и даже учился у учителя, правда, нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и по слухам (рассказывала, крестясь, мать Роберта) перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал три месяца в замке. Что он преподавал ученику, неясно, но приехавши в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно, и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал.

Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поццо когда-то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины, или попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поццо поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась.

Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба, и это гораздо целебнее снадобья, которое христианские лекари-спагирики называют *unguentum armarium*. Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на лезо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа, между самыми сильными силами коей существует всемирная симпатия, правящая на далеке. И добавил, что кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное как камень, тянущий к себе стружки металлов, или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвейная мазь, плотно приставая к лезу, оттягивает те достоинства металла, которые лезо оставило в ране и от которых рана не заживает.

Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменилась из-за этого его интереса к притягательной способности мазей и порошков.

Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема, она проходит постоянным мотивом, который неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его — хотя и сдержанно-грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, — время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые пять Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: “Ты наш первенец! Перворожденный!” Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что подрастая, Роберт начал припоминать (или убеждать себя, будто припоминает), что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации и что по сути это было противительное высказывание со смыслом: “Ты! Ты, а не кто иной! наш перворожденный и полноправный отпрыск”.

Не кто иной или не некий Иной? В письмах Роберта фигура Иного появляется постоянно, он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе (известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, воспитывается с крестьянскими недорослями и питает свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита), вообразил существование непризнанного брата, вероятно дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом — по отцу или по матери (и так и этак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения). В любом случае брат существовал, и по какой-то, возможно даже сверхъестественной, вине он был отринут и отвергнут, и разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме.

Призрак этого противного брата (с которым тем не менее он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться) тревожил его в детстве ночами, а постарше, подростком, он перелистывал в библиотеке старинные томы, ища запрятанного портрета ли, церковной ли записи, какого-то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванные новорожденным, но неясно — годы или столетия назад.

Как-то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя, Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки со сворки. Феррант, полномочием своего небытия, действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порок приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался.

Не то чтобы Роберт лгал людям; принимая бессловесно, с комом в горле, наказание за собственные проступки, он убеждал себя в невинности и что он жертва злоупотребления.

Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от мастера, а по существу в отместку за какую-то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лихоедеяство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, от чего он решил спастись бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдания свершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант.

Однако отец, увидев убыток, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что во избежание неукротимого его гнева, провинившемуся предлагается сознаться. Роберт

ощутил порыв жалости и великодушия: если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из-за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках матери с отцом... Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого-либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, отвечал на это, что хотя вина и была тяжчайшей и кара неотвратима, но все же невозможно не оценить, как юный синьор де ла Грив с честью следует семейному заводу, и значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока что ему только восемь лет. Затем подвел итоги: Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан-Сальваторе. Хотя приговор и не сильно радовал (в имении Сан-Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера), все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры.

На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск не лжив; с неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает несуровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец несомненно почувствовали, что виновник — это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха.

Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы; но присутствие отсутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте — по крайней мере в Роберте того сложнейшего, путаного периода, когда мы наблюдаем его на “Дафне” — отзывается полудетская игра самого с собой.

Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела.

В имение Грив новости доходили не слишком-то спешно, но за последние два года как-то узналось, что открытый вопрос мантуанского наследства принес немало огорчений герцогству Монферрато, и что-то вроде полуосады уже происходило там. Коротко говоря — историю эту рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я, — в декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Мантуанский, и у одра этого шлопуата, не умевшего делать детей, разыгрался балет четырех претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен-Шармон, он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии, Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий, между охами и вздохами, женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице область.

Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя среди прочего Монферратский маркизат; столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими (то есть испанскими) владениями и землями Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщение между Миланом и Генуей, и вообще представлял собой одну из двух буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из двух больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Иммануил I Савойский постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрато к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрато оказался у любого другого хозяина, скажем у герцога Гвасталльского. Не будем уж говорить, что кое-какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало, и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что Священный и Римский Германский Император, чьим вассалом формально являлся Мантуанский герцог, не ратифицирует это наследование.

Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и, не дожидаясь, пока император решится наконец высказать свое мнение, начали осаждать Казале: первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощной французской армии, а она, занятая на северном фронте, один Бог знал, успевала ли подойти.

Примерно на такой стадии находились дела в середине апреля, когда старый Поццо выстроил на площадке напротив замка самых молодых из дворового люда и самых поворотливых крестьян своей деревни, роздал им снаряды, имевшиеся в оружейне, вызвал туда же Роберта и произнес следующую речь, заготовленную за ночь: “Слушайте, вот что я говорю. Наша с вами округа спокон века платила монферратскому маркизу, монферратцы уже давно заодно с герцогом Мантуанским, а этот герцог теперь господин Невер. Кто будет врать, что Невер не мантуанец и не монферратец, тому я лично дам кулаком в рожу, потому что вы бессмысленные твари и об этом рассуждать рылом не вышли. За вас думать буду я, так как я хозяин и хотя бы понимаю дело чести. Но поскольку вы эту честь в гробу видали, могу вам обещать попросту, что если имперцы займут Казале, они вас пряниками не накормят, с виноградниками сотворят аллилуйю, а уж с вашими женами, лучше не думать. Так что вперед на защиту Казале. Я никого не принуждаю. Если есть среди вас ничтожные прохвосты, кто со мною не согласен, пусть скажет сразу и я его вздерну на том дубу”. Никто из присутствовавших на митинге, разумеется, не мог быть знаком с офортами Калло, где повешенные гроздьями свисают с мощных дубовых веток, но речь, по-видимому, проняла всех: они повскидывали на плеча мушкеты, пики, жерди с привязанными наверху серпами и закричали: виват Казале, гибель имперцам, мы победим.

“Сын мой, — сказал Поццо Роберту, когда они спускались с холма в долину, а немногочисленное войско сопровождало их сам-пеш, — этот Невер не стоит волоска

из моего зада, а Викентий, когда удумал передать ему это герцогство, уже ослабел, видать, не только на передок, но и на голову, хотя на голову он не был силен и в хорошее время. Но теперь, что отдано, отдано Неверу, а не этому козлу из Гвасталлы. Наш род вассал законного хозяина Монферрато еще с Адама и Евы. И потому мы встанем за Монферрато и если надо, за Монферрато поляжем, потому что, как Бог свят, не годится, что пока все ладно, то друзья до гроба, а когда кругом дерьмо, то будь здоров. Но лучше все-таки не дать себя укокать, потому зри в оба”.

Переброска наших волонтеров от границы александрийской земли до крепости Казале была одной из самых долгих, какие может припомнить история. Старый Поццо разработал стратегию в некотором смысле безукоризненную. “Знаем мы испанцев, — сказал он. — Они не любят утруждаться. На Казале они пойдут долиной, югом, потому что с повозками, пушками и с барахлом удобнее идти по ровному. Значит, мы сразу после Мирабелло двинем на запад и будем пробираться холмами, потратим на день-два больше, но дойдем без приключений и к тому же скорее, чем они”.

К сожалению, у Спинолы имелись гораздо более затейливые соображения насчет того, как подготавливается осада, и притом что на юго-востоке от Казале он приступил к оккупации Валенцы и Оччимано, за несколько недель до того были переброшены к западу от города отряды герцога Лермы, Октавия Сфорца и графа Гембургского, около семи тысяч воинов, и было решено разом захватить крепости Розиньяно, Понтестура и Святого Георгия, с тем чтобы перекрыть возможную подмогу со стороны французской армии; при этом разворачивался на марше, форсируя реку По, и обхватывал клещами город с севера губернатор Александрии, дон Иеронимо Аугустин, и с ним пять тысяч человек. Все эти силы были сосредоточены на той траектории, которую Поццо так благостно считал совершенно пустынной. И своротить с этой дороги, после того как наш полководец узнал от местных поселян реальную обстановку, уже не представлялось возможным, потому что на востоке имперцев было по крайней мере столько же, сколько на западе.

Поццо сказал по-простому: “Все остается в силе. Я знаю округу лучше их; прошмыгнем между ногами, как суслики”. Это означало, что пируэтов и поворотов предстояло довольно много. Они даже налетели на французов, отступавших из Понтестуры, которые успели там сдатьсь и под обещание не показываться в Казале были отпущены в сторону Финале, чтоб возвратиться во Францию морем. Команда де ла Грив наскочила на них в окрестностях Оттеля, и они чуть не постреляли друг друга, а потом Поццо услышал от их командира, что среди условий сдачи имелось и такое: весь хлеб из Понтестуры скупается испанцами, и эти деньги выплачиваются осажденным жителям Казале.

“Вот что значит благородные люди, видите, детки, — сказал на это старый Поццо. — Воевать с такими одно удовольствие. Слава Господу, что сейчас не та война, как была у Карла с маврами, умри ты сегодня, а я завтра. Совсем иное дело христиане против христиан, тысяча чертей! Пока те пыхтят под Розиньяно, мы обойдем их с задницы, проскочим между Розиньяно и Понтестурой и послезавтра будем в Казале”.

Сказавши эти слова в конце апреля, Поццо с людьми смог увидеть городскую стену Казале 24 мая в первой половине дня. Путь их оказался, по крайней мере в памяти Роберта, весьма увлекательным, то и дело они ретировались с дорог на тропки, а с тропинок просто в сторону и двигались напроход через посеvy; наплевать, приговаривал Поццо, в войну все равно пашни не целы, не стопчем мы, так стопчут они. Пропитание добывалось в курятниках, на огородах и в амбарах. Все по правилам, комментировал Поццо, это земля монферратская и должна поддерживать защитников Монферрато. Мужики из Момбелло, который было запротестовал, велели всыпать тридцать палок, в назидание, что если-де в войну не поддерживать дисциплину, победишь не ты, а тебя.

Роберту эта война начинала казаться очаровательной. Путники рассказывали душеполезные новеллы, к примеру такие. Французский шевалье был ранен и пленен в крепости Святого Георгия. Он жаловался, что солдат ограбил его, отнял дорогой портрет. Герцог Лерма, об этом узнавши,

велел вернуть портрет, вылечить французского дворянина и отпустить в Казале, дав ему коня. В то же время, со всеми витками и поворотами, от которых полностью утрачивалась ориентация в пространстве, старый Поццо действительно вел свою компанию так, что военного дела, в собственном смысле, они не нюхнули.

Так что все вздохнули почти с облегчением и с радостью, как при начале давно ожидавшегося бала, когда в прекрасный день с верхушки недалекой горы под их ногами открылся тот самый город Казале, огибаемый с севера, по левой их руке, широкой полосой По, которая прямо перед замком разбивалась двумя большими островами, делившими реку на рукава, и ощетиливавшийся на юге зубчатым массивом цитадели. Весело заставленный изнутри башнями и колокольнями, снаружи Казале представлялся совершенно неприступным со своими острями, шипами и бастионами, похожий на свирепого дракона с гравюры.

И впрямь было чем полюбоваться. Вокруг города солдаты в яркоокрашенных мундирах перетаскивали осадные машины от одной до другой палатки, утыканной флажками, при постоянном скаканьи всадников в пернатых шляпах. На зеленом полотне лесов, на желтизне полей вдруг нестерпимое блистание почти царапало взор, и это оказывались рыцари в серебряных кирасах, перемигивавшихся с солнцем, и не было понятно, куда же они несутся вскачь, казалось, галопируют попросту ради картинки.

Во всей своей красоте, это зрелище совсем не понравилось Поццо, который проговорил: “Ребята, вот теперь, я думаю, мы подсели”. И на вопрос Роберта о причине подобного пессимизма добавил, шлепнув того по затылку: “Не валяй дурочку, разве не видно, это имперцы, или ты думаешь, что казальцев такая куча и все гуляют снаружи города? Казальцы с французами сидят внутри обделанные от страха, потому что их не наберется даже двух тысяч, а тех голубчиков тысяч чуть ли не сотня, судя по тому, что я вижу на склонах холмов напротив”. Поццо преувеличивал, войско Спинолы насчитывало только восемнадцать тысяч пехоты и шесть тысяч конных воинов, но и тех, что было, хватало и еще оставалось.

“Что будем делать, отец мой?” — спросил Роберт. — “Не будем, — отвечал ему отец на вопрос, — проходить там, где стоят лютеране. In primis, ни холеры не понятно, что они там болбочут, а in secundis, они сперва тебя расстреляют, а потом спросят, по какому ты вопросу. Ищем, где народ похож на испанцев. С испанцами, как вам уже говорилось, дело иметь можно. И выбираем повальжнее. В таких делах первое дело, это воспитание”.

Был намечен участок, где развевались знамена христианнейших королей и где сверкало больше всего начищенных доспехов, и с верой в судьбу выступили туда. В общей суматохе довольно далеко им удалось продвинуться среди вражеского стана, никому не рекомендуясь, потому что в те времена униформу носили только отборные подразделения вроде мушкетерских, а все остальные постоянно путались, кто свои, кто чужие. Но когда уже осталось только перейти ничейную полосу, они налетели на аванпост и были остановлены офицером, который вежливо попросил их рассказать, кто они такие и куда направляются, в то время как за плечами у него нависала солдатня угрожающего вида.

“Синьор мой, — начал свою речь старый Поццо. — Окажите же любезность освободить для нас дорогу, поелику мы имеем нужду оказаться на месте, которое нам пристало, откуда сможем начать стрелять по вас и по вашим солдатам”. Офицер стащил свою шляпу, погрузился в реверанс и размел перьями на два метра пыль вокруг себя, и ответил: “Señor, no es menor gloria vencer al enemigo con la cortesía en la paz que con las armas en la guerra”¹. А потом, на недурном итальянском: “Проходите, о сударь мой, и если одна четверть наших людей будет обладать половиною вашей отваги, мы победим. Да ниспошлют небеса мне отраду повстречаться с вами на ристалищном поле и да будет мне честь лишить вас жизни”.

“Типун тебе на язык, язва в душу”, — пробормотал сквозь зубы Поццо, но так как требовалось что-то отвечать, он напряг все свои лингвистические таланты и из последних

¹ Сударь, не менее славно победить врага любезностью в мире, чем оружием на войне (*исп.*).

представлений о риторике выудил что-то вроде “Yo también!”¹. Помахавши шляпой, он слегка ткнул коня шпорой, никак не более чем требовала театральность мизансцены, потому что надо же было дать подтянуться его пешеходным воякам, и все отправились к воротам.

“Суди сам: с аристократами договориться...” — начал Поццо, наклонившись к сыну на ходу, и прекрасно сделал, что наклонился, потому что с бастиона жажнули из аркебузы. “Не стреляйте, идиоты, свои, свои, Невер!” — заорал он, подняв руки, и вполголоса Роберту: “Узнаю наших. Грех говорить, но с испанцами спокойнее”.

Они вступили за стены. Кто-то, по-видимому, уже оповестил об их появлении коменданта гарнизона, господина Туара. Это был давний товарищ по оружию старого Поццо. Объятия, поцелуи, ознакомление с обстановкой.

“Друг мой дорогой, — повел рассказ Туара. — По парижским реляциям выходит, будто у меня здесь имеется пять полков пехотинцев и в полку по десять рот, что составляет десять тысяч бойцов. Но у господина де Ла Гранж только пятьсот человек, у Монша двести пятьдесят, и всего я могу рассчитывать на тысячу семьсот пеших воинов. Еще у меня шесть рот кавалеристов, всего числом четыреста, правда, хорошо экипированных. Кардинал знает, что я имею меньше солдат, чем должен был бы иметь, но он утверждает, что я имею три тысячи восемьсот. Я пишу ему, доказывая обратное, но Его Высокопреосвященство делает вид, что не понимает. Я был вынужден составить полк из наемных итальянцев любого разбора, корсиканцев, монферратцев, но позвольте сказать, вас не обидев, что солдаты они плохие, и добавлю, что пришлось даже приказать офицерам набрать отдельную роту из денщиков. Ваши люди вольются в итальянский полк под команду капитана Бассиани, он хороший солдат. Пошлем туда и молодого де ла Грива, чтобы идучи под огонь он получал команды на своем языке. Что до вас, драгоценный друг, присоединитесь к почтенным моим советчикам, пришедшим в лагерь, как и вы,

¹ И я тоже (*исп.*).

по собственной доброй воле и образующим мою свиту. Город вам знаком, помощь будет неоценима”.

Жан де Сен-Бонне, господин де Туара, высокий, темный, светлоглазый, в расцвете опыта — сорока пяти лет, вспыльчивый и отходчивый, был приятен в общении и любим войсками. Отличившись при обороне острова Ре от англичан, двором и Ришелье он вознагражден не был. Знакомые пересказывали его беседу с канцлером, хранителем королевской печати Марийяком. Канцлер сказал, что две тысячи французских дворян распорядились бы обороной Ре не хуже Туара, а тот в ответ сдержил, что уж хранить-то печати сколько угодно французских дворян смогут не хуже Марийяка. Офицеры приписывали ему еще одну лихую фразу (но похоже, что ее автор на самом деле один шотландский капитан). Военный совет в Ларошели, и отец Жозеф (в то время знаменитый серый кардинал) тычет пальцем в карту и предлагает: “Переправимся тут”. На что Туара холодно произносит: “Святой отец, жаль, что ваш палец не мост”.

“Вот так, любезный друг, — продолжал Туара, обходя с ними бастионы и рукой обводя горизонт. — Сцена великолепна, и актеры недурны, приглашены из двух империй и из многих синьорий. Против нас выведен даже флорентийский полк, под командованием, вообразите, Медичи. Казале как город, думаю, довольно надежен. Занимаемый нами замок позволяет держать под обзором реку, хорошо укреплен и защищается хорошим рвом. К стенам мы подвели насыпи, они помогут обороне. Что касается цитадели, в ней есть шестьдесят пушек. Бастионы по всем правилам искусства. Были слабые места, но их я усилил люнетами и батареями. Все это лучше некуда против лобовой атаки, но и Спинола не мальчик, вон какое копошенье внизу. Роятся минные подкопы, и когда их доведут до стен, считайте что открылись ворота. Чтоб не давать им работать, приходится воевать в открытом поле, хотя в поле мы не сильны. Как только неприятель подтащит поближе вон те пушки, начнутся бомбардировки, и тут выйдут на сцену новые герои — обыватели Казале, у которых испортится настроение. В этом отношении Казале совсем не надежен. С другой стороны, население можно понять. Им дороже их город, чем синьор

де Невер и французские лилии. Будем разьяснять, что савойцы и испанцы отберут их независимость и что, переставши быть столицей, они превратятся в захудалую крепостцу вроде Сузы, которую савойцы продадут за два скуди. Во всем остальном будем импровизировать, как положено в комедии дель арте. Вчера я выезжал с четырьмя сотнями людей в сторону Фрассинето, там скапливались имперцы и мы их разогнали. Но пока мы занимались этим, неаполитанцы укрепились на том берегу. Я велел палить по ним из пушек, мы не прекращали несколько часов и, вероятно, разнесли там все на щепки, однако неаполитанцы не уходят. За кем перевес в результате дня? Клянусь Господом, не знаю, и Спинола не знает тоже. Я только знаю, что нам делать завтра. Видите вон те дома в логе? От них хорошо бы простреливались позиции врага. Мой шпион донес, что дома эти пусты; можно предположить, что там кто-то прячется; молодой друг Роберт напрасно делает возмущенное лицо, он пусть выучит первый постулат, что войны выигрываются через шпионов, и постулат второй, что шпион, предатель по натуре, с равным успехом предает тебя... Как бы то ни было, завтра отправляю пехоту на захват этих строев. Чем портить солдат бездельем, пусть поразомнутся. Рано волнуетесь, Роберт, это еще не ваш случай. Вот послезавтра полк Бассиани пойдет за реку. Видите куски стен? Это форт, который мы начали строить, пока нас не вышибли. Мои офицеры против, а я так думаю, что надо отбить, пока его не приспособили себе имперцы. Надо лупить их в долине, не давать копать ходы. Славы хватит на всех. Сейчас будет ужин. Осада еще в начале и в провизии нет недостатка. Это впоследствии мы станем есть мышей”.

3. ЗВЕРИНЕЦ ЧУДЕС СВЕТА¹



Избегнуть поедания мышей в Монферрато с тем чтобы стать на “Дафне” будущей добычей мышей... В печали разрабатывая эту изящную противительность, Роберт все-таки решился на вылазку туда, откуда ночью донеслись непостижимые звуки.

Он пошел вниз с полюота, полагая, что корабельное устройство в точности подобно “Амариллиде”, и значит, под палубой обнаружится кубрик с дюжиной пушечных портов по бортам и с тюфьями или гамаками матросов. Сойдя по трапу от вахты в нижний отсек, пронизанный поскрипывавшим румпелем, он увидел дверь в переборке, но как будто бы желая обведаться в глубинах судна, прежде чем идти на стычку с врагом, в эту дверь не пошел, а нырнул через люк в самую глубину трюма, где должны были храниться остатальные запасы еды. Вместо этого он увидел притиснутые друг к другу спальные места на дюжину человек. Значит, команда спала здесь, в кокпите; выходит, что верхний ярус предназначался для иных целей. Койки были в идеальном порядке. Если мор на корабле и имел место, то, должно быть, выживавшие убирала за вымиравшими, чтоб не сеялся страх... Но откуда явствовало, что моряки перемерли? снова подумал Роберт, и снова эта мысль не успокоила его. Когда чума пустошит судно, это природная напасть, или, сказали бы многие богословы, — рука Провидения; а когда

¹ Книга итальянского автора Томмазо Гарцони (1549–1589) “Il serraglio degli stupori del mondo” (опубл. в 1619).

экипаж оставляет корабль в столь превосходном порядке, это страшит тройне.

Объяснение, возможно, ждало на второй палубе. Собравшись с духом, Роберт возвратился на прежний ярус и толкнул дверь, которая вела в пугавшее его место.

И тут объяснились решетки на опер-деке. Через сетчатый пол на гон-дек, как в церковный неф, искоса попадали лучи денницы, перекрещиваясь со светом, проходившим через пушечные порты и янтарно отблескивавшим от ствол.

Сперва Роберт не увидел ничего, только лезвия света, в которых скакали и подпрыгивали неисчислимые частички, приведшие ему на память (до чего ж он пространно тешится высокоучеными воспоминаниями, старается произвести впечатление на Прекрасную Даму, нет чтобы сказать в простоте!) те слова, которыми Диньский настоятель растолковывал ему зрелище световых водопадов, проливавшихся в кафедральный собор, одушевляясь в своей середине множественными монадами, семенами, нерасчлененными естествами, каплями мужского ладана, спонтанно взрывающимися, и первоначальными атомами, затевавшими между собой свалки, потасовки, толкотню, бесконечно встречаясь и бесконечно разлучаясь; се есть наглядное подтверждение устройства нашей вселенной, которая не из иного состоит, как из первичных тел, движущихся в пустоте.

И сразу вслед за этим, как будто в подтверждение мысли, что сей мир есть результат балета атомов, у него возникло ощущение сада, и он осознал, что попавши сюда, подвергся действию полчищ запахов гораздо более крепких, нежели те, которые долетали прежде от берега через пролив.

Сад, покрытая оранжерея. Вот чем исчезнувшие обитатели "Дафны" заселили этот отсек судна, с целью переправить на родину цветы и деревья с островов, которые они открывали, и чтобы к ним проникали солнце, ветра и небесная влага. Сколько месяцев сумел бы корабль беречь свою зеленую добычу, не сожгла ли бы растения солью первая же морская буря, Роберт не знал, но несомненно: видеть эту рощу в добром здравии означало, как и с припасами, что попала она на борт недавно.

Цветы, кустарники и деревца были выкопаны с корнями и с почвой и рассажены по корзинам и ящикам, сделанным из чего нашлось. Многие короба растрескались, на полу была земля, вывалившаяся из полных с верхом плетенок, и в эту свилеватую землю метили молодые отростки, чтобы укорениться, и тем создавалось подобие райского сада, росшего прямо из досок мореплавательной “Дафны”.

Солнце било не так сильно, чтобы заболели глаза у Роберта, но его света хватало играть на расцветке стеблей и листьев и заставлять раскрываться многие цветы. Роберт увидел раздвоенный лист, походивший на раковый хвост, на нем жемчужились белые почки; в другом, нежно-зеленом, расправлялся какой-то полувцветок из пучочка сливочных дуль. Тошнотворным смрадом повеяло от желтого уха, в которое как будто был воткнут кукурузный початок, за ним гирляндами вились фарфоровые раковинки, белоснежные, с розовыми каймами, тут же торчала гроздь не то рожков, не то колокольчиков и пованивала болотной гнилью. Он увидел цветок лимонной прожелти, оказавшийся при дальнейшем знакомстве переменчивым: абрикосовым на заре, темно-красным на закате; другой, шафрановый в сердцевине, переливался к окраине лепестков в лилейную белизну. Были и шероховатые плоды, он не решился бы их даже тронуть, но один упал, расселся, обнажил гранатовую глуть. Роберт попробовал на язык, но по-видимому не на тот язык, которым осязают вкус, а на тот, коим слагают песнопения, поскольку пишет: это кладезь меда, манна, загустелая в изобилии собственной отрасли, сокровищница изумрудов, изузоренная рубиновой зернию. Осмыслив это описание, риску заявить, что Роберт дегустировал фигу.

Ни один из этих плодов и ни одно растение не было ему прежде ведомо, каждое порождалось будто фантазией художника, насмежавшегося над нормами природы, дабы изобрести убедительные неправдоподобия, мучительные улады и восхитительные лжи; как та корона беловатого пуха, что возвышалась с фиолетовой кокардой, походившая на сизую примулу, выставившую непристойный член, или это была маска, венчавшая седой цветок козлоторода? Кому мог прийти в голову кустарник, чьи листья, темно-зеленые

по одной стороне, имели желтые и кармазинные разводы, а на другой стороне были цвета пламени, и перемежались с листьями светлыми и мясистыми, вогнутыми, так что в них неизвестно с какого времени держалась влага последнего дождя?

Роберт под впечатлением обстановки не задавался вопросом, о каком дожде речь, если за последние три дня осадков не выпадало. Ароматы оглушали его и не удивляла необычайность. Не удивляло, что мокрый разваливающийся плод пах, как испорченный сыр; что фиолетовый баклажан с дыркой в днище тарахтел твердыми семечками, не овощ, а бубенец; что какой-то цветок с одной стороны был заострен и вытянут, как спица, а с другой — закруглен и толст. Роберт никогда раньше не видел плакучую пальму, она плакала, будто ива, воздушные ее корни лишь на некоторой высоте сплетались в стволы, а побеги свисали, изнеможенные собственной плодовитостью. Другое растение, незнакомое прежде Роберту, имело листья широкие, сочные, из которых каждый пронизывался железистой жилкой. Готовые блюда, подносы! И нерукотворные черпачки росли тоже неподалеку.

Гадая, в механическом ли он лесу или в земном рае, упрятанном в подпочвенной толщине, Роберт скитался внутри этого Эдема, среди одуряющих ароматов. Когда он рассказывает об этом Прекрасной Даме, он упоминает деревенские неистовства, сумасбродства огородов, где густолистые Протеи, где кедры (а может быть, не кедры, а цитроны?) шалют от усладительного восторга... В его повести сад — это дрейфующий острог, населенный коварными автоматами, где за ограждением чудовищно свитых канатов бьются упрямые настурции, непокорные вскормленницы дикарской пуши... Он напишет об опиуме чувств, об атаке гнилостных испарений, которые нечистыми обаяниями увлекают жертву в края антиподов ума.

Сначала он приписал птичьему пению, доносящемуся с острова, свое чувство, будто выкрики пернатых излетали от цветов и от трав; но внезапно все тело его пошло мурашками от пролета нетопыря, почти зацепившего крылом его за щеку, и тут же пришлось отпрыгивать от сокола, камнем

падающего на добычу и вонзающего в летучую мышь крючковатый клюв.

Продвигаясь по гон-деку и слыша далекие голоса птиц от Острова, удивляясь, как им удается проникать через щели в бортах, Роберт постепенно приходил к убеждению, что птицы поют где-то близко. Не могло это слышаться с берега. Значит, какие-то другие птицы пели прямо за деревьями, в носовой части палубы, за переборкой у провиантской, откуда предыдущей ночью раздавался опасный шум.

Он натолкнулся на какой-то ствол. Дерево, похоже, прошибло палубу и просунулось выше. Не сразу Роберт понял, что перед ним рангоутное дерево, то есть колонна мачты, и он стоит на самой середине судна, где шпор вращен в степс и мощно укоренен в кильсон. В этой точке ремесло и природа переплетались настолько тесно, что заблуждение нашего героя простительно. Еще добавим, что в точности на этом месте до его ноздрей доверяло какое-то смешение запахов, дух перегноя в сочетании со скотской вонью, что символизировало границу медленного перехода из оранжереи в хлев.

После этого, тронувшись от грот-мачты к носу, он попал на птичник.

Он не знал, как по-другому назвать скопище тростниковых клеток, пронизанных крепкими жердями, служившими для насестов, и населенных летучими существами, старательно угадывавшими по свету зари тот восход, от которого к ним просачивалось лишь нищенское подобие, и перекликавшимися, хотя пение и выходило непохоже на то, что в природе, с братьями, свободно голосившими на Острове. Вольеры стояли на полу, висели на решетке верхней палубы; с этими сталактитами и сталагмитами гон-дек казался еще одним зачарованным гротом, где порхающие пернатые качали клетки, а те, подпрыгивая, рассекали потоки солнечных лучей, и высвечивалась карусель цветов и блистательное мельтешение радуг.

До этого дня он, пожалуй, никогда по-настоящему не слышал пенье птиц. Можно сказать также, он ни разу по-настоящему их, птиц, не видел, по крайней мере столько

разных сразу, и не мог понять, этот ли облик свойствен им в природе или же рука художника разрисовала их и изукрашила к пантомиме военного парада. Каждый воин и каждый член командования красовался своими боевыми колерами и собственным флагом.

Незадачливый Адам, он не располагал названиями для этих тварей. Разве только имена, что использовались на его родном полушарии: это аист, бормотал он, а это журавль, а вот куропатка... Но с таким же успехом можно было называть гусаком лебедя.

Птицы-прелаты с широкими кардинальскими шлейфами и с носами как алхимические сосуды топырили крылья цвета трав, раздувая пурпурные зобы и выпячивая голубую грудь, причитая почти по-человечьи; в другой стороне собирался многочисленный турнир, воины разминались, и приплюснутая свозная кровля их решетчатого турнирного поля дрожала от наскоков цвета горлинки и от жарко-огненных ударов, напоминавших, как штандарт в руках знаменосца плывет над строем, взмывает и полощется на ветру. Насупленные ходулочники на долговязых нервных конечностях, зажатые в тесноте, с негодованием гоготали, поджимали то одну, то другую ногу, подозрительно озирались, тянули шею, трясли чубатой головой. Только в одной, вытянутой в высоту клетке привольно чувствовал себя крупный капитан в голубом мундире, в карминовой, под цвет очей, манишке, с лилейным султаном на кивере, и ворковал как голубка. Рядом с ним в маленькой клетке три пешехода мерили настил шагами, не имея крыльев, и подскакивали, испачканные комочки пуха: мышинные мордочки, усы у основания клювов. Клювы у них были горбатые, с крупными ноздрями, которыми эти уродцы обнюхивали червей, отщипывая от них куски. В одной клетке, вытянутой и закрученной, как кишечник, прохаживалась маленькая цапля с морковными лапами, с аквамариновой грудкой, с черными крылышками и лиловым носом, а за ней гуськом шествовали цыплята. Дойдя до окончания кишки, она со злобным карканьем пыталась разнести загородку, видимо, считая ее случайным нагромождением отростков и корешков, а потом разворачивалась и маршировала обратно со всем своим

выводком, который не мог догадаться, идти ли впереди или позади родительницы.

Роберт испытывал и возбуждение от открытия, и жалость к этим пленникам, и желание отворить клетки и посмотреть, во что превратится его готический собор, наполнившись этими геральдами воздушного войска, выпущенными из осады, к которой “Дафна”, в свою очередь осаждаемая полчищами им подобных, их принуждала. Потом он подумал, что птицы голодны. В клетках валялись ошметки корма, а плошки и корытца, куда заливать воду, стояли пустые. Около клеток, однако, имелись мешки с зерном и нарубленная вяленая рыба, все было заготовлено для того, чтобы птицы благополучно доехали до Европы, поскольку редкий корабль, сплавив к южному краю земного шара, не привозит ко дворам и академиям Европы редкости новых миров.

Ближе к оконечности носа он обнаружил дощатый загон, где рылась в подстилке дюжина цесарок, или вроде этого, в любом случае куриц с подобным оперением он в жизни не встречал. Они тоже, по всей видимости, испытывали голод, тем не менее куры отложили шесть яиц и торжествовали столь же бурно, как любые их товарки во всех частях света.

Роберт немедленно подобрал яйцо, продырявил скорлупу концом ножа и выпил яйцо через дырочку, как в годы детства. Другие яйца уложил за пазуху, а для успокоения матерей и плодовитейших отцов, хмуро трясших зобами, роздал корм и воду; то же самое во все прочие клетки, причем он спрашивал себя, какое провидение распорядилось прибыть ему на “Дафну”, когда население птичника почти обесилело от голода. И впрямь, он провел на корабле вот уже две ночи; за птицами ухаживали в последний раз, самое позднее, днем раньше появления Роберта. Он попал на корабль будто опоздавший на праздник гость, пришедший к еще не убранному столу.

Впрочем, сказал он, с самого начала было ясно, что раньше кто-то здесь был, а теперь его нет. Были тут люди день или десять дней назад, для меня ничего не меняет, самое большее усугубляет насмешку судьбы: ведь выбрось меня море на один только день раньше, я мог бы

присоединиться к экипажу “Дафны” и отправиться с ними туда же, куда они. Или нет: погибнуть вместе с ними, если все они погибли. В общем, он перевел дух (по крайней мере дело было не в крысах) и подумал, что в его распоряжении теперь имеется курятник. Он отказался от идеи выпустить на волю более благородные породы, и решил, что если его сидение окажется очень долгим, и эти породы могут представиться съедобными. Идальго, порхавшие под стенами Монферрато, тоже были благородные и разноцветные, однако мы по ним палили, а окажись наше там сидение очень долгим, вполне могли бы начать их есть. Кто воевал в Тридцатилетнюю войну (скажу я сейчас, хотя ее прямые участники не называли ее так и, вероятно, даже не признавали, что речь идет об одной очень долгой войне, в которой время от времени подписывался какой-нибудь мир), тот отучался от прекраснотуши.

4. НАГЛЯДНАЯ ФОРТИФИКАЦИЯ¹



тчего Роберту так часто приходит на язык Казале при описании его первых дней на корабле? Бесспорно, параллелизм напрашивается: осажден теперь, как осажден был тогда; но для человека его столетия как-то жидковато. Скорее уж, при подобии, его тем более зачаровывают несходства, изысканные противопоставления: в Казале он попал по желанию, дабы не допустить попасть других, а на “Дафне” оказался поневоле и мечтал только о том, чтоб выбраться. Но в наибольшей степени, думаю я, существуя в мире полутени, он тянулся памятью к истории раскаленных дней, прожитых под ярим светилом осады.

И еще. В начальную пору жизни Роберту выпадало единственных два периода, которые меняли его представления о мире и о человеческой жизни в нем. Это были несколько месяцев осады и несколько лет в Париже. Ныне он переживал третий возраст мужания, скорее всего последний, на излете которого зрелость приравнивается, вероятно, уже к распаду. И он пытался расшифровать тайну этой поры, накладывая очертания прошлого опыта на современье.

Поначалу казальская жизнь сплошь состояла из вылазок. Роберт описывает эту жизнь своей адресатке, преображая стилем и будто желая ей показать: неспособный захватывать упорную твердыню льда, палимую, но не растопляе-

¹ Французский военный учебник “La fortification démontrée” (XVII в.).

мую двух ее солнц пламенами, под лучами солнца иного он невзирая ни на что оказался в высшей степени способен сопротивляться тем, кто старался захватить монферратскую твердыню.

Утром следующего дня после приезда гривской команды Туара отправил нескольких офицеров, с карабинами на плече, поглядеть, что там устраивают неаполитанцы на холмах, захваченных накануне. Офицеры подъехали слишком близко, возникла легкая перестрелка, и молодой лейтенант Помпадурского полка был застрелен. Товарищи доставили его тело в крепость и так Роберт увидал первого убитого в своей жизни. Туара отдал приказ захватить строения, о которых говорилось на день раньше.

С бастионов было удобно наблюдать вылазку десяти мушкетеров, раздвоивших свой ряд на скаку, чтобы окружить и захватить первый дом. Из крепости тем временем было пущено ядро, пролетевшее над их головами и сорвавшее с дома крышу: оттуда, как насекомые, вылетели испанские солдаты и побежали наутек. Мушкетеры дали испанцам ретироваться, захватили строение, забаррикадировались в нем и повели оттуда будоражащий огонь по склону взгорья.

Та же операция требовалась и в отношении прочих строений. С бастионов было прекрасно видно, что неаполитанцы выкапывают ямы, обкладывают фашинами, хворостяными снопами, причем ямы не опоясывают холм, а тянутся по равнине к замку. Роберту объяснили, что это входы в минные галереи, которые доводят под землей до стены, а там набивают порохом. Нельзя давать неприятелю закапываться под землю. Вот и вся война. Рушить в самом начатке подкопы противника, а самим по возможности вести в его сторону контрподкопы и дожидаться подхода подмоги или полного расхода вооружения и припасов. Осада состоит в этих двух занятиях: гадить неприятелю и тянуть время.

На следующее утро, как и ожидалось, занимали редут. Роберт в обнимку со своей пищалью оказался в ораве наемников из Лу, Куккаро, Одаленго, соседствовавших с бессловесными корсиканцами, всех скопом набили в лодку и перевезли через По, когда две роты французов уже сошли

на неприятельскую сторону. Туара и штабные наблюдали за операцией с правобережья, старый Поццо махнул сыну и предупредительно поднял палец: действуй, дескать, с головой.

Три роты захватили безлюдный форт. Он не был доделан, и начальная постройка потихоньку распадалась. День прошел в затыкании дырок в стенах. Укрепление было окружено хорошим рвом, за ров отправили нескольких впередсмотрящих. Наступила ночь, но такая светлая, что дозорные спокойно дремали, а офицеры их не одергивали в уверенности, что нападения не будет. Тут-то и раздалась команда “на приступ!” и налетели конные испанцы.

Роберт, приставленный капитаном Бассиани сторожить брешь, заделанную мешками с соломой и сеном, не успел уразуметь, как это все происходило: на крупе коня у каждого всадника находился мушкетер, и доскавав до укреплений, лошади помчались по кругу вдоль канавы, в то время как стрелки на ходу убирали немногих часовых, а мушкетеры прыгали с коней и катились кубарем в глубину рва. Очистив место, кавалеристы полукругом сгруппировались напротив входа, загоня защитников за стену непрерывным огнем, мушкетеры невредимые подобрались к воротам и к разбитым участкам стен.

Итальянская пехота, выставленная для караула, покидала оружие и в ужасе разбежалась, покрывая себя бесчестьем; но и французский гарнизон повел себя не лучше. От начала атаки до взятия стен форта прошло только несколько минут, и для встречи атакующих, уже прорвавшихся за стены, защитники форта не успели даже вооружиться.

Неприятели, пользуясь внезапностью, резали кого попало; их было столько, что в то время как одни убивали, другие обирали убитых. Роберт, выстреливши в набегавших пехотинцев, с болью отдачи в плече перезаряжал ружье, когда налетела кавалерийская атака и копыта коня, перескакивавшего стену, сшибли Роберта и обрушили ему на голову всю кладку. Это было его счастье; под мешками он спасся от смертоносного налета и теперь из соломенного укрытия видел, как нападавшие приканчивали упавших, отрезали пальцы ради колец и кисти рук ради браслетов.

Капитан Бассиани, чтоб оборонить честь своего бегущего войска, доблестно отбивался, но его окружили и принудили к сдаче. С того берега заметили, что происходит, и полковник Ла Гранж, незадолго перед этим вернувшийся с форта с поверки, рвался на спасение гарнизона, но офицеры его удерживали до подхода городских подкреплений. С правого берега отчаливали какие-то лодки, в то время как, разбуженный дурною вестью, к месту их отплытия галопом мчался Туара. Было уже понятно, что французы в форте разбиты и что единственная им помощь была — прикрывать навесным огнем отход остающихся в живых.

В этой суматохе старый Поццо метался между штабными позициями и лодочным причалом, куда приставали спасающиеся, но Роберта не было среди этих. Когда увиделось, что новых лодок уже не будет, он прорычал “О Господи!”. После этого, не нуждаясь ни в какой лодке, зная законы речных течений, двинул коня прямо в воду чуть повыше первого острова, молотя шпорой. Конь пересек реку в месте брода, даже не поплывши, выскочил на другой берег, и Поццо с поднятою шпагой не разбирая дороги бросился на врага.

Несколько мушкетеров противника двинулись ему навстречу при светлеющем небе, не понимая, зачем этот одинокий всадник. Тот пролетел сквозь их строй уложив по меньшей мере пятерых яростною рубкой, навстречу двум конникам, и на вздыбленной лошади отклонился в сторону, избегнув удара, и откачнулся в другую, шпага его описала в воздухе круг, и левый кавалерист осел на круп, в то время как его кишечник выползал на сапоги, а правый так и застыл с вытаращенными глазами, лоя рукою ухо, которое, не вполне оторванное от щеки, повисло ему ниже бороды.

Поццо был уже около форта, в котором захватчики, занятые грабежом последних дорубленных со спины, не умели понять вообще откуда он взялся. Он влетел внутрь укреплений, выкрикивая имя сына, заколол четырех человек, работая как мельницею шпагой и разя в четыре стороны света; Роберт из-под своей соломы завидел его еще в отдалении и узнал прежде отца Пануфли, отцовского коня, с которым игрывал еще ребенком. Тогда он всадил два пальца в рот и свистнул условным свистом, который коню был издав-

на привычен, и верно, тот уперся, насторожил свои уши и поскакал с отцом по направлению к робертовой брешу. Поццо увидел Роберта и крикнул: “Нашел место сидеть! Прыгай на лошадь!” Роберт схватился за его пояс, и Поццо повернул коня к переправе, бормоча: “Наказание, вечно за тобой надо черт-те где бегать”. Пануфли галопом несясь обратно к реке.

Какие-то грабители поняли, что этот человек явно не должен здесь находиться, показывали пальцами и кричали. Офицер со вмятиной на кирасе в сопровождении трех солдат попробовал перекрыть ему путь. Поццо увидел, хотел обскакать и вдруг, натянув поводья, вскрикнул: “Вот врут про судьбу!” Роберт выглянул из-за него и узнал в офицере того самого испанского гранда, который позавчера пропустил их в крепость. Тот тоже узнал в лицо встречных, взор его блеснул, он нацелил шпагу.

Старый Поццо мгновенно перебросил шпагу в левую руку, выхватил правой пистоль и протянул руку в сторону испанца, который, сбитый с толку маневром, с разбегу оказался почти под его рукой. Но Поццо стрелял не сразу. Он нашел время произнести: “Прошу прощенья за стрельбу, но так как вы защищены кирасой, это извинительно...” Нажал курок и всадил тому в рот пулю. Солдаты, видя убийство командующего, побежали, и Поццо вернул пистолет на место за пояс со словами: “Пора обратно, пока они не потеряли терпенье... Пошел, Пануфли!”

В облаке пыли пролетели они по равнине, в ореоле брызг перенеслись по речному броду, а кто-то издали палил и палил, стараясь попасть им в спину и не попадая.

На правом берегу их встретили плеском в ладоши. Туара сказал: “*Très bien fait, mon cher ami*” — и потом Роберту: “Ла Грив, сегодня бежали все, вы остались на посту. Добрая кровь сказывается. Вам нечего быть в этой ватаге трусливых. Займете место у меня в свите”.

Роберт поблагодарил и, сходя на землю с лошади, пожал руку отцу, чтоб передать ему свою благодарность. Поццо рассеянно пожал ему руку и сказал: “Очень мне жаль этого господина испанца, он был дворянин. Сволочная война. С другой стороны, запомни себе науку, любезный сын:

уж как он тебе ни размил, но если он хочет отправить тебя на тот свет, неправ он, а не ты. Мне кажется так”.

Уходя за городскую стену, отец, как слышалось Роберту, продолжал бормотать “Я за ним не гонялся...” и приговаривать себе под нос.

5. ЛАБИРИНТ СВЕТА¹



охоже, Роберт вспоминает эту сцену в сыновей печали, улетая мыслью в счастливое время, когда защитник умел вызволить его из боевой бучи, а следом идут другие воспоминания, и Роберт не в силах от них отбиться. Тут дело не в автоматизме памяти. Я уже говорил, что Роберт переплетает свою раннюю историю с рассказом о жизни на “Дафне”, как будто выслеживая связи, причины и знаки судьбы. Думаю, казальские реминисценции для него — ключевые моменты эры, когда он, юный, постепенно обнаруживал, что мир выстроен по законам причудливой архитектуры.

С одной стороны, оказаться в подвешенном виде между небом и океаном выглядело как весьма логичный результат трех пятилетий прогуливания по саду расходящихся троп. С другой стороны, именно в оглядывании былых невзгод он находил утешение сегодняшним бедам, как будто крушение снова отбросило его в земной парадиз, который он знал в родном имении Грив и откуда удалился вступивши в стены города в осаде.

Роберт обирал вшей уже не в солдатской казарме, а в прихожей у Туара, среди благородных особ, прибывших из Парижа, и узнавал об их выходках, минувших битвах, слышал их легковесные, блистательные беседы. С первого

¹ Книга чешского мыслителя Яна Амоса Коменского (1592–1670) “Labyrint sveta a ráj srdce” (“Лабиринт света и рай сердца”, 1623, опубл. в 1631).

вечера он стал понимать, что осада Казале была не совсем то, к чему он готовился.

Он шел в Казале для увенчания рыцарской мечты, сформированной из гривских чтений. Иметь благородное рождение и наконец обрести оружие, стать паладином, чьей жизни цена — слово короля, спасение дамы. Он прибыл и вступил в священное воинство, это оказался гурт нерадивых мужиков, готовых смыться при первой трепке.

Затем его возвысили до совета неустрашимых, ввели как равного. Но он знал, что оказался неустрашимым по недоразумению, не сбежавши оттого, что испугался хуже бежавших. В довершение зол, когда соратники, по отбытии Туара, запоздно чесали языки, Роберт убеждался, что и казальская война составляла собой только звено бессмысленной цепочки.

Действительно, дон Викентий Мантуанский помре, отписав герцогство Неверу, но повидай его последним кто-нибудь другой, и вся быль повернула бы на другой галс. К примеру, Карл Иммануил тоже имел права на Монферрато через одну из племянниц (вся эта знать женилась между собой) и зарился на маркизат, тот торчал как шип под боком у его герцогства, подходя одним выступом почти к Турину. Гонсало де Кордова, зная это и играя на амбициях савойского владетеля, мечтающего ушучить французов, пригласил Карла Иммануила драться за Монферрато заодно с испанцами, а потом поделить. Император, у которого хватало неприятностей в остальной Европе, не давал соизволения на поход и не высказывался ни за, ни против Невера. Гонсало с Карлом Иммануилом ждали-ждали, а потом начали захватывать Альбу, Трино и Монкальво. Император, пускай незлобивый, дураком не был и немедля наложил секвестр на Мантую, посадив туда имперского комиссара.

Затяжка с решением нервировала всех претендентов, однако Ришелье воспринимал ее как персональный афронт в адрес Франции. А может быть, ему было удобно так воспринять. Но Ришелье тоже не действовал, поскольку еще не окончил осаждать протестантов в Ларошели. Испания одобряла это вымаривание еретиков; вдобавок Гонсало использовал паузу французов, чтоб пойти с восемью тысячами

солдат на осаду Казале, а там защитников было чуть более двухсот. Так получилась первая казальская война.

Поскольку, однако, император не собирался никому потворствовать, до Карла Иммануила дошло, что положение деликатное, и, продолжая сотрудничать с испанцами, он завел секретные переговоры с Ришелье. Ларошель пала, Ришелье получил от мадридского двора поздравления с этой великолепной викторией истинной веры, ответил благодарностями, привел в порядок армию и, с самим Людовиком XIII во главе, двинул ее через Монженев и развернул в феврале двадцать девятого года в окрестностях Сузы. Карл Иммануил рассудил, что играя на двух столах он потеряет не только Монферрато, но и Сузу, и решил продать то, что у него отнимали: предложил обменять Сузу на какой-нибудь французский город.

Сотоварищ Роберта с хихиканьем рассказывал, как Ришелье саркастически велел спросить у герцога, что тому слаще, Орлеан или Пуатье. Французский штабной офицер явился к начальству сузанского гарнизона и велел готовить апартамент для короля Франции. Командующий савойцев, тоже не лишенный остроумия, отвечал, что его высочество герцог несомненно будет в восторге, если погостит его величество король, но поелику его величество король грядет в такой большой компании, да будет позволено прежде узнать мнение его высочества герцога. С не менее обворожительной иронией маршал Бассомпьер, гарцуя на снегу под стенами города и помавая шляпой, доложил своему монарху, что скрипачи уже готовы, плясуны собрались у ворот и ожидается позволение начинать бал. Ришелье отслужил полевой молебен, французская пехота пошла в атаку и Сузу взяли.

При подобном складе Карл Иммануил решил, что Людовик XIII для него приятнейший постоялец, сам приехал оказать ему хозяйские почести и просил, если можно, не утруждаться под Казале, потому что тем малым делом уже занимается он сам, а вместо этого помочь ему завоевать Геную. На что он был обходительно попрошен не говорить бессмыслицу и ему в руку было вложено здоровенное гусиное перо для росчерка под договором, согласно которому

французы получали право распоряжаться Пьемонтом; в качестве чаевых ему отходил городок Трино и вдобавок мантуанскому герцогу вменялось в обязанность выплачивать Карлу Иммануилу годовые суммы за Монферрато. “Таким образом Невер, — подытоживал рассказчик, — чтобы получить свое назад, платил квартирные тому, кому город никогда не принадлежал!”

“И ведь платил же, — хохотал другой за столом. — *Quel con!*”

“Невер всегда платится за свое безумие, — произнес аббат, которого Роберту указывали как духовника Туара. — Невер просто сумасброд, воображает, что он Святой Бернард. Что ему предназначено созвать христианских царей на новый крестовый поход. А мы живем в пору, когда христиане убивают христиан, кому сейчас дело до неверных. Господа казальцы, если в вашем богоблагодатном городе уцелеет хоть один кирпич, будьте уверены, что ваш новый владелец поволочет вас всех в Иерусалим!” И аббат довольно хмыкал, поглаживая светлые ухоженные усы, а Роберт размышлял: вот, нынче утром мне приходилось умирать за безумца, и безумцем его считают оттого, что он мечтал, как и мне мечталось, возродить времена прекрасной Мелисенды и Прокаженного Короля.

То, что случилось после, тоже не помогло Роберту разобраться в смысле эпопеи. Гонсало де Кордова, когда его предал Карл Иммануил, понял, что война проиграна, признал Сузанское соглашение и отвел свои восемь тысяч пешников в Миланскую область. Один французский гарнизон обосновался в Казале, другой обосновался в Сузе, остатки армии Людовика XIII возвратились за Альпы и принялись ликвидировать последних гугенотов в Лангедоке и в долине Роны.

Но никому из этих господ в голову не приходило блюсти присягу, и за столом говорили об этом, как об обычном деле, многие одобрительно кивали: “*la Raison d’Etat, ah, la Raison d’Etat*”. Ради этого государственного интереса Оливарес (Роберт понял, что это у испанцев свой Ришелье, только меньше ласкаемый судьбою), видя, что Испания в этой истории не на высоте, бесцеремонно заместил Гонса-

ло Амвросием Спинолой и выступил с претензией, будто обида, нанесенная Испании, ущемила Католическую Церковь. “Пустое, — отмахивался аббат. — Урбан VIII одобрил наследование Невера”. Роберт же спрашивал себя, какое отношение могут иметь к папе вопросы, никак не сопряженные с католической религией.

Тем временем император (на которого давил и жал Оливарес) припомнил, что Мантуя все еще под комиссарским мандатом и что Неверу не положено ни платить, ни не платить за то, что ему пока не дадено; императорское терпение тут вдруг лопнуло и он отрядил двадцать тысяч человек народу на взятие городишки. Папа же, видя, как наемные вояки-протестанты гуляют по Италии, немедля взвидел опасность нового ограбления Рима и перевел свою армию на мантуанскую границу. Спинола был честолюбивее и решительнее, чем Гонсало; он опять обложил Монферрато, на сей раз крепко. Вывод Роберта был такой: хочешь избежать войн, первое дело — не подписывай мирные договоры.

В декабре 1629 года французы снова высунулись из-за Альп, Карл Иммануил по условиям трактата должен был бы их пропустить без разговоров, а он, хорошенькая лояльность, снова запритязал на Монферрато и еще на шесть тысяч французских солдат для осады Генуи, далась ему эта Генуя. Ришелье, считавший Карла Иммануила подколотной змеей, не ответил ни да ни нет. Один капитан, расфуфыренный, это в Казале-то, как на парижский праздник, вспоминал февраль предшедшего года. “Помню, друзья, денек, что твой бал у королевы! Не было музыки, так трубили фанфары. Его величество при войсковом эскорте скакал перед Туринном, черный камзол, золотое шитье, с пером на шляпе и в начищенной кирасе!” Роберт ожидал, воспоследует рассказ о великом штурме, но нет, и на этот раз имел место только променад и фронт. Король не стал атаковать, он неожиданно развернул строй и отправился на Пинероло и завоевал Пинероло, вернее вернул себе кровное, учитывая, что за несколько сотен лет до того город принадлежал французам. Роберт смутно представлял, где этот Пинероло, и не понимал, с какой стати надо было его штурмовать, чтоб

освободился Казале. “Разве нас осаждают в Пинероло?” — недоумевал он.

Папа, обеспокоенный новосоздавшимся положением, послал представителя к Ришелье требовать город обратно савойцам. За столом у Туара долго перебивали косточки этому представителю, некоему Юлию Мазарини: сицилиец! римский простолюдник! Мало этого, горячился аббат, даже внебрачный сын какого-то никому не известного мещанина, капитаном его назначили Бог ведает с какой стати, служит папе, но из кожи лезет, чтоб полюбить Ришелье, и тот в нем уже души не чает. С ним надо поосторожнее, вдобавок он едет или уехал в Регенсбург, к черту на кулички, и там почему-то должны вершиться судьбы Казале, там, а не тут, где все подкопы и контрподкопы.

Тем временем, поскольку Карл Иммануил норовил оставить без довольствия французское воинство, Ришелье наложил лапу еще и на Аннеси и на Шамбери и теперь французы резались с савойцами под Авиньяной. Партия игралась неспешная, имперцы показывали когти Франции, двигаясь вглубь Лотарингии, Валленштейн шел на подмогу Савоие, вдруг в июле несколько человек имперцев, подплывши на баржах, перекрыли шлюзы у Мантуи, войска в полном составе набились внутрь города, грабили город семьдесят часов, разнесли герцогский дворец по камушкам, а в качестве личного сюрприза папе обчистили все церкви и соборы в городе. Да, именно те ландскнехты, с которыми Роберт уже встречался по дороге в Казале, они теперь явились пособлять осадчику Спиноле.

Французская армия все еще была занята на севере и никто не мог бы сказать, успеет ли она до того, как Казале захватят. Оставалось уповать на небеса, таков был вывод аббата: “Господа, политическая мудрость в том, чтоб использовать людские ресурсы, как будто нет в запасе божеских, и в то же время божеские, как будто людские исчерпались”.

“Ну, нам-то придется обходиться божескими”, — произнес один собеседник. Тон его был малопочтителен, и поднимая кубок, он расплескал часть вина на камзол аббата. “Сударь, вы облили меня вином,” — вскричал аббат, бледнея. Бледнеть было положено, гневаясь, в те времена. “Ну а

вы сделайте вид, — отвечал дерзкий дворянин, — будто это случилось при виносвящении. Какая разница, что то вино, что это”.

“Месье де Сен-Савен, — выкрикнул аббат, вскакивая и хватаясь за шпагу. — Не в первый раз вы бесчестите собственное имя, оскорбляя Нашего Господа! Лучше бы вы, да простятся мне такие слова, оставались в Париже и бесчестили женщин, как заведено у вас, пирронианцев!”

“Ну, ну, — парировал Сен-Савен, уже заметно опьяневший, — мы, пирронианцы, когда ходили по ночам петь серенады милым дамам, и брали в компанию своих знакомцев, у кого крепкий характер и кто любит пострелять, прекрасно знали, что если дама не выглядывает с балкона, это только оттого, что ее нагревает в постели семейный духовник”.

Аббат потянул шпагу из ножен, присутствующие офицеры удержали его. Сен-Савен не в себе от вина, успокаивали они аббата, простим человеку, он храбро сражался в эти дни, простим из уважения к памяти погибших.

“Сдаюсь на вашу просьбу, — сказал аббат и направился к выходу из залы. — Сен-Савен, рекомендую вам употребить эту ночь на заупокойную молитву по павшим друзьям, и я сочту себя удовлетворенным”.

За ним закрылась дверь. Сен-Савен сидел как раз рядом с Робертом. Он приобнял Роберта за плечо и произнес: “Ни псы, ни речные птицы не устраивают такой базар, как мы с нашими заупокоями. К чему суетиться и хлопотать, воскрещать этих усопших?” Он с ходу осушил свой кубок, выпрямил палец, будто для назидательного поучения: “Милый, гордитесь. Сегодня вы чуть-чуть не поимели геройскую смерть. Ведите себя и дальше так бездумно. Помните, душа умерет с вашим телом. Поживите себе на радость и умирайте на здоровье. Люди такие же твари, как все твари, такие же порождения материи, только защищены поуже. Но поскольку в отличие от прочих тварей мы знаем, что обязаны умереть, то порадуемся жизни, которая досталась нам нечаянно и случайно. Мудрость подсказывает нам, что время следует проводить в питии и душевной беседе, как подобает благородным господам, и презирать малодушных.

Сотоварищи! Жизнь в долгу перед нами! Гнием в этом Казале. Опоздали родиться, когда можно было так чудно развлекаться при дворе короля Генриха, когда в Лувре были ублюдки, обезьяны, шуты, придурки, карлики и жонглеры, музыканты и поэты, и король развлекался с ними. А сейчас иезуиты, похотливые, как козы, изничтожают любого, кто читает Рабле и латинских поэтов, и требуют, чтобы все ходило по струнке и давило гугенотів. Господи Боже, война превосходная штука, но я желаю драться для собственного удовольствия, а не из-за того, что мой противник кушает мясо в пост. Язычники были нас умнее. У них тоже было три бога, но по крайней мере их матушка Кибела не требовала верить, что родивши их, осталась непорочной”.

“Помилуйте”, — заикнулся Роберт, а прочие захохотали.

“Помилуйте, — передразнил его Сен-Савен, — первое свойство благородного человека, это презрение к религии, которая пугает нас самой естественной на свете вещью, а именно смертью, отвращает от самой милой на свете вещи, то есть от жизни, и потчует перспективой попасть на небо, где вековечное блаженство уготовано только планетам, и они на самом деле не подлежат ни наградам ни наказаниям, а только своему постоянному движению в объятиях пустоты. Будьте сильны, как мудрые мужи древних греков, и взирайте на смерть твердо, без боязни. Иисус как-то чересчур исстрадался, ее ожидая. С чего ему было так беспокоиться, в сущности, если он знал, что все равно воскреснет?”

“Довольно, господин де Сен-Савен, — оборвал его капитан, беря под руку. — Не стоит скандализировать юного друга, он еще не знает, что современная мода в Париже требует безбожия. Он может воспринять все это слишком серьезно. Вы тоже идите спать, господин де ла Грив. Знайте, что Господь до того великодушен, что извинит даже и Сен-Савена. Как говорил один богослов, силен король, он все разрушает, сильнее женщина, она все получает, но еще сильнее вино, оно заливают мозги”.

“Вы недоцитировали, любезнейший, — уперся Сен-Савен, в то время как два однополчанина под руки вытаскивали его из зала, — эти слова якобы произносит Язык

и добавляет: но сильнее всего истина, и я вам ее говорю. Вот и мой язык, хотя в данный миг ворочается с трудом, но молчать не будет. Умный в этом мире должен побивать неправоту не только ударами шпаги, но и усилиями речи. Послушайте, ну как вы можете называть великодушным божество, которое обрекает нас на пожизненные муки из-за того, что когда-то на какую-то минуту рассердилось на наших прадедушек? Мы должны прощать ближнему, а Господь Бог что же? И мы еще обязаны любить такого немилостивца? Аббат ругает меня пирронианцем. Пусть мы пирронианцы, но это означает — те, кто пытается утешить жертв мошеннического обмана. Мы когда-то с тремя друзьями одаривали дам непристойными четками. Видели бы вы, как эти дамы поллюбили читать молитвы!”

Общество расхохоталось, и он ушел под слова офицера: “Не Господь, так мы простим ему длинный язык, хотя бы ради его длинной шпаги”. Роберту сказали: “Старайтесь с ним дружить и слишком сильно не спорьте. Он заколол больше французов в Париже из-за богословских разногласий, нежели испанцев сейчас на нашей памяти тут в Монферрато. Не хочется оказываться рядом с ним во время мессы, но приятно иметь его у плеча на поле боя”.

Войдя таким путем в область первых сомнений, Роберт столкнулся и с другим сомнением сразу вслед за этим. Он пошел в далекое крыло замка, где провел с монферратцами первые ночи, за своим мешком. Но довольно скоро заблукнул в двориках и коридорах. По какому-то из коридоров он топтался, понимая, что сбился с дороги, и углядел на торцовой стене зеркало, черное от грязи. В зеркале отражался он; но пробежав коридор почти до упора, обратил внимание, что этот “он” почему-то в пышном испанском мундире и волосы собраны в сеточку. И более того, зеркальный портрет не смотрел прямо ему в лицо, а отворотился в сторону и утек в боковой проход.

Значит, не зеркало это было, а окно с запыленными стеклами, выходящее в соседний двор на портик над лестницей. Выходит, видел он не себя, а кого-то другого, невероятно похожего, чьи следы тут же и утерались. Конечно,

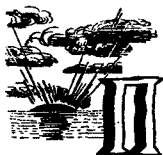
в голову ему сразу пришел Феррант. Феррант захотел сопроводить его в Казале. Может, он записался в соседнюю роту того же самого полка. Или в другом французском полку, пока Роберт в вылазке рисковал жизнью, этот Феррант получал от войны неведомо какие интересы.

Однако он был уже в том возрасте, Роберт, когда юношеские фантазии о Ферранте вызывали у него улыбку; обдумав свое впечатление, он довольно быстро убедил себя, что ему встретился кто-то отдаленно похожий, только и всего.

Он вытеснил из памяти этот случай. Много лет он сосуществовал с невидимым братом, в этот день чуть не поверил, будто видит невидимого, но в том-то и загвоздка, убеждал он себя (стараясь усилиями логики противостоять ощущениям сердца), что он его видел, и значит, он не плод воображения, а так как Феррант плод воображения, виденный им Феррантом быть не может.

Преподаватель логики возразил бы против этого парализма, но на том этапе Роберт удовольствовался им.

6. ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО СВЕТА И ТЕНИ ¹



ОСВЯТИВШИ ПИСЬМО ВОСПОМИНАНИЯМ О НАЧАЛЕ

осады, Роберт нашел несколько бутылок испанского вина в каюте капитана. Мы не можем его порицать за то, что запалив печку и пожарив яичницу с копченой рыбой, он откупорил бутылку и устроил себе царский ужин за столом, накрытым по этикету. Если в потерпевших ему предстояло оставаться долго, чтобы не одичать, следовало держаться изящных привычек. Он не забывал, как в Казале, когда раны и нездоровье превращали и офицеров в жертвы стихии, господин Туара требовал, чтоб по крайней мере в столовой каждый памятовал науку, обязательную в Париже: “Являться в незасаленной одежде, обчищать до обеда бороду с усами, не лизать пальцы, не лакать с хлюпом, не плевать в миску, не сморкать в скатерть. Мы с вами не германцы, господа офицеры!”

С утра он был разбужен петушьим криком, но провалялся еще долго. Когда, выглянув на галерею, он опять притворил от солнца шторы, оказалось, что он поднялся позднее, чем накануне, и заря уже сменяется восходом. За холмами ясно рисовался розовый край неба в облачной присыпке.

Поскольку через несколько минут первые лучи должны были осветить береговую кромку до невыносимой глазу яри, Роберт решил глядеть туда, где солнце еще не торжествовало, и по балюстраде перетащился на противополож-

¹ Книга римского иезуита, немца, отца Атанасиуса Кирхера (1601–1680) “Ars Magna Lucis et Umbrae” (1645), см. также прим. к назв. глав 33 и 39.

ный бок “Дафны”, повернутый на запад. Причудливый темно-синий абрис за несколько минут на его глазах расщепился на две горизонтали: щетинистая зелень и гребешки пальм наливались сияньем, а гористый фон оставался мрачен и удручен угрюмыми купами ночных туч. Эти купы постепенно, чернея своею сердцевиной, расслаивались на краях белизной и розой. Солнце будто отказывалось лупить по тучам в упор и уходило им за спины, а они, хоть и уступая свои окраины игривым световым волнам, в середине хмурились и набухали и не хотели расплавляться в толще неба, преобразая небо в доподлинное отражение моря, волшебное светлое, пронизанное яркими крапинами, как будто населенное стаями рыб, снабженных светящимися плавниками. Минуло, впрочем, совсем немного, и под натиском света тучи подались, разродились над лесовыми верховьями, и насели на сушу и оплыли по склонам, как горки взбитых сливок, разжиженных понизу, хотя сохраняющих плотность на маковинах холмов, где, доходя до снежного и ледяного состояния, они грибообразно высывались в воздух и разлетались в нем ледяными искрами, сладко-лакомыми взрывами среди кисельных берегов.

Того, что видел сейчас Роберт, хватило бы для оправдания всего кораблекрушения. Не столько в силу наслаждения, доставляемого зрелищем этой текучей трансформации пейзажа, сколько благодаря тому свету, который проливался этим светом на рассуждения о свете, слышанные от Диньского каноника.

До той минуты Роберт, надо сказать, нередко задавал себе вопрос, не снится ли все это. То, что происходило с ним, обычно с людьми не происходило, в крайнем случае возвращало его к романам, читанным в отрочестве; походили на порождения сна и корабль и те существа, которые ему встречались. Из той материи, из которой состоят сны, были вытканы тени, окружавшие его в последние три дня, и по холодном рассуждении он отдавал себе отчет, в частности, и в том, что даже цвета, которыми он любовался в зеленом отсеке и в птичьем вольере, выглядели ослепительно лишь для его очарованного взора, а в реальности просвечивали

сквозь патину старинной лютни, которой был покрыт любой предмет на “Дафне”, и этим медовым налетом были облиты и балки и клепки выдержанной древесины, протравленные маслами, смолами и лаками... Не порождение ли сна и тот великий театр небесного надувательства, который, ему казалось, будто наблюдается на горизонте?

Нет, ответил себе Роберт, боль, которую этот свет причиняет моим очам, доказывает, что я не сновидствую, а вижу. Мои зрачки побиваются ураганом атомов, которые, как с крупного военного корабля, обстреливают меня, долетают с берега и представляют собою не что иное, как прикосновение к глазу всей материальной пыли, которая по глазу бьет. Каноник говорил в свое время: разумеется, отдаленные тела не присылают к нам, как думал Эпикур, совершенные подобию, передающие соответственное тело и во внешней форме и в потаенной природе. К нам попадают только знаки, приметы, и мы их используем для конъектур, которые мы называем созерцанием. Но тот самый факт, что незадолго перед этим Роберт передавал посредством тропов нечто, что предполагал, будто видит, и пересоздавал в словесной форме то, что чем-то изначально бесформенным ему подсказывалось, доказывало именно, что Роберту нечто виделось. И наряду со многими уверенностями, отсутствие которых нас удручает, одна-то несомненно присутствует, и она состоит в факте, что все вещи представляются нам именно так, как представляются, и не может быть, чтобы было не достоверно, что они нам представляются именно так.

По всему этому, видя, и будучи уверенным, что видит, Роберт обладал единственной уверенностью, на которую и чувства и разум могли спокойно положиться, а именно уверенностью, что он видит нечто; и это нечто было единственной формой бытия, о которой он мог говорить, поскольку бытие представляло собой не что иное, как великий театр видимостей, ютящийся в некой складке Пространства — чем довольно много сообщается об этом причудливом веке.

Роберт был жив и был не во сне, и перед ним, будь то остров или континент, располагалось что-то. Что оно, Роберт не знал; как цвета зависят и от предмета, которому

присущи, и от света, который отражен, и от глаза, который их в себе сосредоточивает, так отдаленная земля представлялась Роберту истинной в произвольном и преходящем взаимосочетании света, ветра, туч и его глаз, восхищенных и пораженных. Может, наавтра, или через несколько часов, эта земля показалась бы ему иною.

Видимое Робертом — это было не только сообщение, которое небом ему посылалось, но это был еще и результат взаимосочетания неба, земли и положения (в условиях определенного часа, времени года, угла зрения), из которого он глядел. Безусловно, если бы корабль выстроился вдоль какой-то другой оси в розетке ветров, зрелище оказалось бы иным: солнце, заря, море и земля оказались бы другим солнцем, другой зарею, другим морем и другой землей, пусть двойниковыми, но иноформными. Ту бесчисленность миров, о которой рассказывал Сен-Савен, следовало искать не только по другую сторону созвездий, но и посреди пузыря в пространстве, для которого Роберт, весь сводящийся к оку, ныне выступал источником неисчисляющихся параллаксов.

Предоставим же Роберту, среди столь многих затруднений, разрешение не продолжать за пределы вышеуказанной вехи его умозрения относительно метафизики ли, или физики тел. В частности, и учитывая, что, как мы впоследствии увидим, он их продолжит несколько позднее, и с гораздо бóльшим усердием, чем надлежало бы. Но уже и на нынешней грани мы видим, как Роберт умствует о том, что если может существовать единый мир, в котором показываются разнообразные острова (острова, различные в один и тот же миг для различных робертов, которые наблюдают с различных кораблей, находящихся на разных географических долготах), значит, в этом едином мире могут сочетаться и сосуществовать многие роберты и многие ферранты. Может быть, в тот день на полубаке он случайно передвинулся на несколько шагов по отношению к самой высокой горе Железного Острова и ему открылся универс, обитаемый совсем другим Робертом, который не был обречен атаковать форт под насыпью городской стены Казале или которому выпало быть спасенным другим отцом, не убивавшим великодушного испанского гранда.

Но на грани этих рассуждений Роберт несомненно остановился, дабы не признаваться самому себе, что отдаленное тело, складывавшееся и распадавшееся в метаморфозах сладострастия, превращалось в анаграмму иного тела, которым он вождеделел обладать; и поелику земля улыбалась ему, томная, Роберт вождеделел достигнуть ее и совокупиться с нею, убогаторенный пигмей на персях дивновидной великанши.

Полагаю, не стыдливость все же загнала его под палубу, а светобоязнь — или же некий иной позыв. Дело в том, что Роберт услыхал кур, снесших новые яйца, и замыслил устроить себе вечером цыпленка на вертеле. Прежде, однако, ножницами капитана он привел в порядок бороду, волосы и усы, чтоб не так походить на жертву краха. И положил себе относиться к кораблекрушению как к загородному житью, сулящему обширную серию зорь, рассветов и (предвкусал он) заходов.

Спустился он, таким образом, через час после того, как куры отквохтали, и сразу же обнаружил, что яиц, которые должны были бы быть, если только куры квохтали не ложно, — не было. И не только это казалось странно. В кормушках свежее зерно было разровнено так аккуратно, как будто курицы его не разгребали.

В каком-то подозрении он заглянул в оранжерею и там увидел, что и в этот день, как накануне и наперед, листья блестели от росы, венчики были полны прозрачной влаги, вся земля около корней казалась мокрой, а перегной раскисшим и липучим; верный знак, что кто-то на протяжении ночи приходил поливать в теплице.

Забавно сказать, но первым его чувством была ревность. Кто-то хозяйничал на корабле и оспаривал у него и заботы, и ту пользу, которая могла быть от забот. Лишиться мира, дабы обрести в свое владение заброшенный корабль, а затем уведониться, что на нем живет кто-то другой, это было невыносимо, в точности как узнать, что Властительница, недостижимый и желанный предел, уступила желанию другого.

Затем наступил черед более разумного беспокойства. Точно так же как мир его детских лет вмещал в себя

Другого, который предшествовал и следовал Роберту, так же и “Дафна” по всей видимости имела нутро и закоулки, которых он еще не знал, и в которых таился неуловимый хозяин, кравшийся по всем путям Роберта вслед за тем как Роберт проходил или за миг перед этим.

Он бросился прятаться в каюту, как африканский страус, который закапывается головой и думает, что мира больше не существует.

Чтоб добежать до полуюта, он миновал отверстие трапа, спускавшегося в трюм. Что там скрывалось, в его глубинах, если на гондеке он нашел воссозданный Остров в миниатюре? Что там было, царство Постороннего? Заметим, что уже тогда он воспринимал судно как предмет страсти, предмет, который, только его откроешь, и только откроешь для себя, что желаешь его, как тотчас все те, кто владел им прежде, становятся узурпаторами. Что и признает Роберт в письме к Владычице: в тот миг, как ее увидел впервые, и увидел именно проследив за взором другого, не сводившего с нее глаз, он почувствовал мерзость, как будто обнаружив червяка на розе.

До чего это трогательно — ревновать посудину, провонявшую рыбой, дымом и мочой! Но Роберт уже тогда терялся в зыбком лабиринте, где от каждой развилки обе тропы вели к одному и тому же образу. Он страдал и по Острову, который был не его, и по кораблю, который был его, из-за недостижимости обоих: первого по причине далека, второго по причине загадки, и оба оказывались как бы на месте возлюбленной, обманывавшей его, обольщавшей посулами, которые он сам себе обетовал. Иначе невозможно воспринять письмо, где Роберт изощрается в выпренней слезоточивости лишь для того чтобы пожаловаться, по сути дела, на украденный завтрак.

“Сударыня,

как уповать на милость того, кто меня гонит? И все же кому, как не вам, повем печаль, взыскав утешенья, коли не в слушании вашем, то в собственных невыслушанных речах? Ежели любовь лекарство, излечивающее любую муку мукою еще горчайшей, прав ли я, в ней видя напасть, затмевающую своей огромностью любые другие напасти, так что

она становится снадобьем против чего угодно, исключая самое себя? Ибо если когда я и любовался красотой и вождедел ее, это была только греза о вашей красоте; как мне теперь горевать оттого, что и иная краса мне только греза? Горчее было бы, ежели та, иная, мне далась бы, и услаждаяся ею, я не крушился бы по образу вашей; жалкий медикамент! и болезненность моя бы усугубилась угрызениями из-за неверности мечте. Слаще доверяться вашему образу, и наипаче теперь, когда новократно я лицезрею врага, лицо которого незримо, и нежелательно мне узреть никогда. Дабы затмить это ненавистное явленье, да появится ваш возлюбленный призрак. И да обращусь я толикой неутоленной любовью в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный кладезь, высачивающий слезами неисточимую скорбь...”

Но и самоистребляясь этим терзанием, Роберт в каменный кладезь не превратился и поэтому от приступа горя, которое испытывал, обратился к горю, пережитому им в Казале и гораздо — как мы увидим — более роковому.

7. СЛЕЗНАЯ ПАВАНА ¹



та повесть настолько же прозрачна, сколь и

странна. На фоне легких стычек, выполнявших точно такую роль, какая в шахматной игре отводится — нет, не ходу, а взгляду, которым, предугадавши импульс хода противника, стараются предотвратить этот могущий стать выигрышным шаг, — Туара решил попытаться осуществить что-то более важное. Было ясно, что игра идет между разведкой и контрразведкой; в Казале распространялись слухи, будто подмога близка и ведет ее сам король, что господин Монморанси подвигается от Асти, а маршалы де Креки и де ла Форс от Ивреи. Ничего подобного, догадывался Роберт, видя ярость Туара, когда приходили с севера депеши. Туара уведомлял Ришелье, что у него кончаются припасы, а кардинал писал в ответ, что господин Ажанкур в свое время проинспектировал склады и видел, что Казале прекрасно продержится три летних месяца. Переход же армии по плану намечается на август, чтобы поддерживаться на марше продуктами нового урожая.

Роберт удивлялся, когда Туара подучивал корсиканцев дезертировать и доносить Спиноле, что французы подойдут только в осень. Но Туара пояснил штабным: “Если Спинола

¹ “Pavane Lachryme” — название мелодии Якоба ван Эйка (см. примечания к названиям глав 1 и 32). Павана — торжественный придворный танец XVI–XVII вв. Существен для последней страницы главы и еще один возможный подтекст названия: “Pavane pour une infante défunte” (“Павана по опочившей принцессе”) (1899) Мориса Равеля (1875–1937).

сочтет, что у него есть время, он займется подкопами, а нам даст делать контрподкопы. Если же он будет думать, что прибытие французов дело скорое, что ему остается? Не кидаться на эту армию — у него не хватит сил; и не ждать ее сложа руки, так его самого обложат; и не возвращаться в Милан ради обороны Миланской области, потому что это против чести. Ему останется немедленно брать Казале. Но так как у него не выйдет взять Казале лобовой атакой, он изведет прорву денег на подкуп города и гарнизона. С этой минуты любой друг может обратиться для нас во врага. Зашлем же мы наших подкупленных к Спиноле и убедим его, что эшелоны не подходят, позволим рыть и минировать траншеи там, где они нам не сильно вредны, и уничтожим те, которые действительно угрожают, и пусть изматываются в этих плясках. Господин Поццо, вам данная местность известна. На каких участках позволим им подкапываться, а где будем отгонять любой ценою?”

Тогда старик Поццо, не притрагиваясь к военным картам (они были слишком раззорены, чтобы внушать доверие) и тыча пальцем из окошка, доложил, в какой стороне земля дырявая, с родниками и ключами, там Спинола пусть ковыряет сколько хочет, его саперы рано или поздно задушатся, наевшись слизней; а в других местах рыть истинная радость, и туда надо лупить артиллерией и набегать нашей конницей.

“Быть по сему, — подытожил Туара. — Значит, завтра даем им жару около бастиона Святого Карла, а в это время располагаем засаду под бастионом Святого Георгия”. Идея была прекрасно решена, все роты получили точные распоряжения. А так как у Роберта был хороший почерк, Туара продержал его с шести вечера до двух утра, диктуя депеши, и сказал ему спать в одежде на ларе перед дверью, чтобы принять и рассмотреть ответы и разбудить, если обнаружится заминка. И пришлось так и поступать не однажды в ту ночь с двух часов и до рассвета.

Поутру войска были наготове в крытых проходах, защищенных контрэскарпами, и внутри крепости под стеной. По сигналу от Туара, который руководил из цитадели, первый авангард, довольно многочисленный, двинулся для

обманного маневра: вначале копейщики и мушкетеры, затем поддержка из пятидесяти человек с мушкетонами, на малом расстоянии от первых, а дальше, открытым маршем, пятьсот пехотинцев и две конных полуроты. Настоящий парад, и задним числом стало ясно, что испанцы таковым его и посчитали.

Роберт видел, как тридцать пять человек, которыми командовал капитан Колюмба, впрыгнули россыпью в окоп. Испанский капитан, вынырнувший из-за укрепления, церемонно отдал им честь. Колюмба и его люди, посередине атаки, замешкались и по правилам хорошего тона ответили испанцам с той же вежливостью. Испанцы показали, что соглашаются отступить, французы затоптались, Туара велел выстрелить со стены по траншее, Колюмба понял намек и скомандовал атаку, кавалерия налетела на окоп и справа и слева, испанцы неохотно заняли боевую стойку и тут же были сметены. Французы будто ополоумели, разя наотмашь, выкрикивая имена погибших друзей: "Вот вам за Бессьера, вот за высоту Брикетто!" Возбуждение было такое, что когда Колюмба попытался собрать людей, он не смог, те продолжали изгаляться над упавшими, поворачивались к городу, махали трофеями: серьгами, перевязями, клоками волос, насаженными на дровяки.

Контратаки не последовало, Туара допустил оплошность, посчитав это оплошностью, а это была уловка. Полагая, что имперские командиры собирают новую команду, дабы отразить налет, он теребил их артиллерией, они же ограничивались стрельбой по городу, и одно ядро угодило в храм Святого Антония, недалеко от генерального штаба.

Туара удовлетворился этим ответом и подал знак второму отряду выходить из башни Святого Георгия. Немногочисленное подразделение, но под командованием господина де Ла Гранжа: он был подвижен как подросток, невзирая на пятьдесят пятый год. С обнаженной шпагой, Ла Гранж повел атаку на заброшенную церковку, рядом с которой виднелся вход в уже начатую и разрытую сапу. Тут из смежной канавы и начала выскакивать чуть ли не вся главная сила неприятеля, с утра караулившая на месте встречи.

“Их предупредили”, — закричал Туара, бросаясь к воротам и подавая знак Ла Гранжу скакать назад.

Вскоре после того дозор Помпадурского полка им доставил, связанного по рукам, казальского парня, которого застукали на башенке у замка, откуда он белой тряпкой махал осадчикам. Туара разложил его на полу, просунул палец его правой руки под курок пистолета, уткнул ствол в ладонь левой руки парня, приблизил собственный палец к спуску и сказал: “Et alors?”

Парню повторять не понадобилось, он все рассказал. Накануне поздно, почти в полночь, перед церковью Святого Доминика, какой-то капитан Гамберо обещал ему шесть пистолей, три из них выдал сразу же, чтобы парень поступил как велено, что им было и выполнено. Велено было махать, как только французы выедут из ворот Георгия. Парень даже имел такой вид, будто, не понимая военных правил, ожидает остальных пистолей от Туара за оказанную службу. Тут он завидел Роберта и завопил, что это и есть капитан Гамберо.

Роберт остолбенел, отец его Поццо кинулся на поганого лгунишку и удушил бы, если б не удержали какие-то офицеры свиты. Туара сразу же возразил, что Роберт провел всю ночь с ним бок о бок и что при всей его приглядности никак не мог бы сойти за капитана. Тем временем доложили, что какой-то капитан Гамберо действительно числится в подразделении Бассиани; толчками и тычками его пригнали пред очи Туара. Гамберо надрывался, что ни в чем не повинен, да и парень сказал, что имел дело не с этим, однако Туара предусмотрительно велел посадить его под стражу. Добавило сумятицы сообщение о том, что при отходе формирования Ла Гранжа с бастиона Святого Георгия кто-то перебежал к испанцам и его встретили овацией. Подробности не были известны, только что бежавший был молод и одет был по испанскому фасону с сеточкой на волосах. Немедленно Роберт припомнил Ферранта. Но сильнее всего его удручила та подозрительность, с которой французские командиры буравили взорами итальянцев в свите Туара.

“Одной мелкой дрянью довольно, чтоб остановить армию? — слышался голос его отца, тот наступал на французов, а те пятились. — Простите, уважаемый друг, — повернулся Поццо к Туара, — но здесь, похоже, кто-то думает, что в наших краях все похоже на эту ракалию Гамберо, или я путаю?” И не слушая сбивчивых заверений Туара в дружестве и почтительности, Поццо выпалил: “Можете не трудиться. Тут, я вижу, многие наложили под себя, а мне от этих вшивых испанцев до того тошно, что я сейчас с вашего позволения уберу двойку-тройку, чтобы им показать, что и мы умеем плясать, когда есть музыка, и что не родился тот, кто припрет нас к стенке, разъязвив меня к чертовой матери в душу Господь!”

Он выскакал из ворот и погнал, подобно фурии, с выставленной шпагой, против неприятельских рядов. Разумеется, он не полагал обратить их в бегство, но на него нашло исступление — действовать по собственному почину и показать что следует испанцам.

Как доказательство храбрости это годилось, как военная операция не годилось никуда. Пуля вошла ему в переносье и откинула на круп Пануфли. Второй выстрел долетел до контрэскарпа, и Роберт почувствовал жесткий удар в висок, будто камнем, и потерял равновесие. Он был ранен, однако вывернулся из рук тех, кто его подхватил. С именем отца на устах он поднялся и увидел Пануфли, который в растерянности шел галопом с трупом хозяина в седле, по полосе ничейного пространства.

Тогда Роберт во второй раз засунул в рот два пальца и испустил условный свист. Пануфли услышал и повернул свой путь к стенам, однако медленно, мелким и торжественным скоком, чтобы не потревожить всадника, уже не стискивающего ему мощной хваткою бока. Он вернулся с легким ржанием, будто исполняя павану по опочившему хозяину, и передал его прах Роберту, который закрыл эти выкаченные заледенелые очи и отер чело, испачканное кровью, почти уже свернувшейся, в то время как ему самому еще горячая кровь из раны бороздила щеку.

Кто знает, не затронуло ли ему этим ударом зрительный нерв. На следующий день, на выходе из собора Святого

Евасия, в котором Туара организовал торжественное погребение господина Поццо ди Сан-Патрицио из рода Грив, Роберт с трудом выдержал свет дня. Может быть, глаза были разъедены слезами, но с этой поры они у него начали болеть. Современные исследователи психики сказали бы, что поскольку его отец удалился во владение тени, в эту же область хотел войти и Роберт. Он очень мало ориентировался в вопросах психологии, но как фигура речи подобное допущение вполне могло бы очаровать его, особенно в свете (или в тени) тех событий, которым было предуготовано произойти потом.

Вот так старый Поццо расстался с жизнью ради принципов, что мне кажется великолепным, но Роберт не думал того же самого. Все превозносили геройство отца, Роберту надлежало гордиться утратой, а он ревел. Помня, что отец говорил, что благородный человек обязан выдерживать не увлажняя глазниц удары карающей судьбы, он извинялся за слабость (перед родителем, который уже не спрашивал у него отчета) тем, что сиротеет впервые. Он думал, что постарается привыкнуть к тому, не понимая, что к утрате отца привыкать бессмысленно, все равно она не повторится никогда; с таким же успехом можно оставить рану открытой.

Но чтоб придать какой-то смысл произошедшему, он не мог опять не вернуться своими мыслями к Ферранту. Феррант, преследуя его незаметно, передал врагу известные Роберту секреты; вслед за тем бессовестно перешел на сторону врага, дабы взять иудину награду; отец, осознавший тягостную истину, пожелал кровью смыть позор с чести семьи и осиять биографию Роберта блистательною отчею отвагой, дабы очистить от подозрительной тени, которая незаслуженно пала на него, неповинного. Чтобы это самопожертвование не было напрасно, Роберт обязан был в честь отца являть примеры доблести, которая всеми людьми в Казале ожидалась от отпрыска героя.

У него не было выбора. Отныне он, законный властитель Грив, был наследником имени и состояния семейства, и Туара не мог уже его использовать для мелких дел, хотя не рисковал употреблять для крупных. Так, оставшись один,

по причине именно этой репутации знаменитого сироты, он оказался еще более одиноким, не получая даже утешения в действовании; среди азарта осады, не имея обязанностей, он мучил себя вопросом, как ему проводить дни в осажденной цитадели.

8. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА ИЗЯЩНЫХ УМОВ ТОЙ ЭПОХИ¹



ридержав на мгновение
наплыв воспоминаний,

Роберт осознал, что вызывает в памяти смерть родителя не из благого порыва растравить Филоктетову язву, а по чистой акциденции, призрак отца шел за призраком Ферранта, а последний был соединен с призраком Постороннего на “Дафне”. Эти двое облизнечились в его сознании до такой меры, что он решил изжить одного из них, слабейшего, а с сильнейшим побороться и его побороть.

В сущности, сказал он, в осадные дни чуял ли я по-прежнему дух Ферранта, двойника? Нет. Почему нет? Потому что Сен-Савен убедил меня в его мнимости.

Действительно, Роберт привязался к господину де Сен-Савену. Тот пришел на отпевание. Роберт принял это как знак приязни. Вдалеке от алкогольных паров Сен-Савен был благороднейшим человеком. Невысокого роста, нервный, прыткий, со следами на лице, видимо, тех парижских рассеяний, о которых рассказывал, он, должно быть, не достиг тридцати лет.

Он извинился за несдержанность памятной ночи, не за суть высказываний, а за резкую манеру. Он расспросил о господине Поццо, и Роберт был Сен-Савену благодарен за то, что он если не испытывал, то по крайней мере избражал живой интерес. Роберт рассказал, как отец учил его фехтованию; Сен-Савен задал вопросы, оживился при

¹ Сочинение римского иезуита, француза Франсуа Гарасса (1585–1631) “La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps” (1624).

описании одного приема, обнажил шпагу на площади и пригласил Роберта продемонстрировать штосс. Либо выпад был ему известен, либо искусство велико, так как он отпарировал батманом очень ловко, но согласился, что хитрость была первостатейной боевой школы.

Чтоб отблагодарить, он показал Роберту один из знаемых им приемов. Он пригласил Роберта в стойку, и обменявшись несколькими финтами, когда был атакован, Сен-Савен неожиданно соскользнул на землю, Роберт в удивлении открылся, а тот, чудом ожив, пружинно выпрямился и отрезал лезвием пуговицу с Робертовой сорочки, в знак того, что захотевши мог бы пропороть его очень сильно.

“Нравится, мой друг? — спросил он Роберта, сдававшегося и благодарившего за показ. — Это Удар Баклана, или Удар Чайки, зовите как звучнее. Кто бывал на море, знает, как эти птицы пикируют вниз почти отвесно, но над поверхностью воды их падение замирает и они резко взмывают ввысь с добычею в клюве. Этому удару учатся долго, не всякий раз он задается. Вот и молодчику, который изобрел его, однажды он не задался. Он отдал мне и жизнь и драгоценный свой секрет. И больше огорчился, я полагаю, о последнем”.

Они бы еще фехтовали, не соберись маленькая толпа жителей. “Прекратим, — сказал Роберт. — Не желаю, чтобы кому-то показалось, будто я забыл траур”.

“Вы лучше чтите отца тут со мной, — сказал Сен-Савен, — репетируя его уроки, нежели когда вы забивали себе уши дурной латынью в церкви”.

Тогда Роберт спросил Сен-Савена: “Вы не боитесь кончить жизнь на костре?”

Сен-Савен омрачился: “Мне было примерно столько лет сколько вам сейчас, один приятель был мне как старший брат. Я звал его именем древнего философа, Лукреций. Он тоже был философ, и вместе с тем священник. Он кончил жизнь на костре в Тулузе, перед казнью ему вырвали язык, потом придушили. Вот видите, мы, философы, острим языком не только ради “бон тона”, как полагал тот давешний господин за ужином. Пусть язык послужит для дела, пока

его не вырвали. Или, зубоскальство в сторону: язык должен побеждать предрассудки и исследовать природную причину вещей”.

“Так вы действительно не веруете в Бога?”

“Не нахожу для этого оснований в природе. И я не единственный. Страбон замечает, что галисийцы не имели никакого представления о верховном существе. Когда миссионеры стали рассказывать о Боге туземцам Западных Индий, как свидетельствует Акоста... кстати, он иезуит... им пришлось позаимствовать слово испанского языка “Dios”. Вы не поверите, но в языке туземцев не содержалось соответственного термина. Если идея Бога не наблюдается в живой природе, значит, эта идея выдумана людьми... Ну, не смотрите же на меня как будто я не дворянин твердых принципов и не преданный слуга королю. Истинный философ не требует переменить порядок вещей. Он приемлет этот порядок. Он лишь взывает чтоб ему позволили питать собственные мысли, утешающие сильную душу. Что до других... На счастье, существуют епископы и папы, удерживающие толпу от бунта и мятежа. Упорядоченное государство вынуждает к однородному поведению. Религия необходима для народа. Умный человек поступает частью независимости, чтобы общество было стабильно. Я полагаю себя человеком почтенным. Я верен дружбе; не лгу, то есть лгу только в любовном разговоре; люблю познание и сочиняю, как уверяют окружающие, неплохие стихи. Поэтому дамы считают меня галантным. Я бы хотел писать романы, поскольку они изрядно в моде, но вспамятуя многие из них, зарекаюсь от написания даже и единого”.

“Какие романы?”

“Нередко, глядя на Луну, я воображаю, что пятна на ней — это пещеры, города, острова, а сияющие пространства — моря, блистающие на солнце, как зеркальные поверхности. В моем уме складывается повесть их королей, их войн и революций, или несчастливых любовников, которые по ночам вздыхают, созерцая нашу Землю. Мне бы хотелось рассказать о распрях и о приятельстве частей нашего тела, как руки состязаются с ногами, как вены любодействуют с артериями, кости с костным мозгом. Ненаписанные

романы гоняются за мной. Когда я у себя в спальне, мне кажется, что я ими окружен, бесенятами, и один таскает меня за ухо, другой за нос, и каждый: “Господин, возьмитесь за меня, я великолепен”. Затем я вижу, что возможно разыграть не менее любопытную историю, устроив забавную дуэль, например если в знак победы вынудить противника отрешиться от Бога и после этого проткнуть, чтобы он ушел на тот свет отреченцем и попал прямо в ад. Ну же, де ла Грив, шпагу наголо, попробуем снова, защищайтесь! Ваши пятки на одной линии, это дурно, теряете устойчивость. Голову не держите так прямо, потому что протяженность от плеча до вашей макушки открывает слишком большое пространство для моих фланконад”.

“Но я всегда могу парадировать, ведь шпага на вытянутой руке”.

“Тоже неправильно, рука быстро устанет. Вдобавок я занял ангард по-немецки, а вы остались в итальянской стойке. Это плохо. Когда перед вами противник в необычном ангарде, старайтесь повторить его стойку как можно точнее. Однако вы не рассказали ничего о себе. Чем вы занимались до того как угодили в сию долину праха”.

Никто не очаровывает юношу сильнее, чем старший приятель, блистающий двусмысленными парадоксами. Юноша всеми силами старается превзойти того. Роберт распахнул душу Сен-Савену. Чтобы казаться интереснее, а первые шестнадцать лет его жизни не так уж много давали к тому материала, рассказал об одержимости неизвестным близнецом.

“Вы начитались романов, — сказал Сен-Савен. — И даже стараетесь прожить один из них. Отлично, так как задача романов обучать развлекая, а обучают они распознавать капканы, которые ставит нам жизнь”.

“Чему же может научить, по-вашему, роман о Ферранте?”

“Роман, — пояснил на это Сен-Савен, — всегда основывается на путанице, персоны ли, действия, места, времени либо обстоятельств. Из этой основной путаницы проистекают частные недоразумения, подмены, казусы и перипетии, а вслед за тем неожиданные и приятные узнавания. Путани-

цей может выступить мнимая смерть героя, или когда убивают одного вместо другого, или бывают ошибки в количестве, это когда любовница полагает умершим одного любовника и соединяется с другим, или ошибки в качестве, то есть когда к ошибочному выводу приходит суд чувств, или когда хоронят того, кто не умер, полагая покойным, а он под воздействием дурманного былья; или еще превратность отношения, когда одного облыжно выводят убийцею другого; или превратность средства, как если закалывают, используя такой кинжал, в котором лезвие не вонзается в тело, а уходит в рукоять, и надавливает там на губку, пропитанную кровью... Не говоря уж о подмененных посланиях, о ложных слухах, а также о переписке, не доставленной вовремя либо доставленной не в то место или не тому адресату. И из всех названных страгем самая приветствуемая, но чересчур избитая, это та, которая представляет ошибочное принятие одного лица за другое, объяснение каковой погрешности заключается в двойничестве... Двойник, или Сосий греческой комедии, это отражение, которое у героя маячит за плечами или предшествует ему во всяких обстоятельствах. Изумительная уловка, при которой читатель отождествляет себя с персонажем и делит с оным смутную боязнь Брата-Противоборца. Но вы видите, до чего подобен машине человек; достаточно обернуть колесико на поверхности, чтоб зашевелились другие в его нутре; Брат и противоборье не иным являются, как отражением боязни, которую всякий питает к самому себе, к тайникам своей души, где содержатся неудобовысказуемые страсти или, как называют их в Париже, концепты, глухие невыразимые концепты. Поелику доказано, что есть неуловимые помышления, которые впечатлеваются в душу даже когда душа не сознает того; потаенные мысли, бытие которых доказывается из той данности, что сколь ни мало каждый сам себя исследует, не преминует обнаружить, что в сердце у него любовь и ненависть, мед и растрава, хотя и не умеет точно припомнить те рассуждения, которыми эти чувства рождены..."

"Значит, выйдет, Феррант..." — заикнулся Роберт, а Сен-Савен продолжил: "Феррант замена ваших страхов и ваших стыдов. Очень часто люди, чтоб не признаваться себе, что

они распорядители своей жизни, видят ее как роман, движимый взбалмошным обманщиком сочинителем”.

“Но что за смысл имеет моя парабола, сочиненная бессознательно?”

“Кто знает? Вдруг вы не любите вашего папашу настолько крепко, как сами верите, и опасались суровости, с какой он требовал от вас быть добродетельным, и выдумали его виноватость, чтобы затем покарать его, не собственной виной, а чужою”.

“Сударь, вы говорите с сыном, оплакивающим возлюбленного отца! Полагаю, что тяжелейший грех внушать непочтительность к отцу, нежели даже к Создателю!”

“Полегче, полегче, милый де ла Грив! Философ смеет критиковать обманные поучения, которыми нас напичкивали, и среди них — бессмысленное требование почитать старость, как будто бы не молодость — наивысшее благо и наивысшая доброта. Ну по совести, молодой человек, способный замышлять, судить и действовать, не более ли пригоден к управлению семьей, чем расслабленный, на седьмом десятке, обморозивший сединой и волосы свои и характер? То, что мы почитаем за осмотрительность в наших старцах, не что иное, как панический страх перед действием. Вам угодно подлежать таким, которые от лени утратили упругость мышц, чьи сосуды заскорузли, чьи соки испарились и костный мозг усох во внутренности костей? Если вы обожаете женщину, не по причине ли ее красот? Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колена, когда возраст обращает ее в привидение когдатошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам неминуемую смерть? И ежели вы так обходитесь с вашими любовницами, почему бы не так же обойтись и с вашими старцами? Вы мне скажете, что старец вам родитель и что небеса обещают вам многие лета за то, что вы его обиходите. Но кем это сказано, я спрашиваю? Кем? Евреями-долгожителями, понимавшими, что просуществовать среди пустыни они сподобятся лишь поработивши порождения собственных чресл. Вы думаете, что небеса прибавят вам хотя бы один день жизни за то, что вы овечка перед батюшкиной волею? Что пыль, развеваемая перьями в пылу ваших почтитель-

нейших поклонов пред стопами родителя, способна излечить злокачественный нарыв, зарубцевать в вас дырку от шпаги или вывести камни из пузыря? Коли б так, лекаря не прописывали бы вам обычную гадость, а рекомендовали бы, против итальянской болезни, четыре реверанса до еды перед высокочтимым вашим патриархом и поцелуй высокочтимой родительницы прежде чем укладываться спать. Вы скажете, что без отца вас не было бы на свете, ниже его бы не было помимо его родителя и так все выше и выше вплоть до Мельхиседека. В то время как отец вам повинен, а не вы ему, ибо расплачиваетесь многими слезными годами за одну секунду приятной для него щекотки”.

“Вы сами не верите в то, что говорите”.

“Не верю. Почти. Но философ подобен поэту. Последний сочиняет идеальные послания идеальной нимфе, дабы промерить лотом поэтического высказывания глубину собственной аффектации. Философ поверяет хладность собственного взора, хочет видеть, вплоть до которой степени он способен подточить твердыню ханжества. Я не стремлюсь укоротить почтение ваше к родителю, поскольку вы рассказываете, что он дал вам полезные уроки. Но не печальтесь слишком сильно при воспоминании о нем. Я вижу у вас слезы...”

“Это не от печали. Наверное, ранение в голову ослабило мне глаза”.

“Пейте кофий”.

“Кофий?”

“Попомните, он входит в моду. Вылечивает от всего. Я вам достану кофию. Он сушит хладные гуморы, гонит ветры, усиливает печень и нет великолепнейшего средства от водянки и чесотки. Освежает сердце, облегчает от маеты в желудке. Паром кофия пользуют от слезотечения, звона в ухе, от насморка, отделения носовых мокрот, называйте как угодно. И еще, похороним вместе с вашим папашею того неудачного брата, которого вы сочинили. Далее. Заведите себе любовь. Она поможет лучше, чем кофий. Огорчась из-за живого существа, забудете горечь по мертвому”.

“Я еще не любил женщину”, — порозовев, признался Роберт.

“Не обязательно женщину. Это может быть мужчина”.

“Сударь!” — завопил Роберт.

“Вот видно, что вас воспитывали в деревне”.

Вне себя от смущения, Роберт начал прощаться, сославшись на глазное нездоровье. И положил конец свиданию.

Пытаясь отгородиться от всего, что услышал, Роберт убедил себя, что Сен-Савен шутил. Как на дуэли, показывал те уколы, которые модны в Париже. А Роберт показал себя провинциалом. И не только; выслушивая с серьезностью шальные речи, согрешил, а этого бы не случилось, прими он их сразу же за шутку. Теперь же удлинился перечень совершенных им преступлений; он склонил ухо к осквернению веры, приличий, государства и почтения к семье. Обдумывая сии проступки, он отуманился еще горчее: вспомнил, что отец его опочил, имея на устах святохульство.

9. ПОДЗОРНАЯ ТРУБА АРИСТОТЕЛЯ¹



На другой день он опять молился в соборе Святого Евасия. Он искал там прохлады; в тот первоиюньский полдень солнце палило полупустынные улицы — точно так же и ныне на “Дафне” ощущался жар, накатывавший от краев бухты, борта корабля не спасали, дерево калилось как в огне. Но ему хотелось не только охладиться, а и покаяться в своем и отцовом прегрешении. Он остановил священника в нефе, тот сразу сказал, что не того прихода, но увидев глаза юноши, все-таки согласился и уселся в исповедальню слушать.

Отец Иммануил, не престарелый годами, имел около сорока и по описанию Роберта был “полносочен и розовощек при лице горделивом и приветном”. Роберт, расположенный к нему, высказал все терзания. Прежде всего он упомянул об отцовом богохульствии. Верно ли, что из-за этого отец не состоит сейчас в объятиях Отца, а терзается в преисподне ада? Исповедник задал несколько вопросов и вместе с Робертом пришел к заключению, что в какой бы миг своей жизни старый Поццо ни вынужден был распроститься с земной юдолью, вероятность подобного исхода, то есть когда он суесловил именем Господним, была достаточно велика. Такую пагубную привычку заимствуют у просто-народья, и помещики области Монферрато полагали, что

¹ Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эмануэле Тезауро (1592–1675) “Il Cannocchiale Aristotelico” (1654).

это очень лихо — выражаться в обществе себе подобных, как грубые землепашцы.

“Видишь ли, сынок, — подвел итог исповедник. — Твой отец опочил в миг, когда им совершалось одно из тех великих и благородных Деяний, за которые, по поверью, причитается доступ в Парадиз Героев. Так вот, вообще-то я не считаю, будто подобный Парадиз имеет место, и полагаю, что в Царствии небесном сожительствуют в священном согласии Властодержатели и Нищевродники, Самоотверженцы и Малодушные, и неупустительно Милостивый Господь не отринет твоего родителя из пределов только из-за того, что у него не то навернулось на язык, когда голова была вся занята исполнением геройства; рискую даже предположить, что в подобные моменты любое такое Восклицание может использоваться для призывания Господа во Свидетели и Судии благого поступка. Если ты все же продолжаешь крушиться, то помолись за спасение отчей души и закажи за него мессу, не столько чтобы вынудить Господа переменить его суд, так как Господь не флюгарка, чтобы вертеться туда и сюда из-за первого сквозняка, а ради умиротворения твоей собственной совести”.

Тогда Роберт признался, какие соблазнительные речи он слышал от друга; тут отец Иммануил безутешно развел руками. “Сынок, я мало знаю Париж, но слушая рассказы, просто даешься диву, сколь изобилен Безрассудниками, Наглецами, Вероотступниками, Доносителями, Интриганами этот новый Содом. Между оных нередки Лжесвидетели, Мощехитители, Осквернители Распятый, и такие, кто снабжает деньгами неимущих, дабы те отрекались от Господа, и даже такие Люди, которые для издевательства окрестили собак... И это называется следовать моде века. Во храмах сейчас уже не звучат проповеди, там прогуливаются; там посмеиваются, укрываются за колоннами, желая докучать женщинам, и слышится непрерывное бормотание даже во время Вознесения Даров. Под соусом философствования, изводят тебя злонамеренными вопросами: зачем Господь ниспослал миру заповеди? зачем запрещено прелюбодеяние? зачем Отпрыск Божий воплотился? — и каждый и любой ответ они используют в оправдание атеизма. Вот они,

Благородные Умы нашего времени: Эпикурейцы, Пиррониане, Диогенисты, и Либертины! Так не наклоняй слуха к этим Искусителям, они заманщики от Лукавого”.

Обыкновенно Роберт не злоупотребляет заглавными буквами, как грешили сочинители его эпохи. Но когда он пересказывает высказывания и сентенции отца Иммануила, заглавные буквы преизобилуют, как будто святой отец не только писал, но и выговаривал слова с некой особой торжественностью — признак великой и очаровательной красноречности. И действительно, от всех этих его слов Роберт испытал такое успокоение, что выйдя из исповедальни, пожелал еще некоторое время говорить с отцом Иммануилом. Он узнал, что священник — иезуит, что он прибыл из области савойцев и является персоной далеко не последнего разбора в городе, ибо исполняет обязанность наблюдателя, уполномоченного герцогом Савойским; это было в порядке вещей при осадах того века.

Отец Иммануил охотно состоял в своей должности. Мрачная осадная жизнь более способствовала успешности занятий, нежели рассеянный Турин. На вопрос, в чем состоит его наука, он отвечал, что, подобно астроному, созидает Зрительную Трубу.

“Ты не мог не слышать о том Астрономе Флорентийце, который для объяснения Мира использовал Зрительные стекла, гиперболу очес, и с Подзорною трубою увидел то, что глаза только воображали. Я ценю, когда употребляются Механические Приборы, чтоб разобрать, как принято говорить сейчас, распространенную Вещь. А чтобы расследовать Вещь мыслящую, то есть понять наш подход к постижению мира, мы должны использовать другую трубу, ту, которую уже применял Аристотель, и она не труба и не линза, а Словесная Сеть, Проницательная Идея, потому что лишь благодаря дару Изобретательной Элоквенции возможно постичь сущий Универс”.

Говоря, отец Иммануил вывел Роберта из церкви и, прогуливаясь, они сошли на отсыпной скат перед бастионом, там было тихо в послеполуденный час, редкие пушечные выстрелы как в вате погрохотывали на другой стороне. Прямо перед ними, на отдалении, были аванпосты имперских

войск, но между городом и имперцами лежали поля и луга, в них не было ни солдат ни повозок, и склоны холмов сияли под лучом.

“Что ты видишь, чадо?” — спросил отец Иммануил. На что Роберт, в ту пору несильный красноречием: “Поля”.

“Само собою, каждый способен видеть эти Поля. Но хорошо известно, что в зависимости от стояния Солнца, от освещения неба, от часа дня и времени года поля показываются нам в различных видах, будят разные чувства. Мужичку, умаянному работой, они представляются Полями, и вся недолга. И неотесанный рыбарь, видя в небе ночные Огненные Знаки, немо их созерцает и боится; но лишь стоит Метеорологам, а по существу Поэтам, додуматься назвать их Кометами — Гривастыми, Бородатыми либо же Хвостатыми; Козами, Балками, Щитами, Факелами и Стрелами, — как эти фигуры речи разьясняют, какие остроумные Символы употребляет Натура, когда пользуется сказанными Образами на манер Иероглифов, каковые с одной стороны соотносятся со знаками Зодиака, а с другой с Событиями, миновавшими и будущими. А Поля? Смотри, сколько можно сказать о них, и чем больше говоришь, тем больше открываешь своему взору. Дышит Фавоний, Земля распахивается, плачут Соловьи, павлинятся Деревья, гривастые листвою, и ты проницаешь восхитительный замысел Полей в разнообразии злаковых семейств, вспаиваемых Ручьями, что перешучиваются в отроческой беззаботности. Праздничные Поля ликуют, при явлении Солнца открывая лик; радуются радугой улыбок при явлении Светила; упиваются лобзаниями Австра, и хохотанье пляшет на земле, и земля расстилается для нешумливого Счастья, и утреннее тепло преисполняет Поля Довольством, которым они захлебываются в слезоточении рос. Увенчанные цветами, Луга отдаются своему Гению и слагают остроумные Гиперболы Радуг. Но в скором времени их Младенчество сознает, что не за горами омертвелость, и смех их смущается внезапною бледнотою, выцветает небо, и Зефир, явившийся с опозданием, развеивается над чахнущею Землей. При первом приближении досад зимы, скукоживаются поля и цепенеют от холода. Вот, сын: если бы ты попросту сказал, что поля бла-

говидны, ты бы только описал их зеленоцветие, наглядное и без того; а если ты говоришь, что слышится полей смех, ты даешь мне познать Землю, как одушевленного человека и, обоюдно, я прочитываю на человеческих лицах такие полутона, которые наблюдал на лугах... Вот она, работа наивеликолепнейшей из Фигур из всех — Метафоры. Если Гений, Быстрый разум, а следовательно и Знание, состоят в связывании между собой отдаленных понятий и в нахождении Подобий между вещами неподобными, Метафора, из всех известных фигур самая острая и редкая, единственная способна производить Изумление, из коего родится Услада, как при смене декораций на театре. И если Услада, доставляемая Фигурами, состоит в изучении новых вещей без натуги, и многих вещей в малом объеме, вот так же и Метафора, перенося на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредоточивает нам в одном слове более чем один Предмет”.

“Но надо уметь изобретать метафоры, и это не под силу такой деревенщине как я, который во всю свою жизнь на эти поля обращал внимание только для охоты за бекасами”.

“Ты благородная персона, и не так уж далек от того, чтобы превратиться в такого, которого во Франции называют *Honnêt homme* — светским человеком, не менее ловкого в словопрениях, чем в ратоборстве. Уметь производить Метафоры, а следовательно, видеть мир неизмеримо шире, чем он постижим для неучей, это Искусство, к которому можно приобщиться. Если уж ты хочешь знать, я, живущий в современном мире, где все с ума походили по многим и изумительным Машинам, из которых изрядное число имеется на вооружении, увы, и у наших осадчиков, я также сооружаю Машины Аристотелевы, которые дают возможность любому и каждому прозреть при использовании Словес...”

Спустя несколько дней Роберт познакомился с господином делла Салетта, он служил офицером связи между Туара и городскими властями. Туара сетовал Роберту на казальцев, в надежности которых все больше сомневался. “Не понимают, — говорил он, — что даже и в мирное время

Казале в таком положении, что не может дать пропуск ни одному пехотинцу и ни одной корзине провианта без разрешения испанских министров? И что только французский протекторат поставит Казале на уважительное место?” Однако от господина делла Салетта Роберт узнал, что Казале не слишком благоденствовал и под мантуанскими господами. Политика герцогов Гонзага была издавна нацелена на сужение казальских свобод, и в последние шестьдесят лет город пережил горечь постепенной утраты многих привилегий.

“Понимаете, де ла Грив? — горячился Салетта. — Прежде мы страдали от чрезмерных поборов, однако теперь к ним добавляются все расходы по содержанию гарнизона. Нам не хочется иметь испанцев в доме, но такой ли уж сахар эти французы? За себя мы погибаем или за них?”

“За кого тогда погиб мой отец?” — спросил Роберт. Господин делла Салетта не сумел ответить ему.

В отвращении к политическим разговорам, Роберт пошел к иезуиту Иммануилу, через несколько дней, в монастырь, где тот располагался, там его направили не в келью, а в апартамент, который был тому определен под сводами самого тихого клуатра. Когда Роберт пришел, тот беседовал с двумя господами, один из них был роскошно разодет; он был в пурпуре с золотыми аграмантами, плащ покрыт золоченым позументом, подбит мехом, камзол оторочен полосой красной материи в крестах, швы отделаны галунами с камушками. Отец Иммануил представил его как альфиера дона Гаспара де Саласара, да еще и прежде Роберт сам по надменному голосу и по обстрижке бороды и волос признал в нем офицера противнической армии. Вторым собеседником был господин делла Салетта. Роберт на какой-то миг обомлел, представив, что угодил в шпионское логово, но затем, подумав, догадался, как догадываюсь и я по описываемой картине, что на основании этикета осады в те времена некоторые представители осаждающих армий законно допускались в стены осажденных городов, для переговоров и для связи, точно так же как господин делла Салетта свободно ходил в лагерь Спинолы.

Отец Иммануил сказал, что именно намеревался продемонстрировать гостям Аристотелеву машину, и проводил спутников в комнату, где стояла самая странная постройка, какую только можно себе представить, и я не убежден, что сумею точно воссоздать ее форму по рассказу, включенному Робертом в одно послание к его Даме, поскольку речь идет о чем-то не встречавшемся в действительности ни до того, ни посейчас.

Итак, в комнате находился обширный не то сундук, не то верстак, в боковой его стороне были вдвинуты ящики, девять по вертикали, девять по горизонтали, следовательно восемьдесят один. Все ряды и сверху и сбоку обозначались награвированными буквами (BCDEFGHIK). На поверхности верстака на пюпитре стояла большая рукописная тетрадь, в тетради были раскрашенные заставки. Справа от пюпитра — устройство из трех валков, разной длины и толщины (самый короткий был самым толстым и два длинных и тонких могли проворачиваться у него внутри), рукоятка справа позволяла крутить их, причем обороты были у каждого разные из-за различия размера, слева на краях валков были нанесены те же самые девять букв, что и на ящиках в шкафу, таким образом, раскрутив устройство, получали при останове любые произвольные сочетания из трех букв: CBD, KFE или BGH.

“Как Философ научает нас, Острый разум не в ином коренится, как в умелом проникновении в суть предметов сообразно десяти Категориям, каковы Сущность, Количество, Достоинство, Связь, Действие, Чувство, Местоположение, Время, Основание, Обычай. Сущность, это основной действователь каждой Остроты и надлежит проглядывать в Сущностях сокрытые восхитительные свойства. Каковы известные нам Сущности, перечислено в моей рукописной тетради под буквою А, и пожалуй самой долгой жизни не хватит для полного Сущностей перечисления. Я усиленно собрал в тетради их несколько тысяч, почерпывая из книг Поэтов и Наукославцев, и из того изумительного Регистра, который находится в “Фабрике мира” Алунно. Итак, к числу Сущностей причисляем, вслед за Всеблагим Вездесущим Богом, и Божественных Персон, и Идеи. Тут же вся

греческая боговщина: Сказочные Боги, наибольшие, срединные и малые, Божества небесные, воздушные, морские, земные и адские, Герои обожествленные, Ангелы, Дьяволы и Духи, Небеса и странствующие Звезды, Небесные знамения и созвездия, Зодиак, Круги и Сферы солнцеворота, Стихии, Испарения, Пары, а за этим вслед — чтобы не утомлять вас перечислением — Подземные Огни и Искры, Метеоры, Моря, Реки, Родники и Озера и Скалы... Добавим Рукотворные тела, именно произведения всяческих Искусств: Книги, Перья, Чернила, Глобусы, Компасы, Квадранты, Дворцы, Храмы и Хижины, Щиты, Мечи, Барабаны, Картины, Кисти, Статуи, Резцы и Пилы, и метафизические Сущности, как Род, Вид, Различие, Принадлежность и подобные Данности”.

Отец Иммануил выдвигал ящички своего огромного ларя и показывал, что в каждом внутри наставлены квадратные листики из толстого пергамента, обычно используемого для книжных переплетов: “Каждый вертикальный ряд соответствует, от В до К, разным словам из девяти категорий Свойств, и для каждой Категории имеется девять ящичков, где обитают Семейства Членов. *Verbi Gratia* ¹, категория Количества вмещает следующие семьи: Семейство Количества по Размеру (среди его Членов мы находим: Большой и Малый, Длинный и Короткий), а также Семейство Количества по Численности (члены: Нисколько, Один, Два и так далее; Мало и Много). Далее категория Достоинства, к ней отнесем такие Части: Достоинства Зримые: Видимый, Невидимый, Прекрасный, Уродливый, Светлый, Темный; Достоинства Обоняемые: Аромат, Зловоние; Достоинства Чувствований, такие как Радость и Грусть. И такие таблички собраны для любой из девяти Категорий. На каждую Табличку занесен один Член, и туда мы приписываем все Предметы, для оногo подразделения предназначенные. Это ясно?”

Присутствующие в восхищении закивали. Отец Иммануил продолжал:

¹ К примеру (*лат., ит. — шутл.*).

“Теперь наудачу откроем Великую книгу Сущностей, и посмотрим которая попадется... Карлик. Что мы могли бы сказать, еще до Метафорических Именований, попросту о Карлике?”

“Что он недоросток, недомерок, урод... несчастливый, некрасивый, потешный...”

“Все это справедливо, — согласился отец Иммануил. — Но трудно предпочесть определение, и вдобавок, полагаю, придись мне судить не о Карлике, а скажем, о Кораллах, навряд бы мне пришло на ум столько же выдающихся черт. Кроме этого, Малость как свойство подлжит категории Количества, Уродство относится к категории Достоинства, и откуда надо начинать? Нет уж, пристойнее препоручиться Судьбе, коей Местодержатели, это мои катушки. Сейчас я запущу их и прочитаю, как вот теперь, что случайно совместились В, В и В. Первая из этих В, это Количество, В во втором положении посылает меня заглянуть, внутри категории Количества, в ящик Объема, и там, в самом начале ряда, в положении В, мы обнаружим Маломерность. На этой табличке, где собрано все малое, я прочту, что мал Ангел, могущий быть на острие иглы, и Полюс, единственная неподвижная точка вращающейся сферы; а из отряда веществ малы огненная Искра, Капля воды, каменная Крупица, Атом, из которых, по свидетельству Демокрита, состоят все тела; из отряда Человеков, Зародыш, Зрачок, таранная косточка в ступне — Астрагал; из животных Муравей и Блоха, из растений мучная Пыль, горчичное Семя и спора хлебной Плесени; из математических наук *minimum quod sis*, точка над буквой *i*, переплет в шестнадцатую долю, драма академии Специали; из зодчества, каморка, дверная петля; а из басен Хлебогрыз, мышинный царь в их войне с лягушками; Мирмидоняне, рождаемые муравьями... Но остановимся перечислять, ибо уже и так мы для потехи можем назвать Малорослого человека Урожденным ларчиком, Детской куколкой, Человеческой мукой. Теперь глядите, вот если бы мы восхотели заново развернуть наши валики, чтобы получить, тут к примеру, СВФ, буква С отослала бы нас к Достоинствам, В наущала бы выбрать среди Достоинств внутри ящика ту часть, где подобраны Достоинства Зримые,

а там на позиции F обнаружались бы слова, описывающие Невидимость. Среди Невидимых содержатся, удивительное соположение, снова Атом и еще Точка, и это позволяет мне описывать моего Карлика как Атом человека, или же Точку плоти”.

Отец Иммануил поворачивал свои цилиндры и перебирал карточки проворно, будто ярмарочный фигляр, и метафоры высыпались из него, как по заклятью, при неощутельности механического усилия. Но он никак не мог удовлетвориться.

“Господа, — продолжал он сыпать словами. — Гениальная Метафора обязана быть куда замысловатей! Каждая Вещь, которую я поминал доселе, в свою очередь обязана поверяться в свете десяти Категорий, и как объясняется в моей Книге, если нам брать в расчет некую вещь, которая зависит от Свойства, то надо смотреть, видимая ли то вещь, и с какого видима расстояния, и какое в ней Уродство либо же Краса, и какой цвет; сколько от нее Звучанья, сколько Запаха, сколько Вкуса; чувствительна ли она и трогательна ли, редкая или плотная, горячая или холодная, и какой Конфигурации, и к какой взывает Страсти, Любви, к какому Искусству, Знанию, к какой Здравости, Убогости, и можно ли ею обучиться. Я зову такие вопросы Частностями. И вот мы знаем, что первая наша проба побудила нас действовать через Количество, среди Членов которого находила приют Малость. Теперь я снова раскручу цилиндры и получу триаду ВКD. Литера В, как нами уже условлено, обозначает Количество, и если я обращусь к собственной книге, там сказано, что первый частный способ, нацеленный на описание Малости, состоит в указании, в каких единицах она мерится. Таким образом мы возвратимся к ящичку Количества, в семейную группу Количества Общего. Придем в раздел Единицы Измерения и выберем там подгруппу К, то есть Землемерную Пядь. Таким манером я строю сравнение достаточно остроумное, например, сказав: сему Младенческому Обсосу, Атому Человека, и пядь землемерная чересчур великая мера. Так мы Метафору соединим с Гиперболой о Жалкости и Смехотворности Карлика....

“Какая восхитительность, — сказал господин делла Салетта. — Но во второй избранной вами триаде осталась неиспользованная литера, D...”

“Меньшего я и не ждал от вашей проницательности, — с удовольствием ответил отец Иммануил. — Вы затронули Предивный Пункт моего Конструкта! Эта запасная литера, которую я способен и отбросить, буде наскучу, или решу, что цель и без нее достигнута, это она дает мне возможность снова производить изыскания! Эта D позволяет мне сызнава пройти все круги Частностей, ища в категории Одежаний (к примеру, какое платье приличествует в данном случае, или может ли данная вещь служить на платье эмблемою чего-то). Отсюда я опять вернусь к машине, как в свое время сделал с Количеством, и снова начну крутить Цилиндры, используя первые две литеры и придерживая про запас третью для возможной новой пробы, и так до бесконечности, в течение миллионов вероятных Соположений. Разумеется, одни из них будут более остроумны, другие менее. Тут уж моему Понятию приличествует отбирать те, которые вернее породят Изумительность. Но не могу обманывать вас, господа, я выбрал Карлика не по случайности, а оттого, что всю сегодняшнюю ночь истратил я на то, чтобы с великим тщанием подобрать все приличествующие сравнения именно для этой Субстанции”.

Извлеки исписанный лист, он приступил к длиннейшей череде определений, которыми осыпался незадачливый Карлик, человек короче собственного имени, которого верней бы звать зародышем, частью человека, ведь и корпускулы, проходящие со светом через окна, крупнее него; и его тельце совокупно с миллионом подобных могло бы протекать, меря время, сквозь тоненький перешеек клепсидры; он крошка такой, что где ноги, там и голова; откуда начинается этот плотский сегмент, там он и кончается; это линия, загустевшая в точке; острие иглы; предмет, с коим говорить следует осторожно, дабы дыханием не свеять с места; столь мелкая малость, что не имеет цвета; горчичное зернышко, малое и жгучее; тельце, в котором не более, хоть и не менее, того, чего никогда не бывало; материя без формы; форма без материи; тело без тела; чистое явление рассудка;

изошрение гения, защищаемое собственным ничтожеством, поелику ни единым ударом поразить его не удастся; в любую скважину он сможет укрываться; питаться целый век ячменным зернышком; он сокращен до такой крайности, что неясно, в лежачем, сидячем либо же стоячем положении пребывает; способен утонуть в улиточной скорлупке; семя, гранула, зернышко, точка над *i*, математическая неделимость, ничто арифметическое...

И он бы продолжал, имея достаточный запас заготовленных сравнений, если бы присутствующие не заглушили его речь рукоплесканиями.

10. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ГЕОГРАФИЯ И ГИДРОГРАФИЯ¹



Теперь Роберту было ясно, что отец Иммануил действовал, по сути, как последователь Демокрита и Эпикура: накапливал атомы концептов и сочетал в фигуры, создавая различные предметы. Как и Диньский каноник, отец Иммануил тем доказывал, что представление о мире, состоящем из атомов, не противоречит идее о божестве. Божество, существуя, совокупляет атомы как хочет. Отец Иммануил тоже из распыленных концептов избирал лишь наиостроумнейшие сочетанья. Так же было бы, создавай он постановки для театров. Выстраивают же комедиографы неправдоподобные и острые сюжеты из материала правдоподобного, но пресного, производя на свет эффектных “козлооленей” интриги?

А если так, не выходило ли, что обстоятельства, стечением которых определились и кораблекрушение, и житье Роберта на “Дафне”, притом что обстоятельства сии — гнущаяся и скрипучая мачта, аромат растений, пение птиц — порознь были вполне правдоподобны, в совокупности порождали иллюзию какого-то присутствия, являющуюся только следствием фантазмагии, порождением воображения, как и смех лугов и слезоточение рос? Фантом пролазы представлял собой коллаж из атомов действия. То же представлял собой и фантом потерянного брата. Оба склеивались из фрагментов Робертова лица и из кусочков его помыслов и желаний.

¹ Латиноязычный труд ученого иезуита Джованбаттисты Риччоли (1598–1671) “*Geographia et hydrographia reformatae*” (1661).

Как раз когда по стеклам забарабанил очаровательный дождик, облегчительный в этот дневной зной, Роберт сказал себе: все сходится. Не кто иной, как я, взошел на этот корабль. Я и есть пролаза. Это я возмущаю спокойствие своим расхаживаньем. И вот, по существу робея, что нарушил святиню иных, создаю второго самого себя, блуждающего по тем же подмосткам. Какие доказательства, что Иной имеет место? Несколько капель росы на листьях? Разве влага не могла, как проливается теперь, пролиться минувшей ночью? Птичий корм? Что ж? Разве птицы не могли подвинуть рассыпанные зерна? Исчезнувшие яйца? Но не я ли сам вчера видел, как ястреб скогтил летучую мышь! Населяю призраками трюмы, в которые до сих пор не отваживался спуститься, потому что меня пугает перспектива одиночества между морем и небом. Роберт, владелец имения Грив, повторял он себе, ты один. И в одиночестве можешь тут оставаться до истечения земного срока, а истечение, надо думать, не за горами, так как питания на борту хватает, но хватает на недели, а не на годы. Поэтому уж лучше расставь-ка на палубе подходящие сосуды, чтобы насобирать пресной воды, и научись закидывать удочки с верхнего дека, и перестань бегать от солнца. Настанет прекрасный день, когда ты доберешься до Острова и населишь его собой — единственным постояльцем. Вот о чем тебе надлежит размышлять, а не о пролазах и феррантах.

Он подобрал все пустые бочонки и расставил их в ряд на шканцах, кое-как вытерпев свет, затуманенный облаками. В ходе работы он отметил, что пока еще слаб. Сошел вниз снова, задал пищу на птичнике (будто для того, чтоб воспрепятствовать Другому сделать это за Роберта) и в очередной раз не смог принудить себя спуститься на ярус ниже. Вернулся в каюту и пролежал несколько часов, дождь не унимался. Несколько порывов ветра впервые навели его на мысль, что оплот его пловуч и качается как зыбка, а от перехлопыванья дверей оживала вся громоздкая туша с ее лесистой утробой.

Последней метафорой он сам залюбовался и подумал, приходило ли на ум отцу Иммануилу разбирать корабль как кладовую Ошеломительных Девизов. Мысль его перелетела

к Островной Суше, и он примерил к ней эмблему “Недосягаемая Близость”. Красивая фигура речи привела его второй раз за протекающие сутки к тематике несходного сходства между Сушей и его Госпожою, и до поздней темноты он был занят писанием к Прекрасной Даме приблизительно тех мыслей, которые пересказывались мною на этой странице, в предыдущих строках.

“Дафна” пробултыхалась килевой качкой до рассвета, и движение горизонта, как и волнистое движение в бухте, утихомирилось к утру. Роберт сумел наблюдать через стекла первые блики холодной, но ясной зари. Вернувшись к Гиперболе Очей, воспоминавшейся предыдущими днями, он сказал себе, что славно было бы поисследовать берега с помощью наблюдательной трубки, которую видел в соседней каюте. Сама ограниченность обзора создавала бы благоприятный режим зренью, притеня солнечные лучи.

Он налег краем трубы на подоконник галереи и устоялся на закраину залива. Остров выглядел просветленным. Белым султаном трепыхались шерстяные облачные пасмы. Как Роберту объясняли на “Амариллиде”, каждый океанский остров собирает влажный дух от ализеев и конденсирует мокрый воздух в консистенции туманных хлопьев. Путешествующие нередко узнают о том, что земля неподалеку, еще не видя берегов, но чуя выхлопы водяного пара, витающего вокруг земли, будто на длинной перевязи.

Об ализеях ему рассказывал доктор Берд. Он называл их Trade-Winds, французы же *alisées*. В тех широтах бывают буйные ветры, заправляют шквалами и устанавливают штить. Но эти буйные и резкие поветрия — в свою очередь игрушка ализеев, капризных круговоротов воздуха, на картах они показаны как пируэты, как плясовые подскакивания с приседаниями и с поклонами. Ализеи подстраиваются к мощному ветру и сбивают его с дороги, перерезывают ему путь, спутывают направленье. Ящерицами шныряют они по непредвидённым тропинкам, сшибаются и отскальзывают, как если бы в Супротивном Море имели силу только правила искусства, а не природные законы. Искусственную вещь напоминают они всем своим ладом, и не гармоническую

форму, свойственную вещам, идущим от земли и от неба, как снежинки или кристаллы, нет, они принимают форму тех изощренных волют, которые архитекторами наращиваются на колонны и капители.

Что все это море было организовано супротивно, Роберт подозревал давно, и этим объяснялось, по какой причине космографы обычно полагали, что в тех краях обитают противоположные создания, разгуливающие головою вниз, а к небесам ногами.

Разумеется, не могли художники, которые при дворах Европы сооружали гроты, инкрустированные ляпис-лазурью, и фонтаны, движимые скрытым насосом, продиктовать природе все изощренности земель, расположенных в далеком море. И не могла природа Неоткрытого Полюса Земли повлиять на тех художников. Но Роберту было известно, до какой степени и природа и искусство любят изобретать любопытное, и тем же вдохновляются и атомы, которые совокупаются между собой то тем, то иным занятным способом. Есть ли на свете более замысловатое измышление, нежели черепаха — чудодействие ремесленника, жившего тысячи тысяч лет тому назад, щит Ахилла, нафаршированный четырехлапою змеею?

У нас, говорил себе Роберт, все, что растительно, некрепко, и слаб листок с его прожилочками, и хил цветок, век которого — день или единственное утро. А тут вся растительность как из шкур, это прочные масляные чешуи, способные выдерживать натиск ополоумевшего солнца. Все листья на этой широте, дикие обитатели которой, разумеется, понятия не имеют ни о железе, ни об обжиге глины... каждый лист способен превращаться в орудие, лезвие, чашу, лопату, и лепестки цветов лаковые. Все растительное крепко и мощно; в то же время непрочное все, из чего состоит животный мир. Судя по птицам, которых вчера я рассматривал, они выдуты из цветных стекол. А у нас зверь — это дикая сила, мощь жеребца, бычачий упрямый мускул.

Что уж сказать о плодах... Плоть нашего яблока, с его здоровой окраской, указывает на дружественный вкус. Синюшный оттенок гриба вопит о ядовитости. В тутошнем же мире, как наблюдал я и вчера, и на причалах “Амарилли-

ды”, предпочитается остроумная переключка обманных противностей. И смертно-бледные плоды бывают животворно сладки, а из самых красовитых сочится отравительная немочь.

Через подозрные стекла Роберт обследовал берег и заметил меж землею и морем ползучие цепкие корни, которые, казалось, скакали в распахнутое небо, а рядом кустарники с продолговатыми плодами, которые, несомненно, сушили медовую сладость всем своим недошедшим, незрелым обликом. На пальмах покачивались золотистые кокосы, будто налитые дыни, но он знал, что они становятся съедобны только когда приобретают колер пережженной кости.

Коли так, чтобы жить в этом наоборотном мире, следовало всегда помнить, собираясь сторговываться с природой, что надо вести себя вопреки прирожденному инстинкту, который, скорее всего, достался человеку от первых гигантов; гиганты приспособлялись к природе противоположного полушарья и считали, что самая натуральная натура — это та, к которой приспособляются, и полагали, что натура натурально обязана приспособиться к ним самим. Они думали, что солнце такое маленькое, как им казалось. А стебли трав, наблюдаемые глазами, направленными к земле, выглядели большими.

Переселиться к антиподам означало переиначить инстинкт, перековать на изумительность натуру и на натуру изумительность и уяснить, до какой же степени неоснователен мир, который в одной половине следует одним законам, а в другой — законам противоположным.

Роберт снова присутствовал при пробуждении птичьего грая, и не в пример первому разу осознавал, до чего искусно подобраны эти ноты, особенно в сравнении с простым чирканьем его отроческих утр. Тут бормотание и ворчанье и урчание соседствовало со свистом, клокотаньем, бульканьем, журчаньем, с квохтаньем, с прищелкиванием языков, дробным свиристом, скулежом и воем, взвизгиваньем и выстрелами из мушкета, со сложными хроматическими гаммами, и порою слышалось нечто вроде клекотания квакш, затерявшихся во влажной глубине подлеска, в гомерическом говореньи.

Труба позволяла ему разглядеть веретенообразные и пулевидные, покрытые оперением тулова, перепархивание черных или неопределенно-узорчатых птах, валившихся с высокой вершины деревьев на землю в умопомрачении Икара, зовущего гибель. Внезапно ему даже померещилось, будто какое-то дерево, должно быть, китайский померанец, стрельнуло в небо одним из своих апельсинов, шаром цвета огненного корунда, который опрометью проскочил круговидное поле обзора. Он сказал себе, что дело в рефлексе света, и не думал больше об этом, точнее, уверил себя, что не думал. Впоследствии мы увидим, насколько, к слову о неосознанных мыслях, прав был в свое время Сен-Савен.

Думаю, что те пернатые ненатуральной природы могли быть эмблемой парижского общества, оставленного им за много месяцев перед этим; в мире, где не обитало человекообразных и где если не единственными живыми, то единственными говорящими существами были птицы, он чувствовал себя точно как в салонах, куда угодив впервые, он воспринимал лишь неотчетливое стрекотанье чуждой речи и с робостью пытался почувствовать, какого она вкуса — даже если, сказал бы я, знание этого вкуса в конце концов он довольно крепко усвоил, иначе не вынужден был бы ныне от него отвыкать. Но памятуя, что там он повстречал Прекрасную Даму, а следовательно, что наиверховным среди всех мест выступало то, а не это, он сделал вывод, что не там воспроизводился птичий гомон Острова, а на Острове обитатели-птицы пытались приравняться к высокочеловечному птичьему языку.

Размышляя о Даме и о далекости Дамы, которую накануне этого дня он уподобил недосыгаемо близкой Суше, расположенной на востоке, он снова стал разглядывать Сушу, с которой при использовании телескопа получались только беглые и нечленораздельные намеки, однако, как бывает и с вогнутыми зеркалами, принимая в себя один лишь угол маленького пространства, они отсылают глазу сферический космос, безграничный и обеспамятевший.

Каким предстал бы ему Остров, доведись ему туда добраться? По декорации, наблюдаемой из его ложи, и по тем

образчикам, которые он обнаружил на судне, Остров вполне походил на Эдем, где ручейки струились млеком и медом, где был пышнейший триумф плодов и кроткие звери. Не это ли искали на архипелагах юга бестрепетные первоходцы, правившие туда дорогу, бросавшие вызов шторму посередине океана, чье имя “Тихий” не отвечало его нраву? Не этого ли вождедел Кардинал, когда отправил его с заданием выведать секрет “Амариллиды” и насадить лилии Франции на Неизведанную Землю, в которой воплотились обетования долины, не затронутой ни Вавилонским грехом, ни всемирным потопом, ни незапамятным адамовым проступком? И кротки должны были быть человеческие особи, населявшие остров, темные внешностью, однако со светлой душою, равнодушные к тем грудам золота и к бальзамам, при которых они беспечно блюстительствовали, их не касаясь.

Но ежели все так, не повторялась ли ошибка первых грешных, если нарушить целомудрие Острова? Может, Провидение судило этому пришельцу непорочно созерцать красоты, и не касаясь их, и не смущая. Не таково проявление самой совершенной из любовей? Не в ней ли изъяснялся он и Госпоже: любить на далеке, отказываясь от обладательного наскока? То ли любовь, что упоует на захват? Если Остров сливался для него с Предметом поклоненья, Острову приличествовало и то почтение, которое следовало Предмету. А лихорадочная ревность, которую он ощущал всегда при беспокойстве, чтоб не осквернилось чужевольными взорами это отъединенное святилище, была не заявкой собственного права, а опротестованием прав кого бы то ни было, и миссию отгона препоручила ему любовь, как охранителю Грааля. Равное целомудрие ему предначертывалось и в отношении Острова, который чем полнее обещаниями рисовался, тем менее следовало бы трогать. На удалении от Госпожи, на удалении от Островной Земли и о той и о другой он имел право только говорить, желая, чтоб они были непорочны, насколько непорочными они имели возможность пребывать, не ласкаемые никем кроме стихии. Краса, если где-то и существовала, имела своей целью оставаться без цели.

Такова ли была Островная Суша? И по какой подсказке именно так расшифровывался ее иероглиф? Было известно, что со времен самых первых плаваний к этим архипелагам, которые на картах помещались в любые неразведанные места, там было принято оставлять взбунтовавшихся членов экипажа, преобразовывая острова в узилища о воздушных решетках, где осужденные выступали себе тюремщиками, приговоренными к взаимному надзору. Не подходить туда, не обнаруживать их секреты, к этому сводился если не долг, то по крайней степени право желающего избегнуть безграничных кошмаров.

А может быть, нет? Может, главной особенностью Острова было бытование в его середине, в нежном цветке, Дерева Забвения; и поев его плодов, Роберт мог уповать на обретение покоя?

Запомнить. В этих усилиях он провел день, не радея о внешнем виде и внешнем деле, погруженный в свое: превратиться в *tabula rasa*. И как бывает со всеми, кто понуждает себя забыть, чем истовее он старался, тем живее становилась память.

Он усердствовал, чтобы применить все рекомендации, слышанные когда-то. Вообразил себя в переполненной комнате, где все вещи напоминали ему о чем-то: покрывало его любимицы, бумаги, к которым он пригвоздил ее образ посредством сетований на ее недостаточество, мебель и гобелены из дворца, где они познакомились. Он вообразил себе, как выкидывает все эти вещи из окон вплоть до тех пор, покуда комната (а с нею и его сознание) не оголится и не опростается. С нечеловеческою натугой подволакивал к подоконнику столовые сервизы, шкафы, сундуки и щиты с гербами, и обратно тому что ему обещали, соразмерно его истощению от этих стараний фигура Государыни размножалась и из разных углов комнаты подглядывала за его томлениями, каверзно усмехаясь.

Так проводя свои дни за перетаскиваньем утвари, он не обрел забвение. Прямо наоборот! Целыми днями он перебирал свое прошлое, уставив очи на единственный спектакль, который предоставлялся зрению: на "Дафну". И "Дафна" преобразовывалась в его рассудке в Театр Памяти, как те,

что устраивались в эпоху, когда жил Роберт. В Театрах Памяти каждая подробность должна была восходить к недавнему либо отдаленному эпизоду истории. Так бушприт напомнил ему первое восхождение на палубу и первую мысль, что никогда ему не увидеть больше возлюбленную. Подобранные паруса, по которым блуждая взорами, долгими часами он оплакивал Ее, утраченную, Ее, потерянную... Балюстрада, с которой он испытывал глазами далекость Острова; столь же далека была и Она, любимая... Роберт посвятил Госпоже такое изобилие медитаций, что отныне и до той поры, покуда ему суждено здесь в этом месте мыкаться, каждая извилина этого пловучего чертога будет напоминать ему, минута за минутой, все, что он тщился выкинуть из головы.

Насколько это справедливо, он понял, поднявшись на капитанский мостик, чтобы нерадостные думы развеялись океанским ветром. Палуба стала для него как лес, как рощица, где ищут рассеянья несчастливые влюбленные. Роща искусственно построенная: ее стволы были обточены антверпенскими корабельными плотниками, полотнища хлопка-сырца хлопали по сырому ветру, пещеры были проконопачены, звезды из астролябий. И как любовники мысленно видят, посещая раскидистые поляны, возлюбленную в каждом соцветье, в шелесте леса и в каждой тропинке, вот и ему выпадало уничтожаться от страсти, поглаживая цевье пушки...

Не воспевали ли дам поэты, описывая губы из рубинов, очи-угли, перси-мрамор, сердце-диамант? Если так, вот и он, в дебрях окаменелых сосен, должен был предаться страсти к неодоушевленному. Швартов с морскими узлами становился Ее кудрями. Медные бляхи сверкали, как Ее забытые очи. Батарея водосточных желобов напоминала Ее зубы в брызге пахучей слюнки. Брашпиль с блочным подъемником был как Ее шея, был украшен конопляным колье, и отдохновением отдавал помысл, что в Робертовой власти обожать труд мастера — создателя автоматов.

Потом он устыдился жестокости, с которой приписывал ей жесткость, и сказал себе, что каменить ее лицо означает очерствлять и собственное желанье, а оно должно

оставаться живым, неудовлетворенным. И потом, поскольку тем временем опускался вечер, он поднял глаза к объемной раковине неба, испещренной неразборчивыми звездами. Лишь созерцая небесные тела, он мог надеяться возыметь небесные мысли, приличествующие тому, кто в силу небесного предопределения приговорен любить самое небесное из человекоподобных существ.

Повелительница рощ, которая в белом одеянии озаряет перелесья и осеребряет долины, еще не восходила над вершиною Острова, укутанная пеленами. Остальная ширь неба была и ярка и обозрима и на юго-западном пределе, почти что задевая гладь моря за островную землю, виднелась горсточка звезд, которые опознавать Роберт научился от доктора Берда. Их называли Южный Крест. Из одного всеми забытого поэта, благодаря тому что несколько отрывков засадил ему в память во время учебы преподаватель-кармелит, Роберту возвратилась на ум картина, которой он очаровывался в детстве: некто спустился в подземельное царство мертвых, прошел его и, выйдя из неведомой миру щели, увидел именно эти четыре звезды, никому не знакомые, кроме самых первых (они же и последние) обитателей Наземного Рая.

11. ИСКУССТВО БЫТЬ ОСМОТРИТЕЛЬНЫМ¹



н видел их оттого, что крушение действительно

случилось у границ Эдемского сада, или оттого, что вынырнул из черева судна, будто из адовой воронки? И так и этак. Кораблекрушение, выводя его к зрелищу иной природы, положило конец пребыванию Роберта в Земном Аду, куда он угодил, теряя иллюзии отрочества: во времена осады Казале.

Тогда в Казале история впервые представилась Роберту как череда капризов судьбы и интриг неуяснимого “государственного интереса”. Сен-Савен ему объяснил, до чего ненадежна великая машина мира, стопоримая происками Случая. Несколько дней хватило, чтобы поблекнуть геройским эмблемам юношества. Отец Иммануил продемонстрировал ему, что воодушевляться надо “Ироическими Эмблемами”, и что жизнь лучше посвящать не побиванию великанов, а описанию карликов.

Выйдя из монастыря, как-то он провожал господина делла Салетта, в свою очередь сопровождавшего господина Саласара, за городские стены. Чтобы добраться к выходу, который Саласар звал по-испански Пакляными воротами, Puerta de Estopa, часть пути они проделали по бастиону.

¹ Трактат испанского писателя и философа Балтасара Грасиана-и-Моралеса (1601–1658) “*Ogaculo Manual y Arte de Prudencia*” (“Обиходный Оракул или Искусство быть осмотрительным”) (1647, рус. пер. “Придворный человек”, 1739). См. “Карманный оракул. Критикон”, М.: Наука, 1984.

Спутники нахвалявали изобретение отца Иммануила; в наивности Роберт к ним обратился и спросил, на что годится толика наука тем, кто занят в городской осаде.

Господин Саласар заметно развеселился. “Но любезный и милый друг, — сказал он, — ведь мы тут, оказавшись по велению различных монархов, и с поручением завершить эту войну по справедливости и по чести, превосходно понимаем, что сейчас не та эпоха, когда можно было переменять движенье звезд оружным боем. Кончились времена, в которые дворяне создавали королей. Ныне короли создают дворян. Придворная жизнь прежде была ожиданьем минуты, в которую дворянину придется показать, на что он способен в военном деле. Теперь же все дворяне, что толпятся и там, — он показывал на шатры испанцев, — и здесь, — показывая на квартиры французов, — дожидаются конца военного дела, чтоб возвратиться в естественную среду, то есть ко двору, а двор, драгоценный дружище, это место соревнованья, но не с королями в самоотвержении, а с другими дворянами за королевскую милость. Ныне в Мадриде встречаются среди знати и те, кто ни разу не обнажал шпагу и не покидал город; отъехав, дабы пылиться на полях баталий, они уступили бы город денежному купечеству и имущей “новой знати”, отдали тем, кого монархи в наши дни ставят очень даже высоко. Воин не имеет выбора иного, как забыть о доблести и руководиться осмотрительностью”.

“Осмотрительностью?” — переспросил Роберт.

Саласар кивнул на движение в долине. Там разыгрывались ленивые стычки между противниками, клубы пыли поднимались у входов в подкопы, в местах, где шлепались пушечные ядра. На северо-востоке, со стороны имперцев, ковыляла передвижная бронеколесница, ее колеса были снабжены серповидными ножами, передняя часть ее из дубовых реек была окована шишковатыми металлическими полосами. Из щелей высовывались мортиры, колюбрины и аркебузы, а на просвет было заметно, что сидят ландскнехты. Морда щетинилась стволами, на боках были острые лезвия и при лязге цепей из машины время от времени вырывалось дымовое пыхание. Неприятель, надо думать, не собирался применять ее для боя немедленно, с этой штукой

полагалось идти на штурм крепости уже тогда, когда стенобойные орудия кончили свою задачу, но свое дело она делала и теперь — устрашала осажденных.

“Видите, — откомментировал Саласар. — Исход войны будет решен машинами, бронированными черепахами и минными галереями. Мужественные наши товарищи, с обоих фронтов, грудью ставшие перед противником и по случайности уцелевшие, проделали сие не для победного конца, а для приобретения репутации, которая дорого стоит при дворе. Самые благовеличные из них дальновидно избирали ристания, наделавшие шуму. Но подсчитав пропорцию между тем, сколько они рискуют и сколько могут на этом заработать...”

“Мой отец...” — начал Роберт, сын героя, не подсчитывавшего пропорций. Саласар перебил его. “Ваш отец, он-то и принадлежал ко временам ушедшим. Не думайте, что мне его утрата не прискорбна, но стоит ли пороха в наше время геройствовать, если эффективным отступлением молва одушевляется сильнее, чем отважной атакой? Разве вы сейчас не наблюдали военную машину, пригодную влиять на исход осады решительнее, нежели в свое время — клинки конников? Разве не уступили, вот уже сколько лет назад, клинки место аркебузам? Мы продолжаем носить кольчуги, но какой-то пикардиец исхитряется в некий прекрасный день подрывать кольчугу даже и бестрепетному Баярду”.

“Что же остается благородным людям?”

“Благородным людям остается разумное поведение. Успех уже не окрашивается в цвета солнца. Он вырастает в лучах луны, и никем не доказано, что это второе светило меньше любезно создателю всех вещей. Иисус и тот сосредоточивался в Гефсиманском саду при луне”.

“Однако принял там решение в духе наигероичнейшей добродетели, не в духе осмотрительности...”

“Да, но вы-то не герой священной истории, а герой своего времени! Ну, окончится эта осада, и предположим, что машиной вас не задавило, чем займетесь вы, де ла Грив? Возвратитесь в свою глухую деревню, где никто не предоставит вам okazji проявить себя достойным отца? Те немногие дни, что вы третесь среди парижского дворянства,

уже показывают, что вы охотно завоевываетесь их манерами. Значит, вас потянет искать себе счастья в большой столице, и вы сознаете, что именно там вы примените то очарование отваги, которым снабдило вас длительное бездействие посреди этих стенок. Вы тоже будете завоевывать судьбу, и следует быть вам ловким, чтобы захватить ее. Вам, наученному увертываться от мушкетной пули, предстоит еще научиться избегать завистников, ревнивцев, стяжателей, сражаясь их же оружием с неприятелями, иначе говоря, со всеми. Поэтому прислушайтесь. Вот уже полчаса вы перебиваете меня, докладывая, каково ваше мнение, и с видом, будто расспрашиваете, стараетесь доказать мне, будто я ошибаюсь. Не делайте так больше никогда, особенно с властью имущими. Зачастую вера в свою проницательность и ощущение долга свидетельствовать истину побуждают вас давать добрые советы тем, кто сильнее вас. Не делайте этого никогда. Любая победа доводит до ненависти побежденного. Если вы побеждаете собственного начальника, это либо глупо либо вредно. Властителям надо помогать, но не превозмогать их. Но будьте осторожны и с равными себе. Не унижайте их вашими высокими качествами. Никогда не говорите о себе. Либо вы станете себя возвеличивать, и это признак тщеславия, либо унижать, и это признак безрассудства. Пусть другие нащупают в вас какие-то простительные погрешности. Для их зависти это как бальзам, а вам без большого ущерба. Вы должны быть значительны, а подчас казаться пренебрежимы. Страус не стремится летать по воздуху, он смиряется с низостью жизни: но постепенно дает увидеть прекрасность своего оперения. А в особенности, если у вас окажутся страсти, не выставляйте их напоказ, сколь бы возвышенны они ни казались. Не следует предоставлять другим подход к своему сердцу. Осторожное и осмотрительное немногословие есть дивная скриня мудрости”.

“Но из этой речи явствует, что первое долженствование благородного дворянина — водить людей за нос”.

Тут с улыбкой вмешался господин Салетта. “Вдумайтесь, и увидите, что господин Саласар призывает не играть чужими носами, а придерживать собственный язык.

Не выхвалять то, чего нет, а оборонять то, что есть. Похваляясь тем, чего вы не совершали, вы выходите лжецом; не бахваляясь тем, что совершено вами, выйдете хитрецом. Добродетель из добродетелей — хитрость скрытия добродетели. Господин Саласар наушает вас осмотрительному способу быть доблестным, иначе говоря — как быть доблестным осмотрительно. С тех пор как первый человек научился глядеть глазами и увидел, что наг, он позаботился прикрыться даже пред лицом его Сотворшего; так усердие сокрытия родилось почти одновременно с самим миром. Сокрывать означает простирать покрывало честного сумрака, оно не вырисовывает ложного, а лишь дает посильный отдых истинному. Роза на вид хороша, потому что сокрывает свою вящую бренность, и хотя о смертных красотах в обычае говорить, что они не кажутся земными, они являются собой только трупы, замаскированные благодаря преимуществу возраста. В этой жизни не всегда надо иметь открытое сердце, и те истины, которые для нас всего важнее, обычно проговариваются не до конца. Маскирование не мощенство. Это уловка, позволяющая не показывать вещи, каковы они на деле. Это уловка не простая: дабы в ней достигать высот, потребно, чтобы окружающие не ведали о нашем превосходстве. Если бы некто завоевал себе славу способностью притворяться, как в лицедействе, всем бы открылось, что он не таков, каким прикинулся. О величайших притворщиках не существует сведений”.

“И заметьте, — вставил к этому Саласар, — что призывая вас нечто скрывать, никто не требует, чтобы вы онемели, как тупица. Наоборот. Вам следует обучиться передавать острым словом то, что вы утаиваете от слов открытых. Вам надо существовать в мире, где главное внимание уделяется виду, где в почести бойкость красноречия, где надо быть ткачом шелковых слов. Бывает стрелами пронзена грудь, стрелами же можно пронзить душу. Пускай для вас станет натурой то, что в машине отца Иммануила остается уделом механики”.

“Однако прошу позволения, — не стихал Роберт. — Машина преподобного Иммануила представляется мне отображением Гения, а Гений тщится не побивать, не соблазнять,

а открывать и выявлять взаимосвязанности между вещами; стремится быть новым орудием истинности”.

“Это в глазах философов. Но имея дело с дураками, используйте гений для их изумления, они предоставят вам свою поддержку. Люди любят, чтоб их изумляли. Если и судьба ваша и планида решаются не на ратном поле, а в придворном салоне, остроумная шутка вам принесет больше пользы, чем отважная атака. Осмотрительный человек одной изящной фразой спасает себя из любых затруднений и перебрасывается словами с такой легкостью, будто слова — пушинки. Почти за все есть возможность расплатиться словами”.

“Вас ожидают у ворот, Саласар”, — произнес Салетта. Этим кончилась для Роберта неожиданная лекция о жизни и разумности. Она не переменяла Робертов нрав, но он был благодарен поучавшим. Ими был пролит свет на многие тонкости жизни века, о которых в имени Грив он ни от кого не слыхивал ни слова.

12. СТРАСТИ ДУШИ ¹



рузья развеивали его иллюзии, а Роберт впутывался в любовные ковы.

Это началось при скончании июня, в сильное пекло. Десять дней как распространялись слухи о первых зачумленных у испанцев. В городе ощутилась недостача еды. Солдатам давали только четырнадцать унций черного хлеба, а за пинту вина казальцы хотели три флорина, то есть дюжину реалов. Саласар в городе, Салетта в лагере испанцев трудились без устали, выменивая пленных офицеров; ими выреченные давали присягу не касаться оружия. Много рассказывалось о том капитане, теперь на взлете дипломатической карьеры, Мазарини, которого папа уполномочил оговаривать мир.

Небольшие надежды, небольшие эскапады, игра в кошки-мышки в подкопах и контрподкопах, вразвалочку велась осада города Монферрато.

В ожидании то ли мира, то ли мощной армии французов воинственность иссякала. Кое-кто из казальцев замышлял выбраться за городские стены и попытаться сжать хлеба, которые убереглись от конницы и от повозок, не смущаясь ленивыми выстрелами испанцев с дальних позиций их лагерей. Некоторые, впрочем, выходили на работу и с вооружением: Роберт увидел статную, рыжеволосую

¹ Произведение Рене Декарта (1596–1650) “Les passions de âme” (1649).

крестьянку, она откладывала серп, тянулась к мушкету, устраивалась на жнивье под прикрытием колосьев, обнимала ружье ухваткой бывалого солдата, прикладом к румяной щеке, и выпускала заряд по врагам. Те, растревоженные наскоками этой воинственной Цереры, отвечали, и одна пуля царапнула ее по запястью. Ей пришлось ретироваться, кровотока, но она не прекратила заряжать и палить по неприятельским окопам, что-то выкрикивая. Когда она входила в крепость, испанцы заулюлюкали: “Puta de los franceses!” Она же ответствовала кратко, но гордо: “Пусть я французам и даю, а вам шиш!”

Эта-то девственная краса, квинтэссенция полнокровного пригожества и бранелюбивой досады, в сочетании с намеком на распущенность, оскорбительность которого ее удорожала, разожгли ощущения подростка.

Целый день он слонялся по улицам Казале, чтоб обновить свое видение. Он расспрашивал поселян и услышал, что дева прозывалась, по мнению одних, Анна Мария из Новары, Франческа — по мнению других. В одном трактире уверяли, что ей двадцать лет, что она из ближней деревни и завела шашню с французским солдатом. “Девка что надо, Франческа, огонь”, — и многозначительно ухмылялись. Для Роберта его любимая показалась желанной тем паче, что с каждым разом все более украшалась этими непристойными комплиментами.

Через несколько дней, смеркалось, проходя по улице, он увидел ее в темной комнате первого этажа. Она сидела у окна, ловя вечерний бриз, едва унимавший знойную монферратскую припеку, и какая-то лампа, с улицы не видная, из-под окна озаряла ее. Сначала он ее не узнал, рыжая грива была зачесана в узел, свисали только две пряди впереди ушей. Было видно слегка наклоненное лицо, чистейший овал с жемчужными капельками пота, он и сиял, как единственный светоч среди густой полутьмы.

Она шила на низкой подставке, внимательно вглядываясь в шитье, и не обратила внимания на Роберта, который застыл, искоса разглядывая ее облик, вжавшись в противоположный дом. Сердце молотом ходило в груди, Роберт

смотрел, как белокурые волосики опушали верхнюю губу шившей. Внезапно она подняла ко рту руку, и рука засветилась в сиянии лампы, в руке была темная нить; забрав нитку в алые губы, она чикнула белыми зубами, и нитка была перекушена лютым махом, взвивом алчной и нежной плоти, и хищница ублаготворилась собственной кроткой ярью.

Роберту нипочем было простоять там ночь, без дыхания, в опасности быть увиденным; жар его леденил. Но очень скоро обожаемая загасила лампу, и расточился дивный призрак.

Он и в другие дни проходил той же улицей, но ее не видел, или видел только раз, не будучи уверен, она ли, потому что она сидела наклонившись, шея была розовой и голой, и водопад волос закрывал лицо. Матрона за ее плечами, проплывая в этих львиных локонах на ладье овечьего гребня, то и дело оставляла гребень и пускала в работу ногти, ловя улепетывающую живность, которая от сухого и точно-го щелчка похрустывала под ногтем.

Роберт, достаточно знакомый с вошебойным ритуалом, впервые открывал для себя его благовидность, и воображал, как заманчиво скользить рукой по шелковым струям, подушечками пальцев по дивному затылку, и целовать белые полоски кожи, и какое счастье, должно быть, самому преследовать эти мирмидонские когорты, которые населяют лес кудрей.

Ему пришлось отрешиться от мечтаний, потому что толпа зашумела на той дороге, и это было последним разом, когда окно приберегало для него любовное виденье.

Другими днями и другими вечерами он снова приходил, чтобы видеть в окне матрону и чтоб видеть другую девушку, однако этой больше не бывало. Он сделал вывод, что его милая живет не в этом доме, а здесь какая-то родственница, к которой она ходит ради работы. Куда удалилась она сама, в течение долгих недель ему не дано было доведать.

Поскольку любовная печаль есть зелье, обретающее лихую крепость в тот миг, когда перетекает из наших уст в слухи друзей, Роберт, безуспешно блуждавший по Казале, тощавший в тщетных поисках, не потаил свое состояние

от Сен-Савена. Он рассказал, и даже тщеславясь, поскольку обожатель щеголяет велелепием кумира, а уж в велелепии-то ее он был весьма уверен.

“Ну, любите себе, — беззаботно отозвался на это Сен-Савен. — Ничего нового. Кажется, человек даже находит в этом радость, в отличие от животных”.

“Животные не любят?”

“Нет. Простейшие механизмы любить не могут. Что делают колеса повозки на скате? Крутятся вниз. Машина имеет вес, вес тяготеет книзу, в повиновении слепому закону, который требует опускаться. Таково и животное: оно тяготеет совокупляться. Не остановится, покуда не совокупится, а потом остановится”.

“Но вы же говорили мне вчера, что люди тоже машины?”

“Да, но более сложные, чем минеральные машины, чем животные машины. Люди удовлетворяются колебательно”.

“Что из этого следует?”

“Из этого следует, что вы, любя, и желаете и не желаете. Любовь превращает вас во врага самому себе. Вы страшитесь, что достигнув желанной цели, разочаруетесь. Вы наслаждаетесь *in limine*¹, как говорится у теологов, ублажаетесь оттяжкой”.

“Это неверно, ибо я... я желаю ее сразу же!”

“Если это правда, вы — все еще и всего только деревенщина. Нет, в вас есть тонкость. Если бы вы желали ее сразу же, вы бы ею овладели, как сущая скотина. Нет: вы желаете, чтобы ваше желание распалилось, и чтобы в то же время распалилось желание ее. Но если бы ее желание так распалилось, чтобы отдаться вам сразу же, вы б, надо думать, ее бы больше не желали. Любовь выхоливается в ожидании. Ожидание шествует просторами Времени по направлению к Случаю”.

“А я что должен делать до тех пор?”

“Ухаживать”.

“Но... она еще ничего не знает, и должен вам признаться, что не имел okazji к ней приблизиться...”

¹ На пороге (лат.).

“Напишите письмо и объявите ей о своей любви”.

“Но я никогда не писал любовных писем! О, стыжусь сознаться вам, но я никогда не писал писем на моем веку”.

“Когда природа бессильна, приходится прибегать к искусству. Я буду диктовать. Полезное упражнение для образованного человека — сочинять письма к дамам, которых не видел. Тут я мало кому уступаю. Не любя, я способен говорить о влюбленности красивее, чем вы, любовью лишенный языка”.

“Но я считаю, что каждый любит иначе... Это будет неестественно....”

“Если вы выскажете всю свою любовь и вдобавок естественно, получится чистый смех”.

“Но зато это будет правда”.

“Правда девица милейшая, но стыдливая, она должна являться под покрывалом”.

“Но я изъявлю ей то, что чувствую я, а не то, что выдумаете вы!”

“Ну так вот: чтоб вам поверили, прикидывайтесь. Не бывает совершенства, не разубранного притворством”.

“Но тогда она поймет, что это писано не к ней”.

“Не волнуйтесь. У ней нет оснований сомневаться, что все продиктованное замыслено для нее по мерке. Давайте садитесь и пишите. Позвольте только мне приобрести вдохновение”.

И Сен-Савен заскакал по комнате, как вроде, описывает Роберт, пчела, возвращающаяся к сотам. Глаза его блуждали, будто он вычитывал из воздуха послание, еще не существовавшее. Потом он начал.

“Сударыня...”

“Сударыня?”

“А как прикажете начинать? Эй ты, казальская шлюшонка?”

“Puta de los franceses”, — не удержался и пробормотал Роберт, изумленный тем, что Сен-Савен ради красного словца угадал если не истину, то хотя бы клевету на его даму.

“Как вы сказали?”

“Ничего. Пусть так. Сударыня. Что за этим?”

“Сударыня, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня Сотворения Мира, что я повстречаю вас и я вас полюблю. Но в самых первых строках письма я чувствую: душа моя до такой степени стремится к излиянию, что испаряется из моих уст и от моего пера до того еще, как я заключу”.

“Заключу. Не знаю, будет ли это понятно...”

“Высказывания тем превыше ценятся, чем более они ошетинены затруднительностями, и тем любезнее откровение, если оно немеренных сил нам стоило. Нет, надо повысить тон. Значит, вот как... Сударыня!”

“Как, опять?”

“Да. Сударыня, для такой дамы, которая хороша как Альцина, предугадательно наинеприступнейшее из прибежищ. Полагаю, что неким заклинанием вы были отнесены в далекий край и обителью вашей сделался новоявленный Пловучий Остров, кой ветром моих воздухоновений отнесся на отдаление, его же я преодолеть усерден, во пребывание антиподов, где и подступы загорожены льдами. Я вижу, чем-то вы смущены, де ла Грив. Вам даже это кажется посредственным?”

“Нет, мне это... я сказал бы обратное...”

“Не извольте бояться, — отвечал Сен-Савен, превратно истолковав, — мы еще туда всунем обратный контрапункт. Далее. Допускаю, вашим прелестям придано право пребывать на отдалении, как Богиням то приличествует. Но возможно ли не ведать, что Богини благосклонно принимают хотя бы фимиаменные пары, которые мы к ним от низу возжигаем? Коль так, не отриньте моего поклонения! Понеже вы облечены в высочайшей степени и прелестью и красотой, вы обратите меня в ничтожество, воспретив превозносить в обличии вашем два из наичценнейших божественных атрибутов... Так звучит лучше?”

Роберт на этом месте был поглощен раздумьями о том, что главная неразрешенная проблема — обучена ли дева из Новары грамоте. Преодолев этот риф, все, что она прочитает, несомненно одурманит ее точно так же, как одурманивался он сам, пища.

“Боже мой, — сказал он. — Этак она с ума сойдет...”

“Сойдет, сойдет. Продолжим. Нисколько не утративши моего сердца вместе со свободой, кою имел препоручить вам, всякий день наблюдаю, как оно разрастается, обретая такие размеры, что как если бы его одного недоставало для моей великой любви, оно размножилось по всем моим артериям, и в них я ощущаю любовное дрожанье”.

“Боже мой”.

“Не воспаляйтесь. Это разговоры о любви, а не любовь. Извините, о Владычица, мне отъявленность отчаяния, или скажу лучше, не отягчайтесь ею: ибо не слыхано, чтобы владетели смущались гибелью своего невольника. О, и я почту свою судьбину завидною, поскольку вы озаботились тем, чтобы свести меня к гибели: если даже по крайности вы удостоите меня ненавистью, это скажет мне, что я не окончательно для вас безразличен. Так и смерть, которою вы полагаете истребить меня, воспримется мною как предпочтенье. Приди желанная смерть; если любовь состоит в том, что две души созданы для того, чтобы быть едины, когда одна сознает, что другая ее не слышит, она может только умереть. И об этом — покуда жизнь еще не покинула мои тела — душа моя, отлетая, шлет вам оповещение”.

“Отлетая, шлет вам?”

“Оповещение”.

“Переведу дух. В голову ударяет”.

“Держите себя в руках. Не путайте любовь с искусством”.

“Но я ее люблю, люблю, понимаете?”

“Я — нет. Потому вы и обратились ко мне. Сочиняя, вы не должны думать о ней. Думайте, ну к примеру, о господине Туара...”

“Как вы можете...”

“Не вскидывайтесь. В конце концов он интересный мужчина. Пишите же. Сударыня”.

“Еще раз?”

“Да. Сударыня, вдобавок ко всему я обречен опочить ослепнув. Не вы ли в два аламбика претворили мои очеса, гоня из них жизнь по капле? И отчего происходит, что чем больше взоры мои увлажняются, тем пылают сильнее? Мой родитель, излепил ли он не из глины мое туловище, давшей

существование первому человеку, а из извести, и влага, точимая очами, гасит ее? И отчего происходит, что изничтоженное умеет прозябать и изыскивает новые слезы, дабы изничтожить меня беспредельно?"

“Не слишком?”

“К торжественному случаю — торжественное сравнение”.

Роберт уже не возражал. Ему казалось, что он уже не он, а Новарская дева, и что он ощущает все то, что она ощутит, когда прочтет эти строки. Сен-Савен диктовал.

“Вы оставили в сердце у меня, его покидая, наглуую хватчицу, и она есть ваша тень, и бахвалится, будто властвует надо мною в жизни и в смерти. Вы удалились от меня, как монархи отходят от лобного места из нежелания выслушивать мольбы пытаемых о помиловании. Если моя душа и моя любовь представляют собою два чистейших вдоха, когда буду умирать, я закляну Агонию, дабы вздох любви моей расставался с телом в наипоследнюю очередь, и тем образом совершу — в виде последнего подношения — чудо, которым вы сможете гордиться: хотя бы миг, но о вас продолжит вздыхать тело уже бездуховное”.

“Бездуховное. Конец?”

“Нет, погодите, нужен финал с вывертом...”

“Как это?”

“Усилие ума, которым будет подмечена неслыханная до этой поры связь между двумя предметами, превосходящая любое наше соображение, так чтобы в этом занимательном упражнении таланта весело затмилось всякое понятие о сущности вещей”.

“Я не понял...”

“Сейчас поймете. Вот: повернем вспять все сказанное прежде, вы еще, к счастью, не умерли, и дадим ей возможность воспрепятствовать умиранию. Пишите. Вы, может быть, преуспеете еще, сударыня, меня спасти. Я отдал вам свое сердце. Но как мне существовать без этого двигателя жизни? Не прошу вас вернуть его, ибо только в сладчайшей неволе располагает оно преславнейшей из свобод. Однако прошу, пришлите ко мне в замену сердце ваше, ибо не найти поместилица более достойного, чтоб почтить его. Чтобы

жить, вам нет нужды в двух сердцах. Мое же бьется в вашу честь настолько мощно, что может обеспечить вам навековечнейшее из пыланий”.

Он крутнулся на каблуках и раскланялся, как артист в ожидании рукоплесканий. “Что, разве не великолепно?”

“Великолепно? Да... но как бы сказать... немного комично. С чего бы этой даме бегать по Казале и вручать и принимать сердца, подобно разносчику?”

“Вы думаете, она полюбит мужчину, который изъясняется, как банальный буржуа? Подпишите и запечатайте”.

“Но дело не только в даме, а если она покажет кому-нибудь, я умру от позора”.

“Не покажет. Она положит письмо в корсет и каждую ночь, зажигая свечку на ночном столике, будет перечитывать, осыпая поцелуями. Подписывайте”.

“Но вообразим, к примеру, что она не умеет читать. Ей придется показать кому-то, кто...”

“Что, месье де ла Грив! Не желаете вы сказать, что вы влюбились в деревенскую девку! Как, меня заставили растрачивать вдохновение для запугивания хамки? Единственный выход — вызвать вас к барьеру”.

“Я сказал для примера. Для фантазии. Мне преподавали, что осмотрительный человек должен допускать вероятности, варианты, среди всех возможных даже самые невозможные...”

“Видите, вы тоже научаетесь выражаться таким манером. Но вы допустили нелепицу, среди всех невозможных самую смехотворную. Как бы то ни было, не хочу принуждать вас. Хорошо, вычеркните последнюю фразу и пишите далее под мою диктовку...”

“Но если я зачеркну, придется переписывать лист...”

“Вы еще и неусердны. Но муж разума всегда извлекает полезность из сумбура. Зачеркивайте. Готово? Замечательно. — Сен-Савен намочил палец в умывальном тазу, капнул водой на зачеркнутые строки. Бесформенная клякса медленно наливалась чернилами. — Пишите. Извините, Госпожа, за то что я не сумел уберечь мысль, которая, исторгая у меня эти слезы, ошеломила своей горячностью. Случается, что этнейским огнем вызываются к жизни сладчайшие

ручьи солоноватых струй. Но, о Сударыня, сердце мое подобно раковине моря, которая, впитывая драгоценнейший пот восходов, порождает жемчужину и с нею совокупно растет. При мысли, что неблагосклонностью вашей восхитится из сердца моего тот жемчуг, который столь ревниво в нем выпестован, сердце тает в хлынувшем из глаз потоке... Несомненно, де ла Грив, сейчас получилось лучше, мы убрали излишества... Лучше к концу поуменьшить эмфазу любовника, чтоб усугубилось сострадание любимой. Подпишите, запечатайте и передайте ей. Потом ждите”.

“Ждать чего?”

“Север Компаса Осмотрительности указывает на то, чтоб, пустив паруса по ветру, дожидаться Благоприятной Ситуации. В этих делах ожидание никогда не вредит. Присутствие усыпляет голод, а расстояние его усиливает. Будучи вдалеке, вы увидите львом, представши изблизи, можете показаться мышонком, что родился от горы. Несомненно, вы изобилуете превосходными достоинствами, но достоинства теряют блистательность, если их можно потрогать, а фантазия достигает дальше, нежели зрение”.

Роберт поблагодарил и бросился домой, спрятав послание на груди, будто он его украл, будто боялся, что кто-то заберет у него восхитительное похищенное.

Я разведая, где она, твердил он себе, поклонюсь и вручу ей письмо. Он метался на постели, воображая, как она будет проговаривать слова письма своими губами. Теперь он уже представлял себе Анну Марию Франческу из Новары в свете всех добродетелей, которыми наградила ее Сен-Савен; признаваясь, даже с помощью Сен-Савеновых речей, в любовной страсти, он почувствовал, что страсть возросла; неохотно втянувшегося в игру, вдохновение его воскресило. Отныне он любил деву из Новары с тем же утонченным бешенством, которого было исполнено письмо.

Пустившись на разыскания той, от которой он был так расположен отдалиться, хотя пушечная канонада осыпала город, не обращая внимания на опасность, через несколько дней он ее повстречал на перекрестке улиц, несущую коло-

сья, как древнеримская богиня. В смятении он бросился навстречу, не понимая толком, что надлежало сделать или сказать.

Поравнявшись с ней и дрожа, он загородил ей дорогу и сказал: “Прошу позволения...”

“Позволения? — со смехом отвечала дева. — Чего нужно?”

“Нужно, — пролепетал Роберт, — узнать, какой дорогой ходят к Замку”.

Дева мотнула назад головой с развевающейся гривой: “Туда”. И повернула за угол.

И в этот же угол, в то время как Роберт в замешательстве раздумывал, идти ли, со свистом приземлилось ядро, разнеся садовую каменную ограду и распространив великую пыль. Роберт прокашлялся, обождал, когда пыль сядет, и догадался, что шествуя ужасно нерешительно по просторным равнинам Времени, он прошляпил Благоприятный Случай.

Чтобы наказать себя, он горестно изодрал письмо и направился к дому, в то время как ошметья его души трепыхались в пыли на мостовой.

Первая неизъясненная любовь убедила его навеки, что предмет страстного чувства располагается далеко, и думаю, этим определилась вся его участь. В последующие дни он снова пошел по перекресткам: туда, где получил известие о ней; туда, где изучал какие-то следы ее жизни; туда, где слышал чужой о ней разговор и где он сам видел возлюбленную, — и снова закрепил этот план в памяти. Так он снял чертеж Казале в свете сердечной страсти, преобразив улочки, фонтаны, площади в Реку Сердечной Склонности, Озеро Равнодушия и Море Недоброжелательства; израненный город он превратил в Страну собственной ненасытной нежности, в Остров (о, уже тогда! вещие слова!) своего одиночества.

13. КАРТА СТРАНЫ НЕЖНОГО¹



В ночь на двадцать девятое июня великий скре-

жет разбудил казальцев, и вслед за тем барабанная тревога; это сработала первая мина, которую нападающие сумели подвести под городскую стену, разнеся один полумесяц и уложив двадцать пять солдат. На следующий день, к шести вечера, разразился как будто гром на востоке, и в рассветной половине неба высветился рог изобилия, светлей горизонта, и завиток его укорачивался и удлинялся. Вид кометы испугал оружный люд и позагонял уstraшенных казальцев глубоко в жилища. В наступившие недели были подорваны другие участки стен, в то время как со скатов осажденные палили впусую в воздух, а их противники подбирались под прикрытием земли, и контрподкопы и противоминные туннели уже не давали возможности их выкуривать.

Это кораблекрушение Роберт прожил равнодушно, как пассажир. Много часов проводил он, беседа с отцом Иммануилом о наилучшем способе описывать огонь осады, но и с Сен-Савеном виделся все чаще, и они подбирали не менее искрометные метафоры, дабы передавать накал Робертовой страсти, о крушении которой он совестился докладывать другу. Сен-Савен открывал ему сцену, на которой интрига его галантности имела возможность успешно развиваться; молча Роберт переносил щекотливое положение,

¹ La carte du Tendre — из книги французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607–1701) “Клелия, римская история” (1654–1660).

сочиняя с Сен-Савеном все новые послания, которые потом он якобы передавал по назначению, на деле же очаровывался, перечитывая их напролет ночами, словно бы дневник толиких томлений был не им для Нее создан, а прислан к нему Ею.

Он воображал себе, как Дева из Новары, преследуемая ландскнехтами, в изнеможении сникает ему на руки, и он разметывает врагов и ее, обессиленную, сопровождает в непроходимый сад, где ему выпадает награда в виде дикарской признательности. При таких мыслях он вытягивался на постели, а после длительного бесчувствия, придя в себя, садился сочинять сонеты к любезной.

Один из сонетов он показал Сен-Савену, и тот вынес приговор: “Я вижу в нем изрядное дурновкусие, позвольте молвить. Но не отчаивайтесь. Большинство парижских поэтов пишет хуже. Избегайте воспевания чувства. Страсть не дает вам приблизиться к божественному хладнокровию, в нем секрет Кагулла”.

Роберт нашел в душе меланхолию, об этом также он оповестил Сен-Савена. “Радуйтесь, — ответил на это его приятель. — Меланхолия не отброс, а сердцевина крови. Она рождает героев, потому что, гранича с неистовством, подвигает их на деяния многоотважные”. Но Роберт ни на что не ощущал подвижности и меланхолически сетовал на недостаточность меланхолии.

Нечувствительный к бою и к пальбе пушек, он вслушивался в облегчительные известия: развал в испанском штабе, наступление французов. Радовался, когда в середине июля контрминой наконец-то удалось уничтожить множество испанцев. Но за это время подорвали и много бастионов, и в июле авангарды противника начали стрелять и попадать прямо в город. Роберт знал, что какие-то из казальцев выходили рыбачить на По, и, не страшась получить пулю, он бегал смотреть на удящих, опасаясь, как бы имперцы не подстрелили Новарскую Деву.

Он продирался через кучу горланившей солдатни, они гомонили, по контракту они не обязаны были копать окопы, но и казальцы отказывались их рыть, и Туара вынужден был поднять плату солдатам. Роберт был рад узнать, как и все

в Казале, что Спинола заболел чумой. Все в злорадстве приветствовали неаполитанских дезертиров, перебежавших в цитадель и оставивших неприятельское войско из-за страха, что чума прилепится к ним. Отец Иммануил был спокоен, не стали бы именно они переносчиками заразы.

В середине сентября горожане начали болеть чумою. Роберт не берегся, он волновался лишь не заболела ли Новарская Дева, и однажды проснулся в лихорадке. Роберту удалось оповестить отца Иммануила и в тайне он был перевезен к Иммануилу в обитель, что его спасло от переполненных лазаретов, где смерть приходила быстро и без суетни, чтоб не мешать тем, кто отдавал концы от пиротехнических игрищ.

Роберт о смерти помышлял мало. Путая горячку чумы с любовным жаром, он бредил, будто трогает Новарийку, терзая соломенный тюфяк или поглаживая покрытые потом болезненные части своего тела.

Виною натуралистической памяти, в тот вечер на “Дафне”, когда наступали сумерки и небо совершало свои медлительные эволюции, и Южный Крест уже пропал за горизонтом, Роберт не мог сказать, пылает ли от оживившейся любовной склонности к той казальской Диане, или к Прекрасной Госпоже, столь же непоправимо удаленной от зрения.

Он хотел знать, где могло быть ее убежище, и стал отыскивать в рубке, где хранились мореходные орудия, карту теплых морей. Она нашлась, обширная, раскрашенная и незаконченная. Надо сказать, в те времена многие карты оставались прорисованными не до конца. Открывая новые земли, путешественники вычерчивали на бумаге виденные контуры, но не указывали ничего там, где они не знали, куда и как земля простирается. Поэтому карты Тихого океана в ту эпоху часто выглядят как арабески пляжей, намеки береговых линий, гипотезы протяжений, а четко обрисованы только самые мелкие острова и указаны лишь те ветра, что изучены на опыте. Некоторые картографы, чтоб облегчить узнаваемость острова, с великим тщанием зарисовывали профили горных вершин с облаками, их окутавшими,

тем помогая опознать пейзаж, как опознается на далеком расстоянии фигура по фасону шляпы или по особенной походке.

Вот и на этой карте имелась картинка двух противоположенных берегов, между которыми канал тянулся с юга на север, причем один из этих берегов почти что замыкал в кольцо извилистые очертания, что позволяло предположить, что это остров, что это именно его Остров; но и поодаль, на расстоянии, посреди океана, виднелись группы мелких островов достаточно похожей обрисовки, и они в равной степени могли соответствовать месту, напротив которого стоял корабль.

Ошибкой было бы думать, будто Робертом владело географическое любопытство. Слишком повлиял на него Иммануил, приучая преобразовывать видимое посредством окуляров Аристотеля. Слишком настойчиво Сен-Савен учил выковыривать желание с помощью литературной речи, перелицовывая девушку в лебедя и лебедя в женщину, солнце в медную шайку, медную шайку в солнце! Глубокой ночью мы застаем Роберта в бреду над этой картой, преображенной в вожденное женское тело.

Влюбленные по наивности пишут любимое имя на песке пляжа, куда накатывает волна и имя смывается водою, а он намного предусмотрительнее вел себя, Роберт, преобразуя любимое тело в полуокружности грудей-груд-гряд, уподобляя волосы струению течений в меандрах архипелагов, полуденные капельки пота на лбу соотнося с капельными знаками брызг-бризов и видя в голубизне таинственной океанской пустыни потаенную полноту голубых ее очей. На этом листе были отображены очертания фигуры любимой, бухты с заливами соответствовали захватывающим дух извилинам ее красоты. Жаждущими устами он приникал к бумажному развороту, утолялся из океана сладострастия, млея от языка суши, вытянувшегося в море, целовал мыс-губу и мыс-нос. Устье подманивало его уста, давая лобзанье, проток приглашал к проникновению, родными были родники и дорогими дороги, телесными жилами были жилы минералов. Выпить бы всю влагу озер и этих рек, стать бы солнцем и нагревать ущелья, возбуждая тайные токи...

Главным чувством было не владение, а ущербность. Может, пока он ласкает этот смутный трофей премудрого рисованья, некий Иной на истинном Острове, где взаправду раскинулась Она с таким миловидством, которое бумаге не подвластно, вкушает плоды и их сладость, погружается в нежные влаги... Иные, остолбенелые, наглые гиганты сгребают грубою лапой ее перси, уродливые Вулканы овладевают прелестной Афродитой, тешатся ее естественностью с безобычностью, подсказывающей рыбарям на Ненайденном Острове, за последним горизонтом Канарского архипелага, выбрасывать в невежестве самую редкую жемчужину.

Она в чужих руках любовника... В этой мысли содержалось наивысшее опьянение, и Роберт извивался, подскуливая своему копыеносному бессилию. Он сходил с ума, шаря по доске стола: подержаться бы хоть за край юбки. Взгляд скользил по округлостям мягкого и волнистого тела, перебежал на другую карту, где неведомый автор изображал, вероятно, огневоды вулканов в лежащей к западу земле. Это был разрез всего земноводного шара, весь в плюмажах и в дымах на вершинах вспученной земной коры, внутри которой угадывалась мешанина воспаленных вен. Шар казался Роберту одушевленным, он хрипел, потея лавой из каждой дырки, прыскал лимфой несътой страсти и в конце концов Роберт сомлел, вымученный сухой водянкой, или водной сухотой, это Робертовы собственные речи, — изошел над вожденной австралийною плотью.

14. ТРАКТАТ О БОЕВОЙ НАУКЕ¹



Казале тоже он грезил о
распахнутых простран-
ствах, об отлогой котловине, где встречал деву из Новары.
Потом он выздоравливал, и мысли прояснились, и он призна-
вал, что не сумеет вновь обрести ее, потому что умрет очень
скоро или потому что уже умерла эта дева.

На самом же деле он не умирал, а наоборот, медленно
поправлялся, но не отдавал себе в этом отчета и принимал
протеканье поправки за утеканье жизни. Сен-Савен наве-
щал его, сообщал устную газету новостей — это когда нахо-
дился близко отец Иммануил, пронзавший Сен-Савена та-
кими взорами, будто тот явился за его душой. Когда же отец
Иммануил оставлял их для работы (а переговоры в мона-
стыре происходили, казалось, уже непрерывно), они вели
философские беседы о жизни и смерти.

“Дружище, Спинола умирает. Вы приглашаетесь на бал
в честь его исхода”.

“На той неделе умру и я”.

“Вздор. У умирающих не такие лица. Но жалко отвле-
кать вас от мыслей о смерти. Пользуйтесь болезнью для
благих упражнений”.

¹ Руководство по фехтованию “Trattato di Scienza d’Arme” (1555), написанное миланским философом, математиком, инженером, архитектором и фехтовальщиком Камилло Агриппой (вторая половина XVI в.). В трактате с иллюстрациями, которые до последнего времени приписывались Микеланджело Буонарроти, правила фехтования выводятся из анатомии человеческого тела.

“Вы заговорили как священнослужитель”.

“Отнюдь. Я призываю не готовиться к иной жизни, а лучше использовать ту единственную, что вам дана, чтобы пристойно встретить, когда она придет, ту единственную смерть, которую суждено вам испытать. Нужно изучать искусство умирания, и тогда мы удовлетворительно выполним упражнение в наш единственный раз”.

Роберт рвался встать, но отец Иммануил не разрешал, считая, что юноша мало окреп, не может кидаться в жерло боя. Роберт намекнул, что спешит видеть некую особу. Отец Иммануил ошибочно рассудил, будто Робертово высохшее тело гложется вожделением к иному телу, и попытался привить ему пренебрежение к женскому роду: “Сей пустейший Дамский Универс, — говорил он, — опирающийся на плечи новоявленных Атлантесс, оборачивается вокруг Бесчестья и существует под знаками Рака и Козерога в Тропиках. Зеркало, первейший движимый предмет убранства этого мира, никогда не бывает настолько мутно, как когда в нем отражаются Звезды женских очей лукавых, которые превращаются, под влиянием испаряющейся сырости от умопомраченных любовников, в Метеоры, предвещающие напасти Добротолубию”.

Роберт не оценил астрономическую аллегорю и не признал свою зазубу в портрете светской чаровницы. Он остался лежать в постели, но еще более ярко испарял сырость любовного умопомрачения.

Тем временем до него доходили и другие известия, их приносил Салетта. Казальцы колебались, не допустить ли французов, кроме замка, еще и в цитадель. Теперь им, кажется, становилось ясно, что против общего врага следует объединить силы. Но господин делла Салетта давал понять: сейчас, более чем когда ни то, притом что город, судя по всему, будет вынужден пасть, казальцы, при видимости сотрудничества, втайне ставят под сомнение союзный договор. “Необходимо, — говорил он, — хранить голубиную чистоту в отношении Туара, но быть хитроумными как змеи в случае если его король, после всего, надумает продать казальцев. Повоюем: если Казале уберезется, в том будет и наша заслуга; но повоюем без излишеств, потому что если

Казале падет, должны быть виноваты французы". Потом он добавил в назидание Роберту: "Осмотрительный не привязывает себя к колеснице".

"О, французы говорят, что вы торгоши. Никто не видел, чтобы вы воевали, и всем известно, что вы ростовщичествоуете".

"Чтобы много прожить, лучше мало цениться. Надколотый горшок не бьется в черепья и служит так долго, что успевают надоесть".

Как-то утром в начале сентября на Казале вылился освободительный дождь. Здоровые и выздоравливающие, все выбрались из-под крыш, чтобы принять на себя струи, смыть следы заражения. Потоп принес всем бодрость, но отнюдь не излечение, и язва продолжала свирепствовать после ливня, как свирепствовала до. Единственные утешительные новости касались того раззора, который чума творила, подобно как в Казале, и в лагере противника.

Однажды, удерживаясь, хотя нетвердо, на ногах, Роберт выбрел за монастырские стены и увидел на пороге одного дома, отмеченного зеленым крестом, знаком зачумленности, Анну Марию или Франческу из Новары. Она исхудала, как фигура Пляски Смерти. Уже не снег и гранат, какая она была, а сплошная желть разлилась по ее коже, хотя в изнуренных чертах еще улавливались намеки на бывшие красы. Роберту припомнились слова Сен-Савена: "Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колена, когда возраст обращает ее в привидение когдатошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам о неминуемости смерти?"

Девушка плакала на плече капуцина, будто расставаясь с любимым образом. Может, погиб ее француз. Капуцин, лицо которого было блее, нежели борода, успокаивал, указывая на небо костлявым пальцем, как бы говоря "когда-нибудь там, наверху...".

Любовь рассудочна только тогда, когда тело полно желания и это желание не удовлетворено. Если тело во власти немощи и ему непосильно желать, рассудочная страсть иссякает. Роберт понял: он до того исчах, что любить уже не может. Exit Анна Мария (Франческа) из Новары.

Он вернулся в обитель и снова залег под покрывала, решившись взаправду умереть: невыносимо было страдание оттого, что он больше не страдает. Отец Иммануил настаивал, чтоб больной выходил на воздух. Но известия, поступавшие от мира, не усиливали желание жить. В дополнение к чуме, город задыхался от голода, или того хуже, велась неистовая погоня за припасами, которые казальцы упрятывали, не желая делить еду с французами. Роберт наметил себе, если не скончается от болезни, скончаться от голода.

В конце концов отец Иммануил сумел его усовестить и выгнал из монастыря на улицу. Поворачивая за угол, он увидел группу испанских солдат. Он рванулся бежать, но они его церемонно приветствовали. Тут он понял, что поносив большинство бастионов, враги беспрепятственно проникают и разгуливают по городу, так что можно сделать вывод, что теперь уже не сельская округа осаждает Казале, а Казале как город осаждает собственную крепость.

В конце улицы ему встретился Сен-Савен. “Дорогой дела Грив, — произнес он. — Вы занемогли французом, выздоравливаете испанцем. Эта половина города сейчас в руках наших противников”.

“А дадут нам пройти?”

“А вы не знаете, что подписано перемирие? Вдобавок испанцы интересуются замком, а не нами. У французов кончилось вино. А казальцы высачивают его из своих погребов, будто бы это кровь Господня. Вы не можете запретить добрым французам посещать кое-какие трактиры в этой слободе, когда известно, что трактирщики получили возможность завозить сюда прекрасные вина из деревни. Испанцы встречают французов по-благородному. Необходимо только соблюдать приличия: если хочется поразмяться, ругаемся у себя на половине с соотечественниками, а тут с этими, поскольку они враги, надо душевно раскланиваться. И поэтому скажу открыто, что на половине у испанцев гораздо скучнее, чем на квартирах, где мы. Переселяйтесь скорее. Сегодня идем петь серенаду одной красотке, которая много дней пряталась от нас, как от черта, а позавчера наконец выглянула в окошко”.

Так и вышло, что вечером Роберт сошелся с пятью знакомыми хватами из окружения Туара. Не отстал от компании и аббат, который по этому случаю разделся в кружева и фестоны и имел атласную перевязь. “Извини нас Господь, — проговорил он с лицемерной гримаскою, — надо же утихомирить свой дух, чтобы, как требует долг, свершать геройства...”

Окно выходило на площадь испанской части Казале, но в этот час вечера испанцы, как ожидалось, торчали по кабакам. В четырехугольном небе, ограниченном низкими крышами и вершинами деревьев, обсадивших площадь, отдыхала луна, с ровным светом, почти без ряби пятен, и смотрелась в зеркальце фонтана, шелестевшего в середине тихого квадрата.

“О Диана сладчайшая, — произнес Сен-Савен. — Сколь покойны и мирны сейчас твои города и деревни, им неведомы бой и война, селениты живут натуральным счастьем, безгреховно”.

“Не богохульствуйте, месье де Сен-Савен, — возразил ему аббат. — Если бы Луна и обиталась, как фантазирует этот сочинитель Мулине, вопреки теории Писанья, злополучны должны бы быть лунные жители, живя не с Боговоплощеньем”.

“И преежесток должен быть Господь Создатель, лишая их этой опоры,” — парировал Сен-Савен.

“Не пытайтесь проникнуть в Божеские тайны. Господом не приобщены к Сыновней проповеди и туземцы в обеих Америках, однако ныне своей великой милостью Бог направляет туда миссионеров, лучом веры тьму пронизающих”.

“Тогда почему его святейшество римский папа не посылает миссионеров на Луну? Что, селениты не дети Бога?”

“Не говорите глупости!”

“Я пренебрегу, что вы назвали меня глупцом, господин аббат. И готов пояснить вам, какая тайна укрывается за моей глупостью, тайна, которую его святейшеству нежелательно обнародовать. Если бы миссионеры познакомились с живущими на Луне и разглядели их так же, как разглядывают прочие миры, которые распаиваются их взору,

а нашему взору недоступны, они задумались бы: не обитают ли и в тех мирах существа, напоминающие нас. И задали бы себе вопрос: а неподвижные светила, не множество ли это солнц с собственными лунами и планетами? А обитатели этих планет, не глядят ли они на другие солнца, нам с вами неведомые? И до бесконечности”.

“Господу было угодно сотворить нас так, что мы не в силах помыслить бесконечность, и довольствуйся, род людской, данным *quia*”¹.

“Серенада, серенада! — тормозили их прочие. — Вон то окно”. Окно озарялось изнутри розовым полусумраком, увлекавшим воображение в глубь несбыточного алькова. Но спорящие, похоже, раззадоривались.

“Присовокупим, — издевательски настаивал Сен-Савен, — что будь наш мир конечен и окружайся он Ничем, конечен должен бы быть Бог. Господу присуще, коли вас слушать, быть на земле и небе и в каждом месте, и разумеется, ему неместно быть в таком месте, где ничего нету. Ничто, это не-место. Или же для расширения мира Богу бы следовало расширить самого себя, Бога. Значит, родиться в таких местах, где прежде его не бывало, что противоречит его претензиям на вечность”.

“Это уж слишком. Вы оспариваете вечность Всевечного. Я не могу позволить. Настал тот миг, когда я вас уничтожу. Пусть ваше пресловутое остроумие кончает нас пиявить!” — Аббат выхватил шпагу.

“Ну это как вам угодно, — ответил Сен-Савен, салютуя и принимая стойку. — Но я вас уничтожить не стану. Моему королю нужны солдаты. Слегка подпорчу вас, чтоб остальную жизнь вы провели в уродской маске, как итальянский комедиант, самая уместная вам личина. Вы получите рубец от глаза через всю щеку, но сначала я прочту вам лекцию по философии натуралис, а потом, в конце посылки, разрисую как Бог черепаху”.

Аббат налетел, разъяренный, стремясь зарубить его с ходу, выкрикивая, что ядовитую вошь, гниду, гадюку он прикончит без сострадания. Тот отпарировал, сделал в свою

¹ Поскольку (*лат.*); традиционный зачин суждения в метафизике.

очередь выпад, прижал аббата к дереву, все это не прекращая громким голосом философствовать.

“Ах, эти штоссы и парады вульгарны до невозможности! Только ослепившись гневом, делают подобные выпады. У вас никакого понятия об Идее Фехтования. И никакого ближнелюбия, слыша, как вы поносите вшей и с гнидами. Вы животное до такой степени мелкое, что не в силах вообразить мир в виде большого животного, что показывал божественный Платон. Попробуйте, представьте, будто звезды суть миры, обитаемые тварями, и что каждая живущая в них тварь воплощает собою мир с собственными насельниками, и тогда без противоречия выходит, что и мы, и лошади, и слоны суть миры для чужеядных насекомых, на нас жительствоющих. Они не в силах прозревать нас по причине нашей громады, и точно так же мы не прозреваем миры более громадные, несовместимые с малыми нами. Не исключено, что гнидская цивилизация воспринимает вашу особу как вселенную, и когда одна из вшей проползает сквозь ваши заросли ото лба до затылка, ее товарищи уважают первопроходицу, коснувшуюся пределов знаемой земли. Этот малый народец принимает ваши космы за леса, а после того как я вас взрежу, раны покажутся живущим на вас блохам озерами, если не морями. Вы причесываетесь, а для них это бури с океанскими приливами и отливами, но к прискорбию, их спокойствие возмущается что ни попадя, памятуя вашу привычку то и дело приглаживаться, как женщина. Вот я срежу одну бомбошку, вырву этим возглас печалования, а у ваших обитателей будет чувство землетрясения, опля!” — он оторвал кончиком шпаги позумент, почти распотрошив парчовый камзол аббата.

Тот содрогался от ярости, отскочил на середину площади, непрерывно оборачиваясь, чтоб сохранять за плечом пространство для отступления, и пробовал финт за финтом, пока противник не прижал его спиною прямо к фонтану.

Сен-Савен порхал вокруг аббата, как бы даже не атакуя. “Закиньте голову, месье аббат, взгляните на Луну и уразумейте, что ежели ваш Бог сподобился создать бессмертной душу, с него бы вполне сталоь сотворить безграничный мир. Но если мир безграничен, и это распространяется

как на пространство, так и на время, следовательно, мир вечен, а поелику мир вечен, он не нуждается в Создателе, что делает Творца совсем ненужным. Вот так казус, драгоценнейший аббат! Если Бог бесконечен, вы не можете ограничить его могущество. Он не сможет никогда *ab operae cessare*¹, и следовательно, окажется безграничным мир; но если мир безграничен, Бога в нем уже не станет, как вскорости не станет бантиков на вашем наряде!” И завершая свою речь живым примером, он отодрал своим оружием еще какие-то ленточки и побрякушки, которыми аббат, видно, тщеславился. Потом он пододвинулся к противнику, повернув острие под углом к небу; аббат, видя смену ангарда, попробовал ткнуть, Сен-Савен рубанул наотмашь по клинку шпаги; аббат разжал пальцы, эфес выскочил, он же левой рукой, унимая боль, обхватил запястье правой.

“О, — вопил священнослужитель, — как бы мне наконец тебя расквасить, блудодей, нечестивец, отродье всех растрепоклятых святых Парадиза, разрази тебя в кровь Христову!”

Окошко прелестницы открылось, кто-то высунулся и возмущился. Все участники, похоже, запомнили первозамысел экспедиции и толпились около дуэлянтов, те же с возгласами танцевали вокруг фонтана, Сен-Савен изводил противника полукруглыми парадами и точечным колотьем.

“Кстати о Христовой крови, мсье аббат, — ерничал он. — Ваша Римская Святая Церковь вам вдолбила, будто наш грязный шарик — центр мира и весь мир пляшет вокруг Земли по-скоморошьи и наигрывает музыку сфер. Осторожно, вы слишком глубоко залезли в фонтан, замочите фалды, будете как старичок с недержаньем... Ну, а если посреди великой пустоты крутятся миры, числа коим нету, как полагал один философ, которого ваша братия спалила на площади в Риме, неисчислимые миры, обитаемые такими, как мы, существами, и если всех создал этот ваш Господь, как же сделать, чтоб Христос воскресал?”

¹ Перестать работать (*лат.*).

“Как сделать, чтоб ты сдох, чертова кукла!” — надрылся аббат, с трудом отбивая Сен-Савену квартиру с кругом.

“Что, Христос воплотился только однажды? Значит, первородный грех совершился только раз и только на нашем шаре? Виданная несправедливость! Или для прочих, обреченных существовать без Божьего воплощения, или для нас самих, потому что только на нашу долю выпадает искупление, а другие живут в совершенстве, как прародители до греха, и радуются прирожденному счастью без всякого крестоносительства. Или бесчисленные Адамы несметно повторяли свой проступок подзуживаемые всегда Евой, и всегда с яблоком? Тогда Христу, выходит, приходилось воплощаться, проповедовать и распинаться на Голгофе бесчисленно раз сколько, и может, он и ныне занимается этим, и если миры нескончаемы, нескончаемы страсти Христа. При бесконечности страсти, бесконечны и формы мученья: если вне нашей Галактики есть земля, где живут шестирукые люди, как у нас тут на Terra Incognita, Божий сын должен там распинаться не на крестовидном древе, а на шести-конечном, что, мне кажется, уместно только в комедии”.

“Комедию ломал ты сам, но теперь кончишь, проклятье!” — с этими словами аббат бросился на Сен-Савена, молотя куда попало.

Сен-Савен эффектно оборонился. Миг замешательства. Аббат занес над его головой оружие, тот как будто попробовал кольнуть вниз, промахнулся и скользнул тому в ноги. Аббат отвильнул и замахнулся выше, чтоб рассечь его сверху. Но Сен-Савен, и не думавший ослаблять колени, выпрямился, как молния, приперся на левую руку, а правая взмыла наверх: это был Удар Баклана. Кончик шпаги вошел в щеку аббата и прорезал от носа до подбородка, отрубив левый ус.

Аббат выл и богохульствовал, как не снилось эпикурейцам. Сен-Савен салютовал по-фехтовальному, а окружающие рукоплескали его искусству.

Однако именно в этот миг в глубине квартала вынырнул испанский патруль, вероятно привлеченный шумами.

Французы инстинктивно схватились за эфес оружия, и испанцам представились шесть офицеров в боевой позиции. Испанец выхватил мушкет. Прозвучал выстрел. Сен-Савен упал. Ему прострелило грудь. Начальник испанцев увидел, что четверо лазутчиков, не думая стрелять в ответ, склоняются над простреленным, разглядел залитое кровью лицо пятого француза, догадался, что его люди потревожили дуэлянтов, скомандовал кругом, и патруль испарился.

Роберт поник над своим бедным другом. “Видели, — с трудом выговаривал Сен-Савен, — видели вы, ла Грив, мою штуку? Припомните и потренируйтесь. Жалко, если фокус умрет со мною...”

“Сен-Савен, дружище, — плакал Роберт. — Не надо умирать так глупо!”

“Как, глупо? Я побил глупца. Я умру на поле боя от вражьей пули. Я сумел выдержать в жизни меру. Серьезность надоедает. Зубоскальство приедается. Философствование утомляет. Паясничество отпугивает. Я совмещал все эти стили соответственно времени и случаю, бывал и придворным шутом. Но сейчас, если рассказать этот вечер как следует, выйдет не комедия, а трагедия. Не удручайтесь, что я ухожу, Роберт. — В первый раз он назвал его по имени. — *Une heure après la mort, notre âme évanouïe, sera ce qu'elle estoit une heure avant la vie...* Хорошие стихи, не кажется вам?”

И умер. Выработали достойную версию, при согласии и аббата: Сен-Савен погиб в схватке с ландскнехтами, подошедшими к замку. Туара и штаб осажденных отдали ему почести как герою. Аббат доложил, что в этой схватке был тоже ранен, и приготовился получить продвижение по службе по возврате в Париж.

В течение краткого срока Роберт потерял отца, возлюбленную, здоровье, друга и проиграл войну.

Не было утешения и от отца Иммануила, не вылезавшего с тайных советов. Роберт вернулся в ординарскую господина Туара, к единственному, кто хоть как-то напоминал ему семью. Пребывая на посылках у коменданта, он и наблюдал развязку войны.

13 сентября явились в замок посланники короля Франции, делегация герцога Савойского и капитан Мазарини. Помощная армия тоже вела переговоры с испанцами. Не последняя удивительность этой осады: французы просили о перемирии для того, чтобы подоспеть и спасти город; испанцы уступали на эту просьбу, потому что и в их лагере, опустошавшемся мором, дела были нехороши, усугублялось дезертирство, а Спинола цеплялся за жизнь зубами. Туара получил от делегаций такие условия перемирия, которые позволяли ему не отдавать Казале в то время, как Казале был уже потерян. Французы согласно условиям оставались в цитадели, а город и замок предоставляли испанцам на срок до 15 октября. Ежели к этой дате помощная армия все еще не появлялась, французы, предполагалось, уходят из цитадели и признают себя побежденными. В случае подхода армии испанцы возвращали и город и замок.

До оных пор осаждающие обязывались снабжать провиантом осажденных. Конечно, не вполне таким образом, полагаем мы, должны были проходить осады в те времена. Но именно так в те времена осадам иногда приводилось проходить. Не военные схватки, а настоящие партии в кости с перерывами, пока противник отойдет по нужде. Или же как на ипподроме: делается ставка на лучшую лошадь. Фаворитом в бегах была ожидавшаяся армия, численность которой все возрастала вместе с возлагавшимися на нее надеждами, но которой никто не видел. В Казале, в цитадели, жизнь была похожа на жизнь на "Дафне": с мечтой об обетованном Острове и с посторонними в квартире.

Если авангарды испанцев и проявили себя довольно прилично, сейчас положение поменялось, в город заходили основные эшелоны, и казальцы вынуждены были сосуществовать с дьявольским отродьем, отбирившим что попало, кидавшимся на женщин, искавшим городских удовольствий после долгих месяцев лесного и полевого сиденья. Разделенная по-братски между завоевателями, завоеванными и осажденными, в крепости, городе и цитадели правила свой бал чума.

25 сентября пролетел слух, будто скончался Спинола. Ликование в цитадели, растерянность захватчиков,

осиротевших, как сиротствовал Роберт. Время тянулось нуднее, нежели недели на “Дафне”, вплоть до 22 октября, когда было объявлено, что армия уже в Асти. Испанцы бросились вооружать замок, устанавливая мортиры вдоль берега По, не блюли (Туара негодовал) достигнутых соглашений, по которым при появлении французской армии они должны были убраться. На это испанцы, устами господина Саласара, ответствовали, что договоренности были в силе вплоть до срока 15 октября, и коль на то пошло, скорее уж французам полагалось сдать без пререканий город вот уже неделю назад, если не раньше.

24 октября с откосов цитадели замечилось великое бурление среди рядов неприятеля. Туара прикрыл своим огнем подходящих французов. В последующие дни испанцы грузили обозы на плоты и барки и отправляли в Алессандрию, это показалось наблюдателям из цитадели порядочной приметой. Но затем враги принялись наводить понтонные мосты через реку, готовя себе выход на равнину. Тут уж Туара не удержался и начал бомбить их из пушек. Испанцы обозлились и поарестовывали всех французов, еще находившихся в городе, зачем они там медлили, честно сказать, мне непостижимо, но Роберт излагает факты именно так, а я от этой осады готовлюсь ожидать каких угодно несуразиц.

Французы были уже близко, было известно, что Мазарини всеми силами старается предотвратить лобовую сшибку, таково данное ему поручение папы. Мазарини носился от одного воинства к другому, возвращался с донесениями в аббатство к отцу Иммануилу, снова скакал на коне, чтобы передать контрпредложения и тем и этим. Роберт его видел всегда и исключительно с расстояния, в облаке пыли, пылко раскланивающегося со всеми. Обе стороны пока что не страгивались с мест, поскольку первому шагнувшему причитался шах и мат. Роберт в конце концов усомнился, не является ли помощная армия чистым изобретением этого молодого капитана, баюкавшего одной и той же песенкой осадчиков и осажденных.

И действительно, начиная с июня проводился съезд имперских выборщиков в Регенсбурге, и от Франции там

присутствовали уполномоченные, среди которых отец Жозеф. На съезде шел передел городов и весей и, в частности, еще 13 октября были достигнуты соглашения по вопросу о Казале. Мазарини был извещен об этом сразу же, как сообщил отец Иммануил Роберту, и теперь занимался уговариванием и тех, кто приближался, и тех, кто ожидал. Испанцы тоже получали одно за другим известия со съезда, но каждое сообщение расходилось с предыдущим; дошли эти же сведения и до французов, но они опасались, что Ришелье не согласится — и он действительно не соглашался, но будущий кардинал Мазарини уже в те времена начинал действовать по собственному почину, за спиною у того, кто стоял в роли его покровителя.

Так обстояли дела 26 октября, две армии выстроились в два фрунта. На востоке, по линии холмов, в направлении Фрассинето вытянулись французы. Напротив, имея реку по левой руке, в ложбине между крепостью и взгорьем — испанская армия, и Туара лупил по ней снарядами со спины.

Гуськом вражеские колымаги выползали из городских стен. Туара собрал эскадрон из немногочисленной оставшейся у него конницы и напустил на обоз испанцев. Роберт умолял, чтоб его включили в экспедицию, но тщетно. Роберт стоял на стене как на палубе корабля, с которого некуда было высаживаться и можно было только глядеть на обширное водное пространство и на горы недоступного Острова.

Защелкали выстрелы, авангарды пошли на сближение. Туара скомандовал вылазку, открывая второй фронт против людей Его Католического Величества. Кавалерийский эскадрон выскакал из-за стен цитадели в долину, и тут Роберт с бастионов увидел черного всадника, который, не шарахаясь от первых уже летавших пуль, носился от одного строя к другому, по самой середине, по линии огня, размахивая какою-то бумагой и выкрикивая, как потом доложили близкорасполагавшиеся: “Мир, мир!”

Это был капитан Мазарини. В последних своих перемещениях от одного стана к другому он уговорил испанцев принять регенсбургские пакты. Война окончилась. Казале

оставался у Невера, французы и испанцы покидали город. Видя, как строи рассеивались, Роберт быстро оседлал старого и преданного Пануфли и выехал на место несостоявшегося боя. Он видел, как дворяне в раззолоченных доспехах церемонно раскланивались друг с другом, рассыпались в комплиментах, выплясывали реверансы, на импровизированных столах подписывали и запечатывали соглашения о мире.

На следующий день начались отъезды. Прежде всех ретировались испанцы, за ними французы, царила суматоха, заключались неожиданные знакомства, обмены подарками, предложения дружбы, тем временем в городе пухли под солнцем трупы зачумленных, рыдали вдовы, кто-то из обывателей пересчитывал нажитую казну и залечивал французскую болезнь, причем нажитую не от кого иного, как от собственной супруги.

Роберт попытался собрать своих батраков. Но об ополчении ла Грив не имелось известий. Кто-то, видимо, помер в чуму, другие поразбредались. Роберт предположил, что они возвратились в деревню. Наверное, от них и его мать приняла известие о гибели мужа. Роберт подумал, что должен бы быть рядом с нею в тяжкий час. Но он не умел знать четко и ясно, в чем состоит его долг.

Трудно сказать, из-за чего расшаталась его вера — из-за рассуждений ли Сен-Савена о бесконечно малых и бесконечно больших мирах, о пустоте без Бога и без правил? из-за уроков осмотрительности Салетты и Саласара? или же по вине упражнений в Героическом Остроумии, которое отец Иммануил преподносил ему как единственную науку?

Читая, как он обо всем этом вспоминает во время сидения на “Дафне”, я прихожу к выводу, что в Казале, потеряв и отца и себя самого на войне, имевшей много смыслов и никакого смысла, Роберт научился видеть всеобъемлющий мир как хитросплетение ошибок, за которым уже не стоит Автор; а если Автор и есть, он как будто теряется, переиначивая самого себя со слишком многих точек зрения.

Если там Роберт соприкасался с миром, у которого больше не имелось центра, а имелись одни периметры, на “Дафне” он ощущал себя действительно на самой дальней и самой затерянной периферии; ибо центр если и существовал, центр был напротив, а Роберт являлся неподвижным спутником центра.

15. ЧАСЫ (СРЕДИ ПРОЧИХ И МАЯТНИКОВЫЕ)¹



умаю, из-за этой неподвижности вот уже добрых сто страниц я рассказываю о событиях, предварявших высадку Роберта на “Дафну”, а на самой “Дафне” не даю случиться ничему. Если дни на опустошенном корабле пустопорожни, нельзя упрекать за это меня, который и так не вполне уверен, что повесть заслуживает пересказа; не виноват и Роберт. Его, в исключительном порядке, можно укорить, что он потратил день (слово за слово, а протекло часов тридцать с тех пор, как у него украли яйца), пытаюсь вытеснить мысль о единственном варианте, при котором его сидение на корабле приобретало интерес. Он понимал с самого начала, что “Дафна” не так уж непорочна. На этой деревяшке витал, или в ней таился, некто или нечто, какой-то не-он. Даже на этой развалюхе не было возможности прочувствовать осаду в чистом виде; снова враг был прямо у него в доме.

Ему бы заподозрить нехорошее еще с ночи метафизического объятия с Островом. Тогда, почувствовавшись после бреда, он ощутил жажду, кувшин был пуст, он пошел искать бочонок. Те, что он установил на верхней палубе для сбора дождя, были непомерно тяжелы; в провиант-камере, он помнил, хранились бочонки поменьше. Он спустился туда и подхватил первый подвернувшийся — позднее, размыш-

¹ Труд голландского ученого Христиана Гюйгенса (1629–1695) “*Horologium Oscillatorium*” (1673). В 1659 году Гюйгенс изобрел маятниковые часы со спусковым механизмом.

ляя, он сказал себе, что как-то уж слишком подозрительно подвернувшийся, — и занеся в каюту, поставил на стол и прильнул к вертку.

Текла не вода, и закашлявшийся Роберт понял, что в бочонке содержался горячительный настой. Причем не вино, определил он как исконный крестьянин, и не перегнанное вино. Тем не менее питье было ему не противно, и в припадке неожиданной веселости он хватил изрядную порцию арака. Он не обеспокоился мыслью, что, если все бочонки в продовольственном отсеке таковы же, может создаться неприятное положение с пресным питьем. Он не стал себя спрашивать, почему во второй вечер, когда он прикинул к первому попавшемуся носику в провиантском трюме, вытекала питьевая вода. Только гораздо позднее он уверился, что Некто выставил после первого его посещения свой коварный подарок, причем так, чтобы он попадался первым. Кому-то требовалось довести его до пьяной одури, получить над ним власть. Если таков был замысел, Роберт подыграл противнику — ретивее невозможно. Не думаю, чтобы он выпил много водки, но для новобранца его разряда даже и нескольких стаканов было в избыток.

Из рассказа явствует, что Роберт пережил наступившие события в состоянии охмеления и что он охотно возвращался в это состояние и в последующие дни.

Как положено запьяневшему, Роберт уснул, но был во власти еще более жестокой жажды. Тягучий сон возвратил его воспоминанием в последние минуты в Казале. Перед отбытием он ходил прощаться с отцом Иммануилом, тот как раз разбирал и упаковывал свою поэтическую машину, отъезжая в Турин. Потом, простившись с иезуитом, Роберт оказался на улице в потоке испанских и имперских экипажей, вывозивших детали осадной техники и бомбардирных орудий.

Именно эти зубчатые колеса и населяли его сон. Слышались скрип шестеренок, шуршанье валов, и эти шумы не могли происходить от ветра, потому что море стояло тихо как масло. В неприятном полубреду, как те, кто при пробуждении воображают, будто сон еще длится, он попытался

разлепить веки и опять услышал все то же шелестенье, шедшее либо со второго яруса, либо из трюма.

Он поднялся, болела голова. Для поправки ему не пришлось в голову ничего умнее как снова присосаться к крану. Глотнув, он занемог еще хуже. Вооружился, не с первого раза попавши за кушак кинжалом, многократно осенился крестным знаменем и полез вниз по трапу, качаясь.

Под ним, как и предполагалось, проходил вал руля. Он сошел еще ниже и оказался на втором ярусе: пойдя он в сторону носа, и попал бы в теплицу. В сторону кормы имелась дверь, которую он раньше не открывал. Оттуда и доносилось сейчас, и очень громко, трескотание многообразное и неоднородное, взаимоналожение многих ритмов, среди которых можно было вычленишь и какой-то тик-тик, и какой-то так-так, но общее впечатление давало что-то вроде тик-тик-так-пататам- тюк- стук- тетете-тук; как будто бы за дверью находился целый легион пчел со шмелями и все они бешено шарахались по самым различным траекториям, бились в стены и стучались о других; жужжало так сильно, что он боялся растворить двери, опасаясь угодить в мельтешню одуревших атомов перенаселенного улья.

После долгого замешательства, решил. Прикладом ружья шарахнул по двери, сбил навесной замок и вошел.

Отсек освещался через распахнутый настежь порт и был отведен под часы.

Часы водяные и песочные, солнечные часы, бессмысленно пылившиеся на стенах, но в особенности много было механических, расставленных на стеллажах и полках, движимых медленным опусканием гирек и контргирек, оживляемых колесиками, вгрызавшимися в другие колеса, а те цеплялись за следующие, покуда последняя шестерня не затрагивала то одну, то другую неодинаковую лопаточку на концах вертикального шкворня, так чтобы они описывали полуокружность всякий раз в ином направлении, и своим непристойным вихлянием шевелили балансир, а он двигал горизонтальную ось, сопряженную с верхним концом балансира. Были пружинные часы, в которых рифленый конус оборачивался в ритме разматывающейся цепочки, влекомой

круговым движением барабана, владевавшего все новыми звеньями ее.

Некоторые из этих часов прикрывали свою механику ржавыми накладками из железа и окисленной чеканкой и позволяли видеть только медленную пару стрелок; но большинство выставляло напоказ хрипучую начинку, походя на композиции Пляски Смерти, в которых единственное, что шевелилось, это хихикающие скелеты с гибельной косой.

Все эти механизмы жили. Крупные клепсидры сочили песок, в то время как маленькие почти уже перепустили песок и воду в нижнюю половину. Все прочее было скрежетом зубовным и астматической икотой.

Кто попадал сюда первый раз, мог подумать, будто скопление часов простирается бесконечно: задняя стена клетушки закрывалась полотном, изображавшим анфиладу покоев, заполненных до предела часами, одними часами. Но даже разогнав этот морок и принимая всерьез только часы, так сказать, из плоти и крови, было от чего ополоуметь.

Может показаться неправдоподобным (вам, кто читает эту историю с острашением), но потерпевший крушение, среди водочных паров, на брошенном судне, узрев сотни механизмов, выстукивающих почти что в унисон повесть его бесконечного узничества, прежде всего начинает размышлять о самой повести, а не о ее авторе. Размышлял и Роберт, осматривая одну за другой эти игрушки, символы преждевременного старения подростка, приговоренного к медленной смерти.

Il tuon dal ciel fu dopo ¹, пишет Роберт. Отрешившись от кошмара, он сдался перед необходимостью раскрыть его причину. Если часы были в рабочем состоянии, кто-то же должен был их завести. А если они были снабжены долговременным заводом, если кто-то закрутил пружины за некоторое время до появления на корабле Роберта, Роберт услышал бы их кряхтенье гораздо прежде, проходя мимо этой двери в предыдущие проведенные на “Дафне” дни.

¹ Гром грянул позже (*ит.*). — См. Umberto Eco “Il secondo diario minimo”, Milano, Bompiani, 1994, p. 310. Примерный перевод для любителей анаграмм: “Тифон, к маяку!”

Будь это только одно устройство, можно бы было вообразить, что оно предрасположено к самопуску и что случайно откуда-то приключился первоначальный толчок. Подрагиванье судна? Или чайка влетела в открытый люк и зацепила за рычаг? Разве не бывает, что сильным ветром сотрясается колокол или распахиваются неплотно притворенные ставни окон?

Но чайка не может запустить единым ударом несколько дюжин часов. Выходит, независимо от того, существовал ли Феррант или нет, в присутствии постороннего на корабле невозможно было сомневаться.

Посторонний приходил в часовой отсек и зарядил механизмы. Зачем это понадобилось ему, был первый вопрос, однако не самый срочный. Вторым вопросом было, куда он после этого делся.

Значит, предстояло исследовать трюм. Роберт сказал себе, что нет иной перспективы, но продолжая убеждать себя в необходимости действия, мешкал с его исполнением. Он сознавал, что не вполне в себе, и снова вскарабкался на палубу, умылся дождевой водой и, слегка упорядочив мысли, задумался об этом Постороннем.

Это был не туземец с острова и не уцелевший матрос, от которого можно было ждать чего угодно: дневного налета, ночного подкрадыванья, просьб о пощаде — но только не кормления куриц и не завода автоматов. Значит, на “Дафне” прятался человек образованный и миролюбивый. Может быть, тот, что собрал коллекцию мореходных карт для лоцманской рубки. Что означает — учитывая, что он имеет место и имел его еще до появления Роберта, — что речь идет о Правомочном Постороннем. Прелестно, но остроумная антиномия не умаляла Робертовой тоскливой злости.

Если Посторонний правомочен, с чего же он таится? Опасаясь неправомочного Роберта? А решив запрятаться, зачем же он выказывает свое присутствие, заводя механический концерт? Может, человек извращенного рассудка испугался Роберта, но не способен противостоять ему и задумал его погубить, доведя до сумасшествия? Но какой ему с того прок, учитывая, что, оба отверженники на этом рукотворном острове, они бы могли надеяться только на пользу

от союза с товарищем по несчастью? Не исключено, подвел итоги Роберт, что “Дафна” хранит какие-то тайны, которыми Этот Самый не расположен делиться с другими.

Значит, золото, значит, алмазы и все сокровища Неизученного Пространства, Соломоновых Островов, о которых говорил ему в Париже Кольбер...

Вот тут-то, затронув мыслью Соломоновы Острова, Роберт обрел свою догадку. Ну разумеется! Часы! Что они тут делают, кучи часов на корабле, держащем курс на море, в котором от зари до захода время определяется по солнцу, а больше нечего знать? Неведомый Лазутчик довлекся до этой далекой параллели в погоне, подобно доктору Берду, за Точкой Отсчета! Punto Fijo!

Ну конечно, разумеется, несомненно! Игрою ошеломительной конъектуры Роберт, уехавший из Голландии, ставший соглядатаем по воле Кардинала, назначенный шпионить за тайными манипуляциями британца, посланный тайным агентом на голландский корабль в поисках Отсчетной Точки, обретался в данный момент на чужом корабле (голландском) и во власти Того Самого, неизвестно какой национальности, занятого расследованием именно этой тайны.

16. ДИСПУТ О СИМПАТИЧЕСКОМ ПОРОХЕ¹



Как Роберт угодил в эту историю?

Он относительно слабо освещает годы, которые протекли с его возвращения в Грив и до входа в парижские салоны. Из рассеянных намеков явствует, что он помогал матери до своего двадцатилетия, вяло правил батраками, ведал севом и молотьбой; но когда мать последовала за супругом в могилу, Роберт осознал, насколько ему чужд этот быт. Тогда он, по-видимому, доверил имение родственнику, выговорив себе примерный доход, и отправился познавать мир.

Он поддерживал переписку кое с кем узанным в Каза-ле. Друзья бередили в нем волю совершенствоваться знания. Как-то вышло, что он переселился в Экс-ан-Прованс. Роберт благодарно вспоминает два года, проведенные в доме тамошнего дворянина, сведущего в науках, с богатой библиотекой, содержавшей кроме книг произведения искусства, антики и чучела. Благодаря хозяину дома он свел знакомство с учителем, которого почтительно приводит в пример при любой okazji, с Диньским каноником, называемым еще *le doux prêtre*. Именно от него Роберт взял рекомендательные письма, с которыми неизвестно которого числа и года наконец прибыл завоевывать Париж.

Там он сразу обратился к друзьям каноника. Ему посчастливилось, его ввели в изысканнейшее в Париже место. Роберт рассказывает о кабинете братьев Дюпюи, и как его

¹ Франкоязычное сочинение английского философа, дипломата и ученого Кенельма Дигби (1603–1665) “Discours touchant la guérison des playes par la poudre de sympathie” (1658).

мышление ежедневно, ежевечерне обогащалось в обществе образованных людей. Упоминает и другие кабинеты, посещавшиеся им, где были собрания медалей, турецких ножи-ков, камней агата, математических редкостей, раковин мно-гих Индий...

На каких перекрестьях он проводил веселый апрель (а может быть — май) своей молодой поры, указывают час-тые в его записках отсылки к учениям, которые выглядят неуместными в сочетании. Он целыми днями усваивал от каноника, как устроен универс, состоящий из атомов, в со-гласии с учением Эпикура, и все же замысленный боже-ственным провидением и подчиняющийся ему; а потом, влекомый тою же любовью к Эпикуру, уходил вечерами беседовать с товарищами, все они звали себя эпикурейцами и умели перемежать диспуты о вековечности мира похода-ми к прелестницам не слишком серьезного нрава.

Он описывает ораву беззаботных друзей, они в двадцать лет обладали столькими знаниями, что призавидовали бы пятидесятилетние. Линьер, Шапель, Дассуси — певец и поэт, расхаживавший с лютней, Поклен, переводчик Лукре-ция, с его мечтами сочинять комедии-буфф, Эркюль Сави-ниано, прославленный отвагой при осаде Арраса, а ныне за-нятый сочинением любовных деклараций к воображаемому возлюбленным, зачинщик многих флиртов с юношами из благородных домов, от которых, судя по его собственной болтовне, приобрел итальянскую болезнь; в то же время он подымал на смех одного приятеля, распущенного, как и он, что тот-де “ублажается мужественной любовью”, и что про-стимте-де тому застенчивость, она понуждает его вечно око-лачиваться за спинами у знакомых.

Понимая, что приобщен к ареопагу достойных духом, Роберт сделался если не всеведущим, то неприятелем неве-жества, которое, как ему становилось ясно, торжествовало при французском дворе и в домах забогатевших мещан, чьи книжные полки были заставлены пустыми коробками из ле-вантинской морщенной кожи с именами лучших сочините-лей золотом по корешкам.

В общем, Роберт попал в среду так называемых *honnêtes gens*, которые, хотя в большинстве принадлежали не

к кровным аристократам, а к жалованному дворянству, были солью Парижа. Но он был молод, жаден до новых впечатлений, и наряду со своими учеными интересами и с либертинскими забавами не оставался холоден к обаянию столбового вельможества.

Много вечеров подряд во время прогулок он жег глазами фасад дворца Рамбуйе на улице Сен-Тома-де-Лувр, разглядывал фронтоны, фризы, архитравы и пилястры, мозаику красного кирпича, белого камня и темноцветных сланцев.

Он глядел на освещенные окошки, видел, как гости съезжаются, пытался вообразить знаменитый зимний сад, до чего он должен быть великолепен, рисовал в фантазии интерьеры маленького царства, которым восхищались все в Париже, сложившегося вокруг незаурядной женщины, убежавшей от другого двора, поработанного капризами монарха, неспособного оценить истинную утонченность духа.

В конце концов Роберт решился попытать счастья. Приехав из заальпийской земли, он мог рассчитывать на любезный прием в доме госпожи, благородной от матери-римлянки, дочери самой древней в Риме фамилии, их имя восходило к знати Альбы Лонги. Не случайно за пятнадцать лет до того почетным гостем замка именно этой дамы был кавалер Марино, являвшийся демонстрировать французам пути нового литературного творчества, затмевающего поэзию древнего мира.

Роберту удалось быть принятым в святилище элегантности и знаний, в знакомство благородных мужчин и прециозниц (*précieuses*), образованных без педантичности, галантных без либертинства, веселых без вульгарности, пуристов без пережима. Роберт почувствовал себя уместно в их сборище. Он дышал воздухом большого города, воздухом двора, но его не принуждали пресмыкаться перед требованиями обходительности, которые преподавал ему синьор де Салазар в Казале. Здесь никого не заставляли приспособляться к воле властодержателей, наоборот, призывали подчеркивать оригинальность. Не подражать другим, а состязаться — хотя и соблюдая правила хорошего тона — с личностями ярче себя. Нужно было выделяться не курту-

азностью, а смелостью; выказывать непринужденность в разумной и содержательной беседе; уметь изящно формулировать глубокие мысли... Сервильность не ценилась, ценился обостренный ум, отважный, как на дуэли.

Он приучался избегать напыщенности, оттачивал умение скрывать натугу и труд, чтобы все сказанное или сделанное казалось естественным даром, чтоб достигалось совершенство в искусстве, которое в Италии именуется непринужденностью, в Испании *desprejo*.

Привыкнув к просторам Грив, где ветер пропах лавандой, в отеле Артеники Роберт дивился кабинетам, благоухавшим ароматными цветами, везде букеты и корзины, вечная весна. Немногочисленные виллы, которые он посещал до тех пор, состояли из мелких горниц, утесняемых гигантским проемом парадного вестибюля. У Артеники лестница шла в глубине двора, в углу, а главенствовали в доме анфилады кабинетов и зал, с высокими окнами и дверями, симметрично прорезанными посреди стен. На стенах не было обычной унылой штукатурки в колорите ржавчины и кожи. Стены в палаццо Артеники были разноцветные, и Синяя Спальня хозяйки была обтянута синим штофом, расшита золотом и серебром.

Артеника принимала друзей в кровати в комнате, заставленной ширмами, завешанной коврами, чтобы не проникала зима. Она не выносила ни света дня, ни пыланья камина. Огонь и дневной свет разогревали кровь у нее в жилах и приводили к потере чувств. Однажды забыли у нее под кроватью грелку с углями, и у нее приключилась рожа. Она напоминала цветок, не терпящий ни прямого солнца, ни холода, из тех, для которых садовники создают особенный климат. Тенелюбивая Артеника принимала в постели, засунув ноги в мешок из медвежьего меха и нахлобучив на голову спальные чепцы в таком количестве, что, по ее же забавному выражению, гложла на Святого Мартина и снова обретала слух на Пасху.

Хоть уже не была молода, хозяйка дворца имела идеальную внешность: крупная, хорошо сложенная, с чудесными чертами лица. Невыразимо было сияние ее глаз, не внушавших игривые чувства, а внушавших любовь, соединенную

с робостью, и облагораживавших сердца, которые они за- жигали.

В этих залах хозяйка устраивала, не навязывая, диспуты о дружбе и любви, легко переходя на темы философии, политики, морали. Роберт открывал для себя достоинства противоположного пола в самых рафинированных проявлениях, обожал с почтительной дистанции недостижимых принцесс — красавицу мадемуазель Полетт, прозванную “львицей” за ее гордо разметанную гриву, и прочих дам, умевших сочетать с красотой то остроумие, которое старомодные Академии признавали только за лицами мужского пола.

Окончив несколько классов этой школы, он созрел для знакомства с Владычицей Сердца.

В первый вечер она явилась пред ним в черных покрывалах, завуалированная, как скромная Луна, что прячется под тюлем облак. Молва, *le bruit*, которая единственная в парижском свете занимала место истины, донесла до него противоречивые вести. Будто она самоотверженно вдовееет, но не по мужу, а по любовнику, и упивается трауром, точно символом утраченного господства. Кто-то нашептал ему, будто она прячет свой цвет кожи, являя собой божественную египтянку, прибывшую из Мореи.

Какова ни была бы истина, от первого шуршанья ее шелков, от легкой поступи, от тайны лика сердце Роберта было пленено. Он озарялся ее блистательной темнотою; воображал ее светозарной птицею ночи; гадал, трепеща, каким волшебством ей удавалось отуманить лучи, осиять сумерки, превратить в молоко чернила, в черное дерево слоновую кость. Оникс лоснился в ее прядях, легкая ткань подчеркивала, овевая, абрис лица и фигуры, посверкивающий серебряной тусклотою небесных планет.

Внезапно, однако, в самый первый вечер их встречи, вуаль на мгновенье соскользнула и он разглядел полумесяц чела и яркую глубину очей. Два влюбленных взора, когда встречаются, скажут друг другу больше, чем могли бы выговорить за день все языки этого мира, обольщал себя Роберт, уверенный, что она на него посмотрела, и посмотревши, увидела. Дома он сел писать письмо.

“Сударыня,

пламя, коим вы меня накалили, дымит ужасно едко, так что вы не можете отрицать: от него ваши очи мрачатся, атакуемые такими почернелыми парами. Сама уж мощь вашего зора вывалила из моей руки оружие надменности и понудила вопрошать, дабы вы истребовали жизни моей. Насколько сам я оказал вспомоществование вашей виктории, я, приступивший к поединку, как некий, кто намеревается быть побежденным, обнажив для вашего приступа самую беззащитную долю моего тела, сердце, которое и перед этим рыдало кровавыми слезами, и таким образом вы заранее обездолили влагой мой дом и сделали его добычею пожара, которого искрой послужило ваше хоть мимолетное внимание!”

По его мнению, письмо так изумительно вдохновлялось правилами аристотелевой машины отца Иммануила, демонстрируя Даме натуру единственного из ее знакомцев, способного на подобную нежность, что он не считал неукоснительным подписываться. Он еще не знал, что прециозницы коллекционировали образчики любовных писем, как воланы и фестоны, ради концептов, а не ради отправителей.

Недели и месяцы ответа не было. Владычица Сердца тем временем и впрямь отрешилась от траура, сбросила покрывало и оказалась наконец в сиянии своей отнюдь не мавританской кожи, в шелку блондинистых локонов, во всем великолепии зрачков, уже не прячущихся, — окон Авроры.

Но теперь, имея возможность свободно обмениваться взглядами, он предпочитал, когда они были обращены к другим; он упивался музыкою слов, не для него произносившихся. Он не мог уже жить без ее света, но впитывал свое наслаждение в тусклом конусе тени от другого тела, поглощавшего ее лучи.

Он услышал, как ее звали Лилеей, конечно, это был прециозный псевдоним прециозницы, он прекрасно понимал, что такие имена даются и берутся для игры. Сама маркиза, хозяйка дома, именовала себя Артеникой, анаграммируя подлинное имя Катерина, и было известно, что два столпа комбинаторного искусства, Ракан и Малерб, предлагали варианты “Эракинта” и “Каринтеа”. Тем не менее Роберт был

совершенно уверен, что никакое иное имя не могло годиться его госпоже, истинно лилейной в белоснежной благоуханности.

Он посвящал Лилее любовные стихи, систематически уничтожая их, как недостойные воспеваемой:

“Твой вызывает гнев,
что я твой лик узрев,
Сладчайшая о Лилея,
что в мраке цветет, белея!
Гонюсь за тобою — прочь мчишь;
глаголю к тебе — молчишь...”

На самом же деле он вовсе не говорил с нею, разве что взглядами, исполненными агрессивного обожания, потому что чем сильнее любовь, тем сильнее озлобленность. С дрожью холодного огня, возбуждаемого хилым здоровьем, с душою легкой как свинцовая пушинка, влекомый на голгофу любви без взаимности, он продолжал отправлять Госпоже неподписанные письма, слагал стихи к Лилее, бережно хранил лучшие из них и перечитывал каждодневно.

Так он слагал и не слал:

“Лилея, Лилея, где ты? Где скрылася без ответа?
Лилея, ты свет небес, что просиял и исчез”.

Тем увеличивалось ее присутствие в его судьбе. Он проследил вечером, куда она возвращалась с камеристкой (“Через сумрачный лес прошел, увидел твой беглый след”), и таким образом разведал, в каком доме она жила. Теперь он приходил к этому дому перед часом утренней прогулки, дожидался Дамы и следовал за ней неотступно. Даже по прошествии месяцев он способен был назвать день и час, когда был очарован ее новой прической (и создал стихотворение о косах, “души тросах”, змеящихся над чистым ликом), и вспоминал тот волшебный апрель, когда она впервые вышла в пелерине цвета золотого дрока, которая так пристала к летучей ее поступи — лету “солнечной птицы” — и прошествовала при первом весеннем ветре.

Иногда, провожая ее повсюду как соглядатай, он возвращался по собственному пути, обегал кругом квартала и выходил из-за угла ей навстречу; следовал робкий поклон. Госпожа воспитанно улыбалась, удивленная совпадением, и оделяла его беглым кивком, не более чем требовали приличия. Он застывал посередине дороги, подобно соляному столбу. Проезжающие телеги плескали на него, сраженного в любовной баталии.

За несколько месяцев Роберт проиграл примерно пять подобных битв. Он терзался по поводу каждой, как будто она была и первой и последней, и убеждался, что при такой частоте, которая их отличала, они не могли являться результатом случайности, может быть, Госпожа сама как-то способствовала судьбе?

Пилигрим ускользающей Святой земли, вечно маемый страстью, он хотел быть ветром, колышущим ей волосы, утренней влагой, ласкающей ее тело, сорочкой, что нежила ее ночью, книгой, которую она нежила днем, перчаткой, гревшей ей руку, зеркалом, имевшим почетное право отражать все ее позы... Он узнал однажды, что ей была подарена белка, и долго думал о забавном существе, как оно, растомленное ее поглаживаниями, прижимает невинную мордочку к девственным всхолмиям, а пушистый хвост касается ее щеки.

Нескромность воображаемой картины его встревожила; виною была горячность. Свои дерзость и раскаяние он впечатлил в сокрушенные строфы, а потом говорил себе, что светский человек может влюбляться как безумец, но все же не как дурак. Только выступив с остроумною речью в Синей Спальне, он получал шанс выиграть любовное ратоборство. Новичок в галантных ритуалах, он скоро уразумел, что прециозницу можно завоевать только силою слова. Роберт слушал дискуссии в салонах, где благородные люди состязались как на турнире, но опасался, что не готов бросить перчатку.

Имея доступ к ученым кабинета Дюпюи, он начал обдумывать, не попытаться ли пересказать у Артеники основания какой-либо новой науки, еще неведомой в обществе, сопоставив их с наукой нежного сердца. Вскоре вслед за этим,

благодаря встрече с господином Д'Игби, он и нашел тему своей речи, той самой, которая впоследствии довела его до гибели.

Господин Д'Игби, во всяком случае среди парижан он был известен под этим именем, англичанин, встретился Роберту сначала у Дюпюи, а потом в каком-то салоне.

Не прошло и трех пятилетий с тех пор, как герцог Букингем доказал, что и англичанин может прожить жизнь как роман и быть способен на галантные безрассудства. Ему рассказали, что французская королева прекрасна и горда, и этой мечте он подчинил свое существование. Во имя ее он и умер, проживши длительное время на корабле, где велел воздвигнуть алтарь Владычице. Когда стало известно, что Д'Игби, и именно по поручению Букингема, за дюжину лет до того участвовал в корсарской войне с испанцами, мир прециозниц пришел к выводу, что он обворожителен.

Что касается кабинета Дюпюи, там англичан не сильно жаловали. Их ассоциировали с такими личностями, как Роберт Флудд — *Robertus a Fluctibus, Medicinae Doctor*, Златой всадник и Оксфордский Рыцарь, против которого было написано множество буклетов; его порицали за чрезмерную приверженность к оккультным представлениям о природе. Но в их среду все-таки был вхож такой просвещенный священнослужитель, как господин Гаффарель, который по части верования в невиданные дивные дива, по слухам, не уступал никакому британцу, а Д'Игби, с другой стороны, продемонстрировал, что способен судить и рядить с великим вежеством о необходимости Пустоты, причем в компании таких первоученых натурфилософов, которые испытывали ужас от всякого, кому был присущ "ужас пустоты" — *horror vacui*.

Скорее уж репутация Д'Игби страдала пред лицом некоторых милых женщин, и как раз потому, что он изобрел притирание для лица, а у дам пошли от того прыщи. Тогда стали шептаться, будто не иначе как по вине сваренного англичанином гадючьего декохта отошла в небытие в позапрошлом году его любимая супруга Венетия. Но все это была клевета завистников, кому не давала покоя выгодная

слава его лечения от почечных камней на основании разведенного коровьего помета и некоторых частей зайца, заеденного псом. Но рассказы о подобном вряд ли бы возбудили энтузиазм в обществах, где принято было заботливо подбирать, в присутствии особ стыдливого пола, такие слова, где не содержалось ни единого слога, имевшего хоть отдаленно неблагопристойный звук.

Однажды вечером Д'Игби продекламировал для собравшихся в салоне стихи одного поэта его земель:

Как праведники, отходя,
Неслышно шепчутся с душой,
Друзей в сомнение вводя:
“Уже не дышит”. — “Нет, живой”.

Так распадемся мы сейчас:
Без бури вздохов, ливня слез;
Спасем от нечестивых глаз
То, что изведать довелось.

Сдвиг почвы — бедствия пример:
Он порождает страх и крик;
Но тихий сдвиг небесных сфер
Всегда невинен, хоть велик.

Любовь земная оттого
Разлук не терпит, что они
Разъединяют вещество,
Составившее суть любви.

Но мы, кто чувством утончен
До несказуемых границ,
Легко снесем такой урон,
Как расставанье тел и лиц.

Ведь наши две души — одна;
Ей страх разъятъя незнаком;
Уйду — растянется она,
Как золото под молотком.

А если две — то две их так,
Как две у циркуля ноги:
Вращенье той, что в центре — знак
Единства с той, что вьет круги.

Центральная, наклонена,
Следит за странствием другой
И выпрямляется она,
Лишь если та пришла домой.

Мы как они: ведь ты тверда,
И путь мой станет образцом
Окружности: у нас всегда
Начало совпадет с концом.¹

Роберт вслушивался в это и взирал на Лилею, которая сидела от него отвернувшись, и клялся себе, что по отношению к Лилее он вечно останется и пребудет той самой второй ножкой циркуля, и что нужно выучить английский язык, чтоб прочитать остальные произведения поэта, который умеет до такой степени точно описывать его метания. В те времена ни один человек в Париже не подумал бы изучать английский язык — варварское наречие, однако, провожая Д'Игби к нему в таверну, Роберт увидел, что тот не лучшим образом говорит по-итальянски, хотя и бывал на полуострове, и, конечно, устыжен, что недостаточно владеет этим обязательным для каждого образованного человека языком. Поэтому они решили видаться почаще и попытаться быть взаимно полезными, преподавая по очереди свою родную речь.

Так зародилась крепкая дружба между Робертом и этим дворянином, который оказался глубоким знатоком медицины и натуралистики.

Он узнал страдания в детстве. Отец был замешан в Пороховом заговоре и казнен. По парадоксальному сходству, а может быть, и не парадоксальному, а сопряженному с глубинными движениями души, Д'Игби посвятил себя исследованиям иного пороха. Он много путешествовал, прожил восемь лет в Испании, потом три года в Италии, где, вот еще одно совпадение, был знаком с кармелитом, учителем Роберта.

¹ Стихотворение Джона Донна (1572–1631) “A Valediction: Forbidding Mourning”. Перевод с англ. С. Козлова.

Д'Игби вдобавок, в частности благодаря корсарскому опыту, был прекрасным фехтовальщиком, и у них с Робертом вошли в обычай учебные поединки. Какой-то мушкетер, увидев это, решил поразмяться и вызвал альфиера кадетской роты. Бой был пробный, участники вели себя осторожно, и тем не менее мушкетер на батмане не удержался от выпада, противник инстинктивно защитился и порезал мушкетеру руку, и порезал глубоко.

Д'Игби снял повязку, перетянул руку над раной, но через несколько дней ранение загрозило гангреной, и хирург сказал, что руку надо отнимать.

Услышавши о подобном, Д'Игби предложил услуги, предупредив, что возможно подозрение, будто это шарлатанство, но что просьба относиться ко всему с доверием. Мушкетер, не чаявший уже, к каким святым обращаться, отвечал испанской поговоркой "Hágase el milagro, y hágalo Mahoma"¹.

Д'Игби велел дать ветошку, напитанную кровью из раны. Мушкетер снял повязку, передал Д'Игби, а рану перевязали снова. Д'Игби взял плошку воды и и всыпал в нее купорос, размашисто мешая. Потом он вбросил ветошку в кислоту. Тут неожиданно мушкетер, который отвлекался чем-то посторонним, подскочил и ухватил больной локоть. Он сказал, что жжение в ране внезапно унялось и что он чувствует прохладу и облегчение.

"Прекрасно, — отвечал Д'Игби. — Теперь содержите язву в чистоте, мойте соленой водой ежедневно, чтоб она была восприимчивее к врачеству. Я же буду ставить этот тазик в дневные часы около окна, а ночью на угол камина, чтобы он всегда оставался при умеренной теплоте".

Роберт относил внезапное исцеление за счет неведомой, но иной причины. Д'Игби с хитрым видом вынул тряпку из таза и стал нагревать над камином, и тогда же мушкетер начал снова причитать и жаловаться, так что потребовалось поскорее вернуть ветошь в серный раствор.

Рана мушкетера затянулась в одну неделю.

¹ Было бы чудо, хоть от Магомета (*исп.*).

Думаю, что во времена, когда об антисептике не было понятий, само уж по себе ежедневное мытье вереда было достаточным залогом выздоровления, но нельзя порицать Роберта за то, что в следующие дни он расспрашивал товарища о лечебном основании его метода, который, кстати, был сходен с системой кармелита, памятной ему с отрочества. С той разницей, что кармелит наносил порох на клинок, которым причинился изъяз.

“Да, действительно, — отвечал Д’Игби, — диспут о лезвийном притирании тянется уже много десятилетий, и первым о нем заговорил еще великий Парацельс. Многие применяют жирную пасту и думают, что она вернее действует, если наносится на оружие. Но как вы понимаете, орудие поражения или лоскут, прикрывавший рану, для нас это едино, потому что препарат должен применяться там, где имеются следы крови пораженного. Многие, видя, как обрабатывают оружие для лечения последствий ранения, думают, что это колдовство. В то время как моя Симпатическая Пудра основана на закономерностях природы!”

“Почему она так называется?”

“Вот, название сбивает с толку, якобы относясь к конформности, или симпатии, объединяющей вещи мира. Агриппа пишет, что желая возбудить силу звезды, надо обратиться к вещам, которые звезде подобны и, следовательно, испытывают ее влияние. Он называет “симпатией” это взаимное притяжение между вещами. Как деготь, сера и масло готовят дрова к возжиганию, так же используя вещи конформные замышленному действию и конформные звезде, считается, что можно получить полезное влияние, и оно отразится на материи, должным образом подготовленной посредством апелляции к душе мира. Чтобы подействовать на солнце, следует, по этой логике, действовать на золото, соляное по природе, и на те растения, которые оборачивают соцветия вслед за солнцем или же загибают листья и лепестки на заходе солнца, чтобы вновь распустить их на рассвете, как например лотос, пион, чистотел. Такой метод используется, но все это бредни, подобной аналогии недостаточно, чтоб объяснять закономерности природы”.

Д'Игби посвятил Роберта в свой секрет. Мир, то есть воздушная сфера, преисполнен света, и свет есть материальная и телесная субстанция; эту часть урока Роберту усвоить было нетрудно, потому что в кабинете Дюпюи ему говорили уже, что свет есть тончайшее пыление атомов.

“Очевидно, что свет, — говорил Д'Игби, — бесконечно извергаясь из солнца и продвигаясь на огромной скорости во все стороны по прямым траекториям, там, где встречает какие-либо помешательства на своем пути, где встречает преткновение твердых и непрозрачных тел, там он отражается под тем же углом — *ad angulos aequales* — и снова бежит, пока не препинется опять наоборот о новое твердое непрозрачное тело, и так продолжается, покуда свет не иссякает. Так мяч, прикрепленный к шнуру, отскакивает от одной стены к другой, а от той опять к этой, и возвращается на ту же точку, к которой перед этим прикасался. Что происходит, когда луч ударяет о тело? Лучи отскакивают, отбивая по несколько атомов, крошечных частичек, точно так же как мяч отколотил бы от стены несколько кусочков штукатурки. Поскольку эти атомы состоят из четырех элементов, свет, наделенный теплотой, приклеивает к себе все липкое и уносит очень далеко. Это доказывается тем, что когда вы просушиваете мокрую ткань у камина, вы видите, как лучи, отражающиеся от ткани, увлекают с собою легкий водянистый туман. Эти бродячие атомы подобны рыцарям на крылатых конях, которые гарцуют по пространству, покуда солнце на закате их не спешивает, отгоняя табуны их Пегасов. Тогда они всей толпой мчат в те земли, из которых появились. Вдобавок эти феномены наблюдаются не только в отношении солнечных лучей, но и в отношении ветра, который представляет собой огромную реку разноприродных атомов, оседающих на плотных земных телах...”

“Таков же и дым”, — вставил Роберт.

“Разумеется. В Лондоне топят дома каменным углем, привозимым из Шотландии. Он богат очень кислой летучей солью; эта соль вылетает из камина с дымами, наполняет собой дома, уродует стены, кровати, светлую мебель. Если не открывать по несколько недель окна в доме, черная пыль обсадит все поверхности, точно так же как белой пылью

запорошиваются мельницы и хлебопекарни. Весной в Лондоне все цветы зачажены копотью”.

“Но может ли быть, что так много корпускулов рассеивается в воздухе, а тело, эманлирующее их, не уменьшается?”

“Может быть, уменьшается. Вы же отмечаете умаление воды при выпаривании. Но что касается плотных тел, их усушка незаметна, точно так же незаметно чтобы таял мускус и остальные пахучие вещества. Любое тело, до чего бы мало ни было оно, всегда поддается разделению на новые доли, и этому разделению нет предела. Подумайте же о малости корпускулов, отскакивающих от живого тела, благодаря которым наши английские гончие, ведомые обонянием, настигают зверя по следу. Что же, лисица, по окончании своего бега, кажется вам уменьшившейся? Вот именно за счет таких корпускулов наблюдаются феномены притяжения, которые многими именуются действиями на далеке, на самом же деле они вовсе не на далеке и, следовательно, они не колдовство, а только результат постоянного обмена атомов. Таково же притяжение отсоса, когда отсасывается вода или вино посредством сифона. Притяжение магнитом железных предметов... Притяжение фильтрования, к примеру когда льняную ленту кладут поверх кувшина с водой и из кувшина наружу вывешивается добрый кусок этой ленты, и вы видите, как вода самопроизвольно всползает наверх из кувшина и капает с ленты на пол. Последнее из притяжений, это притяжение места к огню, привлекающее к огню окрестный воздух со всеми корпускулами, кои коловращаются в нем; огонь, действуя соответственно собственной природе, увлекает с собой воздух, его окружающий, как вода реки увлекает песчинки с речного ложа. А памятуя, что воздух влажен, а огонь сух, пойдем, по какой причине они лепятся один к другому. И притом, дабы заместить воздух, забранный огнем, требуется, чтобы в освободившееся пространство притек воздух из ближних мест, в противном случае произойдет пустота”.

“Что же, вы противник пустоты?”

“Отнюдь. Я только говорю, что природа пустот не терпит и стремится наполнить все пустоты атомами, борясь за то, чтобы населились атомами любые области. Если бы не это,

мой Симпатический Порох не мог бы действовать и вы бы не наблюдали того, что было явлено в опыте. Огонь образует постоянный приток воздуха. Божественный Гиппократ очистил от чумной заразы целую провинцию, велел разложить повсюду большие костры. По этой причине во времена чумы повсюду убивают голубей и кошек и других теплокровных тварей: ведь они постоянно испаряют ветры, и воздух в тварях занимает место тех ветров, освободившееся при их испарении, а значит, зачумленные атомы внедряются в тело и пристают к перьям и к шерсти этих тварей, как свежее испеченный хлеб способен тянуть на себя пену из винных бочек и может перепортить все вино, если попадет хоть малая горбушка хлеба на верх бочонка. Так, в частности, произойдет и если вы выставите на воздух фунт винного камня, должным образом гашенного и прокаленного. Из него может получиться до десяти фунтов превосходного тартарового масла. Лекарь папы Урбана VIII рассказал мне об одной римской затворнице, которая преусердствовала в постах и молебствиях и так перегрела свое тело, что кости в ней пересохли. Ее внутреннее горение привлекало к себе воздух, и воздух обосновывался в ее теле, как было в опыте с тартаровой солью, и выходил из того конца, который предназначен к сносу разных сывороток, а именно из пузыря, поэтому бедная отшельница исторгала более двухсот фунтов мочи в сутки и это чудо всеми почиталось за доказательство ее святой чистоты”.

“Но ежели все привлекается всем... по какой причине стихии и тела пребывают в разрозненности и не наблюдаются смычки всех какие есть сил с другими силами?”

“Глубокий вопрос. Дело в том, что тела одинакового удельного веса объединяются легче, масло проще смешивается с другим маслом, нежели с водой, и мы должны прийти к выводу, что атомы одной природы удерживаются в общем месте на основании одинаковой разреженности либо плотности. Точно то же скажут вам и те философы, с которыми вы встречаетесь”.

“Они мне уже это говорили и показывали на примере солей. Как их ни мели и как ни коагулируй, соли вечно возвращаются к своей естественной форме. Поваренная соль

всегда имеет кубическую форму и грань ее всегда квадратна. Нитритовая соль представляет собой шестигранные призмы, а соль аммония заостренные шестиугольники, вроде снежинок”.

“А соль мочи образует пятигранники, из чего господин Давидсон выводит форму всех восьмидесяти камней, обнаруженных в пузыре господина Пеллетье. Но если тела аналогичной структуры перемешиваются охотнее, значит, они и взаимопротягиваются живее, нежели чуждые друг другу тела. Поэтому если вы обожжете руку, прохладу от страдания вы обретете, подержавши немного руку перед огнем”.

“Мой преподаватель, когда крестьянина укусила гадюка, положил гадючью голову на укус ...”

“Разумеется. Яд, продвигавшийся по жилам к сердцу, оборотил бег свой и направился вспять к источнику, где он состоял в наибольшей пропорции. Если во времена чумы принести склянку с тертыми жабами, или даже живую жабу и живого паука, или даже просто мышьяк, их ядовитая начинка высосет на себя заразу из воздуха. А сухие луковицы пускают стрелы в амбаре тогда же, когда луковицы в огороде начинают прорастать”.

“И этим объясняются в частности родимые пятна у детей: брюхатые матери чего-то сильно желают, и...”

“Тут бы я поостерегся утверждать. Бывает, что подобные феномены имеют другие причины и человек науки не должен брать на веру всякое суеверие. Но вернемся к моей Симпатической Пудре. Что случилось, когда я несколько дней подряд посыпал пудрою тряпку, вымоченную в крови нашего знакомого? Во-первых, действия солнца и луны приманили на расстоянии ветры крови, содержащиеся в ветошке, благодаря теплоте среды; и ветры купороса, разошедшиеся по крови больного, неизбежно повторили тот же самый путь. С другой стороны, рана продолжала исторгать из себя великое изобилие теплых и огненных ветров, а на их место внедрялся окружающий воздух. Этим воздухом притягивался новый воздух, этим новым — опять новый воздух, и ветры крови и купороса, разметанные на большом пространстве, в конце концов пригонялись к этому воздуху, так как он содержал атомы той же самой крови. Так

вот, когда атомы крови — те что исходили от тряпки и те что отлетали от раны — встречались между собою, они гнали воздух как ненужного попутчика, и тянулись к своему главному поместилищу, к ране, и возвращались в исходную область, ведя с собою атомы кислоты, и проницали ими плоть больного”.

“Но почему было не нанести купорос непосредственно на рану?”

“В данном случае вы и раненый были рядом. А если лечь на расстоянии? Вдобавок, попади купорос прямо на тело, его едким действием рана изъязвилась бы еще сильнее, в то время как путешествуя на воздухе, только сладкая и бальзамическая часть достигала пореза, та, что способна останавливать кровь и используется даже в качестве глазных капель”. Роберт вслушивался и мотал на ус все глубокомысленные советы, тем самым, как увидим, накликивая на свою голову неисчислимыя злосчастия.

“С другой стороны, — добавил Д’Игби, — нельзя, разумеется, использовать нормальный купорос, как это делали в древности и тем калечили скорее чем лечили. Нет, я достаю купорос с Кипра и сначала гашу его на солнце; гашение избавляет его от поверхностной влаги, и я будто настаиваю крепкий бульон; а кроме того, то же самое известкование подготавливает ветры вещества, чтобы воздуху легче было их переносить. Вдобавок, я примешиваю трагантовую смолу, которая быстро затягивает рану”.

Я пересказываю столь детально узнанное Робертом от Д’Игби, потому что это открытие переменяло его жизнь.

Следует заметить также, отнюдь не к заслуге нашего друга, и в том он и сам признается в своих письмах, что он был захвачен вышеуказанной премудростью не по страсти к натуралистике, а по все той же любовной страсти. Другими словами, эти картины универса, населенного ветрами, совокупляющимися согласно взаимной склонности, показались ему уместной аллегорией для описания любви, и он зачастил в библиотечные кабинеты для того чтобы узнать сколько можно об оружной мази (*unguentum armarium*), а в ту эпоху зналось уже немало и еще больше стало

известно об этом вопросе в последующие годы. По подсказке господина Гаффареля (данной вполголоса, чтобы не слышали другие посетители Дюпюи, мало верившие подобным вещам) он прочел “Ars Magnesia”¹ отца Афанасия Кирхера, “Tractatus de magnetica vulnerum curatione”² Гоклена, труды Фракасторо, “Discursus de unguento armario”³ Флудда и “Hopolochrisma spongus”⁴ Фостера. Он учился для того чтобы в один прекрасный день преобразить свою науку в поэзию и смочь когда-то красноречиво проблистать, как посол универсальной симпатии, там, где постоянно унижался красноречием остальных.

В течение многих месяцев — именно столько продлились его истовые искания, и ни шагу он не прошел на завоевательном поприще — Роберт исповедовал двойную, даже более того, многоликую истину, что в Париже почиталось признаком дерзости и в то же время осмотрительности. Днем он рассуждал о вероятной вечности материи, ночью губил глаза над трактатами, обещавшими ему — пусть и в терминах натурфилософии — оккультные чудеса.

Замышляя великолепное, следует не столько пытаться подстраивать оказии, сколько пользоваться подвертывающимися. Однажды у Артеники, после искрометной дискуссии об “Астрее”, хозяйка предложила собравшимся обсудить, что единого между любовью и дружеством. Тут Роберт взял слово и сказал, что принцип любви, будь она между друзьями или между любовниками, не отличается от того, на котором основано действие Симпатического Пороха. При первых признаках общего интереса он повторил рассказы Д’Игби, выпустив только повесть о мочившейся отшельнице, а потом пустился в комментирование сказанного, причем позабыл о дружестве и напирал на любовь.

“Любовь подчиняется тем же законам, что ветер, а ветры несут запах тех мест, откуда отправлялись. Если ветер подул

¹ “Магнитное искусство” (лат.).

² “Трактат о магнетическом язв излечении” (лат.).

³ “Речь о лезвевой мази” (лат.).

⁴ “Притирания оружной мазью” (греч.).

от огорода либо от сада, в нем будут ароматы жасмина, мяты, розмарина, таким образом мореплавателям взманивается проведать землю, сулящую подобные роскошества. Этим же образом и любовный дух, коли дует, опьяняет ноздри воспламененного сердца” (простим Роберту этот малоудачный троп). “Влюбленное сердце как лютня, отзывающееся на струны любимой лютни, как колокольный звон носится по поверхности водной глади, в особенности ночью, когда в отсутствии иных звуков вода отражает то же звучание, которое было наверху. В любящем сердце сбывается то же, что имеет место в кремортартаре, который способен ароматизироваться розовой водой, если его оставят в погребе в месяц цветения роз, и воздух, полный атомами роз, превращаясь в воду при притяжении кремортартаровой соли, напитает запахом тартар. Напрасна жестокость любовницы. Бочка с вином, когда виноградники в цвету, подвержена брожению. В ней на поверхности появляется белое цветение, вплоть до осыпания лоз. Однако любящее сердце, более упорное чем вино, когда расцветет в пору цветения возлюбленной, холит свой бутон даже если источники пересыхают”.

Он, померещилось, почувствовал на себе разнеженный взгляд Лилей. И продолжал: “Любить, это как принимать лунные ванны. Лучи, идущие от луны, являются солнечными лучами, отразившимися и дошедшими до нас. Собравши солнечные лучи с помощью зеркала, усиливаем их теплотворный эффект. Собрав и отразив снопок лунных лучей донцем серебряной плошки, убеждаемся, что лучи эти освежают, так как содержат росу. Казалось бы, бессмысленно мыть руки из пустой плошки. И все же руки увлажняются, и сие помогает от бородавок”.

“Месье де ла Грив, — кто-то вставил из публики, — любовь же не средство от бородавок!”

“О, нет, разумеется, — перебил его Роберт, которого было уже не остановить. — Но я привел примеры подлых вещей, чтоб вы запомнили, что и любовь зависит только от пыли корпускулов. Я показал, что и любовь являет нам законы, которые управляют подлунными и небесными телами, составляя для тех законов самое благородное

проявление. Любовь нарождается от взгляда и с первого взгляда возжигается. А что такое видимость, если не отражение реверберированного света от тела, которое мы наблюдаем? Наблюдая, мое тело пронизывается наилучшей частью возлюбленного тела, самой воздушной его частью, которая через очной проток достигает непосредственно до сердца. Таким образом, полюбить с первого взгляда означает упиться ветрами сердца возлюбленной. Великий Зодчий природы, когда создавал наше тело, населил его внутренними ветрами, будто некими сторожами, чтобы они доносили свои открытия основному генералу, иначе сказать воображению, хозяину телесного семейства. Когда воображение поразится, случается то же, что и слышав музыку скрипок: мы уносим в памяти игравшуюся мелодию и слушаем ее даже во сне. Наше воображение создает симулякр, им наслаждается любовник, если только не изничтожает именно за то, что он всего только симулякр. Из-за этого случается, что когда человек захвачен лицезрением возлюбленного существа, он меняется в окраске, пламенеет и бледнеет, в зависимости от того, каким образом его посыльные, то есть внутренние ветры, быстро или медленно наведываются к любовному предмету, дабы возвратясь дать отчет воображению. Но эти ветры залетают после мозга прямой дорогой к сердцу по широкому проходу, и в сердце жизненные ветры превращаются в ветры животные; воображение отсылает к сердцу часть атомов, полученных от внешнего предмета, и именно эти атомы влияют на кипение жизненных ветров, отчего сердце порой расширяется, а порой сужается до синкопы”.

“Вы утверждаете, мсье, что любовь физическое движение, не отличимое от... как когда закисает вино. Но не подчеркиваете, что любовь, в отличие от других феноменов материи, является свойством избирательным, то есть применяемым к отдельным, а не ко всем предметам. Почему любовь делает нас рабами того, а не иного существа?”

“Именно по этой причине я и возвел добродетели Любви к тому принципу, который у Симпатического Порошка: однородные, равноформенные атомы притягивают сходные атомы! Леча лезвейною присыпкой оружие, ранившее

Пилада, не излечить Орестову рану. Вот так и любовь объединяет лишь тех двоих, которые некоторым образом и ранее обладали сходной натурой. Благородный дух тянется к благородному духу, а подлый к подлому, ибо ведь любят и хамы, как в частности пастушки, и об этом свидетельствует чудесная повесть кавалера Д'Юрфе. Любовь обнаруживает согласие между двумя созданиями, предначертанное с истоков времен, точно так же как Судьбою с самого начала было предрешено Пираму и Тисбе прорасти в одну и ту же шелковицу”.

“А несчастливая любовь?”

“Не думаю, что она может быть несчастливой. Существуют только любви, еще не достигнувшие совершенного созревания, где по некоей причине возлюбленная не получила сообщения, которое посылают ей очи любящего. Однако любящий знает, какое соответствие природы было ему откровенно, и, укрепляемый верой в это, способен прождать, может, всю жизнь. Ему ведомо, что откровение обоим и сопряжение обоих может произойти даже и за порогом смерти, когда, выпарившись, атомы обоих телес освободятся от земных оков и совокупятся на каком-либо небе. И вполне возможно, что как раненый, не сознавая даже, что кто-то пользуется Симпатическим Присыпом поразивший его клинок, испытывает прилив здоровья, так же точно невесть скольким любовникам сообщается облегчение духа, и не ведают, что их веселость есть работа любимого сердца, ставшего в свою очередь любящим, и что началось совокупление двойнишных атомов”.

Могу сказать от себя, что эта замысловатая аллегория держалась на красивых словесах, и, вероятно, Аристотелева машина преподобного Иммануила выявила бы ее шаткость. Однако в этот вечер Роберту удалось удостоверить общество в наличии родства между Пудрою, вылечивающей от язв, и любовью, которая часто лечит, а еще чаще язвит.

Может быть, поэтому пересказ речи Роберта о Симпатическом Порошке и о Любовной Симпатии в течение нескольких месяцев, или более, гулял по Парижу, о последствиях чего будет поведано теперь.

И именно поэтому Лилея в конце выступления снова улыбнулась Роберту. Это была улыбка одобрения, скажем даже восхищения, но мало что так естественно для человека, как обольститься, будто тебя любят. Роберт воспринял эту улыбку как апробацию всех тех писем, которые посылал. Слишком привыкший мучиться из-за ее невниманья, он покинул общество в окрылении победой. Напрасно покинул; вскоре мы поймем, почему напрасно. С тех пор он, конечно, осмеливался обращаться к Лилее, но получал какие-то противоречивые ответы. Иногда она шептала: “Как мы договорились”. Иногда укоряла: “Но вы же утверждали другое!” Иногда перед тем, как ускользнуть, обещала: “Мы это опять обсудим, держитесь!”

Роберт не понимал, может ли быть, что она по рассеянности то и дело приписывает ему слова и поступки кого-то иного, или же она морочит его из кокетства.

То, чему суждено было приключиться, уложило эти редкие эпизоды в канву истории гораздо более тревожной.

17. УПОВАННАЯ НАУКА ДОЛГОТ¹



то был — наконец можно ухватиться за дату — вечер 2 декабря 1642 года. Выходя из театра, где Роберт бес-словесно разыгрывал, замешавшись в публику, любовную роль, Лилея сжала ему руку с шепотом: “Шевалье де ла Грив, вы робки. Не то было в памятный вечер. И все-таки завтра будьте снова на той же сцене”.

Он вышел, безумея от волнения: прийти, куда он не знал, и повторить то, на что никогда не решался! Но ошибки не было, она назвала его имя.

О, произнес он тогда (судя по его же запискам), ныне ручьи воспятятся к истоку, белые скакуны восскачут по башням Нашей Парижской Повелительницы, огонь запляшет в толще льдины... если она меня позвала. Или же нет, сегодня камень заплачет кровью, полоз спарится с медведицей, солнце почернеет, так как любимая поднесла мне кубок, откуда мне не пить, ибо не знаю, где пированье...

В двух шагах от счастья, в отчаянии бежал он к дому, в единственное место, где ее не могло быть.

Можно интерпретировать в гораздо менее загадочном ключе фразу Лилеи: просто она напоминала недавнюю его речь о Симпатическом Порохе, поощряла подготовить еще одну беседу и взять снова слово в салоне Артеники. С памятного дня он держался молчаливо-обожательно, это не

¹ Название латиноязычного сочинения французского теолога, одного из помощников кардинала Ришелье Жана Батиста Морена (1583–1656) “Longitudinum Optata Scientia” (1623).

подходило под регламент нормального кокетства. Она указывала, как сказали бы сегодня, на требования света. Ну же, будто говорила она, в тот-то вечер вы не были робки! повторите выступление, вернитесь на сцену, я буду при вашем упражнении! И чего еще ждать от прециозницы.

Но Роберт понимал все иначе: “Вы робки, однако позавчера... или запозавчера... робости не было и тени, когда мы с вами...” — воображаю, что ревность возбраняла и в то же самое время подсказывала Роберту продолжение этой фразы. — “Будьте завтра на тех же подмостках, в том же таинственном месте”.

Вполне естественно, что — так как его фантазия шла по самой тернистой из тропок — он заподозрил, будто некто выдал себя за Роберта и подложно одержал от Лилеи то, за что он предложил бы жизнь. Снова явился Феррант; нити прошлого плелись в четкий рисунок. Злостный двойник, Феррант опять залезал в его жизнь, использовал его отлучки, опоздания, преждевременные отъезды, умел отобрать то, что Роберт заработал рассказом о Симпатическом Порошке.

Пока он терзался, постучали в дверь. Надежда, сон бодрствующих людей! Он кинулся открывать, ожидая увидеть ее на пороге: но это был офицер кардинальских гвардейцев и два солдата.

“Шевалье де ла Грив, полагаю, — сказал офицер. И продолжил, представившись капитаном де Баром: — Я удручен тем, что предстоит исполнить. Однако вы, шевалье, под арестом, прошу передать мне шпагу. Добровольно идите за мной, спустимся к карете как друзья, и вам не будет позорно”. Он дал понять, что не знает причины ареста, уповает на ошибку. Роберт молча шел за ним, уповая на то же, и в конце пути со многими реверансами был вверен сонному сторожу и ввергнут в Бастилию.

Он просидел две холоднющие ночи в компании разве что нескольких пасюков (предусмотрительная подготовка к плаванию на “Амариллиде”) и охранника, который на любые вопросы отвечал, что тут перебивало столько важных господ, что он уж не дивится, за что их всех сажают; и если в этой камере семь лет продержали такое значительное

лицо, как Бассомпьер, не совместно Роберту начинать плакаться всего-то через несколько часов.

Давши ему два дня на предвкушение худшего, на третий возвратился де Бар, распорядился об умывании и известил, что Роберта ожидает Кардинал. Роберт понял хотя бы что арестован по государственному вопросу.

Во дворец они доехали запоздно и уже по суматохе у дверей ощущалось, что вечер необычный. Лестницы были запружены людьми любых сословий, текшими во всех направлениях: в одну из приемных кавалеры и церковные лица заходили с озабоченным видом, отхаркивались из политеса на разрисованные фресками стены, принимали горестный вид и следовали в соседнюю залу, откуда высывались домочадцы, громко выкрикивая имена запропастившихся слуг и делая обществу знаки, призывающие к тишине.

В эту залу был заведен со всеми и Роберт, и увидел только спины, стеснившиеся у проема в другую залу, вытянувшись и бесшумно, будто при тягостном зрелище. Де Бар глянул, ища кого-то, махнул Роберту стать в сторону и вышел.

Другой постовой, пытавшийся удалить из комнаты лишних зрителей, с разной степенью обходительности, по их положению, видя Роберта со щетиной, в платье, истрепавшемся за дни ареста, грубо спросил, для чего он здесь. Роберт сказал, что его вызывают к Кардиналу, и услышал в ответ, что Кардинала, ко всеобщему сожалению, тоже вызывают, и к Тому, кто настойчивее остальных.

Как бы то ни было, Роберта оставили, и постепенно, поскольку де Бар (единственный имевшийся там с ним товарищ) не возвращался, Роберт пододвинулся к скопищу и то выжидая, то поджимая, подтеснился до порога самой дальней двери.

В дальней комнате, в кровати, на сугробе подушек, он увидел, почивала тень того, которого вся Франция трепетала и кого немногие любили. Великий Кардинал был окружен врачами в темных одеждах, которых явно больше интересовала дискуссия, нежели больной. Какой-то монах

обтирал ему губы, на них даже от слабого покашливания выступала красная пена, под покрывалами угадывалось натужное дыхание изможденного тела, в кулаке, выступавшем из манжета, был крест. У монаха вырвался всхлип. Ришелье через силу повернул голову, осклабился и прошептал: “Вы правда думали, что я бессмертен?”

Роберт недоумевал, кто же вызвал его к умирающему. Тут за спиной раздался шум. Разнеслось имя каноника де Сент-Эташ, и при расступившейся толпе прошел каноник с сопровождающими, неся соборовальный елей.

Роберта тронули за плечо, это был де Бар. “Идемте, — сказал он Роберту. — Его Высокопреосвященство ждет”. Ничего не понимая, Роберт двинулся по коридору. Де Бар ввел его в залу, дал знак снова ждать и покинул помещение.

Зала была просторная, в центре бросался в глаза большой глобус и часы на подставке в одном из углов на фоне красных драпри. Левее драпри, под огромным полнофигурным портретом Ришелье, Роберт не сразу разглядел стоявшего к нему спиной, в кардинальском пурпуре, занятого письмом на конторке человека. Порфироносец покосился и кивнул Роберту подойти, но пока Роберт пересекал залу, снова нагорбился над своей конторкой, огораживая лист левой рукой, хотя никак не удалось бы Роберту с того почтительного расстояния, на котором он оставался, прочесть что бы то ни было.

Потом кардинал повернулся, бархатные складки всплеснули, и замер на несколько мгновений, будто воспроизводя висевший за его спиной портрет: правой рукой опираясь на подставку, левую поднеся к груди и манерно выворачивая вверх ладонью. Затем он уселся на пышные кресла около часов, разгладил усы и эспаньолку и осведомился: “Шевалье де ла Грив?”

Шевалье де ла Грив до этой минуты не знал как ему поступить с кошмарным наваждением, потому что тот же самый Кардинал, он видел, расставался с жизнью в десяти метрах от этих стен; но разглядев лицо, он убедился, что черты стали моложе, разгладились, как будто на бледном аристократическом абрисе с портрета кто-то подрозовил

щеки и подвел губы решительным извивом; и вдобавок голос с иностранным акцентом пробудил в нем давнее воспоминание о капитане, который за дюжину лет до того гарцевал перед двойным фрунтом неприятельских войск в Казале.

Роберт находился перед кардиналом Мазарини, и понимал, что постепенно, под агонию покровителя, этот человек перенимает его полномочия, и вот уже офицер говорит “Высокопреосвященство”, как будто других высокопреосвященств нет на свете.

Он не ответил, он вовремя понял, что кардинал только по форме задает вопросы, а по существу вещает, предполагая, что в любом случае собеседник может только с ним соглашаться.

“Роберт де ла Грив, — убедительно продолжал кардинал, — из рода владетелей Поццо ди Сан Патрицио. Известен нам и замок, как известна вся земля Монферрато. Изобильна до того, что могла бы быть Францией. Ваш отец во дни Казале бился с мужеством и был нам более предан, нежели другие ваши товарищи”. Он говорил “нам”, как будто в ту эпоху уже состоял креатурой короля Франции. “Да и вы в том обстоятельстве повели себя отважно, как нам было рассказано. Не думаете ли вы, что тем более, и отечески, отягощается наша душа, видя, что ныне, гость государства, вы не соблюдаете священный долг визитера? Не известно ли вам, что в этом государстве законы равно распространены и на подданных, и на приезжих? Разумеется, не будет забыто ваше благородное происхождение, каков бы ни был проступок; вам окажутся те же послабления, что и Сен-Мару, чей опыт, похоже, не мерзок вам, как долженствовало бы. Вас тоже казнят секирой, а не удавкой”.

Роберт, конечно, знал, о чем речь: об этом говорила вся Франция. Маркиз де Сен-Мар пытался убедить короля уволить Ришелье, но Ришелье убедил короля, что Сен-Мар замышляет против королевства. В Лионе приговоренный старался сохранять достоинство перед палачом, но палач превратил его шею в такое крошево, что возмущенная толпа превратила в крошево самого палача.

Потрясенный Роберт порывался ответить, но кардинал воспретил рукой. “Ну же, Сан Патрицио, — и Роберт понял, что родовое имя требовалось, дабы подчеркнуть, что он — чужестранец; в то же время разговор велся по-французски, хотя Мазарини мог бы говорить с ним и на итальянском. — Вы переняли пороки этого города, этой страны. Как говорит Его Высокопреосвященство, французы по легкомыслию и посредственности алчут перемен, наскучивая настоящим. Некоторые из этих легкомысленных, которых король велел облегчить и от голов, соблазнили вас бунтарскими проектами. По таким делам не беспокоят судей. Государства, сохранность которых является наидрагоценным благом, падали бы неотлагательно, если бы при разборе преступлений, замышляемых против их цельности, была нужда в уликах настолько же явных, как для зауряд-судопроизводства. Третьего дня вечером вас видели с друзьями Сен-Мара, снова подстрекавшими против нашей короны. Тот, кто видел вас с ними, заслуживает веры, он был внедрен нами. Довольно, — утомленно отмахнулся он. — Не затем вас привели, чтоб выслушивать заверения в невинности. Успокойтесь и запоминайте”.

Роберт нисколько не успокоился, но сделал умозаключения. В тот самый час, когда Лилея с ним уславливалась, его видели в другом месте с государственными заговорщиками. Мазарини был настолько в этом убежден, что идея становилась реальностью. Повсюду шептали, что гнев Ришелье еще не утился, все боялись оказаться на месте нового примера. Роберт на нем оказался; как бы ни обстояло дело, Роберт пропал.

Иному подумалось бы, что нередко, и не только за два вечера до того, он задерживался побеседовать у дверей Рамбуйе; что не исключен среди собеседников какой-нибудь друг Сен-Мара; что если Мазарини зачем-то хочет погубить его, достаточно перетолковать любую фразу осведомителя... Но, как обычно у Роберта, его размышления шли в иной плоскости и подтверждали его обычные страхи: некто участвовал в подрывном совещании под его именем и в его обличье.

Опять-таки повод, чтоб не защищаться. Только была непонятна причина, по которой — если уж он приговорен — кардинал утруждается объявлять его судьбу. Ведь не Роберту предназначен пример. Он — только средство, символ, остратка иным, кому еще неясны намерения короля... Молча Роберт ждал следующих фраз.

“Видите ли, Сан Патрицио, не будь мы облечены высокосвященническим саном, коим Его Святейшество, и желание короля, удостоили нас в прошедшем году, мы бы сказали, что само Провидение руководило вашей неосмотрительностью. Уже давно мы следили за вами, гадая, как бы получить услуги, которые вы вовсе не должны оказывать. Ваш ошибочный шаг три дня назад мы расценили как дар небес. Теперь, когда вы наш должник, наша роль меняется, не говоря о вашей”.

“Должник?”

“Вы должны нам жизнь. Разумеется, не в нашей власти помиловать, но мы можем помочь. Дадим возможность спастись от преследований закона путем бегства. По прошествии года, или более года, память свидетельствующего против вас затуманится, и он без колебаний поручится честью, что заговорщиком три вечера назад были не вы. Может также открыться, что именно в это время вы играли в триктрак с капитаном де Баром. И тогда, — мы не решаем, имейте в виду... а предполагаем, и возможно, что произойдет как раз обратное... но будем считать, что мы видим верную перспективу, — на вашей стороне окажется правосудие и вам безусловно возвратится свобода. Садитесь, прошу вас, — сказал кардинал. — Я намерен предложить вам работу”.

Роберт сел.

“Деликатного свойства. При ее выполнении, незачем скрывать, имеется вероятность расстаться с жизнью. Но такова суть нашего пакта: вместо полной уверенности в гибели от рук палача, вам предоставляется вероятная возможность возвратиться во здравии, если окажетесь осмотрительны. Подытожим: год передрыг против утраты целой жизни”.

“Высокопреосвященство, — отвечал Роберт, сознавая прежде всего, что свидание с палачом откладывается. — Насколько я понимаю, нет толку присягать честью или на Святом кресте, что...”

“Было бы противородно принципу христианского милосердия совершенно отметить, что вы невинны, а мы в недоразумении. Но недоразумение настолько соответствует нашему предначертанию, что нет резона его устранять. Надеюсь, вас не возмущает постановка вопроса? Или предпочтете попасть невинному под секиру, а не виновному, пусть даже облыжно — в услужение к нам?”

“Я далек от подобных безрассудных намерений, Высокопреосвященство”.

“Прелестно. Мы предлагаем вероятный риск и верную славу. И объясним, по какой причине остановили взгляд на вас еще до того, как узнали о вашем пребывании в Париже. Город, видите ли, достаточно интересуется тем, что происходит в салонах, и весь Париж недавно шумел о том, как на одном вечере вы блистали перед очами дам. Да, весь Париж, и не краснейте. О том вечере, где вы изящно описали достоинства так называемого Симпатического Порошка и вашему описанию ирония сообщила соль, параномазии — вежество, сентенции — торжественность, гиперболы — богатство, сравнения — пронизательность... так принято выражаться у них в среде, не правда ли?..”

“Высокопреосвященство, я лишь пересказывал сведения, которые...”

“Ценю вашу скромность, но, кажется, вы выказали незаурядные познания тайных свойств природы. Короче, мне нужен человек подобного образования, не француз, никак не связанный с нашей короной, который сумеет внедриться в экипаж судна, отплывающего из Амстердама, и открыть один новый секрет, как-то связанный с использованием порошка”.

Он предупредил еще одно возражение Роберта. “Не беспокойтесь, мы позаботимся, чтобы вы понимали, что именно ищете, и могли истолковать даже самые неявные знаки. Мы идеально подготовим вас по теме, раз уж, как догадываюсь, вы расположены пойти нам навстречу. Вам будет дан

одаренный наставник, и не обманывайтесь его юным видом". Он дернул за шнур. Никакого звука. Но, по-видимому, где-то вдалеке сигнал был получен: так подумалось Роберту, хотя обычно в этом столетии господя, чтобы позвать слуг, надрывали глотки.

Действительно, в скором времени вступил юноша чуть старше двадцати лет.

"Кольбер, это тот, о ком мы вам сегодня говорили, — обратился к нему Мазарини. Затем он сказал Роберту: — Кольбер подает большие надежды на тайносовещательном поприще и довольно давно занимается вопросом, интересующим кардинала Ришелье, а следовательно, меня. Может быть, вы знаете, Сан Патрицио, что до того как Кардинал принял руль того могучего челна, коего Людовик XIII является капитаном, французский флот был в ничтожестве по сравнению с флотами наших соперников, как во времена войн, так и во время мира. Сейчас мы можем гордиться нашими верфями и на восточном побережье, и на западе, и вы помните, с каким успехом не далее как шесть месяцев назад маркиз Брезе вывел к Барселоне флотилию из сорока четырех корветов, четырнадцати галер и не помню уж скольких шкун. Мы упрочили Новую Францию, закрепили господство на Мартинике и Гуадалупе и на всяких прочих Перуанских островах, как любит подшучивать Кардинал. Мы создаем коммерческие компании, хотя все еще не с полным успехом. К сожалению, в Объединенных Провинциях, а также в Англии, Португалии и Испании нет благородного семейства без отпрыска на морях, а во Франции, увы, такое не в заводе. И вот результат: мы, возможно, знаем не так уж мало о Новом Свете, но прискорбно мало о Новейшем. Кольбер, покажите нашему другу, до чего бедна сушей противоположная часть земного шара".

Юноша крутанул глобус, а Мазарини грустно усмехнулся. "Увы, эта обширная водная гладь так пуста не по немилости природы, а из-за того, что нам непозволительно мало ведомо об изобилии природных даров. И все же после первооткрытия западного пути к Молуккам игра идет вокруг именно той обширной девственной области, которая простирается между западным побережьем американского

континента и крайними восточными оконечностями Азии. Я имею в виду, что среди вод так называемого Тихого (португальцы считают его тихим!) океана безусловно лежит Австралия, то есть “южная”, Неисследованная Земля. Мы имеем данные только о близких к ней островах, крайне скудные данные о линии ее берегов, но имеем в то же время полную уверенность, что она преизбыточествует богатствами. Так вот, в тех водах и сейчас, и уже немалое время на данный день вертится чересчур много авантюристов, не говорящих на нашем языке. Наш друг Кольбер, и я полагаю, что не по юношеской запальчивости, замыслил план французского присутствия на тех морях. Вдобавок мы склонны думать, что первым высадился на эту Австралийскую землю именно француз, господин Гоннвиль, за шестнадцать лет до экспедиции Магеллана. Однако этот наш достойнейший путешественник, или священнослужитель, кем бы он ни был, не удосужился обозначить на карте место, где ступил на новую землю. Можно ли допустить, чтобы истинный француз проявил такую беззаботность? Конечно, нет! Просто в ту миновавшую эпоху не было способа разрешения одной трудности. Каковая трудность, и вы будете удивлены, узнавши, в чем же дело, остается непреодолимой и для нас”.

Он выдержал паузу, и Роберт осознал, что поскольку и кардиналу и Кольберу известно если не разъяснение тайны, то по крайней мере в чем она состоит, пауза выдерживается исключительно ради него. Он почел за благо подыграть им с позиций заинтригованности и с выражением спросил: “Но в чем же, в чем же эта тайна?”

Мазарини переглянулся с Кольбером и произнес: “Тайна — тайна долгот”. Кольбер торжественно подтвердил.

“Тайна долгот. Тому кто откроет секрет Исходной точки, Punto Fijo, — продолжал кардинал, — уже семьдесят лет назад Филипп II Испанский посулил целое состояние, а позднее Филипп III обещал шесть тысяч дукатов постоянной ренты и две тысячи дукатов пенсiona, а Генеральные Штаты Голландии три тысячи флоринов. Мы тоже не скупились на денежные дачи знающим астрономам... Кстати, Кольбер, этот доктор Морен... мы уж восемь лет как должны бы ему...”

“Высокопреосвященство, вы сами говорили, что вам кажется, будто его лунный параллакс не более чем химера...”

“Да, но для доказательства этой спорной гипотезы он досконально изучил и проанализировал остальные. Дадим ему участие в нашем новом проекте, он может просветить господина Сан Патрицио. Посулим ему пенсион, ничто так не укрепляет добрые намерения, как деньги. Если в его теории есть разумное зерно, мы крепче привяжем его к нам с его наукой; и ему не взбредет в голову наниматься к голландцам, оттого что на родине его забросили. Кстати, кажется, именно голландцы, пока испанцы мешкают, хотят подманить этого их Галилея. Не стоит нам сидеть сложа руки”.

“Высокопреосвященство, — нерешительно вставил Кольбер. — Приятно напомнить вам, что Галилей умер в начале текущего года...”

“Вот как? Надеюсь, Господь дарует ему больше удовольствия, нежели ему выпало при жизни”.

“...и в любом случае его решение хотя и представлялось окончательным, однако таковым не является...”

“Вы удачно предвосхитили нашу мысль, Кольбер. Ну, будем считать, что и решение Морена не стоит ломаного гроша. Как бы то ни было, все равно мы его поддержим, пусть снова завяжется полемика вокруг его заблуждений, возбудим любопытство голландцев; голландцы разлакомятся, а мы на какое-то время отправили неприятеля по ложному следу. Уж по этому одному, не зря истратятся деньги. Но довольно. Прошу вас, рассказывайте, пусть Сан Патрицио уразумеет, в чем дело. Возможно, кое-что узнаю и я”.

“Его Высокопреосвященство, — краснея, сказал Кольбер, — знает все, что известно мне, однако по благосклонному соизволению отваживаюсь повториться”. Выговорив это, он почувствовал себя, по-видимому, более твердо: выпрямил голову, которая была скромно наклонена, и непринужденно стал у глобуса. “Господа, в океане, когда виднеется суша, непонятно, что это за земля, а чтоб достичь известной цели, по многу дней плывут среди бесконечной воды, и путеводны для мореплавателя одни только светила. Способы, прославившие древних астрономов, дают

возможность по высоте небесного тела над горизонтом, вычтя расстояние от зенита и зная угол наклона, зная, что зенитное расстояние плюс или минус угол наклона образует градус широты, рассчитать, на какой ты параллели, то есть насколько севернее или южнее известной точки. Это, полагаю, очевидно”.

“Очевидно и дитяти”, — промурлыкал Мазарини.

“Казалось бы, — продолжал Кольбер, — что таким порядком можно было бы определить и насколько ты западнее или восточнее некой точки, то есть на какой ты из долгот, то бишь на каком меридиане. По формулировке Сакробоско, меридианом называется окружность, проходящая через полюса нашего мира и через зенит нашей головы. И называется она “меридианом”, “серединой дня”, потому что где бы человек ни обретался и каково бы ни было время года, неизменно в минуту прохождения солнца через дугу меридиана для этого человека наступает полдень. Но увы, по некоему издевательству природы, все средства, предлагавшиеся для определения долгот, бессильны. Что ж нужды? спросил бы неуч. Однако нужды очень много”.

Кольбер входил во вкус речи, он снова закрутил глобус, показывая очертания Европы. “Пятнадцать градусов меридианов, приблизительно, отделяют Париж от Праги, несколько более двадцати — Париж от Канарских островов. Что сказал бы командующий сухопутного войска, если бы пошедши на Белую Гору бить протестантов, он бы увидел, что истребляет докторов Сорбонны на холме Сен-Женевьев?”

Мазарини усмехнулся и шуточно замахал руками, показывая, что некоторым вещам уместно происходить только на правильных меридианах.

“Но трудность заключается в том, — продолжал Кольбер, — что ошибки подобного размера возникают из-за средств, которыми мы до сих пор вынуждены пользоваться для определения долгот. Вот и выходит, как около ста лет назад с этим испанцем Менданьей, открывшим Соломоновы Острова, которые Небеса благословили и плодами в лесах и золотом в копиях. Этот Менданья определил положение открытых земель и воротился на родину огласить открытие,

и в течение менее чем двадцатилетия четыре парусника были направлены к островам, дабы закрепить на них владычество христианнейших королей, и что же? Менданья не сумел снова отыскать остров, на который была его высадка. Голландцы не сидели ждя у моря погоды, в начале нашего века они основали Ост-Индскую компанию, zaloжили в Азии факторию Батавию для отправки флотилий на восток, освоили Новую Голландию, а другие земли, расположенные, по-видимому, к западу от Соломоновых Островов, захватили тем временем английские пираты, которым Совет Святого Иакова не замедлил утвердить претензии на дворянские гербы. Соломоновых же Островов никто не сумел найти и следа, и постижимо, отчего в наше время многие полагают, что эти острова лишь легенда. Однако легенда они или нет, Менданья все-таки выходил на их берег, если не допустить, что он верно обозначил широту, на которой они располагаются, но ошибочно — долготу. Если же, с Божиим вспомоществованием, он все-таки определил координаты земли правильно, значит, последующие мореплаватели, которые отыскивали эту долготу (как и он сам в повторном плавании), не понимали окончательно, на какой обретаются они сами. Равно как если бы мы с вами, точно зная, где находится Париж, не имели бы представления, где мы сами, в Испании или среди персов, судите, господа, не оказались ли бы мы в роли слепцов, которые направляют других незрячих”.

“Воистину, — вставил Роберт, — затруднительно даже поверить, что при всем процветании наук в нашем веке, мы до сих пор умеем настолько мало”.

“Не перечислишь, какое множество предлагалось способов: и исходить из лунных затмений, и исследовать отклонения намагниченной иглы, этот способ до сих пор совершенствует наш Летеллье, не говоря уж о методе лага, от которого такие успехи пророчил Шамплен... Все они оказались недостаточны, и так будет, покуда Франция не получит порядочную обсерваторию, где проверять подобные гипотезы... Разумеется, вернее всего было бы иметь на борту часы, показывающие время парижского меридиана; определять в любой точке моря местное время и по разнице

времени узнавать градусы долготы. Вот он населяемый нами шар, и вы видите, что мудростью древних жителей он разграничен на триста шестьдесят долготных градусов, причем за точку отсчета принимается меридиан Железного — одного из Канарских островов. В своем непрерывном беге солнце (и оно ли движется или, как сейчас предлагается думать, земля, — мало меняет в конечном итоге) преодолевает за один час пятнадцать градусов долготы, и если в Париже полночь, как видим сейчас... то на сто восьмидесятом меридиане двенадцать часов дня. Ну вот, а если вам известно, что в какую-то минуту в Париже часы бьют, предположим для примера, середину дня, и в то же время там, где находитесь вы, шесть утра, можно посчитать по пятнадцати градусов в час и иметь уверенность, что ваша долгота пролегает в восьмидесяти градусах от Парижа, то есть приблизительно вот тут, — и он показал пальцем на американский берег. — Однако до чего нетрудно знать время дня в той точке, где вы находитесь, до того же затруднительно иметь на борту часы, способные поддерживать точные показания через месяцы и месяцы плавания на борту судна, трясомого всеми ветрами; качка приводит к погрешности точнейшие и наисовременные приборы, не говоря уж о песочных и водных часах, которые способны отсчитывать время лишь на полностью бездвижной опоре”.

Кардинал перебил его. “Нам не думается, что господину Сан Патрицио полезно знать на данный момент что-либо еще, Кольбер. Устройте так, чтобы дополнительные разъяснения он получил по дороге в Амстердам. После чего уже не нам будет совместно поучать его, а ему, уповательно, учить нас. Дело в том, дорогой Сан Патрицио, что Кардинал, око которого пронизало и пронизает — понадеемся, и долго еще впредь — значительно далее нашего ока, заблаговременно создал сеть доверенных осведомителей, которые оседают в заграничных странах, наведываются в порты, беседуют с капитанами, отправляющимися в путешествия или возвращающимися из них, дабы знать, что предпринято и что известно иным правительствам, но еще не известно нам, поскольку — и это мне кажется очевидным — государство, которое разрешит загадку долгот и предотвратит

огласку этого решения, получит великое преимущество перед остальными. В данное время, — и тут Мазарини выдержал новую паузу, снова расправив усы, а затем сопрягая ладони, будто для сосредоточения и в то же время для обращения за поддержкой к небесам, — в данное время мы узнали, что английский лекарь доктор Берд испытывает новый и остроумнейший способ вычисления меридиана, с употреблением Симпатического Порошка. Как это делается, любезнейший Сан Патрицио, вы не должны спрашивать у нас, поелику я знаком лишь с отзвуком наименования этого дьявольского средства. Мы доподлинно знаем, что в историю замешана эта симпатия, но не имеем представления, что за метод использует доктор Берд, и наш осведомитель, разумеется, нетверд в изощрениях натуральной магии. Однако сведения гласят, что английский адмирал оборудовал для Берда судно, направляющееся в тихоокеанские воды. Задание настолько щекотливо, что англичане не рискуют посылать корабль как собственный. Он приписан голландцу, с виду чудаку, мечтающему повторить путь двоих соотечественников, которые четверть века тому обнаружили новый, в дополнение к Магелланову проливу, проход между Атлантическим и Тихим океанами. Но поскольку стоимость авантюры такова, что наводит на мысль о целенаправленном финансировании, голландец прилюдно грузит товары и надсадно вербует пассажиров, как будто хлопоча об оправдании расходов. Среди пассажиров, как бы случайно, на этом корабле отплывают доктор Берд и трое ассистентов, выдающих себя за собирателей экзотических растений. На самом же деле они являются распорядителями экспедиции. Среди пассажиров будете и вы, Сан Патрицио. Все формальности уладит наш человек в Амстердаме. Вы будете из савойского дворянства, преследуемый законом по всему свету и почитающий благом убраться на продолжительное время с суши на море. Как видите, вам даже не придется грешить против истины. Имея хилое здоровье — и вы на самом деле слабы глазами, как нам подсказывают, — будете постоянно находиться с примочками на лице. Выбираясь из каюты, не сможете видеть далее носа. Рассеянно бродя без всякой цели, будете держать глаза в готовности и уши

начеку. Нам известно, что английский язык вы изучали. Сделаете вид, что его не знаете, таким образом враги станут свободно переговариваться в вашем присутствии. Если кто-то на борту понимает итальянский или французский, задавайте вопросы и запоминайте ответы. Не гнушайтесь выведываньем у дюжинных людей, они за пару монет выложат вам все печенки. Но не сорите деньгами, пусть это выглядит подачкой, а не платой, иначе возникнет подозрение. Не задавайте вопросов прямо. Спросивши сегодня, попытайтесь разузнать то же самое и завтра, но любопытствуйте другими словами. Проверяйте, не солгали ли вам, выявляйте расхождения. Дрянные люди быстро забывают свое бахвальство и через день выдумывают прямую противоположность. К тому же лгуны опознаются. При улыбке у них на щеках ямочки, а ногти они носят самые короткие. Не работайте с людьми невысокого роста, они лгут для самоутверждения. В любом случае, ваши беседы будут кратки. Не выказывайте удовлетворения. Единственный, с кем вам нужно говорить как можно больше, это доктор Берд, и правдоподобно, что вас будет привлекать только он, как равный по образованию. Он ученый, значит, говорит по-французски, скорее всего и по-итальянски и определенно по-латыни. Вы как больной попросите от него совета и облегчения. Вы не станете, конечно, глотать красную глину или красную смородину, чтоб разыгрывать кровохарканье. Вы просто предложите посчитать у вас пульс после ужина. В это время у каждого как будто начинается лихорадка. Скажете, что по ночам не в состоянии смежить глаз. Это объяснит, по какой причине вас можно застигнуть в любом месте корабля в ночное время и в недреманном состоянии. Это на случай, если их опыты будут проводиться при свете звезд. Берд, по-видимому, одержимый, как и другие люди науки. Выдумайте самые экстравагантные идеи и поделитесь с ним, будто ценнейшей тайной. Может, он выболтает вам свои заветные секреты. Примите заинтересованный вид, но создайте впечатление, будто ничего не поняли или поняли очень мало. Тогда он расскажет все сызнова и получше растолкует. Повторите все им сказанное с выражением понимания, но при пересказе сделайте ошибки. Пусть же он из тщеславия исправит ваши

неточности, выложит то, что хотел бы утаить. Ни на чем не настаивайте, только намекайте. Намеки служат для прощупывания душ и проникания сердец. Вы должны приобрести его доверие. Если он смеется часто, смейтесь с ним, если он желчен, будьте и вы ко всем неблагосклонны, но неустанно восхищайтесь его познаниями. Если он холеричен и обижает вас, переносите обиды, все равно вы-то знаете, что взялись наказывать его еще до того, как он начал вас обижать. В море все дни долги, все ночи бесконечны, и ничто так не умиротворяет соскучившегося англичанина, как великие порции горячительного из тех бочонков, которыми обычно набиты трюмы голландских кораблей. Вы тоже скажетесь приверженцем этого напитка и будете следить за тем, чтобы друг пригубливал более вашего. Однажды он может, заподозревавши неведомо что, обыскать вашу каюту. Поэтому не записывайте никаких наблюдений. Но можете вести дневник, где будете рассказывать о своих неурядицах, о Святых заступниках, о Пречистой Деве, о любовнице, которую отчаиваетесь увидеть, и время от времени в дневнике пусть проскальзывают отзывы о друге докторе, хвалебные, как о единственном, кто вам приятен из всего экипажа корабля. Не записывайте его фразы, относящиеся к интересующей теме, но записывайте афоризмы, не имеет значения какие. Даже самые наидурацкие. Если он их провозглашал, значит, почитал достойными, и будет благодарен вам за их запоминание. Конечно, мы не предлагаем вам краткую инструкцию для тайного информатора. Подобные темы не приличествуют нашему духовному сану. Вверьтесь собственному светилу, будьте проникательно благоразумны и благоразумно проникательны, да будет острота вашего взгляда обратно пропорциональна слухам о ней и прямо пропорциональна вашей настойчивости”.

Мазарини поднялся, показывая, что аудиенция кончена и возвышаясь над Робертом на то время, покуда тот не успел еще встать. “Слушайте указания Кольбера. Он укажет вам, с кем следовать в Амстердам для посадки на судно. Вперед и удачи”.

Они уже выходили, когда кардинал опять окликнул. “Вот что еще, Сан Патрицио. Вы уже поняли, что будете под

наблюдением до отплытия. Каждый ваш шаг. Но вы гадаете, почему мы не опасаемся, что вы дадите деру на первой пристани. Мы не опасаемся, потому что вам это не выгодно. Сюда вы вернуться не сможете, во Франции вы объявлены вне закона. Поселиться в другой земле и вечно трястись, что наши агенты до вас доберутся? В обоих случаях придется отказываться от своего имени, от своего положения. Мы далеки и от подозрения, что человек вашего достоинства может перепродаться англичанам. Да что вам продавать, в сущности? Тот факт, что вы шпион, вы продать можете только в случае если откроетесь, а открывшись, вы как шпион уже ничего не будете стоить, разве что тычка стилетом. А вот если вы возвратитесь и привезете пусть даже совсем скромные сведения, вы будете иметь право на нашу признательность. Неблагогорассудно с нашей стороны будет пренебречь человеком, который хорошо справляется со сложными заданиями. Дальнейшее будет зависеть от вас. Расположение великих, единожды завоеванное, надо холить и лелеять, дабы оно не утратилось, надо подпитывать услугами, ревниво беречь. Вы сами решите, является ли ваша преданность французской короне столь настоятельной, чтобы посвятить жизнь французскому королю. Говорят, что случалось неким людям рождаться в иной стране, но обрета-ть случай во Франции...”

Перспектива службы за вознаграждение, обрисованная кардиналом, для Роберта в тот момент не сводилась к деньгам. Кардинал давал ему почувствовать вкус приключения, новых горизонтов, приобщал к той жизненной мудрости, незнание которой, может быть, до оных пор лишало его и уважения света. Наверное, благом являлось это приглашение судьбы, отдалявшее его от заурядных досад. Что же до другого приглашения, третьеводнишнего вечера, все Роберту сделалось понятно, едва кардинал начал свою речь. Если Двойник принял участие в заговоре, и все решили, что это Роберт, то, наверно, Двойник злоумышленно понудил Лилею выговорить ту фразу, которая истерзала его отрадой и изласкала ревнивостью. Чересчур много Двойников между Робертом и жизнью. А если так, значит, лучше уединиться на просторе морей, где он сможет обладать любовницей

тем единственным образом, который всегда в его возможности. К тому же совершенное чувство состоит не в том, чтоб быть любимым, а в том, чтоб любить.

Он преклонил колено и сказал: “Высокопреосвященство, я ваш”.

Во всяком случае, я считаю, надо закончить так. Было бы не очень прилично рассказывать, как Роберту выдавали грамоту: “Совершивший это действовал по личному распоряжению Кардинала и для блага государства”.

18. НЕСЛЫХАННЫЕ НЕОБЫЧАЙНОСТИ¹



Д жели “Дафна”, как в свое время “Амариллида”, была выслана на разыскание Punto Fijo, значит, Незванный небезопасен. Роберт представлял себе глухую борьбу европейских государств за эту тайну. Он приготовился к поединку. Разумеется, Пролаза по первой поре выбирался из укрытия ночью. Потом, увидев Робертово бодрствование, стал проникать куда угодно, и даже в капитанскую рубку, в течение дня. Значит, необходимо было спутать его планы, начать спать по ночам? Мало толку, враг сумеет перестроиться. Нет, следовало его дурачить, затруднять любое планирование, спать и бодрствовать вне распорядка.

Надо постараться прикинуть, как представляет себе Враг то, что представляет себе Роберт, более того: как он представляет себе то, что Роберт представляет себе относительно представлений этого Пролазы о представлениях Роберта... До тех пор Пролаза был его тенью, теперь Роберту предстояло стать тенью Пролазы, научиться наступать на пятки ходящему по пятам за ним самим. Но это взаимное слежение не могло продолжаться бесконечно. Что же, вечно один будет спускаться по трапу, а второй подниматься по другому, один прятаться в трюме, а другой искать на палубе, один залезать в чулан, другой в это время карабкаться по наружным балюстрадам?

¹ Книга “Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, Horoscope des Patriarches et Lecture des Estoilles” (“Неслыханные необычайности талисманских скульптур персианских, Гороскоп Патриархов и предсказание будущего по звездам”) (1629) французского оккультиста и библиотекаря кардинала Ришелье Жака Гаффареля (1601–1678).

Всякий разумный человек предпринял бы исследование корабля от низу до верху. Но не забудем, что Роберт не образец разумности. К тому же он взял обыкновение подкрепляться горелкой, якобы для поправки сил; но как любовь у него издавна сочеталась с выжиданием, так и болеутишний спирт отнюдь не прищпоривал, и Роберт действовал неспешно, хоть и думал, будто мчится во весь опор. В частности, он чувствовал себя нетвердо при свете дня, предпочитал осматривать ночью. Однако ночи начинались с выпивки, а кончались всякими промашками. Того-то и надо было Пришедшему, говорил он себе, очнувшись от сна после выпитого. И чтоб набраться храбрости, снова принимал к бочоночку.

Как бы то ни было, к вечеру пятого дня он отправился в ту половину трюма, куда ранее не заглядывал: под пищевой кладовкой. Было видно, что на "Дафне" пространство старались всюю использовать, и над трюмом, под второю палубой, нагромоздили полатей, нар и ущелий, соединив их хлипкими переходами. Он побывал и в кладовой для такелажа, чуть не свернув себе шею на мотках канатов, пропитавшихся водой. Прошел в самый низ и оказался в грузовом трюме, над килем, всюду были ящики и свертки.

Оказалось, что провиант и пресная вода запасены и тут. Вот радость; но он воспринял ее в основном как разрешение играть в кошки-мышки бесконечно. Восторг откладывания. То есть восторг боязни.

За бочонками с водой обнаружились четыре бочки арака. Он взбежал на гонтер-дек и проверил все до одного стоявшие там бочонки. В них была только пресная вода, ясный знак того, что спиртовая настойка была кем-то перенесена из нижнего трюма уже после появления Роберта и подсунута для соблазна.

Надо бы беспокоиться, и порядком. Роберт вместо того сошел в грузовой трюм, нацедил бочонок горячительной смеси, утащил наверх и немедленно выпил.

Снова сполз в нижний трюм, воображаю в каком угаре, и усталился в доски, провонявшие гнилятиной из льяла. Ниже идти было невозможно.

Значит, надо было двигаться назад, к корме “Дафны”, но в фонаре не оставалось масла, и как следует наспотыкавшись, он уяснил, что блукает по кучам балласта примерно там, где на “Амариллиде” доктор Берд поселил свою собаку.

И именно там, в полупотьме, среди гнили и прели, он увидел отчетливый след — отпечаток подошвы.

Он был настолько уверен, что Пролаза разгуливает по “Дафне”, что единственной его мыслью было: наконец доказано, что я не спьяну! Доказательства такого рода, кстати, постоянно разыскиваемы пьяницами. Как бы то ни было, имелось блистательное подтверждение, если можно назвать блистательным то, что еле различимо в темноте при дотлевающей лампаде. Не сомневаясь, что Пролаза существует, он ни на секунду не озаботился, а не могло ли статься, что при бесчисленных ходках подошву напечатлел он сам. Вперед, на палубу, готовиться к бою!

Стоял закат. Первый закат за пятеро суток, состоявших из ночей и зорь и восходов. Немногие черные тучи, почти параллельные, окружали далекий остров и лезли на его макушку, с которой пускали на юг огненные стрелы. Берег казался темным, море цвета блестящей туши, а все остальное небо было оттенка спитого ромашкового чая, как будто и не вершилось на его задворках заклятие солнца, как будто мирно и сонливо светило расставалось с миром, прося и небеса и море негромкой песней колыбельной напутствовать его к постели.

Роберт же, напротив, преисполнялся воинственного задора. Хотелось сбить врага с толку. Он двинулся в камору с часами и вытащил на палубу сколько попало, расположив их как в комбинации бильярда, одни возле грот-мачты, три штуки у полуюта, еще другие под кабестаном, следующие у основания фок-мачты и множество во всех проходах, так чтобы тот, кто вознамерится пройти в любую дверь ночью, споткнулся и рухнул оземь.

Потом он завел все механизмы (не рассудивши, что сделав это, он открывает противнику ловушку, которую хотел подстроить), а все клепсидры повернул. Окинул взором палубу, наполненную машинами времени, и порадовался их

бойкому тиканью в убеждении, что собьет с толку врага и сгонит его с дороги.

Он всюду разместил эти безобидные капканы и сам пал первой жертвой. Покуда ночь опускалась на спокойнейшее море, Роберт все разгуливал среди металлических жужелиц, слушал их мертвецкое рокотанье, наблюдая, как вековечность процеживается в них капля за каплей, и устрашался этих туч саранчи, без челюстей жоркой (так и пишет, честное слово!), с шестеренками, рвущими дни на лоскутья мгновений и провождающими минуты под музыку смерти.

Вспоминалось высказывание отца Иммануила: “Усладительнейшее зрелище, ежели б сквозь хрустальную грудину проникались движения сердца, как движения часов!” В мерцании звезд взгляд Роберта следил за медленным перебором четок — зерен песка, ласкаемых воронкой клепсидры, слух — за замороженным бормотаньем, а мысли расплзались в философствовании о вереницах минут, об анатомии сроков, о расщелине, из которой неудержимо льются и высачиваются жизни.

В ритме движущегося часа он ловил провозвестия кончины, постепенно подкрадывавшейся, и близорукими зеницами решал шараду щебетаний, торопил робким тропом, нарекая водяной гриб “текучим гробом”, и неистово костерил шарлатанских звездочетов, гораздых предрекать только проходившее время.

Кто знает, что бы он еще изобрел, если бы не ощутил потребность бросить поэтические экзерсисы, как пред тем экзерсисы хронометрические, и не по собственному почину, а потому, что имея в своих венах больше горелки, чем горячности, постепенно позволил таканью и тиканью перейти в поперхивающую баюкалку.

Утром шестого дня, пробуженный последними все еще пыхтевшими механизмами, он разглядел, что все часы передвинуты и посередине гуляют два небольших журавля (журавля ли?), беспокойно стучают носами и уже повалили самую красивую клепсидру.

Пролаза, нисколь не испугавшись (да и вправду, с чего ему было пугаться, превосходно понимающему, с кем имеет

дело?), ответил нелепицей на нелепость, выпустив из зверинца этих двух тварей. Устраивает тарарам на моем корабле, плакал Роберт, чтобы показать, что у него больше права, чем у меня...

И какой смысл журавлей, пытался он дознаться, так как привык разбирать любое событие как символ и всякий символ как высказывание. Что означают знаки сии? Пытался припомнить, что пишут о символике журавля в толковниках Пиччинелли и Валериана, но ответа не находилось. Нам-то ныне прекрасно известно, что не существовало ни цели ни концепта в этом зверинце чудес света. Посторонний просто сходил с ума по-своему. Но Роберт не мог понимать этого и старался прочесть то, что для Иного было просто нервною каракулей.

Я тебя изловлю, распроклятый, проорал Роберт. Еще как следует не проснувшись, он схватил в руку шпагу и снова кинулся вниз по трапу, обрушиваясь со ступенек и ввергаясь в конце в неисследованное еще место, где лежали дрова в поленнице и вязанками хворост, судя по виду свеженабранный. При падении он нарушил штабель, все посыпалось, и Роберт рухнул лицом на перекрытие-решетку, снова в тошную вонь от льяла. И увидел копошение скорпионов.

Не исключено, что с дровами на борт были завезены и эти гады; хоть мы не знаем, были ли это именно скорпии, но Роберту именно такими они примерещились, и разумеется, подложены были Пролазой, чтоб изъязвили Роберта. Дабы спастись от этой казни, он устремился со всех ног к трапу, но поленья катились по полу и он, бежав, не приближался, напротив, утрачивал равновесие и еле не упал, схватив ступень рукою. В конце концов вскарабкался и понял, что рука поранена.

Порез, бесспорно, приключился от собственного оружия. И вот Роберт, не обращая внимания на рану, спускается в поленницу, разыскивает закатившуюся шпагу, окрашенную кровью, несет ее на палубу и обливает водкой. Не видя пользы от обливания, отказывается от лучших принципов своей науки и опрокидывает стакан спиртного прямо на ранение. После чего он поминает многих святых с необычной фамильярностью и оголтело бежит от борта к борту, в то

время как над палубой собирается великий водохлест, от ливня журавли взлетают и улепетывают подальше с глаз. Стена дождя рухает на Роберта; он беспокоится из-за часов, мечется по палубе, их собирает, опять подвертывает ногу на случайной приступке, спасается на полуот прыжками на одной ножке, как приснопамятные журавли, и сбрасывает мокрую одежду и, как достойное заключение всех этих бессмысленных событий, кидается писать, в то время как дождь ударяет по "Дафне" все чаще, а потом утихает, а потом проглядывает солнце и наконец на мир нисходит ночная тишина.

Слава Богу для нас, что Роберт пишет это воспоминанье, оно дает нам понять, что же с ним происходило во время плавания на "Амариллиде".

19. СИЯТЕЛЬНОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ ¹



“*Мариллида*” отплыла из Голландии, ненадолго пристала в Лондоне, где тайком ночью погрузили что-то, матросы оцепили кордоном мостик и трюм и Роберту не удалось распознать, какой груз заносят. Потом снялись с якоря и пошли на юго-запад.

Роберт забавно описывает бортовую компанию. Похоже, что капитан специально выбирал самых нелепых чудаков, чтобы ими прикрыться при отплытии судна, а уж потом не церемониться, даже если они запропастанятся по дороге. Пассажиры делились на три сорта: те, кто понимал, что корабль идет в сторону запада (как галисийская чета, путешествовавшая к сыну в Бразилию, и как старый еврей, по обету совершавший паломничество в Иерусалим самой дальней дорогой); те, кто нечетко представлял себе устройство земного шара (несколько головорезов, плывших за большими деньгами на Молукки, но они скорее бы дошли восточным курсом), и наконец третьи, те, кто глубоко обманывался, к примеру семья протестантов из какой-то долины в Пьемонте, целью коих было объединиться с английскими пуританами на северном побережье Нового Света, но они не учитывали, что корабль держит курс на юг и причалит только в Ресифи. Недоразумение выяснилось не ранее чем когда они там действительно оказались, и в этой колонии — тогда управлявшейся голландцами — почли за благо высадиться, чтобы не искать на свою голову еще

¹ Итальянский путеводитель “*La Nautica Rilucente*” (конец XVI в.).

бóльших неприятностей среди католиков-португальцев. В Ресифи на корабль взошел некий мальтийский рыцарь, с пиратской физиономией, положивший себе разыскать остров, о котором слышал от одного венецианца: остров Эскондида. Не было известно, где он находится, и никто на “Амариллиде” не слыхивал о таком. Очередное доказательство, что капитан подбирал пассажиров, как говорится, одного к одному.

Он столь же мало беспокоился и о благополучии той небольшой толпы, что расселилась на второй палубе. Пока пересекали Атлантический океан, еды хватало, и на американском берегу продовольствие было пополнено. Но после плавания в царстве вытянутых перистых облаков и аляповатого неба, после Магелланова пролива, почти все, за исключением почетных пассажиров, остались на два месяца на воде, полной глистами, и хлебе, пропахшем мышачьей мочой. И многие из команды вместе с многими пассажирами померли от скорбута.

Ища где бы подзаправиться, корабль продвигался на запад параллельно берегу Чили и причалил к ненаселенному острову, который на бортовых картах именовался Мас-Афуэра. Простояли у острова три дня. Климат на нем был здоровый, растительность пышная, так что мальтийский рыцарь бормотал даже, что было бы большим везеньем для тех, кто жертва моря, выкинутыя на такой гостеприимный берег и счастливо там жить, забыв о возвращении восвояси. Он, видимо, внушал себе, будто это Эскондида. Какая разница, думал Роберт, вспоминая это на “Дафне”. Останься я взаправду, теперь бы не дрожал тут от страха перед Пришельцем, чей отпечаток мокрой подошвы только что заметил на доске пола.

Потом задули противные ветры, по словам капитана. Корабль против всякого здравого смысла лег на северный курс. Роберт никаких противных ветров не заметил, напротив, когда было решено поворачивать, судно было на раздутых парусах и для перемены румба пришлось их обезветрить. По всей видимости, доктору Берду и его людям нужно было для опытов удерживаться на одном и том же меридиане. Причалили к Галапагосским островам, где можно было

ловить громадных черепах и печь их на собственных панцирях. Мальтийский рыцарь долго копался в своих записках и пришел к заключению, что Эскондида не в этом месте.

Снова повернув на запад и сойдя до двадцать пятого градуса южной широты, они опять заправились водой, открыв остров, не обозначенный ни на единой карте. Главной его приманкой было полное безлюдие, и мальтийский рыцарь, который не переваривал на корабле ни рациона, ни капитана, признался Роберту, что было бы мило наневрбовать отважных, захватить корабль, высадить капитана и кто с ним захочет на шлюпку, спалить “Амариллиду” и обосноваться на той земле, в желанном далеке от знакомого мира, и основать новое общество. Роберт спросил его, похож ли остров на Эскондиду, но рыцарь уныло покачал головой.

Снова уйдя на северо-запад при благоприятных ализеях, они нашли острова, населенные дикарями с янтарного цвета кожей, и обменялись с ними любезностями, одарили их и были на их праздниках, где упоительные туземки танцевали, подражая колебанию трав, опушающих морские пляжи у кромки прибоя. Рыцарь, вероятно не успевший связаться обетом непорочности, под предлогом рисования этих нимф (а рисовал он весьма талантливо) преуспел и в плотском соединении со своими натурщицами. Экипаж вознамерился последовать ему, но капитан объявил отплытие. Кавалер не знал, ехать или оставаться: ему казалось, что очень славным финалом жизни было бы предаться отчаянному рисованию. Но потом он решил, что Эскондида не тут.

Еще дальше на северо-запад лежал остров с миролюбивым народцем. Два дня и две ночи оставались на его рейде, и мальтийский рыцарь рассказывал аборигенам истории: он говорил на диалекте, который был малопостижим и для Роберта, и тем менее для них, но рыцарь дополнял речь рисунками на песке и жестикулировал как актер, и с энтузиазмом местные жители славословили его, скандируя: “Тузитала, Тузитала!” Рыцарь обмолвился Роберту, как приманчиво было бы окончить дни среди этих местных жителей, пересказывая им все предания подлунной. “Но Эскондида — это здесь?” — спросил Роберт. Рыцарь покачал головою.

Он погиб при крушении, раздумывал Роберт, сидя на “Дафне”. А я, может статься, отыскал его Эскондиду, но не смею его об этом оповестить, и никого оповестить не смею. Может быть, по этой причине Роберт уведомлял обо всем в письмах свою Даму. Рассказывание историй, в общем-то, залог выживания.

Последний воздушный замок был создан мальтийским рыцарем когда-то вечером за несколько дней, за несколько миль до кораблекрушения. Они огибали архипелаг, куда капитан решил не приставать, поскольку доктор Берд, по всей видимости, снова заторопился приблизиться к экватору. В течение путешествия Роберту стало очевидно, что поведение капитана не таково, как у мореплавателей, рассказы о которых он слышал. Полагалось составлять подробные описания встречаемых новых земель, совершенствовать путевые карты, зарисовывать форму облаков, перечерчивать береговую линию, собирать натуралии... “Амариллида” же вела себя как передвижная лаборатория алхимика, поглощенного своею Черной Деей, безразличного к огромному миру, который перед ним открывался.

Был один закат, облака переигрывались с небом рядом с тенью какого-то острова, и сбоку выходило, будто смарагдовые рыбы витали у его макушки. С другого боку дулись, сердясь, огненные шары. Сверху облака были серы. Сразу после, пламеняя, солнце двинулось за островную кромку, и после этого обширное порозовение захватило и небо и тучи, с их краев будто капала кровь. Прошло еще несколько секунд, и пожар сзади островной горы запылал так ярко, что отсвет попал и на сам корабль. Небо зарно золотилось, будто жаровня на фоне неярких серо-синих полос. Еще какой-то миг, и окровавился весь мир, и последние блики сини будто разодрались убийственными челюстями мурен.

“Вот сейчас бы и умереть, — произнес мальтийский рыцарь. — Вам не хотелось бы соскользнуть по шверту и раствориться в этом море? Это так мгновенно, и именно в этот миг мы узнаем все...”

“Да, но как только узнаем, тут же и прекратим знать”, — ответил рыцарю Роберт.

Корабль продолжал свое продвижение по пространству вод цвета сепии.

Дни текли, неотличимые. Как было предугадано Мазарини, Роберт имел общение только с благородной публикой. Матросы были такое отребье, что страх было встретиться с ними лицом к лицу на мостике ночью. Пассажиры были голодные, болявые и визгливые. Ассистенты Берда не смели садиться с ним за стол, они молча скользили взад-вперед, выполняя приказания. Капитан, что он был, что его не было: пьянствовал и говорил по-фламандски.

Берд, сухой тощий бритт, имел до того рыжую и круглую голову, что ее можно было перепутать с корабельным фонарем. Роберт, он-то старался чиститься при любой okazji, и когда шел дождь, всегда прополаскивал костюм, ни разу не видел за много месяцев плавания, чтобы Берд менял сорочку. К счастью, даже для юноши, привыкшего к зловонию парижских салонов, смрад на корабле настолько силен, что чем разит от соседей, трудно учуять.

Берд был охотник выпить пива. Роберт стал засиживаться с ним, делая вид, что глотает. В его стакане не убывало, но Берд, похоже, беспокоился лишь о том чтобы доливать пустые, а пустым всегда оказывался его собственный. Он произносил тосты. Мальтийский рыцарь не пил, сидел с ними и о чем-нибудь расспрашивал.

Берд неплохо владел французским, как любой его одноплеменник в ту эпоху, если намеревался путешествовать за пределы родного острова. Его очаровали рассказы Роберта о разведении лоз в Монферрато. Роберт из ответной вежливости прослушал в подробностях, как производится пиво в Лондоне. Потом разговорились о морях. Роберт плывал впервые. Берд, по виду судя, не собирался откровенничать. Рыцарь расспрашивал, где, по мнению остальных, могла бы найтись Эскондида. Но так как от него не поступало подробностей, то и ответа он не получал.

По определению, доктор Берд совершал это плавание для изучения флоры. Роберт прощупал его на эту тему. Берд, несомненно, не был невеждой в гербаристике. Напротив, он принялся разглагольствовать настолько пространно, что

Роберту пришлось очень надолго вступить с ним в заинтересованную беседу. На каждой стоянке Берд и его люди действительно рвали какие-то растения, хотя и не с таким упорством, как если бы они были учеными, весь смысл жизни которых сводился к этим травам. Многие вечера проходили за изучением собранного.

В первые дни Берд расспрашивал о прошлом и Роберта, и рыцаря, как будто питал на их счет подозрения. Роберт придерживался версии, выработанной в Париже. Савойское происхождение, война в Казале на стороне имперцев, крупные неприятности как в Турине, так и в Париже вследствие нескольких дуэлей, и в особенности той, на которой он имел невезение ранить протеже Кардинала, так что Тихий океан представился ему подходящим расстоянием между собою и гвардейцами. Рыцарь рассказал множество приключений, некоторые из коих разворачивались в Венеции, иные в Ирландии, еще какие-то в южной Америке, но было не вполне понятно, что происходило с ним самим, а что с какими-то другими лицами.

Наконец Роберту стало понятно, что Берд охотник поболтать о женском поле. Роберт весь вечер описывал сумасшедшие страсти с сумасшедшими куртизанками, у доктора сверкали глаза, он повторял, что непременно по окончании плавания ехать ему в Париж. Потом овладел собою и про бурчал, что паписты все до одного похабники. Роберт заметил, что среди савойцев многие без пяти минут гугеноты. Рыцарь Мальты осенил себя крестом и вернулся к разговору о бабах.

Вплоть до самой высадки на Мас-Афуэра жизнь доктора, казалось, протекала согласно заведенным ритмам, и если он что-то наблюдал на борту, он, видимо, делал это, когда другие сходили на берег. В плавании он целый день прохлаждался на деке, вечерами допоздна болтал с сотрапезниками, а по ночам, разумеется, спал. Его каюта соседствовала с Робертовой, два узких отсека были разделены переборкой, Роберт вслушивался, стояла тишина.

Как только вошли в Тихий океан, привычки Берда переменились. Как отчалили от Мас-Афуэра, Роберт заметил,

что Берд где-то стал отсутствовать по утрам от семи до восьми; странно, потому что прежде именно в такое время он выходил к завтраку. На отрезке пути, тянувшемся на север, к черепашьему острову, Берд удалялся всегда в один и тот же час, в шесть часов утром. Стоило кораблю отклонить курс снова на запад, как Берд начал подыматься в пять. Роберт слышал, как один из помощников приходил его будить. Потом пробуждение постепенно передвигалось на четыре, на три, на два.

Роберт точно определял время, у него имелись маленькие песочные часы. На закате с досужим видом он загуливал на нактоуз, где рядом с компасом, плававшим в китовом жире, имелась табличка, на которой кормчий метил координаты и предполагаемое время суток. Роберт принимал время к сведению, быстро шел и устанавливал свою песочную клепсидру и следил за регулярным пересыпанием содержимого, помечая, сколько раз приходилось перевертывать. Благодаря этому он доподлинно знал, что Берд каждое утро покидает каюту на несколько минут раньше и что если это продолжится, не миновать такого дня, когда он удалится по делам вообще в полночь.

На фоне всего, чему Роберт обучился от Мазарини, Кольбера и их помощников, нетрудно было прийти к догадке, что походы Берда совпадали с последовательным изменением координаты. Это было как если бы из Европы некто, ежедневно в час пополудни на Канарских островах, или в назначенный час на каком-то другом меридиане, направлял сигнал, который Берд неизвестным образом принимал в секретном месте. Зная время на борту "Амариллиды", Берд на основании этого высчитывал долготный градус!

Достаточно было бы заглянуть туда, куда Берд удалялся. Только как? Пока он делал это с утра, тайно следовать за ним вообще не представлялось возможным. Когда его отлучки передвинулись на ночь, Роберт, хотя и слышал, что доктор покидает каюту, не мог выскакивать ему вдогонку. Он пережидал совсем немного, потом пытался разыскивать следы лекаря. Безрезультатно. И не только оттого, что идя по кораблю наощупь, Роберт путался в гамаках команды или спотыкался о лежащих пилигримов. Хуже, что нередко

он сталкивался нос к носу с теми, кому полагалось бы почивать. Значит, имелась недреманная охрана.

Встречаясь с одним из таких, Роберт оправдывался привязчивой бессонницей и вскарабкивался на мостик, надеясь, что не вызвал подозрений. С начала плавания он создал себе репутацию сумасброда, блуждающего по ночам, дрыхнущего днем. Но ретировавшись на мостик, где, как правило, торчал матрос, с которым Роберт почитал необходимым обменяться парой приветствий, при условии, разумеется, что у них имелся хоть какой-то общий язык, — он терял ночь безрезультатно.

Этим объясняется, что месяц за месяцем проходили, что Роберт был довольно близок к разгадке секрета “Амариллиды” и тем не менее до последних пор не исхитрился просунуть нос туда, куда требовалось, чтоб выведать тайну.

С другой стороны, с самого отплытия он втягивал Берда в дружескую откровенность. При этом он использовал метод, которому Мазарини не учил его. Желая узнать нечто, Роберт наводил на эту тему мальтийского рыцаря, которому ответ был неведом. Роберт давал ему понять, что тема беседы обладает великой значительностью, в частности для отыскания желанной Эскондиды. После этого, когда наступал вечер, рыцарь переадресовывал тот же вопрос доктору Берду.

Однажды ночью на верхней палубе они любовались звездами, и доктор заметил, что, судя по светилам, была полночь. Мальтийский рыцарь, подученный Робертом за несколько часов до этого, произнес: “Знать бы, который час теперь на Мальте...”

“Проще простого, — вырвалось у доктора. Но он сразу же спохватился: — То есть труднее трудного, я хотел сказать”. Рыцарь спросил, отчего это нельзя вывести из подсчета меридианов. “Разве солнце не тратит ровно час на прохождение пятнадцати градусов румба? Значит, достаточно знать, что мы на столько-то градусов удалены от Средиземного моря, поделить на пятнадцать, взять, сколько сейчас времени у нас на корабле, и вычислить, сколько у них”.

“Вы как те астрономы, которые всю жизнь проковырялись с картами, но никогда не ходили в море. Иначе знали бы, что не существует возможности установить, на каком вы меридиане находитесь”.

Берд кратко пересказывал то, что Роберту было уже известно. Мальтийскому же рыцарю все было внове, так что Берд истратил великое множество слов. “Древние полагали, что обладают безупречным методом, вычисляя по лунным затмениям. Вы понимаете, что происходит при затмении? В этот момент Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси и тенью Земли покрывается лик Луны. Поскольку поддается расчету и точный день и точный час ожидаемого затмения, надо только иметь под рукой таблицы Региомонтана, предположим, что некое затмение ожидается в Иерусалиме в полночь такого-то дня, ну, а у вас оно наступает в десять вечера. Значит, вас отделяют от Иерусалима два часа. Следовательно, ваша точка наблюдения отстоит на тридцать градусов долготы на запад от долготы Иерусалима”.

“Изумительно, — воскликнул Роберт. — И да славится мудрость древних!”

“Да, но этот расчет верен лишь до некоторой степени. Великий Колумб во второе свое странствование высчитал координаты по затмению Луны, находясь у берегов Испании, и допустил ошибку в двадцать три градуса к западу, то есть почти в полтора часа временной разницы! А в четвертом путешествии, опять-таки по затмению, он обсчитался на два часа с половиной!”

“Обсчитался он или Региомонтан?” — спросил мальтийский рыцарь.

“Кто разберет? На корабле, который движется всегда, даже когда стоит на якоре, трудно замерять с точностью. Может быть, вам известно вдобавок, что Колумб хотел во что бы то ни стало доказать, будто доплыл до Азии, и следовательно, он неосознанно влекся к этой ошибке, продемонстрировать, будто продвинулся дальше, нежели на самом деле... Есть еще способ по положению Луны. Он вошел в большую моду в последние сто лет. Эта идея не лишена, как бы это сказать, wit, изящества. За свой месяц Луна со-

вершает полное передвижение с востока на запад против орбит всех звезд, а следовательно, она, как стрелка небесного циферблата, посещает весь круг Зодиака. Звезды движутся по небу с востока на запад приблизительно на пятнадцать градусов в час, а Луна за то же самое время проходит только четырнадцать градусов с половиной. Так Луна расходится с движением звездной сферы на полградуса. Так вот, в древности думали, что можно вычислять по расстоянию между Луной и некоей *fixed sterre*, как бы это сказать, некой исходной звездой, в определенный момент, если эта звезда одна и та же для наблюдателей со всех концов света... Достаточно использовать опять-таки таблицы, так называемые эфемериды, и наблюдая небо с помощью *the astronomers staffe, the Crosse...*"

“Балестрильи?”

“Вот-вот... Этому прибору задается расстояние от Луны и до этой исходной звезды для определенного часа на нашем расчетном меридиане, что дает возможность утверждать, что в час, когда будут получены аналогичные данные в море, в таком-то городе столько-то времени. Сколько времени в это время у нас, мы знаем, и значит, опять же высчитываем, на какой мы долготе. Прекрасно, но... — и Берд выдержал новую паузу, чтобы заинтриговать как можно сильнее своих слушателей, — но вмешивается параллакс. Это довольно сложная штука, которую я не стану сейчас вам объяснять, скажу лишь, что погрешность вызывается различной рефракцией небесных тел при различной высоте над горизонтом. И вот из-за параллакса лунное расстояние, получаемое тут у нас с вами, не будет совпадать с тем, которое вычислят сейчас астрономы в Европе”.

Роберт припомнил, что действительно слышал от Мазарини и Кольбера какие-то разговоры о параллаксе, и о том господине Морене, который обнаружил способ, как параллаксы преодолевать. Для проверки познаний Берда он спросил его, доступно ли астрономам преодолевать параллаксы. Берд ответил, что доступно, но что это крайне трудоемкое дело и что риск ошибки чрезвычайно велик. “И вдобавок, — завершил он свою речь, — я профан и понимаю на редкость мало”.

“Значит, следует изобрести более надежный метод,” — подытожил Роберт.

“Знаете, что сказал ваш Веспуччи? Что долгота — крайне замысловатый предмет, и мало кто разбирается в этом вопросе, кроме тех, кто готов, пренебрегая сном, ночами наблюдать совокупление Луны с планетами. И еще он сказал: ради определения долгот я забывал о ночном сне и укоротил свой век на десятилетие... И укоротил без всякой пользы, добавлю я вам, господа. *But now behold the skie is over cast with cloudes; wherfore let us haste to our lodging, and ende our talke*¹”.

Через несколько дней он спросил у доктора, где Полярная звезда. Тот ухмыльнулся: здесь южное небо, Полярной не видно, и в наблюдениях исходят из других постоянных звезд. “Еще одна досада охотникам за долготами, — добавил доктор. — Не могут пользоваться девиациями магнитной стрелки”.

Снизойдя к упрашиванию остальных, он снова преломил жесткий хлеб науки.

“Стрелка компаса должна показывать неизменно на север, значит, на Полярную звезду. Тем не менее в любой точке, кроме только меридиана Железного Острова, она отклоняется от строгого направления на полюс, отворачивается то к востоку, то к западу в зависимости от широты и от климата. Если, скажем, с Канарских островов вы поплывете к Гибралтару, то каждому мореходу известно, что игла уйдет на шесть градусов румба в сторону мистрала, то есть по северо-западному ветру. Идя с Мальты на Триполи, на Варварийский берег, сталкиваемся с нарушением до двух третей румба налево. Вам известно, не правда ли, что румб это одна четверть ветра? И такие отклонения, это ведомо, подчиняются твердым нормам под каждым долготным градусом. Если иметь хорошую таблицу, можно бы знать, где вы обретаетесь. Но...”

“Как, и тут есть но?”

¹ Но небо уже затуманилось тучами; поспешим же в жилища и окончим беседу (*староангл.*).

“Что очень жалко. Не существует надежных таблиц магнитно-стрелковой девиации. Кто их думал составить, прощитался. Есть резоны полагать, что стрелка не отходит пропорционально изменению долгот. Кроме того, смещения очень медленны и на море обнаруживать их трудно, надо чтобы судно не клевало носом так, что стрелка лезет то влево, то вправо. Доверяться этой штуке — безрассудство”.

На следующий вечер кавалер Мальты, у которого, видно, засела в памяти фраза Роберта, брошенная вроде без умысла, произнес: как бы понять, не принадлежит ли Эскондида к Островам Соломоновым и далеко ли до тех островов.

Доктор Берд передернул плечами. “Соломоновы! Ça n'existe pas!”

“Разве капитан Дрейк не обнаружил их?” — переспросил кавалер.

“Чушь! Дрейк открыл Новый Альбион, и он в другом месте”.

“Испанцы в Казале говорили, что Соломоновы Острова существуют и вдобавок разведаны ими”, — вмешался Роберт.

“Это утверждал их Менданья семьдесят с лишним лет назад, — усмехнулся Берд. — Но по Менданье, Острова располагаются от седьмого до одиннадцатого градуса южной широты. Все равно что сказать: от Лондона до Парижа. И потом, на какой долготе? Кейрош утверждает: в тысяче пятистах лигах от Лимы. Смех да и только. Плывите с берега Перу, попадете в этот остров. Недавно тут высказался один испанец: по его мнению, семь тысяч пятьсот миль от того же Перу до Островов Соломона. Это как-то, мне кажется, слишком. Вот, вы можете сами оценить несуряницу по картам. Эти вот перерисованы недавно, в точности по образцу старинных; другие преподносятся как самая свежая новость. Смотрите, кто-то помещает Соломоновы Острова на двести десятый меридиан, другие на двести двадцатый, третьи на двести тридцатый, не говоря уж о тех, кто их заслал на сто восьмидесятый. Если хоть один из них и утверждает истину, другие, значит, промахнулись на пятьдесят градусов, что приблизительно соответствует дистанции между Лондоном и владениями царицы Савской!”

“Действительно достойно восхищения, сколь много вам ведомо, достопочтеннейший, — сказал на это кавалер, изрядно выручая Роберта, иначе пришлось бы говорить то же самое, — как будто бы в вашей деятельности вы иным не занимались, как только вычислением долгот географических”.

Лицо доктора Берда, закиданное белобрсыми веснушками, порозовело. Он плеснул пива в стопу и влил в глотку, не поперхнувшись. “Просто ученое любопытство. На самом деле я не знал бы, с чего начать, чтобы определить, где нас болтает”.

“Однако, — решил попробовать счастья Роберт, — я видел у нактоуза такую дощечку, на которой...”

“Ах да, — не растерялся собеседник. — Ну ясно, корабль не тычется вслепую. *They prick the Carde*¹. Записывается день, измерение иглы и степень ее отклонения, откуда дует ветер, какой час на борту, сколько проделано миль, и высота Солнца, и высота по звездам, а следовательно — широта, и затем счисляется долгота, по предположению. Вы, верно, замечали, что на корме иногда матрос закидывает бечевку в воду, и у бечевки на конце табличка. Это и есть лаг, снаряд измерения скорости судна. Все это бросается стойком в воду, бечевка размерена на узлы по частям мили, рядом ставят часы, чтобы узнать, в какое время судно пробежит определенное пространство. Таким манером, если бы все шло по писанью, можно было бы знать, сколько миль пройдено с последнего известного меридиана, и снова-таки совершив нужные расчеты, устанавливали бы долготу”.

“Значит, средство существует!” — торжествующе вскричал Роберт, прекрасно зная, что ответит на это доктор: что лаг используют, когда нет ничего лучше, поскольку лаг годится только если верить, что корабль идет по прямой линии. Корабли же носятся туда, куда несут их ветры, и если ветры не попутны, корабли проходят один отрезок пути с уклоном вправо, другой отрезок с уклоном влево.

“Сэр Хемфри Джилберт, — продолжал доктор, — примерно во времена Менданы, около Ньюфаундленда, соби-

¹ Накальывают путь на карте (*староангл., спец.*).

раясь идти по седьмой параллели, encountered winde alwayes so scant... говоря по-вашему, из-за ветров скупых и нерадивых... пропутешествовал невесть сколько недель, и его бросало то на сорок первый, то на пятьдесят первый градус, вот вам погрешность в десять градусов, изволите видеть. Вот такой исполинский угорь извивается от Неаполя до Португалии, стучается головою в Гавр, а хвостом отпихивается от Рима, а потом хвост оказывается в Париже, и в Мадриде голова! Следует учитывать все прихотливости маршрута и вводить их в счисление; но моряки делать это не умеют, и не могут держать на палубе целый день астронома, чтоб он делал это за них. Разумеется, можно применять конъектуры, в частности если маршрут уже проходил и имеется доступ к расчетам, выполненным другими. Поэтому от европейских берегов до американских на картах снимается расстояние достаточно точно. Кроме того, когда расчеты по звездам совершаются с суши, они могут дать довольно надежный результат, и поэтому мы в общем неплохо знаем, на какой долготе обретается Лима. Но и в этом случае, сказать вам по чести, — весело продолжал оратор, — знаете, что происходит? — И лукаво смотрел на двух слушателей. — “Происходит, что этот господинчик, — тут он постучал пальцем по карте, — рисует Рим на тридцатом градусе от Канарских, в то время как этот вот, — и он грозил пальцем в сторону другой карты, как бы отечески возбраняя ее составителя, — вот этот думает, что Рим на сороковом! Вон в той рукописи мы находим сочинение одного фламандца, который на долготах съел собаку, он извещает короля испанцев, что невозможно прийти к согласию о расстоянии от Рима до Толедо por los errores tan enormes, como se conose por esta linea, que muestra la diferencia de las distancias ¹ и так далее и так далее. Что он имеет в виду под линией? Если решить, что первый меридиан лежит в Толедо (испанцы всегда претендуют на первое место), то по Меркатору, Рим расположен на двадцать градусов восточней, однако Тихо Браге считает, этих градусов двадцать два, и двадцать пять

¹ По наличию ошибок весьма огромных, как видимо из данного чертежа, который показывает различие в дистанциях (*исп.*).

по Региомонтану, их двадцать семь для Клавиуса, двадцать восемь для Птолемея, а для Оригана все тридцать. Все это только к одному примеру: дистанция от Толедо до Рима. Вообразите теперь, в каком состоянии должны быть сведения о морских путях, подобных нашему, где, может статься, никто прежде нас к островам не причаливал, и описания других мореплавателей туманны и сбивчивы. Добавьте в частности, что если какой-нибудь голландец и раздобудет верный результат, он ни за что о нем не скажет англичанам, а те не поделятся с испанцами. Самовернейшее орудие в здешних морях — это нос капитана, который своим простецким лагом унюхивает, что корабль, к примеру, на двухсот двадцатом меридиане. После проверки часто оказывается, что вовсе не на двухсот двадцатом, а градусах в тридцати восточнее или западнее”.

“Но в таком случае, — выкрикнул кавалер, — кто сумеет разгадать загадку долгот, получит полную власть над морями!”

Доктор Берд опять покраснел, уставился на кавалера, будто чтобы узнать, нарочно ли он это сказал, а потом усмехнулся, как укусил, и отрезал: “Попробуйте”.

“Меня прошу уволить”, — вставил тут Роберт, поднимая руки, и на тот вечер все обернулось в шутку.

В течение многих дней Роберту казалось опасным снова затрагивать тему меридианов. Он нашел другую тему. Чтоб сделать это, пришлось принять отважное решение. Ножом он глубоко процарапал себе ладонь. Потом завязал рану обрывками рубахи, истрепанной ветрами и водой. За ужином он показал врачевателю руку: “Глупейшая рана. Сунул ножик в мешок, начал рыться и сам себя пропорол. Очень щиплет”.

Доктор осмотрел порез опытными глазами, и Роберт молил Бога, чтоб теперь он вытащил тазик и растворил в нем купорос. Однако доктор ограничился суждением, что рана не опасна и что следует хорошо промывать ее каждое утро. Тут, на счастье, подвернулся кавалер, который и ляпнул: “Эх, иметь бы сейчас лезвейную притирку!”

“Это какую притирку?” — воодушевился Роберт. Мальтийский рыцарь, будто прочитав все книги, затверженные Робертом перед отплытием, начал расхваливать свойства лезвейных мазей. Берд молчал. Роберт, после чужого почина осмелевши, кинул свой пробный камешек: “Бабы суеве-рья! Напоминает анекдот о беременной, у которой отрубили любовнику голову, а она, увидев то, породила младенца с отделенной от туловища головой! Или ту вздорную привычку у крестьянок, когда пес нагадит на кухне, тыкать углем в испражнение, полагая, будто у твари запечет под хвостом! Шевалье, вы не похожи на людей, передающих такие *historiettes!*”

Выпад был очень удачный, потому что Берд не выдержал. “Ну уж нет, милостивый мой, насчет собаки с ее поме-том все это правда, скажу вам больше, кое-кто применил то обхождение с одним соседом, который наложил кучу перед домом, и уверяю вас, он научился далеко обходить тот проулок! Разумеется, следует повторять операцию преизрядное число раз, для чего вам необходим такой приятель, вернее неприятель, который будет гадить вам под дверь достаточно часто!” Роберт заливался смехом, будто принимая все за потеху, отчего тот раздражался и приводил все более сильные аргументы. Доводы были приблизительно те же, что у Д’Игби. Доктор входил все в больший раж. “Да, да, любезнейший, вот вы так чудно философствуете, наукой костоправов брезгуете. Скажу вам даже, раз мы взялись рассуждать о кале, что у кого нечистое дыханье, ему бы подержать разинутый рот над навозною кучей, и он бы излечился. Сточная канава смердит изрядно сильнее, нежели его глотка, а известно, что меньшее количество притягивается бóльшим!”

“Какие необычайные вещи вы открываете мне, доктор Берд, и как я поражен вашей мудростью!”

“Да это что! Вот я вам расскажу! В Англии, при укушении человека собакой, ее надо убивать, даже если она не в бешенстве. Собака может взбеситься впоследствии, и оставшаяся в укусе слюна ее способна привлечь духи водобоязни. Видели, как поварихи, если плеснут молока на угли, тут же бросают горстку соли? Великая мудрость простонародья. Молоко от угольного жара претворяется в пар;

при воздействии воздуха и света этот пар, совокупно с атомами огня, влечется обратно к корове, выделившей это молоко. Сосцы коровы железисты и уязвимы, и атомы огня грозят им воспалением, отвердением, изъязвлением, а поскольку вымя недалеко от мочевого пузыря, воспаление может переброситься в пузырь и привести к анастомозу приходящих в пузырь сосудов. Корова станет мочиться кровью”.

Роберт сказал: “Шевалье вспомнил эту лезвейную притику в качестве снадобья для моего леченья. Но вы поясняете своею речью, что метод сей употребим во зло”.

“Разумеется, и в том причина оберегать подобные секреты, чтобы не применялись вредоносно. Любезнейший, дискуссия о мази, или о пороже, или о том, что в Англии обычно именуют *Weapon Salve*, полна противоречий. Шевалье упоминал тут оружие, которое, будучи уместно примененным, приносит облегчение. Но возьмите то же оружие и расположите его у огня; и пораненный, будь он даже за тысячу километров, возопит от жжения. А если вы погрузите острое, все еще выпачканное кровью, в ледовитую воду, раненого затрясет от холода”.

В ходе этого разговора Роберт, кажется, не услышал ничего такого, о чем не знал бы раньше, не исключая и подтвержденья, что доктор Берд в вопросе о Симпатическом Пороже великий дока. Но беседа до того настойчиво кружила вокруг дурных использований этого ученья, что вряд ли речь шла о случайности. Как это все увязывалось с меридиановыми дугами, будет рассказано впоследствии.

Одним прекрасным утром, воспользовавшись тем, что матрос свалился с марса и раскроил себе череп, и на шкафуте царила суматоха, а доктора спешно позвали врачевать пострадавшего, Роберту удалось скользнуть в трюм, опередив Берда.

Почти что наощупь нашарил он верную дорогу. Может быть, повезло, а может, неведомая зверюга громче обычного стонала именно тем утром. Примерно у ахтерштевня, там, где на “*Дафне*” хранились бочонки с ромом и араком,

он обнаружил закомару, где глазам его открылась кошмарная картина.

На удалении от любопытных взоров, на поддоне, построенном, видимо, по мерке, на подстилке из засаленных тряпок была распростерта собака.

Большая собака, породная, но из-за боли и от страданий она выглядела доходягой. Мучители, по всему полагая, старались поддерживать ее в живых: снабжали и питьевой водой и пищей, при этом пищею не песьей, а людскою, с самого лучшего пассажирского стола.

Собака лежала на боку, закинув шею и вывалив язык. Весь бок ее был раскроен огромной, вывороченной раной. Рана имела вид свежий и одновременно нагноенный, меж ее розовых краев сочилось гангренозное створоженное месиво гноя и сукровицы. Было понятно, что какой-то хирург, вместо того чтобы зашить разрез, растянул его и прикрепил края к коже, сохраняя их в зиянии, в незаживании.

Попранье целительского искусства, эта рана была не только нанесена нарочно, но и нарочно обрабатывалась против рубцевания, чтобы мученичество пса длилось и длилось — а началось оно неведомо когда. Роберт разглядел вокруг вереда и в вереде в самом какие-то кристаллы, будто врачеватель (исполненный карательской жестокости!) умащал язву едкой солью.

Беспомощный, Роберт погладил несчастного, тот жалобно заскулил. От прикосновений ему, наверно, становилось больнее. К тому же сострадание мешалось в душе Роберта с ликованием от победы. Вот, несомненно, разгадка тайны доктора Берда, таинственное карго, занесенное на борт с причала Лондонского порта.

Насколько наблюдал Роберт и насколько мог догадываться человек, знавший то, что было известно Роберту, пес был ранен в Лондоне и Берд прилагал все усилия для того, чтоб его язва оставалась в незалеченном виде. В Лондоне же кто-то каждый день в определенный договоренный час что-то производил либо с нанесшим удар оружием, либо с намоченной в крови тряпкой, вызывая у животного, может быть, облегчение, а может, сильнейшее беспокойство, потому что доктор Берд когда-то говорил Роберту, что от лезвевой

мази, “Weapon Salve”, может быть не только польза, но и ра-страва.

Благодаря этому на “Амариллиде” узнавали, когда в Европе настанет определенный час. Зная время в точке нахождения судна, могли определять долготу!

Оставалось только увериться в справедливости догадки. В эту пору Берд уединялся каждый день часов около одиннадцати: значит, “Амариллида” подходила к антимеридиану. Спрятаться около пса и выждать прихода медика!

Ему повезло, если можно так выразиться о преддверии шквала, который, как вскоре станет понятно, обещал и кораблю и всем населявшим этот корабль величайшее невезение. Все утро и после обеда море волновалось, Роберт смог сослаться на тошноту и неблагоприятный желудок и упокоиться в каюте, пренебрегши в этот вечер ужином. При первой темноте, когда еще не выставили часовых, он прокрался вниз по трапу в трюм, неся с собой огниво и просмоленный шкентель, чтоб освещать дорогу. Он знал, что около собаки, над ее лежанкой, имелись нары, набитые навивами соломы. Эти навивы служили для поправки слежавшихся матросских тюфяков. Роберт заполз в глубину сеновала и зарылся. Оттуда он никак не мог видеть собаку, но имел возможность разглядывать лица тех, кто будет заходить, и слышать их разговоры.

Ожидание протянулось час или более, время шло тем медлительнее, чем отчаянней бедная тварь вопила и сокрушалась, но вот наконец послышались голоса и мелькнул свет.

Роберт смог наблюдать процедуру, совершавшуюся за несколько шагов от его укрытия. Доктору помогали три ассистента.

“Ты пишешь, Кэвендиш?”

“Пишу, доктор”.

“Подождем. Очень уж он воет сегодня”.

“Это от качки”.

“Тише, тише, Хэклит, — приговаривал доктор, видно, утешавший беднягу лицемерным ласканием. — Плохо, что мы не договаривались почетче о порядке работы. Надо бы всегда начинать с успокоительного”.

“Не скажите, доктор, случается, что он в нужное время спит и приходится его будить, беречь рану”.

“Осторожнее, он, кажется, встрепнулся... Тише, Хэклит... Да, он мечется, он скачет!” — Пес и вправду испускал вопли непереносимой боли. — Они накаливают ножик на огне, записывая время, Уитрингтон!”

“Приблизительно половина двенадцатого”.

“Проверьте по всем часам. Это должно длиться минут десять”.

Собачьему визгу, казалось, не будет конца. Потом визг оборвался, перейдя в какое-то “фр-фр”, ослабевавшее, уга-сающее, сменяющееся молчанием.

“Отлично, — подвел итог доктор Берд. — Который час, Уитрингтон?”

“Все совпадает. Без четверти полночь”.

Новая бесконечная пауза, а после паузы зверь, видимо, задремавший, думавший, что страдание улеглось, снова заголосил, будто ему перепиливали хвост.

“Сколько, Уитрингтон?”

“Час как раз прошел, последние песчинки”.

“На часах уже было двенадцать”, — произнес третий голос.

“По-моему, достаточно. Теперь, господа, — сказал доктор Берд, — надо надеяться, они вытащат ножик из печки, потому что бедный Хэклит уже не может терпеть. Воду с солью, Хаулс, и ветошку. Ну, ну, Хэклит, тебе ведь уже легче... Спи, спи, видишь, я с тобой посижу, видишь, все уже кончилось... Хаулс, снотворного в плоску...”

“Вот, доктор”.

“Пей, Хэклит. Успокойся, попей водички... “ — снова робкое стенание, потом тишина.

“Замечательно, господа, — взял слово доктор Берд. — Если бы этот распроклятый корабль так не трясся и не прыгал каждую минуту, можно было бы сказать, что мы провели полезный вечер. Завтра утром, Хаулс, как обычно, соль на рану. Подведем итоги, господа. В момент наибольшего страдания у нас была приблизительно полночь, а из Лондона нам подавали знак, что у них двенадцать дня. Значит, мы на антимерициане Лондона, точнее на сто восьмидесятой

долготе от Канарских островов. Если Соломоновы Острова расположены, как подсказывает легенда, на антимеридиане Железного Острова и если мы на нужной широте, значит, двигаясь на запад при хорошем попутном ветре, мы должны причалить к Сан-Кристобалю, или как нам заблагорассудится перекрестить этот злосчастный островок. Мы нашли то, за чем испанцы гоняются десятилетиями, а кроме того, получили в руки секрет Исходной Точки, Punto Fijo. Пива, Кэвендиш, надо поднять бокал за Его Королевское Величество, да благоволит к нему вечно Премилосердый Господь”.

“Боже, храни короля”, — отозвались единым духом три глотки, и надо заметить, что эти четыре человека, несомненно, являли собой пример истинной высоты духа и преданности монарху в дни, когда он если еще и не прощался с головою, в любом случае почти что распростился с королевским тронном.

Роберт усиленно соображал. Еще утром он обратил внимание, что этот пес, когда его гладят, умолкает, а если к нему случайно прикасаются в болевой точке, заходится воем. Хватало немногого, при ветре и качке корабля, чтобы вызывать в истстрадавшемся существе разные ощущения. Может, мучители и веровали, будто к ним доходят послания издалека, тогда как пес то терзался, то утихомиривался в зависимости от силы волн и наклона судна. Кроме того, если и впрямь существовало то, что Сен-Савен именовал смутными концептами, могло статься, что доктор Берд движениями рук подчинял собаку своим невыявленным побуждениям. Не сам ли он обмолвился, что причиной ошибки Колумба было неосознанное желание оказаться как можно ближе к Азии? Значит, судьба всего мира ныне зависит от способа, которым полупомешанные испытатели истолковывают вой истязуемой собаки? По бурчанию псиного брюха эти безумцы делают вывод, что они удаляются либо приближаются к областям, усиленно разыскиваемым испанскими, французскими, голландскими и португальскими безумцами? И его затагнули в эту авантюру именно ради того, чтобы он добыл для Мазарини или для молокососа Кольбера рецепт, как населить все корабли океанского флота Франции недорезанными псами?

Ученые тем временем ушли. Роберт вылез из щели и приостановился, при свете фитилька, напротив посапывающего животного и погладил его по загривку. Роберт видел в этой бедолаге собаке все страдание мира, бешеного вымысла недоумков. Медленное его взросление, от памятных бесед в Казале и вплоть до этой минуты, оформлялось в законченную мысль. О, если бы он остался отшельником на незаселенном острове, как советовал мальтиец! Если бы последовал его совету и подпалил “Амариллиду”, если бы оборвал своей бег уйдя на третий остров, к дикаркам с кожей цвета сиенской глины, или на четвертый, где он мог бы стать бардом для местных племен. Если бы он отыскал Эскондиду, убежище от всех наемных убийц безжалостного мира!

Не знал он тогда, что судьбой уготован для него пятый Остров, вполне возможно его Остатний.

“Амариллида”, казалось, была не в себе, и хватаясь за что попало, он дотащился до каюты. Все недомогания отступали пред лицом настоящей морской болезни. Еще несколько минут, налетела буря. О гибели “Амариллиды” я уже рассказывал отдельно. Роберт с честью справился с заданием выжить. Он выжил один, он сохранил великий секрет доктора Берда. Но некому было передать выведенный секрет. Да и вполне вероятно, что секрет этот не стоил ничего.

Не следовало ли ему признать, что, вышедший из нездорового мира, он обрел истинное здоровье? Корабль предоставил ему высочайшее из благ, единоличничество, он обрел Госпожу, которую никто у него не властен был отобрать...

Но Остров не принадлежал ему и оставался далеким. “Дафна” не принадлежала ему и другой претендовал на владычество ею. Может, и затем, чтобы развести на ней опыты не менее brutальные, нежели опыты доктора Берда.

20. ОСТРОТА И ИСКУССТВО ГЕНИЯ¹



Роберт продолжал терять время, давал Постороннему наиграться, чтобы открыть его игру. Выставлял часы на верхнюю палубу, заводил их ежедневно, бегал кормить обитателей зверинца, чтоб опередить конкурента. Раскладывал вещи в каютах и на палубах так, чтобы если Посторонний сунется, это было заметно. Днем не выходил на свет, но дверь приоткрывал, чтобы уловить всякий шум как снаружи, так и снизу. Ночью держал караул, напивался арака, обшаривал тайные поместиища “Дафны”.

Однажды он обнаружил новых два закуточка за кладовой такелажа, ближе к баку. Один был совсем пуст, другой чрезмерно переполнен, повсюду полки с закраинами, чтобы удерживать предметы при качке. Там были ящеричьи кожи, высушенные на солнце, костянки непонятной природы, разноцветные камни, черепки, облизанные морем, кусочки кораллов, прибитые к табличкам насекомые, муха и паук в янтарях, сухой хамелеон и склянки, где бултыхались змеи, угри и ужи, а также непомерные чешуи, скорее всего китовые, меч, по-видимому снятый с рыла рыбы, и длинный рог, по мнению Роберта единорожий, но я склонен думать, что был взят от нервала. В общем, камера редкостей, собранная эрудитом, в те времена немало подобных делалось на кораблях первопроходцев и натуралистов.

¹ Трактат Грасиана-и-Моралеса (см. прим. к главе 11) “*Agudeza u arte de ingenio*” (1642, 1648). “Искусство изобретательности или Трактат об остроумии” (1642; 2-е, расширенное издание 1648, под названием “Остроумие и искусство изобретательности”).

Посередине стоял открытый ящик, с соломенной подстилкой, без обитателей. Кто там пребывал обычно, Роберт увидел, возвратившись в свою каюту, где, как только распахнул дверь, столкнулся нос к носу со стоячим страшилом, выглядевшим жутче, нежели даже сам Посторонний во плоти и крови.

Мышак, помойный пасюк, нет, подобие крысьего великана, ростом в полчеловека, длинный хвост занимал пола, пронзительные глазки, стойка на задних лапах, а передние протянуты к Роберту, как пара человеческих рук. Шерсть прилизана, на пузе щель, и из пуза высунута мелкое отродье того же вида. Мы помним, какие ужасы рисовал себе Роберт в отношении мышей в первый вечер. Как воображал их гигантскими и свирепыми, хозяевами корабля. Но эта крыса превосходила самые чудовищные предвидения. И он не верил, что когда-либо человеческому взору уже являлись крысы подобного сложения, — вполне обоснованно не верил, потому что, как мы догадываемся, перед ним стоял экземпляр чревосумчатого.

После первого припадка ужаса стало ясно по неподвижности налетчика, что он — чучело, и к тому же плохо набитое или плохо хранившееся. Из-под шкуры воняло требухой, в спине торчали клочья соломы.

Посторонний, перед тем как Роберту представилась для обозрения кунсткамера, вытащил самый эффектный экспонат, и куда посетитель был в музее, перенес главное диво к нему на квартиру, очевидно, уповая, что жертва потеряет рассудок, выкинется за борт и оставит ему корабль. Уморить меня хочет, свести с ума хочет, лютовал Роберт, но я ему самому вобью в пасть эту крысу, я его самого набью паклей, где ты там прячешься, гадина, где затаился, подглядываешь, не лишусь ли я рассудка, лучше побереги свой собственный, дрянь такая!

Он вышиб чучело на палубу прикладом мушкета, а там, переборовши мерзость, взял руками и кинул в море.

Решив во что бы то ни стало выкурить Пришельца из приюта, он снова полез в дровяной отсек, ступая осторожно, чтоб опять не вывернуть ногу на катающихся по полу чурбанах. После дровяного отсека, за переборкой, была

камора, где на “Амариллиде” хранили сухари (этот чулан назывался *soute, sota* или *soda*). В этой же, под нежной ветошью, ловко завернутая, хранилась огромная подозрительная труба, мощнее, нежели он видел в каюте капитана, новоявленная Гипербола Очей, рожденная для исследования неба. Телескоп был уложен в широкий таз легкого металла, рядом с тазом, тоже в тряпье, покоились инструменты непонятного смысла, с металлическими суставами, и какая-то круглая холстина с кольцами по всему кругу, и рядом — подобие шлема, и три пузыря: в пузырях, судя по запаху, содержалось плотное и затхлое масло. К чему могло служить все заготовленное, Роберт не стал ломать голову. Ему важнее было найти живого вредителя.

Он ограничился проверкой, была ли там под полом еще какая-то закомара, и действительно, хотя очень тесная, она была, в нее можно было заползти на карачках. Роберт светил на пол, чтоб уберечься от скорпионов и не зажечь потолок. Пресмыкавшись недолго, он дошел до тупика и врезался головой в сосновую балку. Вот *Ultima Thule*, Последняя Тулэ “Дафны”, дальше уже слышались удары волн о подозрительный корабль.

Он задумался. Мыслимо ли, что у “Дафны” не было больше от него секретов?

Когда мы удивляемся, что за неделю, или того больше, бездельничанья на борту Роберт не сумел рассмотреть всю начинку судна, вспомним лучше о том, как мальчишки лазают по чердакам или подвалам дедовского большого дома несимметричной планировки. На каждом шагу открываются лари старых книг, корзины тряпья, пустые бутылки и вязанки деревяшек, переломанная мебель, пыльные шаткие шкафы. На своем пути мальчишка то и дело застревает, сует нос во все чуланы, в темные углы и воображает призраки в коридорах, решает отложить до другого раза, каждый день разведывает понемногу, опасаясь слишком далеко забраться, в то же время предвкушая потрясающие открытия, ошарашенный находками последней минуты; чердаку или подвалу не видно ни конца ни края и таинственных углов в них хватает на детство, отрочество и юность.

Вообразим, что этот мальчишка натывается на странные звуки, что для отбиванья охоты каждый день ему рассказывают жуткие сказки, мало этого: что он изрядно наклюкивается перед отправкой, — станет ясно, как расширяется пространство этих походов. Таково было чувство Роберта при разведывании враждебного недра.

Рано утром ему снова виделся сон. Происходил он в Голландии, в те недели, когда люди кардинала конвоировали его в Амстердам для посадки на “Амариллиду”. Остановились в одном городе, Роберт вошел в собор. Его поразила нагота нефа, отличного от церквей Италии и Франции. Никаких украшений, только кое-где хоругви, укрепленные на голых колоннах, витражи прозрачны, без рисунков, проникаются молочным светом солнца, белизну нарушают редкие молящиеся черные фигуры. В безмятежности звучала только одна печальная нота, песнь вилась по мягкому воздуху цвета слоновой кости и как будто выходила из капителей или из замка свода. Потом он разглядел, что в одной часовне, в углублении хора, черноризец играл на маленькой флейте, глаза распахнуты в пустоту.

Позднее, когда музыкант остановился, Роберт подошел и спросил, можно ли предложить подаяние. Тот, не глядя, поблагодарил за хвалебный отзыв, и Роберт понял, что разговаривает со слепцом. То был колокольный мастер (*der Musicyn en Directeur van de Klok-werken, le carillonneur, der Glockenspieler*, напрягался он, объясняя), но в его обязанности входило также занимать игрою на флейте прихожан, собиравшихся вечерами на паперти и прицерковном погосте. Он знал много мелодий, и для каждой разрабатывал по две, по три, когда и по пять вариаций, одна другой мудренее. Он не имел нужды в нотах. Невидящим он родился и обитал в этом сиятельном пространстве (так и сказал, сиятельном) своего храма, ощущая, сказал он, солнце всею кожей. По его словам, инструмент был одушевленным, отзывался на пору года и на температуру утра и заката, а в церкви держалась теплота, вечно распыленная, и она придавала обаяние древесине; Роберт не мог вообразить, что считает диффузной теплотой этот северянин, оледеневая в вечной светлоте.

Музыкант поиграл еще, дважды варьировав мотив, и сказал, что мелодия носит имя “Doen Daphne d’over schoone Maeght”. Он отказался от лепты, потрогал лицо Роберта и сказал, по крайней мере насколько Роберт понял, что “Дафна” это нежность и пребудет с Робертом всю жизнь.

И вот Роберт, лежа на “Дафне”, открыл глаза и совершенно определенно услышал, что снизу, через щели в переборке, поднимаются ноты “Дафны”, играемой на чем-то из металла, но не отваживаясь на вариации, тот, кто музицировал, размеренно повторял первую фразу мелодии, как навязчивую ритурнель.

Он немедленно сказал себе: как изысканна эта фигура, быть на флиботе “Дафна” и слушать “Дафну” для флейты. Незачем надеяться, что этот сон прекратится. Происки Неизвестного, новое сообщение.

В очередной раз препоясавшись оружием, снова причастившись укрепительного зелья, Роберт двинулся на звук. Тот звенел из часовой кладовки. Но с тех пор как часы были перетащены Робертом на шканцы, место их опустело. Заглянул: точно, пусто, звук идет из глубины.

Отвлечшись на вид часов в первое посещение, занимаясь их тасканием во второе, он ни разу не задумался, доходила ли кладовая прямо до борта. Если бы доходила, ее дальняя стена должна быть округлой. А на поверку? Холст с нарисованными часами создавал обманный эффект, который сразу не был замечен, и невозможно было понять, ровная стена или кривая.

Роберт дернул за полотно и понял, что это сдвижной задник, как в театре. За изрисованным холстом — другая дверь, и запертая. С отвагой приверженца Вакха, как если бы мощным прорывом одерживалась истинная победа, он наставил ружье, выкрикнул (Бог знает почему) “За Сен-Дени и Невера!”, пнул дверь и ринулся, бесстрашный.

Предмет, царивший в следующем отсеке, представлял собою орган с парой десятков трубок на верхушке, и из него неслись ритмичные ноты. Орган был прислонен к стене

и состоял из деревянной основы с металлической колоннадой, сверху — строй трубок, а по их бокам подскакивали автоматические фигурки. Левая их группа была собрана вокруг колокола-наковальни, и четыре человечка ритмично били по нему. Их молоточки, неравного веса, выбивали серебристые аккорды в унисон мелодии труб. Роберт вспомнил беседы в Париже с монахом ордена “минимов” о мировой гармонии и опознал, как по внешнему виду, так и по породненности с музыкой, Вулкана и трех циклопов, которые у Пифагора олицетворяют легендарную связь музыкального интервала с числом, весом и мерой. На другом фланге купидончик отбивал на деревянной книге терции, задавая ритм “Дафне”.

Клавиши сами прядали будто под невидимыми руками. Под клавиатурой, вместо педалей мехов, имелся валик с зубцами, и выступы его располагались то симметрично, то уступисто, то с пробелами, так прыгают знаки на листе нотной грамоты. Валик стоял над переключателем, покрытой рычажками, которые при вращении то цеплялись за выступы валика, то проскакивали; сложно организованное движение передавалось на клавиши и на дыры труб. Однако удивительней всего было видеть, что за сила приводила валок и трубы. Возле органа был стеклянный сифон, два сита членили его на три отсека по вертикали. В сифон вбрызгивалась вода через трубку, входившую в дно сосуда и забиравшую воду через иллюминатор непосредственно из моря. Должно быть, ее закачивал скрытый насос. Вода с силой влетала в нижнюю часть сифона, воронкой крутилась по стенам и вытесняла часть воздуха через сито вверх. Там по другой трубе воздух шел запитывать орган и превращался в пение. А вода, накопившись внизу, начинала выливаться по желобочку и давила на лопасти мельничного колеса, оно-то и шевелило музыкальный валик.

Роберт был пьян и счел картину вполне обычной и даже вознегодовал, когда цилиндр замедлил кружение и трубы зашипели, будто пенье останавливалось в горле, а циклопы и купидончик, вздрогнув, замерли. Несомненно (хоть в этом веке немало рассуждалось о перпетуум мобиле), спрятанный насос, заведовавший забором воды, смог работать

сколько-то времени после накачки, а затем энергия усилъа истощилась.

Роберт не знал, чему удивляться пуще: премудрому технику (он слышал о подобных, способных показывать та-нец смерти или крылатых амуров) или Проходимцу, кото-рый запускает механизмы в такую рань и с самого утра.

Что он имел в виду? Сказать Роберту, что его песенка спета? Что “Дафна” скрывает несметное число секретов и Роберт, потратъ он хоть всю жизнь, не имеет надежды отыскать их?

Он помнил фразу знакомого философа, что Богу извест-ен мир лучше, чем нам: Он сам его построил. Сообразо-ваться, хотя бы отдаленно, с премудростью Божьей значит вообразить себе мир как план большого помещения и про-бовать строить его. Чтоб изучить “Дафну”, он займется ее постройкой.

Сел к столу и набросал профиль судна по примеру “Ама-риллиды” и с учетом наблюдений, сделанных на “Дафне”. Ну, бормотал он, нам известны каюты на полуюте. Под ними закуток с нактоузом. Еще ниже, но все еще на уровне палубы, место вахтенного и пазуха, пронизанная рулем. Перо руля высовывается в корму и кроме румпеля в этом месте не может быть ничего. Соответственно на этом уров-не на баке размещается камбуз. Затем бушприт, он торчит из особого возвышения, в котором (так я интерпретирую ма-нерные перифразы Роберта) проделаны отверстия, куда по-лагалось выставлять зад и справлять необходимость. Под камбузом провиант-камера. Он обследовал ее вплоть до форштевня, до самого форпика, там совершенно точно ни-чего прятаться не могло. Ниже располагались смотанные снасти, рундуки, собрание минералов. Дальше лезть там некуда.

Что ж, возвратимся обратно, проинспектируем птичник и оранжерею. Ежели Пройдоха не наострился превращать-ся по первому желанию в пернатое или в злак, он не может прятаться там. Под румпелем помещены каморки с часами и органом. Излазим и их, простучим кулаком борт.

Роберт соскользнул по трапу ниже, там в просторной выгородке хранились припасы, дерево и балласт. В ляле, отсеке для сбора воды, не могло предусматриваться, если на этом корабле соблюдаются правила, никаких жилых помещений. Единственное место для Проныры было — лепиться, уподобительно подводной слизи, на внешнем борту корабля, как медуза, и всплывать время от времени на мостик... Но из всех теорий, а у Роберта их была заготовлена вереница, последнюю он расценил как наименее научную.

В корме, в непосредственной близости от органа, имелась еще клеть для тазика, телескопа и прочих приборов. Когда он осматривал ту часть, сообразил Роберт, он не проверил, упирается ли задняя переборка непосредственно в румпель. Но рисунок, набросанный по памяти, не представлял каких-либо возможностей в том углу, если, конечно, изгиб кормы был передан правильно. Еще ниже была слепая кишка, в которой, он был уверен, не оставалось места ничему.

Вот, разделив корабль на уровни, он аккуратно заполнил каждый и не нашел полостей ни для каких тайнохранилищ. **Вывод:** у Пришлеца не имеется постоянного места. Он переходит, когда переходит Роберт. Как обратная сторона Луны: известно, что она существует, но никто никогда ее не видел.

Откуда видна обратная половина Луны? С постоянных звезд. Их жители, выжидая, неподвижно, с терпеливостью взирая на светило, сумеют разглядеть его засекреченную часть. Пока Роберт гуляет вместе с Чуженином, то есть пока тот определяет свой маршрут исходя из перемещений Роберта, Роберт не сможет его поймать. Роберту надо стать постоянной звездой и вынудить Чужака к поступкам. А поскольку этот Пришлый явно прячется на мостике, когда Роберт лазит по межпалубным отсекам, надо убедить его, будто Роберт внизу, и хватать его сверху.

Для обмана Постороннего он установил зажженный свет в каюте капитана, чтобы тот подумал, что Роберт занят письмом. Сам же спрятался на верхушке полубака, прямо сзади за колоколом, так чтобы, оборотившись, можно было

видеть всю площадку под бушпритом, а спереди просматривать целиком шкафут и шканцы до полубака и кормового фонаря. Он захватил с собой оружие и, подозреваю, бочонок.

Ночь он провел дергаясь при малейшем шуме, как будто обязан был снова вернуться к шпионству за доктором Бердом, и щипал себя за уши до рассвета.

К утру он вернулся в каюту, где тем временем свечка загасла. И нашел все документы в полном разоре. Прощельга просидел ночь в его кресле, может быть, читая его письма к Любезной, пока он коченел на насесте и мок от рассветной росы!

Противник пробрался в его воспоминания... Роберт вспомнил предупреждения Саласара: обнаруживая страсти, открываете брешь в свою душу. Вне себя он ринулся на мостик и начал там стрелять из ружья куда попало, прошил пулей мачту, потом палил снова, пока не осознал, что никого не убивает. Учítывая, сколько требовалось времени в тот век на перезарядку мушкета, враг вполне мог позволить себе небольшую прогулку между первым и вторым выстрелом, посмеиваясь над перепалкой, которая переполошила, похоже, только перепелок, исходивших кудахтаньем на нижнем деке.

Ах, он посмеивается! Где же он посмеивается? Роберт вернулся к рисунку и сам себя упрекнул, что в сущности ничего не смыслит в строительстве судов. Чертеж передавал только верхний и нижний пределы и длину, ширина не была учтена. Представив внутренность вдоль, или, как сказали бы в наше время, корабль в разрезе, новых тайников он не увидел. Но если начертить все то же самое в виде сверху, можно было бы, наверно, выявить новые резервы мест.

Роберт отдал себе отчет лишь в эту минуту, что на корабле слишком многого недостает. Например, оружия. Ну допустим, оружие унесли на себе матросы, если они, конечно, оставили этот корабль доброю волей. Но на "Амариллиде", например, в выгородке трюма содержалась древесина для починки мачт, руля и бортовой обшивки на случай повреждения их от стихий, а Роберт нашел на "Дафне" изрядное число мелких щепок, высушенных недавно, для протопки

камбузной печи, но никаких намеков на дуб, лиственницу, выдержанную ель. Вместе с судовой древесиной улетучились пилы, топоры, молотки и гвозди...

Куда засунули все это? Он выполнил новый чертеж: сверху, с капитанского мостика, на просвет. Продумав рисунок, Роберт понял, что в изображаемом им муравейнике может быть выкроено малое местечко под органной, и туда можно попадать без трапа, через небольшой люк. Места там едва ли хватило бы для всех несчастствующих на корабле предметов, но в любом случае открывался какой-то зазор. А если в низком потолке глухой кишки есть секретный проход, значит, и оттуда можно пробираться в часовую рубку, выходить незамеченным, разгуливать по кораблю.

Роберт совершенно уверился, что некуда Врагу девать себя на судне, кроме того места. Он бросился вниз по трапам, все ниже и ниже, вплоть до глухого отсека, нырнул туда, но на этот раз осветил своей лампадкой не пол, а потолок. Да, в потолке был закрытый люк! Роберт удержался от первого порыва: распахнуть его. Если Враг окопался в этой щели, первым делом к нему просунется Робертова голова, а он только этого и ждет. Надо наступать со стороны, где не чаяли атаки, как Роберту было памятно еще со времен Казале.

Этот чулан, если он существует, граничит с кладовой-телескопной, и входить надо, вышибая стену.

Вернувшись на ярус выше, он миновал сухарню, перешагнул через непонятные снаряды и остановился у переборки, которая — он только теперь понял — не состояла из крепких бревен, как ближние к ней шпангоуты и бимсы. Она была совсем слабая. Как в свое время с музыкальной каютой, Роберт размахнулся, пнул ногою что было силы, доски вылетели из пазов.

Перед ним была мышья нора, куда просачивался тусклый свет через скважины в круглых стенах, сходящихся под углом. Прямо в углу на подстилке, поджав колени к подбородку, вытянув навстречу Роберту пистоль, находился Двойник.

Это был старик с расширенными зрачками, с высушенным лицом, обрамленным седою бородою, с редкими и

белыми волосами, дыбом стоявшими на голове, и с беззубым ртом, обнажавшим десны цвета черники, утопавший в мешке, некогда бывшем черным, ныне засаленном до белизны, сплошное расплывшееся пятно.

Он целил в Роберта пистолью, в которую вцеплялся двумя руками, локти у него дрожали, изо рта выцеживался слабый писк. Первые слова были по-немецки или по-голландски, а после этого, повторяя то же самое, он выговорил фразу на искаженном итальянском, что показывало, что он угадал происхождение попутчика, копаясь в его бумагах.

“Если ты будешь идти, я буду тебя убивать!”

Роберт до такой степени был ошарашен его видом, что замешкался с ответом. Это было к лучшему, потому что, всмотревшись, он понял, что курок оружия не наставлен и что его Противник не великий мастер военных приготовлений.

Тогда он спокойно приблизился к сидевшему, ухватил пистолет за ствол и попробовал выволочь его из пальцев, судорожно сведенных на рукояти, между тем как существо исходило в воинственных тевтонских взвизгиваниях.

Хотя с трудом, но Роберту удалось отнять пистоль, а противник повалился ниц. Роберт склонился рядом, придерживая его за голову.

“Сударь, — уговаривал он. — Я вас не трону. Я друг. Понятно? Я amicus”.

Тот разевал и захлопывал рот, не говоря ни слова. Виделись одни закаченные белки, ярко-алые, и Роберт испугался, не смертный ли пришел ему час. Он поднял на руки это хрупкое тело и отправился с ним на руках наверх в каюту. Наверху он отпоил его водой, влил ему в рот и немного спирта, и наконец тот сумел выговорить по-латыни “Благословен Господь”, поднял руку для крестного благословения, и только тут Роберт осознал, разглядев обрывки его одежды, что перед ним духовное лицо.

21. СВЯЩЕННАЯ ТЕОРИЯ ЗЕМЛИ¹



е будем восстанавли-
вать диалог, заполни-
вший двое суток. Причина, в частности, и та, что записи Роберта стали лаконичней. Вероятно, как Робертовы конфиденции Владычице осквернились от постороннего взгляда (подтверждения чему он так и не осмелился спросить у товарища), так он на много дней забросил сочинительство и только сжато отмечал, чему обучился и что происходило.

Итак, Роберт находился в обществе преподобного Каспара Вандердресселя, из Иисусова Братства, профессора математики прежде во Франконии, а затем в коллегии иезуитов в Риме, вдобавок астронома и куратора различных дисциплин при Римской Генеральной курии. “Дафна” под командованием шкипера голландца, уже ходившего в этих морях с грузами Коммерческой Ост-Индской компании, много месяцев назад отплыла из средиземноморской гавани, обогнула Африку и двинулась к Соломоновым Островам, точно как и доктор Берд на “Амариллиде”, — только доктор шел с востока на запад, а “Дафна” наоборот, но к антиподам попадаешь одинаково, как ни окручивай Землю. На этом Острове (тут фатер Каспар указывал на дюну за береговой кромкой) намечалось разместить Наблюдательную Установку, *Specola Melitense*. Что это за Мальтийская Установка,

¹ Латиноязычное сочинение английского юриста и богослова Томаса Бернета (Burnet, 1635–1715) “*Telluris Teoria Sacra*” (1681), посвященное строению Земли и Всемирному Потопу.

не было понятно, но Каспар шептал с таким видом, как будто этим интересовались все на свете люди.

Чтобы добраться до Острова, “Дафна” затратила порядочное время, как было положено в тот век и в тех странах. После Молуккских островов по пути к Сан-Томе, архипелаг Новая Гвинея (причаливали только в портах иезуитских миссий) корабль унесло штормом в неизученное море, к острову, населенному мышами величиною с подростка, с безмерным хвостом и с котомкой на пузе. Чучело одной такой мыши фатер Каспар в свое время продемонстрировал Роберту (и был в ярости, когда тот кинул в море экземпляр “чуда, ценою в Перу”!).

Двуутробки эти, по словам иезуита, незлобивы, они окружают путников и выпрашивают лапками лакомства, тянут за одежду, но, как узналось потом, от рождения жуликоваты, незаметно рыскают по карманам и крадут сухари.

Позволю себе откомментировать в поддержку отца Каспара, что такой остров действительно существует и не может быть спутан с другими: звери, похожие на кенгуру, называются “куоккас” и обитают только там, на острове Роттнест, это имя дали первооткрыватели-голландцы и значит оно “крысье гнездо”. Но поскольку остров Роттнест располагается напротив Перта, значит, “Дафна” доходила до западного побережья Австралии. То есть она попадала на тридцатый градус южной широты, к западу от Молуккских островов, между тем как имелось в виду идти на восток от Молукк и придерживаться линии экватора. Все это доказывает, что “Дафна” здорово сбилась с пути.

И если бы беда была только в этом! Но ведь люди с “Дафны”, увидев сушу недалеко от “Крысьего” острова, сочли ее за какой-то очередной островок с какими-то очередными грызунами! “Дафна” искала совсем не эту сушу, и невесть какие инструкции поступали от работавших на борту навигационных приборов фатера Каспара. А между тем нескольких гребков хватило бы тогда, чтобы добраться до Неисследованной, или Австралийной земли, о которой человечество грезило много столетий. Вдобавок еще одно практически непостижимо: как умудрилась “Дафна”, вернувшись (что мы увидим) к семнадцатой параллели, как она

обошла половину берегов Австралии, не заметив этого материка! Либо они повернули резко на север и, значит, проскочили между Австралией и Новой Гвинеей, рискуя на каждом повороте застрять не на одной так на другой мели; либо они пробирались по югу, между Австралией и Новой Зеландией, и ничего не обнаружили ни справа ни слева, только бесконечное море.

Могут подумать, будто я сам выдумал столь неправдоподобный сюжет. Отвечу, что точно в те месяцы, когда разворачивается наша повесть, мореплаватель Абель Тасман, выйдя из Батавии, добрался до острова, который назвал землей Ван Димена (ныне Тасмания). Поскольку он тоже искал Соломоновы Острова, он оставил по левую руку южную оконечность новооткрытой суши, не подозревая, что за нею, на север, обретается континент в сотню раз ее превосходящий; затем Тасман уткнулся на юго-востоке в Новую Зеландию, обогнул ее северо-восточным курсом и уйдя в море оказался у Тонга; а после этого прибыл примерно туда же, где находилась и “Дафна”, точно так же лавируя меж коралловых рифов и держа курс на Новую Гвинею. Как видим, путь его в действительности ничем не отличался от рикошетного скакания бильярдного шара. Похоже, что множество лет еще и после этого исследователи роковым образом проскакивали в двух шагах от Австралии, не замечая ее.

Поэтому примем на веру рассказ Каспара. Послушная прихотям ализеев, “Дафна” угодила в эпицентр другой бури и ее изрядно потрепало, так что было нужно пристать к острову, расположенному неизвестно где и не имеющему деревьев, это был атолл — кольцо песка и озерцо. Команда подлатала корабль и этим объяснялось, почему на борту отсутствовали строительные материалы. Потом “Дафна” снова отплыла и в конце концов опустила якорь в этом заливе. Капитан послал разведку на берег, те возвратились с сообщением, что обитателей не имеется, но для верности были развернуты в сторону острова и надежно заряжены немногие корабельные пушки, а затем началось выполнение четырех серьезных планов, один основательнее другого.

Во-первых, необходимо было набрать воды и провианта, поскольку на корабле кончалось все. Во-вторых, ловили

животных и выкапывали растения, чтобы доставить их на родину для натуралистов-иезуитов. В-третьих, было намерено нарубить лесу, заготовить крупные ветви и стволы для починки корабля в случае грядущих неприятностей. В-четвертых, на высотке на этом острове водружали Мальтийскую Установку, и это было самое трудоемкое задание. Из трюма вынули и переправили на берег все плотницкие снаряды, столярный инструмент, детали Установки, на это ушло немереное время, и в частности из-за того, что непосредственно в бухту вход не только кораблю, но и шлюпке был заказан. Между кораблем и берегом виднелся, почти вровень с волною, с небольшими проемами, чересчур тесными для мореходства, порог, кряж, отмелина, горб, песчаный нанос, “стена земли” — “Erdwall”, как выражался отец Каспар, — в общем, то, что сегодня имело бы название “коралловый риф”. После безрезультатных попыток было выяснено, что надо всякий раз заходить за мыс, ограничивающий залив с юга, где имелся узкий проход, позволявший проскользнуть шлюпке. “Вот поэтому мы не имеем возможности ныне ту лодку, которую оставили те матросы, видеть, хотя она и в настоящий момент близко за мысом пришвартована, *heu me miserum!*” Из Робертова конспекта явствует, что его тевтонский знакомец, проживая в Риме, общался с собратьями из ста далеких земель по-латыни, а в отношении итальянского вовсе не имел привычки.

Соорудив Установку, фатер Каспар перешел к наблюдениям и великолепно проводил время в течение двух месяцев. Чем в это время занимался экипаж? Сходил с ума от лени. Расшатывалась дисциплина. В каком-то порту капитан запасся не маленьким числом бочонков спирта, собираясь употреблять алкоголь для лечения болезней, с крайней постепенностью, а также для меновой торговли с дикарями; между тем, взбунтовавшись против авторитетов, экипаж принялся таскать водку из трюма и все злоупотребляли спиртным, включая капитана. Фатер Каспар трудился, команда оскотинивалась, до ушей наблюдающего в Установке доносились срамные песни.

В один прекрасный день фатер Каспар, из-за жары, занимаясь в одиночестве на Установке, снял рясу (вопреки запо-

веди стыдливости, горько каялся примерный пастырь, да простит ему сию слабость Господь, безотлагательно наказавый нарушителя по грехам его!) и какое-то насекомое устрекало его в грудь. Сперва он ощутил только корчу боли, но вечером, по возвращении на корабль, почувствовал горячку. Он никому не сказал о бывшем, ночью страдал от звона в ушах и был с тяжелой головой, капитан ослабил ему рясу и что увиделось? Волдырь, как те, что случаются от ос, да что там, и от крупных комаров. Но в глазах капитана этот укус обернулся карбункулом, черным фурункулом, прыщом, коротко говоря чумным бубоном, и якобы недвусмысленно свидетельствовал о чумной заразе, *pestis, quae dicitur bubonica*, что немедленно было записано в бортовой журнал.

Паника охватила борт. Напрасно фатер Каспар пытался объяснять про насекомое. Зачумленный прибегает ко лжи, чтоб от него не отшатывались, это ясно. Напрасно он убеждал, что чума превосходно им изучена и что его случай не является чумой по множеству разнообразных причин. Но экипаж был близок к тому, чтобы бросить его в море, дабы воспрепятствовать заражению.

Отец Каспар говорил, что во время великого чумного мора, охватившего Милан и Северную Италию около дюжины лет назад, он был послан вместе с собратьями по ордену работать в переполненных лазаретах и исследовал феномен в самом близком приближении. Есть хвори, поражающие в разных местах и в разное время, как например английское потение (*Sudor Anglicus*). Имеются недуги определенных областей: мальтийский мыт (*Dysentheria Melitensis*) и египетская слоновая болезнь (*Elephantiasis Aegyptia*), и наконец, есть такие болезни, как чума, разящие в течение длительных сроков всех обитателей большого края. Подобный мор обычно предвосхищается знаменами: это могут быть пятна на солнце, затмения, кометы, исход животных из-под почвы, порча урожая от зловредных ветров. Но в настоящем случае ни один из знаков не был виден ни на борту, ни на земле, ни на небе, ни на море!

Во-вторых, причиной чумы несомненно является прогнивший воздух, он выходит из болота, или производится

разложением многих умерших тел после войны или битвы, или же когда при странствиях саранчи целые полчища ее тонут в море и потом этой трупной массой засоряются берега. Причиной болезни выступают поветрия, влетающие в рот, а затем из легких через полую вену восходящие до сердца. А на “Дафне” в течение всего плавания, не считая тухлой еды и воды, отчего в любом случае люди болеют цингой, а не чумою, путники не испытывали никаких дурновонных воздействий, напротив, дышали чистым целебным воздухом морей.

Капитан отвечал, что следы заразы удерживаются и на одежде и на предметах и что на борту “Дафны” должно содержаться что-то, долго хранившееся и наконец передавшее хворобу. Тут вспомнили о иезуитовых книжках.

Фатер Каспар, заселяясь на корабль, принес с собою несколько хороших руководств по навигации, таких как “Искусство судовождения” Медины, “Тифоны Батавии” Снеллиуса и “Об океанах и Новом Свете, в трех декадах” Петра Ангиерского, и как-то рассказывал капитану, что приобрел их за бесценок именно в Милане. По окончании чумы на парапете одного миланского канала была выложена для продажи целая библиотека кого-то безвременно усопшего, там иезуит пополнил свое небольшое личное собрание, которое захватил с собою в поход за океан.

Капитан не сомневался, что книги чумного мертвеца доставили на судно заразу. Всякому известно, что чума передается через гнойные мазки, и что некоторые умирали, дотронувшись пальцами до листов, ослюенных ядом.

Фатер Каспар надрывался: это неверно, в Милане он сам смотрел на кровь заболевших через новый оптический технизм, называемый увеличителем, или микроскопом, и сам видел, как в чумной крови путешествовали мелкие глисточки, они-то и есть переносчики живой заразы — *contagium animatum*, которые рождаются натуральной силой из всякой цвели, а потом передаются *propagatores exigui*, посредством мелковидных переносцев, через потоотделяющие поры или через рот или даже, в редких случаях, через ушные трубы. Однако подобные кишашие нутряки должны быть в живом виде, и необходима живая кровь, чтоб они питались, и они

не способны просуществовать двенадцать и более лет среди мертвых волокон на листе бумаги.

Капитан не хотел слышать доводов рассудка, и маленькая прекрасная библиотека фатера Каспара была отдана волнам. Но и этого было мало: как ни усердствовал иезуит убедить окружающих, что чуму могут распространять собаки и мухи, но, насколько свидетельствует наука, крысы чуму не переносят, — весь экипаж занялся стрельбой по грызунам, рискуя сделать серьезные пробоины в скулах судна. И наконец, еще через день, поскольку лихорадка фатера Каспара не ослабевала, а прыщ не падал, капитан предпринял новый шаг: всем составом переместиться на остров и подождать, покуда иезуит или помрет, или излечится, а хиль и злокачественные силы выветрятся с корабля.

Сказано — сделано, все насельники судна погрузились на шлюпку, набив туда оружие и инструмент. Так как предполагалось, что со смерти отца Каспара до момента, когда корабль оздоровится, должно пройти от двух до трех месяцев, они решили построить себе на берегу хижины, поэтому все пригодные и сохранившиеся в трюме материалы были приторочены к шлюпке и переплавлены с корабля.

И, разумеется, на берег была отвезена львиная доля бочонков с ромом и араком.

“Но они не хорошую вещь для себя сделали”, — подытожил фатер Каспар с печалью и перешел к рассказу о том возмездии, которое небеса уготовали покинувшему его, будто пропавшую душу.

Действительно, только прибыв, они отправились пострелять в лесу кой-какого зверя, зажгли огромные костры вечером на берегу моря и гуляли-пировали несколько дней и ночей.

Вероятно, эти костры привлекли внимание туземцев. Хотя Остров и был необитаем, на архипелаге обретались люди, черные, как африканцы, умевшие ловко грести и плавать. Настало утро, когда фатер Каспар увидел с десятков “пирагов”, возникших непонятно откуда, из-за того большого острова, который открывался на западе; они правили к месту пира. “Пирагвы” были выдолблены из стволов, как и лодки у индейцев Нового Света, но только скреплялись

попарно: в одной сидели они сами, другая скользила по воде, как полоз санок.

Фатер Каспар сначала опасался, что “пирогвы” приблизятся к “Дафне”, но те, по всему судя, желали избежать встречи и держали курс на то место, где причалила шлюпка с экипажем. Священник пытался кричать, оповещать команду, но все спали, пьяные. Короче, матросы оказались с ними нос к носу, когда пришельцы повыскакивали из-за деревьев.

Туземцы выглядели воинственно, пьяная команда не могла припомнить, где побросала оружие. Только шкипер двинулся им навстречу и уложил первого выстрелом из пистолета. Услышав грохот и увидев товарища на земле без жизни, хотя никто к нему не прикасался, дикари выразили, что готовы подчиниться, и один стащил ожерелье и поднес капитану. Тот наклонился посмотреть, потом, явно ища что-то дать взамен, обернулся к своим людям.

Тем самым он показал черным дикарям спину.

Фатер Вандердроссель предполагал, что туземцы, скорее всего, еще до выстрела были смущены повадкой и фигурой капитана, великана батава с русой бородой и светло-голубым взглядом; надо думать, у туземных обитателей подобная внешность считалась приметой богов. Но сразу же после зрелища его тыла (а несомненно, эти лесные троглодиты не допускали мысли, чтобы у богов мог иметься тыл) их начальник, державший в руке дубину, занес ее и с размаху опустил тому на череп, и капитан рухнул лицом в песок и остался недвижим. Черные люди налетели на матросов “Дафны” и еще до того, как те начали обороняться, всех убивали.

Затем начался устрашающий душу пир, продлившийся трое суток. Фатер Каспар, охваченный своей хворью, следил за происходившим в телескоп. Членов экипажа разделили, как на бойне. Каспар видел, как сначала с них стащили одежду (и под радостные возгласы дикари поделили вещи), после этого рассекли их туши, испекли на костре, обглодали и обсосали размеренно и спокойно, прихлебывая дымящееся пойло и распевая хоровые гимны, мелодия которых всякому показалась бы миролюбивой.

Наевшись, язычники стали показывать пальцами на “Дафну”. Навряд ли они сопрягли ее присутствие с появлением матросов. Величественная постройка, вся в мачтах и парусах, несказанно отличающаяся от их каноэ, не могла им представляться рукотворным произведением человека. По мнению фатера Каспара (считавшего себя достаточно глубоким специалистом по мировоззрению идолопоклонников всего мира, наслушавшись рассказов путешественников-иезуитов после их возвращения в Рим), дикари сочли “Дафну” животным, и ее безучастное поведение в то время, когда они вершили свой каннибальский шабаш, убедило их в правоте. С другой стороны, уже и Магеллан, добавлял фатер Каспар, рассказывал, что некоторые племена думали, как будто корабли слетают на крыльях с неба и что их детищами являются шлюпки, они льнут к их бокам, млекопитаюсь сосцами, а корабли отлучают их от груди, спуская на воду.

Однако какого-то дикаря, похоже, посетила мысль, и он делился ею с сотоварищами, что если животное не свирепо и если плоть его так же сочна, как и мясо съеденных матросов, не попробовать ли его заарканить. И “пирогвы” повернули носы к “Дафне”. Тут наш благостный священнослужитель, не желая близкого знакомства (ибо правило ордена предписывало ему жить, *ad majorem Dei gloriam*¹, а не расставаться с жизнью ради убогостворения бессмысленных кумирников, *сijus Deus venter est*²), подпалил фитиль одной из пушек, заранее заряженной и нацеленной на берег, и выпустил одно ядро. Ядро с великим шумом, притом что бока “Дафны” окрасились ореолом дыма, как будто левиафан пыхнул злостью, хлопнулось посередине эскадры черных, перевернув две их ладьи.

Этого хватило. Туземцы повернули суда к берегу и удалились в рощу, а вышли с венками из листьев и цветов и уложили венки на воду, почтительно наклоняясь и приплясывая. Затем направились курсом на юго-запад и исчезли за западным отрогом Острова. Они выплатили большому

¹ Во славу Господню (лат.).

² Чей Бог живот (лат.).

злому существу сколько нашли справедливым и, безусловно, не помышляли соваться снова на эти берега, в бухту, ибо она стала беспокойной по вине заселившейся в нее мнительной и гневливой твари.

Такова история фатера Каспара Вандердросселя. После того не менее недели он промаялся, до самого появления Роберта, и чувствовал себя поганом, но благодаря препаратам собственного изготовления (“Олей, Флора и прочие полезные Вегетальные, Анимальные и Минеральные Медикации”) вошел уже в период выздоровления, как тут однажды ночью послышалось топанье вверху.

С этого мига, от непомерной боязни, он снова занедужил, покинул свою каюту и забился, как мышь, в закут, унеся с собой медикаменты и пистолет, не ведая, что тот не заряжен. Выходил только на поиск съестного и воды. Однажды он украл яйца, чувствуя потребность восстановить силы, с тех пор удовлетворялся незаметным потаскиванием плодов. Удостоверившись, что Посторонний (а в глазах отца Каспара Посторонним, естественно, являлся Роберт) был ученый человек, любознательный до корабля и до его начинки, Каспар заподозрил, что это вовсе не жертва невзгоды, а лазутчик еретической державы, запущенный выведывать секреты Мальтийской Установки. Вот почему достославный иезуит стал ребячиться и изводить Роберта, пытаясь выгнать его с этого судна, захваченного бесами.

Роберт поведал собственную повесть и, не имея представления, насколько далеко Каспар зашел в прочтении его тетрадей, подробно остановился и на своей миссии, и как он выполнял ее на “Амариллиде”. День клонился к вечеру, собеседники отварили петушка и раскупорили последнюю бутылку капитана. Фатер Каспар поправлялся от малокровия, и к тому же оба отмечали событие, символизировавшее их возврат в объятия человечества.

“Пресмехотворно! — реагировал Каспар на описание системы действий доктора Берда. — Подобную идиотичность не рассказывали мне никогда. Почему они ему причиняли такое страдание? Много раз мне рассказывали о секрете длиннот, но никогда мне не рассказывали, чтоб применять

для этого секрета *unguentum armarium*! Если бы было это выполнимо, это бы изобрел один иезуит. Это же не имеет никакого отношения к секрету длиннот! Я тебе сейчас объясню, до чего я хорошо выполняю свою работу, и ты увидишь, что моя работа выполняется иначе”.

“Так все-таки, — спросил тогда Роберт, — вы искали Соломоновы Острова или решали тайну долгот?”

“Но и то и другое я разыскивал, не так ли? Ты находишь острова имени Соломона и ты умеешь разрешить вопрос, на каком месте проходит меридиан номер сто восемьдесят. Ты находишь меридиан номер сто восемьдесят и ты узнаешь, на каком месте располагаются острова имени Соломона”.

“Почему им там быть?”

“О майн Готт, да извинит меня Всемиловейший Господь за то, что я использую его имя всуе. Будем исходить из сведения, что когда Царь Соломон сконструировал свой храм, он организовал большую морскую экспедицию, как свидетельствует текст Книги Царств, и эта большая экспедиция отправилась на остров Офир, с которого доставила Соломону, сколько это будет — *quadringenti und viginti*?”

“Четыреста восемьдесят”.

“Четыре сотни и восемьдесят золотых талантов, это очень значительное количество денег; в Библии не очень много говорится, но там есть намерение сказать очень много, в риторике подобную фигуру принято называть “*pars pro toto*”, “часть за целое”. Но не существовало никакой такой области в окрестностях Израиля, которая бы располагала подобным значительным количеством денег, и поэтому мы предполагаем, что экспедиция побывала на окраинном пределе мира. Тут!”

“Почему же тут?”

“Потому что тут проходит меридиан номер сто восемьдесят и он именно тот, который разделяет земной шар на две половины, а с другой стороны земного шара проходит меридиан номер один. Когда тут середина ночи, там середина дня. Понимаешь теперь, по какой причине острова имени Соломона были названы таким образом? Соломон предложил разделить ребенка пополам. Соломон предложил разделить Землю пополам”.

“Ясно. Если эта долгота сто восьмидесятая, мы на Соломоновых Островах. Но почему мы считаем, что это долгота сто восьмидесятая?”

“Мы это узнаем с помощью Мальтийской Установки, *Specula Melitensis*, не так ли? Если бы всех моих предварительных экспериментов было недостаточно, мою правоту подтвердила бы Мальтийская Установка. — И, потащив Роберта на мостик, обернул его к заливу: — Ты видишь ту косу на севере, где стоят эти высокие деревья с этими высокими ногами, наподобие гуляющих по воде? А теперь ты видишь еще один этот мыс на юге? Теперь ты проведи одну линию для соединения этих двух оконечностей. Видишь ты, что эта линия пролегает между нашим местом и берегом, причем расстояние этой линии от берега несколько меньше, нежели расстояние этой линии от нашего корабля? Видишь ли ты эту линию? Она представляет собой мысленную линию меридиана номер сто восемьдесят!”

На следующий день фатер Каспар, тщательно следивший за календарем, известил, что воскресенье. Он отпраздновал мессу в кают-компании, освятив одну из немногих оставшихся частиц Святых Даров. Потом они вернулись к уроку, сперва в каюте с глобусом и картами, потом на мостике. Роберт заикнулся, что глаза не выносят света, иезуит достал очки с закопченными стеклами, использовавшиеся для исследования вулканов. Роберту мир представился в очаровательных умягчившихся красках, и он постепенно примирился с солнечными днями.

Чтоб уяснить последующее, мне придется вставить отступление, без которого я и сам мало что способен разобрат.

Итак. Отец Каспар был убежден, что “Дафна” находилась между шестнадцатой и семнадцатой южной параллелью и на сто восьмидесятом меридиане. В отношении широты можно ему поверить. Но теперь предположим, что он не ошибся и с долготой. Из запутанных пометок Роберта явствует, что отец Каспар делил весь шар на триста шестьдесят градусов, начиная с Железного Острова, расположен-

ного в восемнадцати градусах на запад от Гринвича. К этому его побуждала вся традиция, начиная с Птолемея. Поэтому сто восьмидесятая долгота в его понимании для нас должна равняться сто шестьдесят второму градусу по Гринвичу. Соломоновы же Острова, хотя и действительно находятся под сто шестидесятой гринвичской долготой, однако имеют другие широтные координаты — от пятой до двенадцатой южной параллели; будь справедливо указание широты у Каспара, “Дафна” оказывается чересчур близко к югу, чуть западнее Новых Гебридских Островов; а там вообще нет суши, повсюду только одни коралловые мели, впоследствии получившие имя “Ресиф д’Энтрекасто”.

Мог ли отец Каспар отсчитывать от другого меридиана? Безусловно. Как свидетельствует опубликованная в конце семнадцатого века книга Коронелли “Трактат о Глобусах”, за первый меридиан считались “у Эратосфена Геркулесовы столпы, у Мартина Тирского Счастливые острова; Птолемей в книге “О географии” поддержал то же мнение, а в книге “Об астрономии” сместил первый меридиан в Александрию Египетскую; среди современных ученых Измаил Абульфедда поместил первый меридиан в Кадис, Альфонс — в Толедо, Пигафетта и Эррера с ним согласились. Коперник провел этот меридиан по Фрауэнбургу, Рейнольд — по Королевской горе, иначе зовомай Кенигсбергом; Кеплер по Ураниборгу; Лонгомонтан по долготе Копенгагена; Лансбергиус по долготе Геза; Риччоли по Болонье. Атласы Янзония и Блеу берут за отсчет меридианов расположение Пиковой горы. Ради установления порядка, в моей “Географии” я избираю на нашем шаре местом первого меридиана самую западную оконечность Железного Острова, как в частности предписывает и декрет Людовика Тринадцатого, который в ходе Географического Консилиума 1634 года определил первый меридиан именно здесь”.

Но если отец Каспар не послушался постановления Людовика Тринадцатого и исчислял свои меридианы, предположим, откуда-то от Болоньи, значит, “Дафна” стояла на приколе где-то между Самоа и Таити? Нет, местные жители не настолько черны кожей, как те, которых наблюдал наш иезуит.

Предлагаю гипотезу Железного Острова.

Дело в том, что отец Каспар считал первый меридиан за непреложную черту, определенную Создателем в начале творения.

Попробуем понять, где же Создателю могло быть удобно провести эту черту. Неужели в неясном и безусловно восточном краю, где лежал Эдемский сад? Неужели в Последней Тулэ? В Иерусалиме? До нынешних пор никто не осмеливался реконструировать теологическое решение, что не случайно: ведь Бог рассуждает не так, как люди. Достаточно вспомнить, что Адам был сотворен, когда уже существовали и солнце, и луна, и день, и ночь, а значит, и меридианы.

Следовательно, решение должно приниматься не на основании истории, а на основании священной астрономии. Постараемся соотнести сведения, содержащиеся в Библии, с небесными законами.

Как сказано в Начале, Господь прежде всего сотворил небо и землю. В это время была еще тьма над бездной, и дух Божий носился над водами, но эти воды не могли быть такими, которые нам известны. Воду в нашем понимании Господь создал только на второй день, отделив воду, находящуюся поверх тверди (из нее состоит дождь), от воды, помещенной ниже тверди (реки с морями).

Это означает, что начальным результатом творения явилось Первовещество, бесформенное и безразмерное, не имеющее свойств, качеств, тяготений, не знающее ни движения, ни покоя, чистый первозданный хаос, hyle, материя, еще не являющаяся ни светом, ни тенью. Плохо переваренная масса, где еще перемешаны четыре стихии: жар и холод, жидкость и сушь. Магматическое варево, прыщущее брызгами кипятка, подобное горшку с фасолью, подобное расстроенному желудку, или засорившемуся сливу, или болоту, где вычерчиваются и исчезают круги воды в такт проклевыванию и ныркам подслеповатых личинок. Еретики доказывали, будто эта косная, неподдающаяся любому творческому вдохновению материя не менее вечна, нежели вечен Господь.

Ничего подобного! Ведь понадобился Божественный Дух, чтоб из нее, этой материи, и в ней и на ней учредилось

коловращение света и тени, дня и ночи. Этот свет (и этот день), о котором рассказывается как о втором этапе творения, это был еще не тот свет, с которым знакомы мы — свет звезд и двух великих неботечных светил, — так как они сотворены только на день четвертый. Это был творящий свет, божественная энергия в чистом виде, похожая на взрыв порохового бочонка, когда из черных гранул, сбитых в матовую массу, от какого-то щелчка создается разбегание пламен, и концентрированное излучение распространяется до пределов отдаленнейшей периферии, за краями которой, согласно противоположности, образуется темнота (даже если у нас этот взрыв совершился в дневное время). Как если бы из удержанного дыхания, из уголька, который, казалось, едва краснел и едва дышал, из этого Золотого источника Мира разворачивалась шкала, внутри которой сиятельные превосходства градуально деградировали вплоть до самых непоправимых несовершенств; как если бы творческое дуновение истекало из бесконечно сжатой светосилы божества, доведенной до такого накала, чтобы выглядеть темной как ночь, и спускалось все ниже и ниже, мимо относительного совершенства Херувимов и Серафимов, мимо Тронов и Владычеств, вплоть до последнего отброса, где пресмыкается червец и где переживает все и всех бесчувственный булыжник, — на самый край Ничего. “Und das ist die Offenbarung göttlicher Mayestat!” — “И такова наглядная величественность Творца!”

На третий день являются деревья, травы и зелень, Библия говорит не о таком еще ландшафте, что увеселяет взор, но о мутной вегетативной мощи, о слиянии сперм, о трепете корней, корни страдают, корни изворачиваются в стремлении к солнцу, которое в третий день еще не произошло.

Жизнь появляется на четвертый день, в который созданы луна и солнце и звезды, дабы дан был свет земле, дабы отделился день от ночи, в смысле, в котором мы это себе представляем, когда совершаем исчисление времен. Это на четвертый день обустройстваются круги неба, от первого подвижного круга и от закрепленных звезд вплоть до луны, с землю посередине — с самоцветом, который облучается

двумя великими пламенниками и имеет кругом себя гирлянду драгоценных камней.

Определяющие наши дни и наши ночи, солнце и луна были первой непревзойденной моделью всех будущих циферблатов, каковы, передразнивая небесную твердь, сопрягают человеческое время с кругом солнопутья; наше человеческое время никак не подобно времени космоса, оно, наше человеческое время, имеет направление, оно — тревожное пыхтение через вчера к сегодня, через сегодня к завтра, никак не подобное спокойному отдыханию Вечности.

Остановимся теперь на этом четвертом дне, призывал отец Каспар. Бог создал солнце, а когда солнце было сотворено — разумеется, не ранее, — оно пошло в путь. Ну так вот, в тот момент, когда солнце начинало свой бег, коему уже не прекращаться, в этот “Блиц-миг”, когда блудным бликом предвосхитился первый шаг, солнце стояло отвесно над чертою, разделявшей землю ровно пополам.

“И это Первый Меридиан, на котором вдруг наступила середина дня!” — выпалил Роберт в восторге от собственной догадки.

“Не суди по себе! — гневно перебил его учитель. — Неужели Господь Бог такой же глупый, как глуп ты? Как он мог начать первый день Творения с середины? Это с тебя бы сталось начинать Творение обрывочным днем, жертвой аборта, выкидышем суток, насчитывающим всего только двенадцать часов!”

Нет, конечно. На первом меридиане бег солнца должен был начинаться при свете звезд, когда стояла полночь и была еще чуть-чутьочка, а до этого было Не-время. И на этом меридиане — ночью — состоялось Начало того самого первого мирового дня.

Роберт возразил, что если на этом меридиане была ночь, ублюдок дня получался на обратном меридиане, там неожиданно высунулось солнце, притом что до этого не было ни ночи, ни чего-либо иного, но только хаос, безвременный и мерклый. Отец Каспар отвечал на это, что в Писании не сказано, будто солнце появилось без предупреждения, и что скорее он придерживается теории (к которой склоня-

ют также и природная и божественная логика), что Господь выделял солнце, постепенно двигая его по небу, в течение нескольких первых часов, как некую холодную звезду, которая разогревалась мало-помалу, переходя от первого меридиана к его противнику, подобно тому как молодая древесина от первых искр огнива коптит, а потом, при раздувании огня, начинает с потрескиванием загораться и наконец охватывается ярким и радостным полымем. Разве не мило сердцу воображать, как Отец Мироздатель дует на наш зеленый пока еще шар, тужится расшевелить его, чтобы отпраздновать свой подвиг, все первые двенадцать часов начиная с сотворения времен, и наконец достигает успеха в точности над Противным Меридианом, то есть над тем, где они в текущий момент обретаются? Оставалось решить, какой меридиан брать за первый. Фатер Каспар все же считал наилучшей точкой отсчета Железный Остров, учитывая, что именно там (как Роберт уже слышал и от Берда) стрелка компаса не колеблется, являя неопровергаемый прообраз прочности.

Итак, подытожим. Если именно с “железной” линии Каспар отсчитывал меридианы, и если он верно определил долготу, значит, удачно проложив путь как навигатор, он потерпел крушение как географ. “Дафна” оказывается не у истинных Соломоновых Островов, а где-то к западу от Новых Гебридов, и точка.

Однако обидно пересказывать сюжет, который, как мы убедимся, просто обязан разворачиваться на сто восьмидесятом меридиане, иначе повесть утратит всю соль, — и оговаривать в скобках, что в действительности дело происходит невесть на каком расстоянии восточнее или западнее этой долготы.

Поэтому предложу гипотезу, и пусть мои читатели опровергают ее сколько угодно. Я предлагаю думать, что фатер Каспар обсчитался и что в результате математической ошибки он оказался ровно-таки на нашем сто восьмидесятом градусе, я имею в виду, по гринвичскому счету, хотя для Каспара Гринвич был последним на свете местом, с которого ему пришлось бы в голову начинать, поскольку Гринвич — город в государстве раскольников-антипапистов.

Если они на нашей сто восьмидесятой долготе, значит, “Дафна” стоит на якоре в районе Фиджи (где аборигены действительно черны), конкретно — перед островом Тавеуни.

Кажется, похоже на правду. В абрисе Тавеуни есть вулканическая гряда, как и в большом острове, открывавшемся Роберту на западе. Хотя отец Каспар толковал Роберту, будто роковой меридиан проходит по крайним мысам бухты меньшего острова... А мы, если поместимся на точку западнее меридиана, увидим Тавеуни на востоке, а не на западе; если же мы поместимся так, чтобы Тавеуни был слева, а маленький остров (я предлагаю Куамеа) справа, знаменитый меридиан пройдет у нас за спиной. Скажем прямо, что точно сориентировать “Дафну” в пространстве так, как описывает Роберт, невозможно.

Радует, однако, что все эти островки для нас как японцы для европейцев и взаимно: на одно лицо. И хотя я честно решал проблему (вознамерившись даже проделать вслед за Робертом его путешествие), утешает и то, что география сама по себе, а сам по себе — наш рассказ. Уточнения нерелевантны для нашей пугливой повести. Отец Вандердроссель гарантировал Роберту, что “Дафна” на сто восьмидесятом меридиане, который — антипод антипода. Значит, в данной повести на сто восьмидесятом градусе долготы будут лежать не наши с вами Соломоновы Острова, а их Соломонов Остров.

Какая разница, лежит ли Остров там в реальной жизни? Мы вникаем в повесть, где главные герои уверены, что это так, а чтобы вникнуть в повесть (вот догма из самых либеральных), нужно отрешиться от недоверия.

Постановляем: “Дафна” находилась напротив сто восьмидесятого меридиана, в точности у Соломоновых Островов, и супротивный Остров был самым из них соломоновым, не в меньшей степени, чем мое соломоново решение заявить, что это так, и все.

“И что же, — задал вопрос Роберт по окончании обзора, — вы рассчитываете найти на острове сокровища, описанные Менданьей?”

“Сокровища — лганье испанских монархов! Но возможно ли, что находясь пред лицом величайшего Wunder всей человеческой и священной истории, ты продолжаешь не понимать? В Париже ты смотрел на дам и следил за *ratio studiorum* эпикурейцев, а не размышлял о самых великих необычайностях этого нашего универсума, да препрославится божественное имя Творца!”

Как мы удостоверимся, цели путешествия отца Вандердросселя мало что общего имели с хищническими аппетитами мореплавателей многих стран. Все объяснялось тем, что святой отец трудился над монументальнымopusом, “бронзы литой прочней”, на тему о Всемирном Потопе.

Как человек клира, он собирался продемонстрировать, что Библия не солгала, в то же время, как человеку науки, ему хотелось примирить Писание с ученостью своего времени. Поэтому он коллекционировал окаменелости, изъезживал восточные страны, искавши и на вершине Арарата. Он дотошным образом высчитывал размеры и конфигурацию Ковчега, позволяющую разместить всех тварей (и заметим, чистых — по семи пар) и в то же время соблюсти надлежащую пропорцию между подводной частью и надводной, дабы не потонуть от перегрузки и не перевернуться от первого вала из тех, что в ходе Потопия были, надо думать, изрядно сильномогучи.

Он мигом набросал чертеж Ковчега в разрезе, это была квадратная постройка о шести этажах, птицы помещались на верхнем, где они получали лучи солнца, млекопитающие содержались в загонах, рассчитанных на разную живность — и на слонов, и на котят, — а пресмыкающиеся в чем-то вроде клоаки, где у них были ванны и в них могли сидеть даже земноводные. Гигантам в Ковчеге не отыскалось места, и из-за этого племя Гигантов при Потопе вымерло. Хорошо еще, Ною не пришлось возиться с рыбами.

При всем при том, обдумывая Всемирный Потоп, отец Вандердроссель столкнулся с одной физико-гидродинамической проблемой, на первый взгляд неразрешимой. Господь, рассказывает Библия, велел идти сильному дождю в течение сорока суток, и воды поднялись над землею,

закрыв даже самые высокие горы, и даже более того, превзошедши на пятнадцать локтей вершины наивысочайших из высоких гор. При этом воды укрывали землю в течение ста пятидесяти дней. Что же, прекрасно.

“Но ты когда-нибудь пробовал собирать дождь? Хлещет весь день, а у тебя набирается совсем мало воды на донце бочонка! И если будет даже лить целую неделю, еле-еле тебе удастся набрать бочонок воды! Вообрази теперь уж совсем неслыханный ливень, такой, под которым совершенно находиться невозможно, когда все, что имеется в небе, падает к тебе на бедную голову, вообрази такой дождь, который даже сильнее урагана, которым тебя добросило из твоего места сюда ко мне... Все равно за сорок дней это никак не будет возможно, чтобы переполнилась водой вся земля выше самых высоких наверх!”

“Что ж, Святое Писание лжет?”

“Только не это! Нет, разумеется! Но следует доискаться, откуда Господь добыл всю эту воду, если нет возможности, что он велел ей выпасть из небес! Той, которая в небесах, недостаточно!”

“Ну и?”

“Ну и я наконец дошел! Фатер Каспар додумался до секрета, о котором ни один человек на земле еще не думал. *In primis*, я хорошо прочел Библию, и я прочел в ней, что Господь не только растворил окна неба, но ввел в употребление источники бездны. Бытие-семь-одиннадцать. Когда же он кончил заливать, источники бездны были выключены, Бытие-восемь-два!”

“Какие источники?”

“Это вода из океанов и морей, именно из того места, где мы сейчас! Господь пользовался не только дождевой, но и морской водою, и получал ее из самых глубоких впадин. Отсюда, где мы сейчас! Потому что если самые высокие горы расположены около первого меридиана, между Иерусалимом и Железным Островом, значит, по симметрии самые глубокие впадины находятся на обороте шара!”

“Да, но вод всех морей на шаре не хватит, чтобы покрыть горы. Не то бы море постоянно их покрывало! А ежели бы Господь вознес все воды моря над горами, море

с вынутаю водой оказалось бы пустою канавой и Ковчег бы туда повалился...”

“Ты говоришь весьма верную вещь. И не только. Если бы даже Господь взял всю воду из Терра Инкогнита и обрушил на Терра Когнита, а на этом полушарии вообще ничего бы не оставил, на земле бы переместился центр гравитации и она бы перекосилась и, возможно, покатила бы по небу, будто мяч, который пнули ногою”.

“Так что же?”

“Так то, что попробуй подумать, что бы ты делал, если ты был Бог”.

“Если я был Бог, — отозвался Роберт (к этому времени он уже начал строить фразы по фатер-каспаровой грамматике), — я бы сделал еще воду”.

“Ты. Но Бог не так. Он, конечно, в состоянии сделать воду. Но куда он денет воду после Потопа?”

“Тогда, значит, у Бога имелось с самого начала времен водохранилище под бездной, в середине земли, и ради такого случая он выпустил на сорок дней воду из запасника, это и называлось открыть источники бездны, как вулканы”.

“Вот как? Но из вулканов извергается огонь. Весь центр земли, вся сердцевина подземельного мира представляет собой массу огня! Где огонь, там не вода! Если там вода, вулканы были фонтанами”.

Роберт не хотел сдаваться. “Ну тогда, если бы я был Бог, я бы обратился к одному из тех миров, которые существуют кроме нашего, поскольку миры бесконечны, и позаимствовал там воду для Потопа”.

“Ты слушал в Париже атеистов, они твердят о бесконечности миров. Нет, Бог сотворил только один мир, и этого хватает для его преславыности. Нет, ты задумайся лучше, если ты не имеешь миров бесконечных и ты не имеешь времени их создавать специально для Потопа, а потом выкидывать в Никуда”.

“Ну, тогда я не знаю”.

“Потому что у тебя скудная голова”.

“Значит, скудная у меня голова”.

“Очень, очень скудная. Нет, ты думай получше. Если Бог мог бы взять ту воду, что вчера была на земле, и поместить

ее в сегодня, а завтра взять ту воду, которая имеется, а ее уже стало вдвое, и перенести в послезавтра, и до бесконечности, то настанет ли такой день, когда он сумеет залить водою всю сушу и закрыть горы на несколько метров?”

“Я не силен в подсчетах, но думается — сумеет..”

“Вот! В сорок дней он нальет на землю сорок раз удвоенную воду из морей, а удвоивши сорокакратно то, что во впадинах морей, он перекроет уровень гор. Ведь пропасти настолько же глубоки, или даже более глубоки, нежели высокие горы”.

“Но откуда же Бог мог черпать вчерашнюю воду, если вчера миновало?”

“Откуда? Отсюда! Нет, вот ты слушай. Представь, вот ты на первом меридиане. Можешь представить?”

“Могу представить”.

“Теперь представь, что там полдень, ну скажем, полдень Страстного четверга. Сколько часов в Иерусалиме?”

“На основании всего, чему меня учили относительно движения солнца мимо меридианов, отвечу, что в Иерусалиме полдень к тому времени уже давно минует и будет вторая половина дня. Я понял, к чему вы клоните. Когда на первом меридиане полдень, на сто восьмидесятом меридиане, на нашем, к этому времени наступает полночь”.

“Кончается Страстной четверг”.

“И наступает Страстная пятница”.

“Как, не на первом меридиане?”

“Нет, там у них еще полдень четверга”.

“Чудесно. Вундербар. У них пятница, а тут суббота. Настает Пасха, и тут у нас Христос воскресает, в то время как у них он все еще мертвый, разве не так?”

“Так, но...”

“Но, но! погоди! Когда здесь полночь четверга и еще одна минута, даже одна минускульная частица минуты, ты говоришь, что уже пятница?”

“Пятница”.

“Теперь вообрази, что обо всем этом ты рассуждаешь не с корабля, а с берега Острова. Там что, тоже уже пятница?”

“Нет, еще четверг”.

“Вот! В один и тот же миг у нас уже пятница, а на Острове четверг!”

“Разумеется, и... — тут Роберт задохнулся под обаянием новой мысли. — Не только! Я понимаю так, что если стоять ровно на меридиане, надо мной будет полночь, но поглядевши на запад, я увижу полночь пятницы, а поглядевши на восток, увижу полночь четверга. Господи!!”

“Ты не говори Господи всеу”.

“Извините, святой отец, но это невероятно”.

“Самая невероятность в том, что это вероятно! Это верно! Все было предвидено в начале. Солнце за двадцать четыре часа окручивает землю и начинает на западе, на сто восьмидесятом меридиане, новый день, а на востоке еще пребывает день предшествующий. Полночь пятницы на корабле — это полночь четверга на Острове. Ты не знаешь, что случилось с моряками Магеллана, когда они оплыли земной шар? По рассказу Петра Мартира, они думали, что прибыли накануне, а был уже следующий день. Они думали, что Господь их карает, лишая дня, за то что они не попостились в Страстную пятницу. А все было закономерно. Они ведь путешествовали на запад. Путешествуя из Америки в Азию, теряешь день, путешествуя в обратном направлении, выигрываешь день. Вот по этой причине “Дафна” прибыла сюда через Азию, а вы, бестолочи, через Америку. Теперь ты на день старше меня! Ну не смешно ли?”

“Да стоит мне попасть на Остров, и я опять стану на день моложе!” — парировал Роберт.

“В этом весь фокус. Мне безразлично, моложе ты на день или старше. Мне важно, что тут проходит линия, откуда по одну сторону предыдущий день, а по другую сторону последующий. И не только в полночь, а и в шесть, и в семь, и в десять часов, и каждый час! Господь черпал в этом месте вчерашнюю воду, вон с той стороны, и переливал ее в сегодняшний мир, на следующий день точно так же, и так сорок дней. Все без чудес, естественно! *Sine miraculo, naturaliter!* Господь организовал землю в виде огромных часов. Подобно тому как имелся бы циферблат, куда нанесены не двенадцать, а двадцать четыре деления. На этих часах

продвигается стрелка к цифре двадцать четыре. Справа от этой цифры стоит вчера, слева стоит сегодня”.

“Но как же вчерашняя земля удерживалась вчера на небе, если в одном из полушарий не оставалось воды? Не теряла ли она центр гравитации?”

“В человеческих представлениях о времени — не теряла! Для людей вчера уже не существует, так же как завтра еще не существует. А время Господне, вечность, *Aevum*, это уже не наше дело”.

Тут и Роберт понял, что если Господь вычерпывал воду из вчера и подливал ее в сегодня, может быть, земля и перекашивалась из-за этого смещения центра тяжести, но для сегодняшних людей это уже не могло иметь значения. В их-то вчерашнем дне никакого перекаса не было, перекас был в Божьем вчера, а Богу, несомненно, удавалось как-то иначе улаживать связанные со временем вопросы, со временем и с сюжетами; так сочинитель может писать несколько разных повестей с одинаковыми персонажами, но помещать их в неодинаковые ситуации и этим варьировать свой рассказ. Предположим, в одной “Песни о Роланде” Роланд умирает под морской сосною, но зато в другой восходит на трон Франции после смерти Карла, а с Ганелона сдирают кожу и кладут вместо половика.

Этой мысли суждено было сопровождать Роберта долгое время, подводя к раздумиям не только о бесконечности миров в пространстве, но и о их параллельности во времени. Однако он почел за благо не особо докладываться фатеру Каспару, и так державшему за ересь идею сосуществования многих миров в одном месте. Кто знает, как бы он отнесся к новой глоссе Роберта. Роберт ограничился вопросом: в практическом смысле, как действовал Господь, чтобы перелить всю эту воду из вчера в сегодня?

“С помощью подводных вулканов, конечно! Подумай! Они выпускают огненные ветры, и происходит то же, что и с кастрюлей, где перегретое молоко! Молоко убегает из кастрюли, а из моря убегала вода! Гроссе катастрофе!”

“А как потом Господь убрал эту прибежавшую воду?”

“Когда дожди перестали лить, снова выкатилось солнце и начало испарять влагу. Библия говорит, что понадобилось

сто пятьдесят дней. Рубаху можно за день и вымыть и просушить. А земля просушивается за сто пятьдесят дней. Кроме того, множество воды затекло в подземные озера, и теперь она между поверхностью и центральным огнем”.

“Вы почти убедили меня, — сказал Роберт; ему не столь казалось важным переливание вчерашней воды, сколь волновала мысль, что он находится в двух шагах от вчерашних суток. — Но прибыв вы сюда, что тем самым доказали? Что такое, чего нельзя было прежде продемонстрировать силой логики?”

“Силу логики ты оставь старорежимной теологии. Нынче в науке применяются доказательства опытом. Опыт доказывает, что я здесь. По пути я замерял глубины впадин и удостоверился, что глубины с той стороны весьма основательны”.

Оставив геоастрономическую тему, фатер Каспар вернулся к описанию Потопа. Блистая великолепной эрудированной латынью, помавая и разводя руками, как будто заклиная различные феномены небесной и подземной сферы, широкими шагами он мерил верхнюю палубу. Тем временем воздух над заливом примрачился облаками и небо грозило бурей, из тех, что, бывает, неожиданно раздражаются над тропиками. О, когда отворились все источники бездны и все отверстия неба, какое, должно полагать, зловещее и дивное зрелище представилось глазам Ноя со всем его семейством!

Люди лезли на крыши, но оттуда их сбрасывали волны, катившие от антиподов и силою божественного ветра колеблемые и подвигаемые; люди карабкались на деревья, но эти деревья буря выдергивала словно прутья; люди, увидев перед собою макушки вековых дубов, хотели держаться, но ветры стряхивали их с такою злостью, что им не удавалось удержать хватку. Теперь в этом море, покрывавшем и горы и доли, плавали распученные трупы, и на них последние ошалелые птицы пытались обосноваться, будто на жутком оплоте, но скоро птицы утрачивали и эту последнюю пристань и тоже, измочаленные, становились жертвами урагана, с отяжелевшими перьями, с крыльями, неприменимыми

из-за усталости. Устрашительно зрелище кары Господней, подытоживал отец Каспар, и это ничтожная еще картина, продолжал он, в сравнении с тою, что будет дано видеть в день, когда Христос явится судить живых и мертвых...

Великому трепетанию природы отвечали скоты из Ковчега, улюлюканью ветра отзываясь воем волчиным, и рычанию грома — львиным рыканием, и мельканию молний — ржаньем слонов. Кобели лаяли в ответ погибающим братьям, овцы блеяли на рыдания детей, гаркали грачи, подражая барабанному стуканью струй дождя по крышке Ковчега, буйволы мычали в унисон мутному пению волн, и обитатели воздуха и земли скулежом и бешеным воем заунывно отпевали гибнущую планету.

Но именно в этой обстановке, уверял отец Каспар, Ной и члены его семейства снова обрели для себя язык, которым изъяснялся Адам в Эдеме, и который сыновья Ноя позабыли после изгнания из рая, и который впоследствии потомки того же Ноя почти что напрочь снова утеряли вследствие сумятицы при великом столпотворении Вавилонском, все народы забыли его, кроме потомков Гомера, которые укрылись со своим наречием в глушь непроходимых северных лесов, и там немецкому народу удалось эту речь благоговейно сохранить. Только немецкая речь, только она, — голосил теперь фатер Каспар на родном языке, будто одержимый, — *redet mit der Zunge, donnert mit dem Himmel, blitzet mit den schnellen Wolken*, иначе говоря, — бесновался он во власти вдохновения, дико перемешивая обрывки разнообразных языков, — только в немецком наречии слышны звуки живой природы, только немецкая речь способна крякать кряквой, гулить куликом, грать грачом, кричать кречетом, свистеть свиристелем, бликать будто гром под облаками, хорскать лебедицею, румкать кабаном, цикать перепелкою, горланить горлицею и мявать будто катц! Тут он осип и охрип от буйного словоизвержения, но успел убедить Роберта, что истинное наречие Адама, новообретенное в ходе губельного Потопа, сохранилось до наших дней исключительно под державой августейшего монарха Священной Империи Римской.

Покрытый ручьями липкого пота, священнослужитель окончил свое выступление. Тем временем небеса, похоже, уstraшенные описываемыми последствиями дождевых осадков, отозвали собравшуюся непогоду, будто чиханье, как бывает, что, кажется, вот уже неодолимо грянет, но потом по какой-то странной причине отступает обратно в переносицу и вырождается в хрюк.

22. ПЛАМЯЦВЕТНАЯ ГОЛУБИЦА



В последующие дни стало ясно, что к Мальтийской Установке им не добраться. Шлюпка как была, так и стояла на острове, в затоне. Плавать фатер Вандердросель не умел и Роберт не умел тоже.

Ныне, имея при себе молодого сильного мужчину, отец Каспар вполне бы смог руководить строительством парома с веслом, если бы только, как он уже пояснял, все снаряды ремесла не были с корабля убраны. Ни топора, чтобы срубить мачты или рей, ни молотка, сколотить плот из дверей.

С другой стороны, фатер Каспар, по всему судя, не тяготился затянувшимся сидением на "Дафне". Он, наоборот, был заметно рад возвратиться к своему жилищу, к прогулкам по палубе и к инструментам, позволяющим работать и наблюдать.

Роберт гадал, кто перед ним. Ученый? Безусловно. По крайней мере, эрудит, интересующийся божественными и естественными науками. Чудак? Не без того. Каспар обронил, что и корабль отряжался не на средства иезуитского товарищества, а на его личные, вернее на деньги его брата, разбогатевшего торговлей и не менее сумасшедшего чем он. Постоянной темой было коварство братьев по ордену, "присвоивших плодотворные идеи", после того как, лицемеря, их осмеяли в качестве бредовых. Это давало основания думать, что иезуиты города Рима не сильно огорчились, когда их покинул сей софистический индивид, и учитывая, что снарядил он поход на собственные деньги и с немалой

вероятностью не возвратиться из неисповедимых странствий, иезуиты благословили его, чтобы убрался с глаз.

Все, что изучал Роберт и в Провансе и в Париже, располагало его воспринимать концепции физики и натурфилософии, слышимые от старца, с известной осторожностью. В то же время, как мы уже знаем, Роберт усваивал науки будто губка, не стараясь подвергать сомнению взаимоисключающие тезисы. И дело не в том, что Роберту не хватало системности. Это был выбор.

В Париже мир являлся будто сцена, где представлялись обманчивые видимости, где каждый вечер зрители желали следить за новой историей, как если бы привычные вещи, даже чудесные, уже никого не озаряли, и только непривычно неопределенные или неопределенно непривычные умели еще возбуждать. Древние мудрецы требовали, чтобы на один вопрос имелся только один ответ. В большом французском театре показывалось, как на один вопрос отвечает самыми разными способами. Роберт решил отвести половину своего духа тем вещам, в какие верил (или верил, будто верил), и держать другую половину свободной на случай, если верным окажется обратное.

Раз таково было расположение его духа, понятно, почему у него не было стимулов оспаривать даже самые неправдоподобные откровения отца Каспара. Из всех выслушанных им в жизни рассказов речи иезуита были самыми экстраординарными. Как же можно было считать их за ложь?

Кого хотите вызываю оказаться на порожнем судне, между небесами и морями в неведомом пространстве — и не расположиться к грезе, поверив, что пускай по невезению, но все же вы угодили в самое средопупие времен.

Так что и Роберт мог бы забавы ради выставить против рассказней иезуита свои аргументы, но очень часто следовал примеру учеников Сократа: они почти напрашивались на поражение.

С другой стороны, как отказаться от поучений того, кто стал местодержателем отца и кто единым духом вызволил Роберта из отчаянного отшельничества и дал ему роль пассажира на корабле, кем-то знакомом и кем-то ведомом?

По обаянию ли сана, по праву ли изначального обладателя этой пловучей твердыни, но отец Каспар олицетворял в Робертовых глазах Власть, а Роберт напитался идеологией века достаточно, чтобы знать, что властям следует поддакивать, ну хотя бы притворно.

Стоило Роберту усомниться в благорассудности назидательного, тот немедленно, проводя его по кораблю для нового знакомства и показывая ему снаряды, не привлечшие ранее Робертова взгляда, позволял ему узнать столько важнейших и таких важных, что сразу возвращалась и вера.

Например, он обучил Роберта употреблению сетей и удильных крюков. “Дафна” была на рейде в богатейших водах и неэкономно было тратить бортовую провизию, если можно иметь свежую рыбу. Роберт, выходя теперь на палубу даже днем благодаря солнцезащитным очкам, быстро обучился ставить сети и наживлять приманку и без труда таскал из воды животных такой непомерной крупности, что они не раз угрожали стащить в воду его самого.

Он выкладывал пойманное на мостик, и отец Каспар, мнилось, каждого зверя знал лично по имени. Наделял он их именами по природе или по собственной прихоти, Роберту не дано было ведать.

Рыбы на родном его полушарии были серые, в крайнем случае отливали серебром, а здешние сияли синевой при плавниках цвета мараскина, имели шафрановые бороды и пурпурные морды. Был извлечен из пучины угорь о двух головах на двух концах тулова, обе с выпученными глазами, но отец Каспар показал Роберту, что вторая голова представляла собою простой рисунок, выполненный природой для устрашения противников даже со спины. Выловили рыбу с крапчатым животом, с дегтярными полосами по хребтине, всеми отливами радуги вокруг глаза, с козьим лицом, но отец Каспар велел ее отпустить в море, потому что знал (по рассказам братьев? по опыту странствий? из легенды моряков?), что эта рыба была отравленнее поганки.

О второй рыбе, с желтым оком, с надутыми губами и зубами как из гвоздильни, фатер Каспар сразу предупредил, что она отродье Вельзевула. И что следует морить ее на палубе до издыхания, а потом швырнуть откуда появилась.

Судил ли он по опытной науке или только по виду? Однако заметим, что все рыбы, известные Каспаром за съедобные, оказывались превосходной пищей, а об отдельных он даже заранее говорил, вкуснее ли они в жареном или в отварном виде.

Знакомя Роберта с секретами соломоновых морей, иезуит походя рассказывал подробности и об Острове. “Дафна” по прибытии обошла Остров по кругу для разведки. На востоке было много небольших бухт, открытых ветру. Сразу за выгибом южного мыса, там, куда потом матросы причалили со своей шлюпкой, имелся тихий затон, но мелководье, однако, не позволяло приблизиться кораблю. То место, где “Дафна” кинула якорь, почли самым безопасным. Чуть-чуть ближе к Острову судно стало бы на подводные камни, чуть-чуть дальше от берега оказалось бы над резвым течением, перерезавшим пролив между двумя островами в направлении с юго-запада на северо-восток. Чтоб показать течение Роберту, иезуит велел швырнуть туда тушку Вельзевуловой рыбы, и точно, вода стремительно уволокла труп.

Фатер Каспар вместе с матросами обошли дозором Остров, выбирая место для Установки, и увидели, что с вершинки холма просматривалась практически вся территория, обширная как Рим в городской черте.

На Острове имелся водопад, имелась пышнейшая растительность, не только кокосы и бананы, но также и деревья со стволами звездообразной формы, их грани заострялись как ножи. Что до животного мира, многих его представителей Роберт видел на гон-деке. На Острове, похоже, был настоящий птичий рай, там обитали даже летающие лисицы. По роще бегали кабанчики, но их не изловили. Змеи водились, однако злосельных или язвительных замечено не было, и бесконечно разнообразные шныряли ящерицы.

Однако самая изобильная фауна наблюдалась вдоль коралловой опояски. Черепахи, раки, устрицы какой угодно формы, несравнимые с устрицами наших морей, размером с корзину, со сковородку, растворяющиеся туго, но зато уж в середине сочившиеся белым, жирным и мягким мясом, настоящий деликатес. К сожалению, на корабль доставлять их не было смысла, они немедленно портились от жары.

Им не попалось ни одного крупного хищного зверя, какими полнятся области Азии: ни слонов, ни тигров, ни крокодилов. С другой стороны, не встретилось и ничего похожего на буйволов, быков, лошадей или собак. В этой земле формы жизни создавались не архитекторами, не скульпторами, а ювелирами: птицы — разноцветные кристаллы, лесные зверьки — статуэтки, рыбы были почти прозрачны, как люстры из хрусталя. Ни отцу Каспару, ни шкиперу, ни матросам ни разу не попадались в этих водах злобные акулы, заметные, как известно, с далеких расстояний благодаря их режущим, как топорики, плавникам. И это при том, что на тех широтах акулы сновали повсюду. Я склонен думать, что отсутствие акул около Острова — обольщение нашего прихотливого первопроходца, но все-таки это могло быть и справедливо, если по причине близости быстрого течения акулы предпочитали бытовать по другую его сторону, где рассчитывали найти более разнообразный корм. Как бы то ни было, важно для развития нашей истории, что ни Каспар, ни Роберт не должны были опасаться присутствия акул, иначе они побоялись бы спускаться в воду моря, а я не знал бы в этом случае, что рассказывать вам.

Роберт от речей священника все больше очаровывался недостижимым берегом, воображал и форму и цвет и движения описываемых существ. А кораллы, каковы они, эти кораллы, знакомые ему только как драгоценности, которые в поэзии отображают цвет румяных девьих губ?

Что до кораллов, тут отец Каспар не мог выискать слов и ограничивался тем, что возводил очи горе с выражением блаженства. Кораллы, известные Роберту, были погибшие, как давно погибла добродетель тех придворных дам, к чьим устам либертины применяли это натянутое сравнение. На коралловом отроге погибшие тоже не недостатествовали, и именно они царапали руки тех, кто хотел потрогать их под водой. Но настоящим изумлением являлись кораллы живые, они похожи, как бы описать, на подводные цветы, на анемоны, гиацинты, васильки, лютики, колокольчики, нет же, это ничего не передает, это живые завитки, локоны, почки, распуковки, пузыри, бутоны, жлуди, завязи, пупырышки, узлы, кочерыжки, прожилины, плодоножки, да нет, надо

рассказывать иначе, они подвижны, они многоцветны, как сады Семирамиды, они пересозидают все злаки полей и огородов, от репы до репейника и до кочанной капусты...

Фатер Каспар смотрел на них в среде их природы, пользуясь снарядам, изобретенным его сотоварищем по братству, это устройство до сих пор лежит где-то в сундуке у него в каюте: кожаная личина с большим стеклянным окуляром, закраины обшиты валками, а по краям имеются лямки для завязывания узла на затылке, с тем чтобы маска покрывала лицо. Продвигаясь на плоскодонке, опустивши голову к воде, можно было наслаждаться подводным царством, в то время как без этой защиты, кроме соляной рези в глазах, ничего не ощущает человек.

Каспар считал, что прибор, именовавшийся Проницательным, Визирным либо же Стеклоанной Личиной (то есть маска, но призванная не укрывать, а открывать) мог бы применяться не только с лодки, а и пловцами; конечно, рано или поздно вода забиралась под окантовку, но хоть малое время, покуда хватало дыхания, можно было бы осматривать дно. После этого полагалось выныривать, облегчать от воды стекло и заново утопать.

“Если ты научался плавать, мог глядеть под водой”, — говорил Каспар Роберту. А Роберт, с той же грамматической бойкостью: “Если я научался плавать, под воду мне утопать расчета нету”. Однако его слегка удручало, что он неспособен добраться до этих чудес.

А еще, а еще, не мог угомониться фатер Каспар, на Острове живет Пламяцветная Голубка.

“Как это? Какая она?” — вскрикивал Роберт, и пылкость его вопрошания представляется нам тревожной. Может, Остров с самого начала обещал ему некую смутную эмблему, и лишь в этот момент решение сиятельно обрисовалось перед ним?

Отец Каспар отвечал, что затруднительно изъяснить все великолепие облика этой птицы и что нужно видеть ее, чтобы понять, до чего она хороша. Он заметил ее в наблюдательную трубу в первый день, как приплыли. Издалека она была как ком огненного золота, или язык раззолоченного огня, срывающийся с верхушек стволов стрелой к небу.

Высадившись, он начал искать эту птицу и велел искать ее всем матросам.

Следопытствовали они долго, прежде чем узнали, на каких деревьях она бывает. Ее токованье “ток-ток” напоминало щелк языка во рту. Каспар научился подманивать птицу на такую щелкотню и наконец смог разглядеть, как она перепархивает с ветки на ветку.

Каспар снова и снова приходил на место засады с увеличительной трубою и однажды застал ее довольно долго в неподвижности; голова темно-оливковая, или нет, цвета спаржи, такие же и лапки; клюв горчичного оттенка, от него к окружности глаза тянется широкая полоса, и глаз напоминает кукурузное зерно, в середине его блестящая черная точка. Золотистый ошейник, позолота на кончиках крыльев, а тельце, от грудки и до рулевых перьев хвоста, перьев тонких и завитых, как женские кудри, это тельце красное... о как бы это...

Багряное, багровое, червленое, пурпурное, алое, карминное, кровавое, огненное, воспаленное, рдяное, рубинное, маковое, гвоздичное? предлагал Роберт. А иезуит на это: бледно, невыразительно. Роберт снова: цвета клубники? герани? малины? редиса? остролиста? кошенили? калины? мухомора? красноперки? снегиря? марены? кумача? сандала? Да нет, негодовал фатер Каспар, воюя с собственным и чужими языками за верное слово. По синтезу Роберта не поймешь, кто в конце концов нашел результирующую эмфазу, информатор или информируемый. Но похоже, что остановились на ликующем цвете померанца и сочли, что речь идет об окрыленном солнце, короче говоря, на фоне белого неба эта голубка была как если бы денница выкатывала на овиди снегов раскаленный апельсин, сиятельнее херувима.

Пояснял отец Каспар: голубице жаркого цвета негде было и водиться, если не на острове имени Соломона, потому что в Песни Песней этого великого царя сказано о голубке: блистающая как заря, светлая как солнце, грозная, как полки со знаменами. Голубица, как говорится в другом псалме, с крыльями, покрытыми серебром, и с перьями чистого золота.

Наряду с этим животным отец Каспар обнаружил другое, сходновидное, только перья были не апельсинные, а иззелена-синие, и по тому, что пара занимала одну ветку, можно было судить, что это самец и самка. Они принадлежали к роду голубей, как указывали и форма и частое гуление. Кто из них был петушок, а кто курочка, определить было трудновато, в любом случае матросам приказали их не убивать.

Роберт хотел знать, сколько таких голубей могло водиться на Острове. По соображениям отца Каспара, который всякий раз наблюдал только один шар оранжевого цвета, вздымавшийся в облака, и только одну пару птиц в высоких кронах, не исключалось, что на Острове только одна пара этих голубей, из них только один экземпляр апельсинного цвета. Догадка, доведившая Роберта до умопомрачения своей редчайшей красотой: единственная, нежная голубка дожидалась именно его, выкликала из минувшего дня.

С другой стороны, Роберт, считал фатер Каспар, если так уж нетерпел узреть эту голубицу, мог добиться своего, просидев много часов с подзорной трубою. Только надо было снять с носа копченые стекла. На ответ Роберта, что состояние глаз не позволяет, Каспар пренебрежительно отмахнулся, как от дамского жеманства, и посоветовал капли, которыми лечился от бубона (Спиритус, Олей и цветочные масла).

Неизвестно, применил ли Роберт эти леченья, или же просто приучился понемногу воспринимать мир, не затуманенный очками, начав с рассветов и закатов и постепенно переходя к дневному зренью, или же продолжал надевать очки даже когда, как будет рассказано, учился плавать, — но в любом из этих случаев слабость глаз больше не упоминается в его записях как оправдание нежелания или бегства. Так что законно предположить, что мало-помалу, может, благодаря целебному дару свежего воздуха или отсвету морской глади, ему удалось избавиться от болезни, настоящей или предполагаемой, которая побуждала его как волколака делать свои дела ночами вот уже более десяти лет (если,

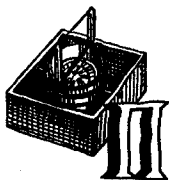
конечно, читатель не захочет возразить, что попросту Роберт мне понадобился ясным днем на верхнем деке и, не находя к тому противопоказаний в его записках, по-авторски безапелляционно я излечил его от всех хвороб и вывел на шканцы).

Но может быть, Роберт хотел излечиться, чтобы во что бы то ни стало посмотреть на Алюю Голубку? Он и припал бы на много суток к окуляру подзорной трубки, впериваясь в кроны деревьев, если бы не отвлекала внимания еще одна неразрешенная проблема.

По окончании описания Острова и его сокровищ фатер Каспар провозгласил, что многие великолепные вещи могли отыскаться только там, на антиподном меридиане. Роберт возразил: “Святой отец, вы говорили, что Мальтийская Установка вам подтвердила, что вы на антиподной долготе, и я в это верю. Но вы же не собирали Установку на каждом острове, который проходили. Вы ее собрали только здесь. Каким же образом, прежде чем Установка это подтвердила, вы могли предполагать, что отыскали именно здесь искомую долготу?”

“Ты сказал очень верно. Если я приезжал сюда, не зная, что это тут, значит, до тех пор я не знал, что я тут... Сейчас объясню. Я знал, что Установка — единственный истинный способ. Но чтоб понять, где же поставить для пробы эту верную Установку, в моем распоряжении были только ложные способы. Их я и применил”.

23. ТЕАТР МАТЕМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ¹



Поскольку Роберт занял позицию недоверчивости и потребовал объяснить, каковы были, и до какой степени были они бесполезны, разнообразные способы установления долгот, отец Каспар начал с того, что способы, хотя каждый в отдельности был из них и ложен, однако же давали суммарно позитивные выводы, взаимно корректируя недостатки. “Сие есть математика!”

Разумеется, часы, протрясаясь на корабле тысячи миль, уже не сообщают достоверных показаний. Ну а совокупность разных часов, в том числе особо аккуратно выверенных, как все то множество, которое Роберт видел под палубой “Дафны”? Сравним их данные, сумеем учесть, как каждый механизм ведет себя относительно показаний других, тех, что рядом, — и кое-какая уверенность сможет быть обретена.

Есть метод лага, или мерного троса. От обыкновенного лага не будет толку. Но отец Каспар изобрел модификацию лага: ящичек с двумя вертикальными стержнями, на один из них наматывается, а с другого сматывается канат установленной протяженности, соответствующий установленной морской миле. На наматывающем стержне сверху приделаны лопасти, и эти лопасти вращаются подобно мельнице под напором ветра, продвигающего судно. Так

¹ Сочинение лионского химика и математика Жака Бессона (вторая половина XVI в.) “Théâtre des Instruments Mathématiques et Mécaniques” (1587).

наворачивающие шпеньки либо ускоряют, либо замедляют свои обороты, а соответственно и скорость выматывания каната, в зависимости от быстроты ветра и крутизны хода корабля. Осуществляется, в частности, корректировка замера, когда судно идет при косом либо противном ветре. Это не самое надежное из мыслимых измерений, но превосходное в сравнении с другими.

Лунные затмения? Безусловно, наблюдающему их с пловучей палубы уготованы неисчислимые огрехи. Однако так ли свободны от огрехов те, кто следит за светилами с твердой суши?

“Необходимо иметь много обсерваторов и во многих точках Земли и расположенных сотрудничать, во имя и во славу Господню, а не сбивать друг друга с толку и оккультить результаты. Вот слушай. В 1612 году, восьмого ноября, в Макао, достопочтеннейший отец Юлиус де Алексис зарегистрировал лунное затмение с восемью тридцати вечера до одиннадцати тридцати. Он проинформировал достопочтеннейшего Каролуса Спинолу, который в Нагасаки, в Японии, произвел аналогичное наблюдение в девять тридцать. Отец Христофорус Шнайдер отметил то же самое в Ингольштадте в пять дня. Если разница в один час дает сдвиг в пятнадцать градусов долготы, следовательно, именно этому равна дистанция между Макао и Нагасаки, а не шестнадцати градусам двадцати минутам, как утверждает Блеу. Ясно? Конечно, при этих замерах нужно беречься от курения и питья, иметь изрядный хронометр, не пропустить начало полного погружения в потемки, правильно определить средопутье между началом и концом смеркания, а также промежуточные моменты, когда затеваются пятна, и в подобном духе. Если обсерваторы далеко отстоят друг от друга, маленькая погрешность несерьезна, но если они расположены рядом, ошибка даже в несколько минут может много напортить”.

Не станем придираетсяя; однако что касается Макао и Нагасаки, был, по моим представлениям, прав Блеу, а не фатер Каспар, что в очередной раз показывает, как мучительно проходило определение долгот в те времена. Добавим к этому, что суммируя и перерабатывая материал, полученный

от собратьев, рассредоточенных по миру, иезуиты построили Католические Часы, что означает не “часы, прославляющие римского папу”, а мировую систему измерения времени. Эти часы имели форму карты полушарий с обозначением каждой миссии иезуитского ордена, и для всех на свете миссий указывался местный час. Благодаря этому, поясняет фатер Каспар, путник должен был радевать о поддержании точности хода всех корабельных часов не с порта отплытия, а начиная с последнего форпоста христианства, его-то долгота была известна. Поэтому поле вероятных ошибок существенно сужалось, а между одной подставой и другою можно было проверять методы, абсолютно не обещающие гарантий, к примеру метод отклоняющейся иглы или расчет по лунным пятнам.

По счастью, миссии иезуитского ордена имелись повсеместно, от Пернамбуко и до Гоа, от Минданао до Сан-Томе, и если ветры не споспешествовали заходу в какую-то гавань, немедля отыскивалась еще одна рядом и тоже иезуитская. Взять эпизод с Макао, о, Макао, при воспоминании о той истории святого отца просто трясло. Макао был португальской колонией, местные китайцы называли новоприбывших долгоносиками, потому что первыми из европейцев к ним явились португальцы, и щипец у каждого отличался габаритами, в том числе и у иезуитов. Весь этот город представлял собой гирлянду дворцов и замков белого и лазурного цвета на вершине холма, заправляли городом иезуиты, не исключая и оборонной части, так как бывали набеги голландцев-еретиков.

Отец Каспар решил зайти в этот Макао, потому что знал там одного собрата, пресведущего в астрономии. Но он не учел, что путешествует на флиботе.

Эти священносподвижники из Макао, как увидели голландское судно, схватили пушки и фальконеты, и бесполезно фатер Каспар жестикулировал на баке и отчаянно указывал на иезуитские хоругви, поднятые на верхней раине; идиотские длинноносцы, португальские иереи, окутанные военным дымом, который накалял их благонамеренную истребительность, даже не разглядели, что к ним обращаются, и закидали ядрами и “Дафну” и все море вокруг нее. Чистое

чудо, что “Дафна” успела развернуть паруса, лечь на другой галс и убраться куда глаза глядели, под лютеранское сквернословие капитана в адрес духовных лиц с подобным возбудимым характером. И с ним действительно нельзя не согласиться: одно дело топить голландцев, другое дело когда на борту иезуит.

По счастью, недалеко располагались другие миссии, к примеру более гостеприимная Минданао. Вот от стоянки к стоянке они и вели учет долготы (как уж там вели, одному Господу известно, поскольку чуть не врезались в Австралию и, значит, не имели никакого представления о реальном курсе корабля).

“А теперь проведем новейшую экспериментацию, дабы четко и очевидно продемонстрировать, что мы на градусе номер сто восемьдесят. В противном случае мои собратья из Римского коллегіума предположат, что я балабонщик”.

“Продемонстрировать? — переспросил Роберт. — Не вы ли говорили, что Установка вам показала с полной убедительностью, что вы на сто восьмидесятом меридиане и что этот остров — Соломонов?”

Да, отвечивал иезуит, он-то в этом не сомневается; сопоставив результаты многих неудовлетворительных способов, применявшихся другими, он синтезировал из чужих слабых методологий собственную сильную уверенность. Так и одно из доказательств бытия Божия основывается на *consensus gentium*, хотя несомненно и то, что веровать в Господа свойственно многим таким людям, которые склонены к ошибке, но невероятно, чтобы ошибались все, от джунглей Африки и до пустынь Китая. Тому же подобна наша вера в круговой ход Солнца и Луны и остальных планет, или в лечебность чистотела, или в существование посередине Земли жидкого огня. Тысячи и тысячи годов люди веруют в это, и вера помогает обитать на нашей планете и извлекать полезные результаты из того, каким образом они прочитывают великую книгу природы. Но такое крупное открытие, как долгота, должно сопровождаться многими новыми подтверждениями, с тем чтобы даже скептики сдались перед очевидностью.

К тому же науку следует углублять не из одной только любви к процессу, но и ради приобщения к ней всего человеческого рода. А потому, учитывая, что для преподобного отца стоил огромнейших усилий поиск истинного меридиана, он обязан теперь обосновать полученные выводы более коротким путем, чтобы сделать это знание достоянием всех людей-братьев, “или хотя бы братьев во христианстве, скажу даже только в католицизме, потому как отщепенцы и голландские и английские, а еще хуже того моравские, лучше бы к нашим секретам не имели никакого прикасательства”.

Так вот, из всех приборов измерения долготы — два представлялись отцу Каспару надежными. Один, применимый на твердой суше, это была драгоценнейшая Мальтийская Установка. Другой, годный даже и для палубы корабля, — Закрепительная Снасть, *Instrumentum Arcetricum*, она покоилась в трюме и до сих пор ни разу не была испытана, поскольку сперва надлежало с помощью Мальтийской Установки прийти к уверенности относительно собственной координаты, а уж потом посмотреть, подтверждалась ли эта координата данными, получаемыми с Закрепительной Снасти, и если подтверждалась, то метод Снасти следовало объявить самым надежным среди всех.

Фатер Каспар провел бы эксперимент значительно раньше, если бы только не случилось все то, что случилось. И вот теперь возможность есть, и надо действовать неотложно: и по солнцу и по астрономическим справочникам (эфмеридам) явствует, что нынешняя ночь — та самая ночь.

Закрепительная Снасть была спроектирована за много лет до того Галилеем. Изобретена, вычерчена, продумана, но не построена! Первым, кто ее сделал, является фатер Каспар. Роберт спросил фатера, тот ли это Галилей, кем представлена возбранная гипотеза о вращении Земли, и получил ответ, что тот, и что в метафизике и в вопросах Писания этот Галилей нагромоздил много гадких гипотез, но относительно механики являлся гением, и величайшим. На вопрос, не дурно ли использовать идеи человека, которого церковь осудила, иезуит ответил, что к вящему

восславлению Господню могут сгодиться в дело и идеи еретика, если в корне они не еретичны. Интересуясь всеми сущими на свете методами, ни одному не отдавая предпочтения, но стараясь извлечь истинное зерно из их сварливой многоголосицы, он не мог не экстрагировать истинное зерно и из метода Галилея.

Напротив, было бы очень полезно и для науки и для веры, если б эту концепцию Галилея как можно скорее пустили в работу. Галилей уже пытался запродать ее голландцам, и счастье еще, что последние, как и испанцы несколькими десятилетиями прежде, не осознали ее истинной значительности.

Галилей выводил свои сумасбродства из идеи более чем обоснованной, а именно: уворовать прожект подзорной трубы у фламандцев (употреблявших трубу только для рассматривания кораблей в порту) и повернуть это орудие в небеса. И вот там-то, среди прочих явлений, для отца Каспара не подлежавших сомнению, Галилей обнаружил, что Юпитер, или Зевс, как он его именовал, обладал четырьмя спутниками, то есть чем-то наподобие четырех маленьких лун, никем и никогда не замечавшихся от происхождения мира и до наших дней. Четыре звездочки вертелись около Юпитера, в то время как сам Юпитер вертелся около Солнца. Кстати, мы видим, что для отца Каспара было вполне позволительно, чтобы вокруг Солнца обращались какие угодно планеты, лишь бы никто не покушался закрутить вокруг Солнца нашу с вами планету Земля.

Так вот. Существуют моменты затмения нашей Луны, когда она попадает в тень Земли. Эти моменты заранее высчитаны астрономами и отражены в эфемеридах. Естественно, и луны Юпитера имеют затмения, и даже с нашей земной точки зрения их вдвое больше, чем затмений Луны: на каждое настоящее затмение приходится одна оккультация. (Луна исчезает с наших глаз только когда Земля встает между нею и Солнцем, а спутники Юпитера — и когда они проходят сзади и когда они проходят спереди, сливаясь с сиянием планеты, и при помощи хорошей трубы великолепно можно наблюдать их появление и исчезновение.) Вдобавок неоценимо преимущество, что в то время как затмения

Луны наступают с такою же частотой, с какой умирают епископы, и это дело очень долгое, затмения Юпитеровых лун часты и скоротечны.

Предположим, что и часы и минуты эклипса Юпитеровых сателлитов (из которых каждый гуляет по собственной орбите известного диаметра) высчитаны с высокой степенью точности для какого-то конкретного меридиана, и в эфемеридах это указано. Тогда достаточно установить час и минуту, когда эклипс проявится на меридиане (неизвестном), с которого его наблюдают, и подсчитать разницу во времени легче легкого, а следовательно, легко подсчитывается и расхождение географической долготы.

Вообще-то имеются незначительные помехи и этому методу, их, наверное, незачем и обсуждать с профаном, но скажем вкратце: долготу вполне можно получить, если уметь прилично делать подсчеты и иметь в распоряжении прибор измерения времени, так называемый перпендикулум, или маятник, или колебательные часы, способные определить с волосною точностью расхождение даже только в одну секунду, затем иметь еще и двое хороших часов, чтобы точно знать время начала и окончания феномена, во-первых, на меридиане, откуда ведется наблюдение, а во-вторых, на Железном Острове; затем необходимо с помощью графика синусов уметь измерять глазомерный угол между телами — угол между идеальными стрелками часов, отображающий в минутах и секундах дистанцию между двумя светилами и постепенное изменение этой дистанции.

Важнейшим условием, следует повторить, является пользование хорошими эфемеридами, которые Галилей, состарившийся и больной, не сумел завершить, но они закончены собратьями Каспара, умевшими еще до Галилея с великолепной точностью предрассчитывать затмения Луны.

Каковы были основные неудобства метода, раздутые противниками Галилея чуть ли не до невозможности? Что якобы наблюдения неосуществимы без сильного телескопа? Фатера Каспар как раз обладал телескопом дивной работы, таким телескопом, что Галилею и не снился. Что якобы измерения и подсчеты недоступны простому моряку? Но другие приемы измерения долгот, за исключением разве что

метода лага, предполагают даже участие астрономов! Капитаны способны пользоваться астролябией, которая тоже отнюдь не на уровне профанов; они, наверно, и с подзорной трубой управятся.

Но, возражают педанты, подобные точные обсервации требуют неподвижной опоры, а с плывущего корабля, где никто не в силах удерживать трубу четко нацеленной на небесное тело, невидимое человеческим глазом... Ну так вот, фатер Каспар именно для того здесь и сидит, дабы продемонстрировать миру, что при некотором умении обсервация может быть проведена и с идущего корабля.

Наконец, испанские оппоненты выдвигают контрвозражение, что затмения сателлитов не показываются днем и не видны в грозные ночи. “Может, они думают, затмения Луны им сервируются по первому требованию?” — иронизировал фатер Каспар. Кто им сказал, что обсервации должны делаться каждую минуту? Все путешествовавшие от одних Индий до вторых Индий знают, что вычислять долготу нет потребности чаще, чем широту, и что даже и широту, астролябией ли, или же балестрильей, невозможно замерять при беспокойном море. Если бы удавалось как следует определить эту благословенную долготу хотя бы раз в два, раз в три дня, — между первым и вторым замерами можно прикидывать прошедшее время и пройденное расстояние, как обычно, с помощью лага. С той только разницей, что сейчас мерят дорогу лагом в течение нескольких месяцев подряд. А в будущем, по методу Каспара, будут мерить в течение двух-трех дней, а потом снова проводить точное измерение. “Но эти люди, — не мог угомониться добрый иезуит, — подобны тем, кто при голоде получает корзину хлеба и не благодарит за нее, а спрашивает, почему не дают барана или зайчатину. О недалёковидные! Ты что, выкинешь в море эти пушки по причине, что из сотни выстрелов девяносто уцеливают прямо в воду?”

Вот так отец Каспар вовлек Роберта в приготовление опыта: вечер того дня, астрономически удовлетворительный, ясный, обещал среднее волнение на море. Проводить опыт в штить, объяснял Каспар, все равно что проводить на суше, то есть ясно, что он пройдет удачно. Нет, истинный

опыт призван воссоздать условия штиля на судне, испытывающем и бортовую и носовую качку.

Прежде всего требовалось найти среди часовых механизмов, неухоженных в эти последние недели, хотя бы один в добром здравии. Требовался только один, в данном счастливом случае, а не двое; эти единственные часы будут установлены по солнцу на местное время, а зная, что опыт проводится на антимеридиане, нет нужды во втором циферблате, отсчитывающем время на Железном Острове. Ясно, что на Железном Острове ровно на двенадцать часов меньше, чем в месте опыта.

По здравом размышлении здесь можно увидеть логический порочный круг: если дано, что наблюдение ведется со сто восьмидесятого меридиана, что же доказывается? Но отец Каспар был до того убежден в верности своих предыдущих обсерваций, что стремился только подтвердить их выводы, а кроме этого, скажем прямо, после всего раздора, случившегося на корабле, скорее всего у него не оставалось ни одного хронометра, все еще помнящего отсчет времени на противоположной стороне земного шара. И Роберт не стал мелочно въедаться в этот логический изъян.

“Я скажу пошел, тогда смотри время и пиши. И тут же пихай перпендикулум”.

Перпендикулум был укреплен на маленьком металлическом пьедестале, на нем были восставлены воротца, а в них качался медный шатунчик с круглой маятницей. Внизу, под маятницей, имелось зубчатое колесико, каждый кулачок с одного боку обрублен, с другого скошен. Покачень при колебании толкал рычажком шатун, шатун цеплялся за прямую сторону кулачка, колесико смещалось; при обратном движении шатунчик проходил вдоль скошенной стороны зубца и колесико стояло. Пометив кулачки цифрами, по остановке маятника можно было определить число прошедших долей времени.

“Так что ты не должен считать один-два и так далее, а когда я скажу раз, остановишь перпендикул и скажешь, сколько зубьев переместилось, ясно? Запишешь. Потом запишешь час. Когда я снова скажу пошел, опять сильно пихни перпендикул. Понятно и для ребенка”.

Перпендикулум давал не ахти какой точный результат, это сознавал и фатер Каспар, но еще не наступило время, когда начали изобретать более совершенные приборы.

“Весьма нелегкое дело, и многому еще надо учиться, хотя если бы Господь не возбранял die Wette... пари, или как сказать...”

“Не запрещал загадывать”.

“Вот. Если бы не запрещалось это, я бы поспорил, что в будущем долгота станет измеряться, и все земные феномены станут тоже этим измеряться, то есть перпендикулом. Но многое не просто на корабле, и ты должен быть очень внимателен”.

Роберту надлежало поместиться с двумя механизмами и всем необходимым для письма на юте, ют являлся самой высокой точкой для обсервации на “Дафне”, и там предполагалось водрузить Закрепительную Снасть, Instrumentum Arcetricum. Были вытащены детали, виденные Робертом в трюме. Металлический таз с трудом подняли по трапам. Но отец Каспар, одушевленный замыслом, оказался, при всей тщедушности, невероятно энергичен.

Почти без помощи он соорудил, пользуясь особыми закрепами, железный каркас, куда приторочили круглый холст и вышло нечто вроде парусиновой лунки два метра в поперечине. Просмолили, чтобы не вытекло, и влили зловонное масло из бутылей. Роберт зажимал нос, но отец Каспар серафически увещевал его: не в готовку же пойдет эта ворвань.

“А на что она пойдет?”

“Попробуем пустить в это малое море малый корабль, — и Каспар погрузил туда металлический таз. — Ты не слышал сравнений, что, бывает, все идет как по маслу? Вот видишь, нашу “Дафну” качает налево, а жир в бассейне идет направо. Жир всегда параллелен горизонту. Вода то же самое делала бы, но на масле наш тазик будет плавать, как по морю в штить. Я уже такой маленький эксперимент в Риме проводил. Две маленькие мисочки, в большой вода, в меньшей песок, в песок поставил шесток, клал одну в другую и тряс, а шесток стоял ровно как башня, но не такая косая как ваши башни в Болонье!”

“Вундербар, — одобрял юный ксеноглот. — А теперь что будет?”

“Будет, что меньшую миску надо вытянуть и на нее установить всю конструкцию”.

Подо дном меньшей миски были пружины, для того, чтобы когда она в нагруженном виде задрейфует в большой миске, она отстояла бы от дна по меньшей мере на палец, и если при резком движении сидельца прижмется чересчур сильно к поду (какого еще сидельца, спрашивал Роберт; увидишь, отвечал Каспар), пружины дали бы ей возможность мягко выправить положение. Внутри миски приклепали скамью, чтобы человек мог на ней полулежать, устремив глаза в небо и поставив ноги на железную ступень, служившую противовесом.

Конструкция была возведена на юте, под таз подсунули для выравнивания клинья, фатер Каспар воссел на стульчак, а Роберт под его руководством опер на его плечи и пристопорил к пояснице сбрую из холщовых и кожаных лямок, к которой присоединялся еще и яйцевидный шлем, на прилбище шлема имелся стержень с обручем. Туда просовывался телескоп, от него отходил прут, на конце прута был крюк. Таким образом, Гипербола Очей могла свободно шевелиться и искать на небе намеченную цель. Однажды установившись на небесное тело, телескоп мог быть удержан точно в том же положении, потому что крюк прута имелась возможность прицепить за одну из многих петелек, заготовленных в грудном ремне. При этом сохранялись границы поля видения даже в случае необдуманных рывков новоявленного циклопа.

“Идеально!” — ликовал иезуит. Закрепительная Снасть дрейфовала по масляному штилю, и это позволяло следить за самой ускользящей звездой, не обвиняясь никаким волнением на море. “И это господин Галилей предописал, и это я совершил!”

“Замечательно, — сказал Роберт. — И кто теперь переместит все это в таз с маслом?”

“Сейчас я отвязжусь и сойду, потом мы поставим один таз в другой, потом я сяду в него”.

“Не думаю, чтобы это было просто”.

“Более просто, чем переставлять таз со мною в нем”.

Пусть с некоторой натугой, но все же им удалось пустить в плавание миску вместе с сидальцем по масляному океану. Потом фатер Каспар, в доспехах, с телескопом на шишаке, попытался воссесть туда, поддерживаемый Робертом одной рукой под локоть, а другой пихаемый в зад. Попытка была повторена неоднократно, но безуспешно.

На металлический каркас, державший нижнюю миску, не то чтобы не мог ступить лезущий, но он не мог удержаться. Когда отец Каспар пытался одной ногой опереться на металлический остов, а другую быстро поставить на внутренний таз, этот последний, получив толчок, отшатывался по маслу в противоположную сторону, циркульно раздвигая ноги преподобномудрого, который тревожными криками оглашал воздух, покуда Роберт, обнимая его за поясницу, не притягивал к себе и не возвращал на, так сказать, твердую землю — палубу “Дафны”, причем предавал громогласному поношению память покойного Галилея и восхвалению — действия Галилеевых палачей. Почтенный иезуит, возлегая на мышцах своего спасителя, слабым голосом спорил с ним, что палачами Галилеевы преследователи не были, а были славнейшими иеромонахами, и преданными исключительно обереганию истины, и что с Галилеем они поступили снисходительно и отечески. После чего, броненосный и недвижимый, с тем же задранном к небу лицом, как пауч с металлическим носом, он призывал Роберта поверить, что Галилей в этом-то изобретении никак не обманулся и что дело было только за надлежащей проверкой и доказательством. “И вот поэтому, майн либер Робертус, — говорил он, — может, ты позабыл, каков я, и думаешь, что я черепаха, буду обескуражен, оказавшись наружу брюхом? Нет, ты давай-ка, толкни меня снова, дай стану, вот теперь переверни, прекрасно, ибо мужу приличествует прямоствительность”.

Во всех этих нелегких эволюциях масло не оставалось спокойным как масло, и через малое время оба экспериментатора облепились слизью и, что хуже того, провоняли ворванью, да будет позволена подобная вставка от повествователя, не документируемая источниками.

В то время как фатер Каспар уже отчаивался взойти на желанный трон, Роберту пришло в голову, что практичнее было б сначала вычерпать масло, затем посадить иезуита, а потом снова влить масло, уровень которого, подымаясь, заставит всплыть и тазик и мудреца, находящегося в нем.

Так и поступили, с великими похвалами учителя ученику, в то время как полночь приближалась. Не то чтобы вся постройка выглядела такой уж крепкой, но если фатер Каспар побережется от стремительных движений, могли быть благие надежды.

Настал момент, когда Каспар прокричал: “И вот я вижу этих!” При вопле он пошевелил носом, и труба, довольно тяжелая, угрожающе поползла с окуляра, Каспар подхватил ее, рывок руки и плеча перекошил все эквилибры и тазик чуть не опрокинулся. Роберт оставил бумагу и часы, поддерживал иезуита, наладил равновесие и увещал звездосоглядателя не ерзать, осмотрительнейшим образом подвигать свое усиленное око и в особенности не выражать эмоций.

Следующее извещение было подано шепотом, который, усугубленный шлемом, звучал хрипче, нежели труба Таргара: “Я вижу опять этих”, — и плавным манием руки телескоп был прикноплен к грудной перевязи. “О, вундербар! Три звездочки от Юпитера на востоке, одна только на западе... самая близкая меньше всех, и она... о погоди... вот, она в нуле минут и тридцати секундах от Юпитера! Ты пиши. Сейчас она касается Юпитера, вот она пропадает. Внимательно запиши, в какой момент она пропала”.

Роберт, покинувший было свое место, чтобы поддерживать учителя, снова посунулся к таблице, куда следовало вписывать цифры, но часы-то стояли у него за плечами. Он обернулся всем корпусом и задел пендулум. Стерженек соскочил с подпорки. Роберт стал цеплять обратно, отец Каспар надседался, чтоб отметили очередной момент, Роберт метнулся опять к часам, перо, торчавшее из чернильницы, попало под руку, чернильница накренилась. Инстинктивно махнув рукой, чтоб не дать вылиться чернилам, Роберт обрушил часы на палубу.

“Ты записал время? Пихай перпендикулум!” — выкрикивал Каспар. Роберт отвечал: “Не могу, не могу!”

“Как ты не можешь, безмозглый! — вопил ученый. И не получивши ответа, еще оголтелее: — Как ты не можешь, ничтожество! Ты писал, ты пихнул, ты следил? Отвечай же! Вот звезда уже пропала, ну!”

“Все растерял, то есть растерялся, все разломал”, — отвечал Роберт. Отец Каспар отвел телескоп от забрала, увидел переломанный пендулум, опрокинутые часы, Роберта с руками в чернилах и испустил такое “Himmelpotzblitzsherrgottsakrament!”, которое сотрясло все его тело. Этим неблагорассудным жестом таз перекосялся и обсерватор низвергся в миску с ворванью. Наблюдательная труба выскочила из его руки и сорвалась со скобы на панцире, после чего, под воздействием качки, прокатилась кубарем по юту, прогрохала весь трап и, разлетевшись на палубе, ахнула о лафет бортовой пушки.

Роберт не знал, спасти учителя или телескоп. Каспар, барахтаясь в своей мерзотине, геройски указывал на трубу. Роберт рванулся догонять эту Гиперболу-беглянку и настиг в помятом виде, с двумя растресканными стеклами.

Когда же Роберт извлек священнослужителя из олея, тот ничем не отличался от поросяти, готового для вертела, однако твердил с дерзостным упорством, что потеряно еще не все. Телескоп равной мощности с этим имелся на Острове, на макушке Мальтийской Обсервации. Оставалось только взять трубу с Острова.

“Как взять?”

“Доплыть”.

“Но вы же говорили, что не умеете плавать, и не осилите в вашем возрасте...”

“Я нет. Ты да”.

“Но мне тоже недоступно это распроклятое плавание”.

“Учись”.

24. ДИАЛОГИ О ВЕЛИЧАЙШИХ СИСТЕМАХ ¹



Все последующее имеет неясный характер: возможно, мы читаем конспекты диалогов Роберта с отцом Каспаром, а может, это пометки, набросанные Робертом по ночам от несогласия с иезуитом. Как бы то ни было, пока они были на судне вдвоем, писем Владычице Роберт не писал. В тот же период ночная жизнь постепенно вытеснилась дневным режимом.

Например, до тех пор он глядел на Остров на рассвете, и недолго, или же под вечер, и терялось ощущение пределов и дистанций. Лишь теперь он стал сознавать, что ток и противоток, то есть перемежающиеся игры приливов и отливов, в одну пору дня гнали воду лизать прибрежную полосу песка, отъединявшую море от рощи, а в другую часть дня отваживали влагу и оголяли скалистую отмель, которая, как объяснял фатер Каспар, приходилась последним отводышем коралловому хрящу.

От прилива, который он именовал притоком, до отлива, объяснял ему товарищ, проходит часов шесть, так размерено дыхание моря под воздействием Луны. Неверно мнили в прошедшие времена, будто дышит подпучинное дивовище. Что уж сказать о заблуждениях того господина француза, по которому, если даже Земля и не подвигается

¹ Сочинение Галилео Галилея (1564–1642) “*Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo*” (“Диалоги о двух величайших системах мира”, 1632). То же название (но “Диалог”, не “Диалоги”) носит известная в Италии первая книга Томмазо Ландольфи (1908–1979), вышедшая в 1937 году. Имеются текстовые связи романа Эко с книгой Ландольфи.

на восток с запада, она все же подмахивается с севера на юг и в обратном направлении, и при этих периодических нырках море вздергивается и опадает подобно ризе, когда ризоносец подергивает плечом.

Таинственная загадка, история с приливами. Приливы разнятся от земли к земле и от моря к морю, и от того, как вытянуты берега относительно меридиана. Общее правило таково, что при новолунии вода становится высокой в часы полудня и полуночи, причем на каждый следующий день явление откладывается на четыре пятых часа! невежда кто не знает этого! кто, памятуя, что в какой-то день в определенный час пролив был судоходен, суется в то же место даже всего только днем позднее в то же самое время суток и застревает на мели. Не забывая уж о мощной тяге колеблющихся вод; порою в отлив кораблю не в силу пристать к земле и стать на якорь.

Вдобавок, увлекался старик, надо знать, что каждой координате, где можно оказаться, приличествует особенный “компут”, иначе говоря — набор задаваемых данных. Не обойтись без Астрономических Табул. Он пробовал разъяснить Роберту путь подсчета: высчитывается лунное запоздание, умножая возраст Луны на четыре и деля его на пять, или же лунное опережение... Роберт, как бы то ни было, не уразумел подсчета, и мы увидим, как впоследствии это легкомыслие стало причиною тяжких бед. Роберт ограничивался недоумением по поводу того, что меридиан, которому полагалось идти от мыса и до мыса на Острове, порою пролагался стариком по морю, а порой через отмелину, и Роберт не мог постичь, какой из вариантов правильный. В частности из-за того, что ни приливы и ни отливы не беспокоили его так же сильно, как магическая тайная черта, за которой Время поворачивалось вспять.

Как уже сказано, у Роберта не было особых причин не доверять слышимому от иезуита. Нередко все-таки он дразнил его, чтоб подзадорить на новые рассказы, и черпал доводы, дразня, из репертуара сотрапезников в Париже, коих иезуит честил если не уполномоченными Сатаны, то по малости ерниками и пьянью, учредившими в кабаках себе Ликеи. В конечном же счете, скажем прямо, невместно

Роберту было ниспровергать физику поучителя, который на основании законов оной физики пытался воспитать из Роберта пловца.

Заслышав речи о плавании, Роберт спервоначала, не отойдя еще от кораблекрушенья, уведомил старца, что ни за какие блага не прикоснется до воды. Отец Каспар на то заметил, что именно вода в пору океанических скитаний спасла Роберта: знак, что стихия таит благорасположение, а не враждебность. Роберт сказал, что вода поддерживала отнюдь не его, а деревяшку, а Каспар умно отыграл, что если уж вода спасла бездушную корягу, стремящуюся рухнуть, как ведомо всякому кидавшему поленья с высоты, тем охотней она поддержит одушевленное существо, настроенное соответствовать стремлениям течения жижи. Роберту следовало бы знать, что если бросаешь щенка в воду, тот теребит лапами и не только удерживается, но прибивается к краю. К тому же, добавлял Каспар, может, Роберту неизвестно, что если в воду опустить несколькомесячного дитя, он будет плыть, ибо природа нас создала пловучими, равно как и животных. К злосчастью, мы более иных существ склонны к предрассудкам и мнению, и потому, взрослея, усваиваем несправедливые понятия об особенностях жидких тел, от робости и неверия утрачиваем наш прирожденный дар.

Роберт в ответ вопрошал его, а что, святой отец, вы-то плаванием овладели, и слышал от преподобного, что он-де не претендует превосходить прочее человечество, регулярно отвращающееся от свершения добрых дел. Он-де рожден был в такой стране, что лежит вдалеке от моря, и ступил ногою на корабль лишь в почтенном возрасте, в котором — объяснял он Роберту — на голове свербота, в зеницах бельма, нос полон флегмы, уши слизятся серой, десны гноем; прострел в загривке, першенье в глотке, подагра в пятках, в морщинах кожа, все космы пегие, башка плешива, дрожат коленки, трясутся пальцы, подкашиваются ноги, а в груди клокочет застойная мокрота с харкотинной и кряком.

Однако, торопился он добавить, в сем остве дух молоде, чем брeнная падаль, и Каспару ведомо то, что мудрецы античной Греции вывели от природы, а именно что если тело взять и вверзить тело в жидкость, к нему будет

применена выталкивающая сила, и тело пихнется вверх перетекающею водою, потому что вода стремится снова заполнить пространство, из коего была выгнана. Неверно, что тело плавает или тонет в зависимости от формы, обманывались древние люди, считая, что плоская фигура удерживается, а заостренная идет ко дну. Если Роберту случилось с силой утапливать в воду, скажем к примеру, бутылку (которая не плоской формы), он ощутил бы противодействие такое же, как потопляя поднос.

Значит, оставалось только найти общий язык с водной средою, а прочее, предполагалось, образуется само. Каспар велел Роберту сходить по канатному трапу, тому самому, который носил прозвище Лествицы Иакова, но для уверенности его обвяжут линем, или кабельтовом, или какою попало снастью, длинной и надежной, прикрепленной концом к бархоуту. Будет тонуть — дернет за веревку.

Нечего говорить, что учитель, никогда сам не плывший, недоучел множество сопутствующих осложнений, недоучитывавшихся и мудрецами Греции. К примеру, для свободы движений к Роберту был приторочен настолько длинный шкот, что учащийся моментально пошел на дно и был еле вытащен, но наглотался соляного раствора до того крепко, что отказался, по крайней мере на тот день, от новых упражнений.

И все же начало казалось завидным. Сойдя по трапу и погрузясь наполовину в воду, Роберт почувствовал, что морская жидкость приятна для тела. От кораблекрушения в его памяти сохранились холод, злость волн, а тут, попробовавши теплого моря, он ощутил настоящее удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но зайдя в воду до подбородка. Думая, что плаванье будет настолько же сладко, он разнежился воспоминаньями о парижском житье.

С тех пор как его выбросило на корабль, он поддерживал чистоту, как мы наблюдали: наподобие кота, который ежедневно моет мордку и под хвостом. Что до остального тела, и в особенности по мере того как он озверевал в борениях со злопаковым Неведомцем, ноги Роберта облепливались палубным мусором и пот постепенно приращивал одежду

к коже. Теперь, в теплых струях, которые ополаскивали одновременно и тело и платье, Роберт относился мечтами к тому дню, когда обнаружил во дворце Рамбуйе целых две лохани с водой, приготовленные для маркизы, забота которой об опрятности была темой подтруниваний в высшем свете, где омовения не были чересчур часты. Даже самым изысканным посетителям было свойственно думать, что чистота состоит в свежести белья, белье было принято менять то и дело, а мыться было не принято. Те душевные облака благовоний, в коих маркиза утапливала своих приглашенных, она нагнетала отнюдь не из роскоши, а для необходимой обороны своего чувствительного носа от сального смердения гостей.

Так что Роберт превзошел аристократичностью самого себя в Париже, когда, схватившись одной рукой за трап, другою тер и наяривал рубаху и штаны о заскорузлое тело, а пальцы левой ноги в то же самое время отскребали пятку правой.

Фатер Каспар наблюдал за ним заинтригованно, но хранил молчанье, давая Роберту возможность обвыкнуться с водой. В то же время из опасений, как бы Роберт разум не застился заботой о пошлом теле, он развлекал его умной беседой. На этот раз темой выступали приливы моря и притягательные способности луны.

Старик обращал внимание Роберта к явлению, содержащему некую невероятность. Если приливы отвечают на приглашения луны, они должны приключаться именно тогда, когда луна стоит над ними, а не тогда, когда она освещает противоположный бок планеты. А между тем высокая и низкая вода чередуются на обеих сторонах земного шара, почти поперебой вступая в действие через каждые шесть часов... Роберт выслушивал соображения о приливах, однако думал о луне, о которой во все эти прошедшие ночи он думал больше, нежели о приливах.

Поэтому он спросил, отчего выходит, что луна кажет нам всегда одно и то же и только одно свое лицо, а отец Каспар ответил, что она вращается по орбите, будто мяч, который атлет раскручивает, привязав на веревку, и который виден ему только с привязанной стороны.

“Но, — не отступался Роберт, — этот бок показывается и жителям Индий, и нам. А вот жители Луны совсем иначе наблюдают свою лунную луну, иногда еще называемую Вольвой, которая и есть наша с вами Земля. Субвольванцы, живущие на поверхности, повернутой в края земные, видят ее постоянно, в то время как перивольванцы, населяющие противоположное полушарие, не имеют о ней представления. Вообразите теперь, что происходит, когда они приезжают на обратную сторону своего шара. Что они чувствуют, увидев, как в ночи на полнеба полыхает круглая луна в пятнадцать раз крупнее той луны, которую наблюдаем мы с вами! Как пугаются, ждя, что того и гляди она свалится им на макушку, точно как древние галлы опасались, что им на голову обрушится небо! Не говоря уж о тех, кто живет на самой границе нашего и не нашего полушарья и поэтому видит Вольву вечно полувиснутой из-за кромки небо-зема!”

Иезуит парировал иронией и издевками Робертовы пустобредства насчет обитателей Луны, ибо небесные тела не обладают тою же натурой, что Земля, и поэтому не пригодны к обитанию живыми существами, так что лучше предоставить их когортам ангельским, которые умеют перемещаться духовным бегом в хрустале небес.

“Да возможны ли небеса из хрусталя? Кометы раздробили бы их на куски”.

“Кто это информировал тебя, якобы кометы передвигаются в помещении эфира? Кометы передвигаются в подлунном помещении, то есть здесь, а тут есть воздух, как ты это сам можешь видеть”.

“Движутся только тела. Небеса движутся, эрго они тело”.

“Ты ради того чтобы говорить бестолковщину, становишься даже аристотеликом. Но я знаю, по какой причине ты говоришь это. Ты хочешь, чтобы в небесах тоже был воздух. Тогда получается, нету различий между верхом и низом, значит, все вертится, и Земля вихляет своею задницей вроде вертихвостки”.

“Звезды каждую ночь предстают в новом положении”.

“Конечно. Звезды действительно перемещаются”.

“Постойте, я не кончил. По-вашему, и Солнце, и все светила, которые являются огромными телами, оборачиваются вокруг Земли каждые двадцать четыре часа. Что же, и неподвижные звезды вместе с тем огромным обручем, в который они впаяны, пробегают за каждые сутки расстояние в двадцать семь раз по двести миллионов лиг? А ведь выходит именно это, если вообразить, что Земля не вертелась бы вокруг своей оси раз в двадцать четыре часа. Как удастся неподвижным звездам бегать с такой быстротой? У их обитателей закружатся головы!”

“Это если там есть обитатели, что составляет собой *petitio principii* ¹”.

И фатер Каспар пустился в доказательство, что легко изобретается только один аргумент в пользу движения Солнца, но что существует множество аргументов против вращения Земли.

“Знаю, знаю, — не унимался Роберт. — Екклесиаст говорит: *terra autem in aeternum stat, sol oritur* ², а Иисус Навин остановил Солнце, не Землю. Но именно вы намеренно предостерегали меня, что если воспринимать Библию буквально, получится, будто свет существовал еще до появления Солнца. И мы решили, что к Священному Писанию надо подходить с разбором; и еще святой Августин подмечал, что в тексте Библии многое сообщается *more allegorico*...”

Фатер Каспар с тонкой улыбкой парировал, что вот уже немалые годы иезуиты отказались в борьбе с противниками прибегать к священнотекстовому крючкотворству, а действуют посредством непоборяемых аргументов, основанных на астрономии, на разуме, на математических и физических резонах.

“На каких же резонах, интересно?” — отзывался Роберт, соскребая отложения грязи с живота.

Интересно, отвечал на это задетый иезуит, было бы тебе послушать знаменитое Рассуждение о Колесе. “Теперь ты слушай меня. Вздумай колесо”.

¹ Предвосхищение основания (*лат.*) — логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства.

² Земля же пребывает вовеки; солнце восходит (*лат.*).

“Вздумываю колесо”.

“А теперь попытайся соображать своими мозгами, вместо того чтобы как обезьяна повторять то, что тебе втемяшили в твоём Париже. Теперь вообрази себе, что это колесо мягко насажено на ось, как будто колесо у горшечника, и ты хочешь поворачивать это колесо. Что тогда будешь делать ты?”

“Рукой или просто пальцем трону обод, колесо завертится”.

“Не думаешь ты, что лучше завертеть ось?”

“Нет, так ничего не выйдет..”

“О! А ваши галилеяне с коперниканцами ставят неподвижное Солнце посреди Вселенной и доказывают, будто оно вращает весь большой круг планет около себя, и не видят, что движение касается именно этого большого круга планет, в то время как Земля неподвижно пребывает в центре, как ось вращения. Как бы мог Господь Бог приковать Солнце на неподвижное место, а Землю, подверженную порче, темновидную, ввести в компанию сияющих и вечных звезд? Теперь ты осознал свою ошибку?”

“Нет, Солнце должно стоять в самой середине Вселенной! Телам природы необходимо это радикальное пламя, пламя должно гореть в центре царства, дабы удовлетворять потребности, имеющиеся во всех краях. Работа зарождения, где следует ей корениться, как не в середине? Природа разве не расположила семя в гениталиях, на половине дороги от возглавия к ногам? Разве семена не в середине яблока, кость не в пупе сливы? Вот и Земля, которой потребны и свет и жар от срединного пламени, крутится вокруг него, дабы принимать на любые свои поверхности солярные достоинства. Пресмехотворно полагать, будто Солнце вращается около точки, которая неведомо зачем нужна. Это как если бы жаря жаворонка, оборачивали около него печку и с угольями”.

“Ах вот? Значит, когда епископ обходит по кругу церковь, благословляя ее, с кадиллом, ты хотел бы, чтобы церковь ходила около епископа? Солнце способно вращаться, потому что принадлежит к стихии огня. А тебе хорошо известно, что огонь летает и двигается и никогда не пребы-

вает в покое. А горы ты когда видел, чтоб они двигались? Как же может способна быть двигаться Земля?"

“Лучи Солнца подталкивают ее и сообщают ей силу движения. Так можно подталкивать мяч рукой, а если мячик маленький, то и поддуванием... И наконец, неужели, по-вашему, Господь Бог гоняет Солнце, которое в сорок тридцать четыре раза крупнее Земли, только для того, чтобы вызревала на огороде капуста?"

Дабы придать наивысшую театральную выразительность этому последнему аргументу, Роберт воздел руку с перстом по направлению фатера Каспара, а ногами отпихнулся от борта, стараясь по возможности попасть в поле зрения священника. При этом движении второю рукой он тоже отпустил канат, голова запрокинулась и потянула все туловище Роберта в пучину моря, и вовсе не полезен оказался, как мы уже указывали, привязанный к пояснице канат, так как длина его была чрезмерной. Роберт проделал все то, что положено утопающему: бурно барахтался и поглощал воду, пока Каспар не догадался с силой вымотать линь, причалив Роберта обратно к трапику. Роберт взобрался, клятвенно обещая, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сойдет больше вниз.

“Завтра ты попробуешь снова. Соленая вода как медицина, не вижу никакого большого зла”, — улещивал его на палубе фатер Каспар. И откуда Роберт вновь налаживал свои отношения с морем путем рыболовства, Каспар объяснял ему, сколько и какой пользы получают они оба, если Роберт доплывет до Острова. Кроме очевидного — заново обрести шлюпку и иметь возможность, как свободные люди, ездить с моря на Остров и обратно, они бы смогли работать на Мальтийской Установке.

Эта Установка по пересказу Роберта рисуется смутно, и остается заключить, что ее замысловатость превосходила Робертовы способности постижения, а может быть, загвоздка и в том, что речь фатера Каспара, как случалось весьма нередко, составлялась из эллипсисов и восклицаний, которыми священнослужитель пытался отобразить и форму и назначение постройки, и даже идею, которая ее предвосхитила.

Идею, вдобавок, изобрел не сам преподобный Каспар. Он проведаль набросок Установки в бумагах почившего собрата, который в свою очередь перенял эту мысль от другого иезуита, побывавшего на благородном острове Мальта, который он именовал Мелита, и слышал, как восхваляли сей наблюдательный снаряд, выстроенный по приказу Верховного Князя Иоанна Павла Ласкариса, Великого Магистра ордена знаменитых Рыцарей.

Какова была Установка, воочию никто не видел; от первого собрата имелась какая-то тетрадь с набросками, да и ту не удалось сохранить. С другой стороны, жаловался Каспар, в тетради были “беглые записи, и ни одной *schemate visualiter*, ни одной табулы, изображения, ниже практических указаний на строительный счет”.

На основании этих скудных сведений отец Каспар, в ходе долгого плавания на “Дафне”, взявши в работу корабельных древоделов, перепроектировал (или перекроил) различные элементы технизма, они были созданы, и Установка сооружена на Острове, и на месте были промерены все ее неисчислимы добродетели, и Установка воистину собой представила *Ars Magna* во плоти и крови, то есть в дереве, железе, холсте и прочих материалах, новоявленные Мега-Часы, Ожившую Книгу, способную огласить все тайны универса.

Она — проповедовал фатер Каспар с очами сияющими как карбункул — была Единственной Синтагмой Новейших Приборов Физики и Математики, “по дискам и циклам искусно размещенных”. Потом он что-то рисовал пальцем на досках палубы или на воздухе, и предлагал вообразить какую-то круглую основу, что-то вроде основания или цоколя, который соответствует Недвижному Горизонту с означенными по окружности небоската румбами тридцати двух ветров, и с учетом всего Навигаторского Искусства, что потребно для предсказания погод. “Серединная часть, — продолжал он, — на эту основу насажена и представляет собой куб, то есть нам дается пять граней, нет, не шесть, а пять, так как шестая смотрит вниз на цоколь и из-за этого ты не можешь наблюдать ее. На первой грани Куба, сия грань есть Хроноскопиум Универсальный, виднеются восемь

колес извечной цикличности, изображающие времяисчисление по Юлию и по Григорию, и на какие дни должны приходиться Воскресения, и Високосные прибавки, и как разбит Круг солнопутья, и когда бывают Передвижные праздники, и Пасхи, и новолуния, и полнолуния, и каковы квадратуры Солнца и Луны. На второй же грани Куба, коя есть Спекулум Космографии, отображение Вселенского времени, — на первом месте помещен Гороскоп, где задается время мальтийское и сообщается возможность увидеть точный час на всех других поясах нашего земного шара. Там расположено Колесо с двумя планисферами, одна из которых показывает и поучает обо всей науке, касательной Девятого небесного круга, по Птолемею (“*primo mobile*”), а другая обо всей науке Восьмого круга и о неподвижных звездах, и о теории, и о движении. А также о приливах и отливах, вернее сказать о повышенье и пониженье морей, кои по причине движения Луны то задерживаются, то ускоряются во всей Вселенной...”

Именно эту гранью Куба был страстнее всего увлечен иезуит. Именно она давала ему возможность использовать Католические Часы, о них уже рассказывалось выше, то есть отсчеты времени во всех католических миссиях на любых меридианах; и не только, а еще, похоже, ею исполнялись функции хорошей астролябии, поскольку она указывала еще и продолжительность дня и продолжительность ночи, и положение Солнца с пропорцией Отвесных Теней, и полуденники, и высокий и малый притины Солнца, то есть как отвесный, так и наклонный; и еще длительность сумерек и кульминацию постоянных звезд в отдельные годы, месяцы и дни. Как раз-таки путем проверок и перепроверок данных с использованием этой части Куба преподобный Каспар пришел к уверенности, что наконец-то очутился на антиподном меридиане.

Существовал еще у этого Куба, на третьем боку, набор из семи колес, передающий всю Астрологию и все ожидаемые затмения Солнца, а также затмения Луны, все астрологические формулы для подсчета периодов полевых работ, лечебного дела, навигаторского мастерства, а также описания двенадцати небесных Домов, и физиономию природных

явлений, которые от каждого знака зависят, а также соответствующий Дом.

У меня не хватает таланта резюмировать все Робертовы резюме. Кратко подытожу сказанное о четвертой грани: все чудесности врачевства ботанического, спагирического, химического и герметического с медикаментами как однородными, так и составными (композитными), вытянутыми как из минеральных, так и из животных веществ, а также “алексифармаки привлекающие, смягчительные, болеутоляющие, послабительные, разрешающие, разъедающие, стягивающие, нарывные, горячительные, прохладительные, очистительные, облегчительные, возбуждающие, усыпительные, мочегонные, наркотические, едкие и успокоительные”.

Я не способен передать, и в некоторой степени выдумываю сам, что же совершалось на пятой стороне, иначе говоря на крышке этого Куба, параллельной линии глазоема, по некоторым деталям похоже, что она воспроизводила устройство небесного свода. С другой стороны, упоминается некая пирамида, которая безусловно не имела основанием крышку Куба, иначе бы эта крышка целиком пирамидою бы закрывалась, так что более вероятно, что пирамида накрывала собою весь Куб, как палатка, но тогда она должна была быть выполнена из прозрачного материала. Разумеется, ее четыре ската должны были передавать идею четырех частей света, и для каждой части приводились алфавиты и языки различных народов, не исключая элементов примитивного Адамова языка, иероглифов египтян и закорючек китайцев и индейцев Мексики, и фатер Каспар прославляет эту фигуру в следующих выражениях: “Мистагогический Сфинкс! Эдип Египетский! Иероглифическая Монада! Ключ к Со-размерности Языков! Театр Космографии Истории! Чаша Чаш всех алфавитов естественных и искусственных! Новая Любопытная Архитектура! Лампада Комбинаторики! Мерильня Исиды! Метаметрикон! Сжатый перечень Антропоглоптогонии, то есть Рождения человеческих языков! Базилика Криптографии! Амфитеатр Науки! Раскрытая Тайноменесис! Зерцало Полиграфии! Газофилиациум Верборум, иначе говоря Сокровищница Родовой преемствен-

ности Глаголов! Таемница Искусства Стеганографии! Ковчег Арифмологии! Сборник Полиглотских Архетипов! Эйсасагога Горাপоллонова! Долгое перечисление, другими словами: Конгестиорум Изобретательной Памяти! Расследователь Потаенных Литературных Смыслов! Меркурий Возродившийся! Прохладный Вертоград Этимологий!"

Что вся эта громада прехитрости была предназначена для их двоих исключительного пользования, будучи они обречены вовек не обрести дороги возвращения, совсем не угнетало иезуита, то ли от преданности промыслу Провидения, то ли от любви к познанию, нацеленному на самое себя. Однако что изумительно, это позиция Роберта, его в свою очередь не посетила ни единая реалистическая мысль: и он начал вожделеть причаливанья к Острову как события, призванного наделить содержанием, и навсегда, всю его будущую жизнь.

Прежде всего, в очаровании для Роберта Установки играло определяющую роль и то уж единственное соображение, что этот оракул способен знать, где обретается и чем занята в соответствующую минуту Владычица его помыслов. Вот доказательство, до чего бессмысленно с влюбленным, даже который отвлечен полезными физическими упражнениями, толковать о "Звездных Нунциях"; он взыскует одних лишь только упоминаний о своей милой нуде и о любезной тревоге.

Кроме того, что бы ни говорил учитель плавания, Роберт направлялся не на тот Остров, который маячил прямо перед ним в настоящем времени, в настоящем Робертовом; Роберт двигался к тому Острову, кой по промыслу Господню обретался в нереальности, в небытии предыдущего дня.

Готовясь помужествовать с волнами, он уповал попасть на Остров, который был вчера и которого символом выступала Рдяноцветная Голубица, неуловимая, ибо ускользнувшая в прошлый день.

Робертом двигали смутные предощущения, он чувствовал, что желает некую вещь, которая не была фатеркаспаровой; но не вполне понимал, что это. И можно представить себе его нерешительность, поскольку с тех пор, как существует история человечества, ему первому

предлагалась возможность уплыть на двадцать четыре часа назад.

В любом случае Роберт был убежден, что он действительно должен научиться плаванию, а всем известно, что даже только одна добрая причина помогает преодолеть тысячу страхов. Поэтому на следующий день мы снова видим его в воде.

Фатер Каспар перешел на сей день к поучениям, что если Роберт отпустит лестницу и станет помавать руками, как будто задавая ритм в собрании играющих музыку, и широко барахтаться бедрами, пучина не всосет его. И побудил Роберта пробовать, то при натянутом канате, то перепуская пеньку вне Робертова ведома, и ученика известил, что не поддерживает, лишь когда тот обрел уверенность. Верно, впрочем, что после сего объявления Роберт незамедлительно стал утопать, вопя, но в этой жалобе он конвульсивно взбил воду голеньями и снова выпрыдал головою на поверхность.

Подобные старания продлились не менее получаса и Роберт начал чувствовать, как ему поддерживать тело на плаву. Но стоило ему захотеть двинуться пошустрее, голова западала назад. Фатер Каспар дал ему совет удовлетворить эту склонность и закидываться головою навзничь елико возмозжет, напружинив туловище и выпятив его дугою, руки-ноги растопырив, будто для упирания в окружность, и лежащий упокаивается точно в гамаке, где он лежит и час и два, и даже започивает, ласкаемый волнами при косых лучах закатывающегося солнца. Откуда Каспару было ведомо все то, если он никогда не плавал в море? Из Физической Гидростатической Теории, отвечал Каспар.

Обрести надлежащее положение было непросто, Роберт и тужился и давился с обмотанной около шеи пуповиной, пока нашел равновесную позу. Впервые он почувствовал море своим другом. По инструкциям фатера он мерно двигал руками и ногами; легонько поднимал голову, снова укладывался назад и привыкал иметь воду в ушах и переносить ее давленье. Он даже был способен говорить, более того, кричать, чтобы дозволяло до борта.

“Если ты сейчас хочешь, ты повернешься, — руководил им иезуит с корабельной вышки. — Тыпустишь вниз правый твой локоть, чтобы он отвиснул от тела, медленно двинешь левым плечом и повернешься, и ты увидишь, что лежишь пониз брюхом!”

Он не пояснил, что переворачивающемуся следовало сдерживать дыхание, ибо лицу предстояло повстречаться с водою, да с такою, которой одна забота — впериться в нюхало новобранцу. Видимо, в трактатах о Гидро-Пневматической Механике это позабыли. И потому из-за *ignotatio elenchi*¹ преподобным Каспаром Роберт заглотал еще один кувшин просолоневшей воды.

Но теперь он потихоньку научался научаться. Два-три раза кувырнувшись вокруг оси, он понял принцип, основу для всякого плавальщика, именно что с головой под водою не пытаются вдохнуть, а выдувают содержимое ноздрей, как будто освобождаясь и от того небогатого воздуха, который забран впрок и потребен. Вроде бы должно разумеется само; однако не разумелось, как показывает опыт Роберта.

Как бы то ни было, он убедился, что ему легче лежать навзничь, задрав лицо, а не ничком. Я-то предпочитаю лицо поворачивать вниз; но Роберт, по видимости любя тот навык, что освоил первым, дрейфовал на спине и в этот и в следующий день, поддерживая беседу о двух величайших мировых системах.

Снова возвратились к вращению Земли и отец Каспар раззадорил Роберта соображениями об эклипсах. Если сместить Землю из средоточия мира и определить на место Земли Солнце, Землю придется пристроить или над Луной или под Луной, иначе не выйдет. Поставь мы ее под Луной, не станут возможны затмения Солнца, потому что Луна пребудет над Солнцем и над Землей и никогда не сможет всунуться между Землею и Солнцем. Поставь мы Землю над Луной, не смогут происходить эклипсы Луны, потому что если Земля над нею, как же Земле проскакивать между Луною и Солнцем? Вдобавок к тому астрономия утратит

¹ Неведение всех возможных дополнительных обстоятельств (философский термин, *лат. из греч.*).

способность, коей обладала всегда до этих пор, предсказывать затмения, и преточно, потому что астрономия исходит в своих расчетах из движений Солнца; если же Солнце недвижно, всей арифметике цена грош.

Иезуит упивался Аргументом о Лучнике. Если Земля вращается все двадцать четыре часа суток, то стрела, пущенная строго вверх, обязана падать на запад за много миль от стрелявшего. То же доказывает и Аргумент о Башне. Груз, опущенный с западной стороны высотной постройки, вращаясь земной шар, попадал бы не к подножию башни, а далеко вкось, то есть летел бы не по вертикали, а по диагонали, потому что за это время башня (и Земля) крутились бы в направлении востока. Поскольку все-таки известно из экспериментов, что груз ударяется о землю отвесно, значит, вращение земли пустое балясничанье.

Не поминая уж Аргумент о Птицах, которые, оборачиваясь Земля за прохождение одних суток, нипочем не выдержали бы противостояния ее оборотам, даже при дивной неутомимости. Мы же по опыту знаем, что пусть и скача на коне в направлении солнца, всадник не догоняет никакую птицу, а она настигает его и опережает.

“Отлично. И не возражишь. Но я знаю, что если вращать Землю и прочие планеты, а Солнцу стоять, объясняется большинство явлений; Птолемей же блуждал вокруг да около, со своими эпициклами и деферентами, с иными вселенскими околичностями”.

“Прощу твои дурные каламбуры. Но если говоришь не в шутку, отвечу, что не будучи язычник, как Птолемей, я сознаю, коликими погрешностями тот проступался. И потому мыслю, что величайший Тихо из Ураниборга имел зело здравую идею. Он думал, что все известные нам планеты, как то Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн, ходят около Солнца, однако что Солнце окручивается совокупно с ними около Земли, вокруг Земли же вращается Луна, а Земля стоит неподвижно в центре круга неподвижных светил. Этим объясним заблуждения Птолемея, не указывая на ересь, ересь шла от Галилея. Ты не обязан объяснять, отчего умеет Земля, такая тяжелая, передвигаться по небу”.

“А отчего умеют Солнце и неподвижные планеты?”

“А на твой взгляд, они тяжелы? По-моему, нет. Это небесные тела, а не подлунные! Земля-то и впрямь, действительно, имеет великую тяжесть”.

“Как же тогда корабль о сотне пушек умеет двигаться по морю?”

“Это море его тянет, а ветер подгоняет”.

“Ну тогда, если позволено высказать новую идею не взбесив римских кардиналов, я слышал, как в Париже один философ излагал, будто небо есть жидкая материя, как море, и материя крутится, образуя водовороты... *tourbillons...*”

“Что это значит?”

“Воронки”.

“Вороны? А, понял, водовороты. К чему это?”

“К тому что воронки засасывают в себя планеты. Воронка движет Землю вокруг Солнца, но это именно воронка крутится, а Земля пребывает неподвижно в воронке, описывающей круги”.

“Ну ты хорош! Сперва не позволял небесам быть хрустальными, боялся, что кометы раскокают хрусталь, а теперь готов разжижить небеса, не опасаясь, что птицы в них завязнут! Во-вторых, идея водоворотов может объяснить, как Земля обращается вокруг Солнца, но из идеи водоворотов не следует, что Земля вокруг своей оси циркулирует, как ребяческий волчок!”

“Верно. Однако тот философ говорил, что и на данный случай надо иметь в виду, что оборачивается только поверхность морей и наружностная кора нашего шара, в то время как центр в глубине простаивает. Что-то в этом роде”.

“Еще неразумней прежнего. Где опубликовал этот молодчик все это?”

“Не знаю, кажется, он отказался от мысли записывать эти идеи и публиковать их. Не хотел раздражать иезуитов, он их сильно любит”.

“Тогда уж предпочту господина Галилея, который еретические мысли питал, но поделился ими с любвеобильнейшими кардиналами, и никто его потом не думал жечь. Не нравится мне этот твой знакомый, который мысли питает еще более еретические, однако ими не делится, пусть

и любя иезуитов. Может, Господь в один хороший день Галилея и извинит, а этого молодца, не думаю”.

“Вообще-то, помнится, он поправился с этой первой мыслью. Вроде бы громадный сгусток материи, который простирается от Солнца и до неподвижных звезд, вращается внутри большого круга, подгоняемый тем самым ветром...”

“Но ты же говорил, что небеса разжижены?”

“Наверное, не разжижены... Наверное, небеса это ветер...”

“Ну вот. Сам не понимаешь что мелешь”.

“...и ветер гоняет все эти планеты вокруг Солнца, и в то же время Солнце вращается вокруг самого себя. И существует меньший вихорь, который крутит вокруг Земли Луну и Землю вокруг самой ее. Однако нельзя так сказать, будто Земля вращается, потому что она не сама вращается, ее вертит вихорь. Скажем, я лягу спать на “Дафне”, а “Дафна” переплывет к тому острову, что на востоке, а я, значит, перемещусь с одного места на другое, но никто не может сказать, будто мое тело шевелилось. Что же касается ежесуточного вращения, я будто приделан к громаднейшему колесу горшечника, и ясно, что увидите то лицо мое, то спину, но все-таки кружусь вовсе не я, а колесо”.

“Это увертки злоумствующего, кто еретические мысли лелеет, но не признается. Скажи мне, если так, что будет со звездами? Что, и Большая Медведица в полном составе, и Персей двигаются с твоим водоворотом?”

“Но ведь все видимые нами звезды, это особые солнца, и каждое обретается посередине собственной воронки, и целый универс есть огромный виток воронок, с бесчисленным количеством солнц и неисчислимым числом планет, и опричь, там где неподвластно человеческому огляду, продолжают планеты, и все они обитаемы!”

“О! Этого я ждал от тебя и дружков безбожников! Вот куда вы клоните, множественные миры!”

“Ну, по крайней мере не единичный мир. Будь мир единичным, где прикажете Богу располагать ад? Не в преисподней же Земли”.

“Почему не в преисподней Земли?”

“Потому что, — и Роберт повторил, достаточно суммарно, систему доказательств, слышанную им в Париже и малодостоверную по части вычислений, — диаметр центра Земли составляет 200 итальянских миль, что при возведении в куб даст восемь миллионов миль. Учтя, что итальянская миля вмещает двести сорок тысяч английских футов, и что Господь Бог предоставляет каждому проклятому по меньшей мере шесть футов земли, выходит, что в аду хватит места лишь сорока миллионам проклятых, что довольно немного, если представить себе всех неправедников, живших в нашем мире от Адама до сегодняшнего дня”.

“Так бы населялся ад, — парировал фатер Каспар, не снисходя до проверки подсчета, — если бы проклятые попадали туда вместе с телом. Однако тело им будет возвращено лишь после Воскресения во Плоти и Страшного Судилица! А тогда уж не пребудет ни этой Земли, ни этих планет, а будут другие небеса и другие земли!”

“Да, согласен, если речь идет о проклятых душах, их может удержаться даже тысяча миллионов на кончике иглы. Но некоторые звезды невидимы обычным оком и являются лишь глазу, вооруженному подозрительной трубкой. Ну вот, способны ли вы представить себе, что если труба мощнее в сотню раз, она явит нам новые созвездия, а если мощнее в тысячу, то еще и еще новые, и так до бесконечности? Не нам ограничивать Божье творение...”

“В Библии на этот счет не сказано...”

“В Библии и о Юпитере не сказано, однако нацеливались же вы на него позавчера через вашу разнесчастную трубу!”

Однако Роберт заранее знал, в чем коренится истинное несогласие иезуита. В том же, что утверждал и аббат в памятный вечер, когда Сен-Савен вызвал его на дуэль: при бесконечности миров теряет смысл Грехоискупление, или же приходится вообразить себе бесконечное количество Голгоф, или же наша летучая клумбица должна составить собой привилегированный элемент космоса, куда дозволил Господь сойти своему Сыну, дабы избавить нас от преступления, а другим мирам не пожелал предоставлять подобную благодать, в опровержение собственного пресловутого

добротолубия. И действительно, на этом была выстроена защита Каспара, позволившая Роберту вновь атаковать его.

“Когда имел место грех Адама?”

“Мои братьями исполнены великолепные математические подсчеты. Адам согрешил за триста девятьсот семьдесят четыре года до сошествия Господа Бога нашего Иисуса”.

“Ну вот, и братьям, наверно, неизвестно, что путешественники, побывавшие в Китае, в их числе и миссионеры из вашей брaтьи, нашли перечни монархов и родословные китайских династий, по спискам видно, что китайское царство учредилось более шести тысяч лет назад, а значит, до греха Адама, и коли это справедливо для Китая, кто знает, для скольких еще земных народов. Значит, и грех Адама, и освобождение евреев, и откровения, извлеченные Святою Римскою Церковью из тех фактов, относятся лишь к отдельной части человеческого рода. Имеется в человечестве и другая часть, которая первородным грехом не была задета. В том нет урона бесконечной Господней доброте: Господь обошелся с адами́тами примерно так, как отец блудного сына в притче обошелся с ним самим, Сына Своего принося в жертву единственно для них. Но точно так закаляя жирного юнца для провинного отроча, не ущемились родителем отроки честные и достойные, так Господь нежнейше возлюблял китайцев и прочих рожденных ранее Адама, и радовался, что они не затронуты первородным грехом. Если так содеялось на Земле, почему не содеяться тому же и на остальных планетах?”

“Кто тебе вбил в башку эту ахинею?” — проорал в неистовстве фатер Каспар.

“Многие так считают. Есть арабский мыслитель, он говорит, что о том же свидетельствует одно место в Коране”.

“Что ты сейчас сказал! Да чтоб Кораном доказывать истину! О, всеведающий Господь, прошу тебя, испепели этого тщесуетного, ветрогонного, одерзительного, злобесовного, буйновздошного, пустобрешного, псокровного, вьщетунного, свистягу, шатуна, поганца, парашника, тунейда, и да ноги его не будет больше на этом корабле”.

С этой репликой Каспар ухватил канат и принялся щелкать им, как бичом, сперва огрел по лицу Роберта, потом и вовсе пустил конец. Роберт пошел ко дну вниз головою, задержался, засуетился, не в силах перебраться канат так скоро, чтобы выскочить на воздух, и вопя и цепляясь, захлебываясь солью, а Каспар надрывался с полубака сверху, что дождется, чтоб Роберт отдал концы, откинул ноги, окочурился и грянулся прямо в огненную геенну, куда самая дорога распроклятым адовням вроде него.

После чего, все же поддавшись душевному христианству, когда ему представилось, что Роберт удовлетворительно наказан, он вытащил его наверх. Так кончилась лекция по плаванию вместе с лекцией по астрономии, и двоица разошлась по койкам не удостоив друг друга прощанием.

Мир восстановился на следующий день. Роберт признал, что гипотеза о воронках не полностью убеждает и его самого и он скорее склонен думать, будто бесчисленные миры образуются в результате вихрения атомов среди пустоты, чем не оспаривается существование располагающего Божества, которое подает этим атомам команды и организует их по заповедям, как проповедовал Диньский каноник. Фатер Каспар, однако, восставал и против такой формулировки, поскольку в ней подразумевалась пустота, где этим самым атомам вихриться, но тут Роберт не имел уже никакой охоты полемизировать с новоявленной Паркой, до того щедрой, что вместо обрезания нити жизни она ее злоумышляла удлинить.

В обмен на обещание больше не топить его, он возобновил ученье. Фатер Каспар уговаривал его начать двигаться в воде, что является обязательным условием пловческого искусства, и подсказывал, как надо медленно развливать руками и ногами, однако Роберт предпочитал нежиться наподобие поплавок.

Фатер Каспар оставлял его в этой неге и использовал время, дабы втачивать ему остальные свои аргументы против идеи вращения Земли. *In primis*, Аргумент о Солнце. Последнее, если бы стояло неподвижно, и мы бы ровно в полуденный час взирали на него из середины комнаты

в окно, а Земля действительно обращалась бы с тою скоростью, кою ей приписывают, — а приписывают скорость не малую, чтобы ей успеть обежать заверченный круг только за двадцать четыре часа, — Солнце бы незамедлительно ускользало из нашего обзора.

Наступал черед Аргумента о Градобитии. Град часто падает целый час напролет, но движутся ли тучи на восточие либо же на западенье, на полночь или на полдень, они никогда не покрывают площадь пространнее двадцати четырех или тридцати миль. Если же Земля бы обращалась, и когда грозовые тучи были бы относимы ветром насупротив ее кружения, выходило бы, что град мог побить не менее трехсот или четырехсот миль.

Затем преподносился Аргумент об Облаках. Они парят в мироколице, когда погода спокойна, и вид такой, будто всегда неспешны. Если же бы Земля действительно обращалась, белые облака, плывущие на запад, пролетали бы с дивной быстротой.

Завершался разговор Аргументом о Тварях, обитающих Землю. Они вынуждены были бы по инстинкту всегда перебирать ногами в сторону востока, разгоняемые вращением земноводного шара, на котором стоят. Что же до хода на запад, этот неестественный ход вызывал бы у них противленье.

Роберт отчасти соглашался со всеми этими аргументами, отчасти соскучивался от них и выдвигал против всего услышанного свой главный — Аргумент Желания.

“Ну и все-таки, — отзывался он, — не отнимайте у меня радость думать, что я мог бы подлететь в воздух и увидеть, как за двадцать четыре часа Земля прокрутится подо мною, и проплывут в низине тысячи лиц, разноцветных, белых, черных, желтых и оливковых, кто в шляпах, кто в тюрбанах, и в городах колокольни одни круглые, а другие со спицами, и с крестами и с полумесяцами, и города с фарфоровыми башнями, и селения с шалашами, и ирокезы, которые готовятся сожрать живым военного противника, и женщины живущие по течению реки Тэс-Хем, подводящие губы красками индиго для своих мужчин, самых уродливых на планете. И женщины калмыков, которых мужья предоставляют

в пользование первому пришедшему, как рассказывает путевой журнал мессира Миллиона...”

“Что? Вот я и говорю! Когда философию обсуждают в трактирах, вечные похотливые мысли! А если бы развратные мечтанья тебя не отвлекали, ты бы мог проделать подобное странствие, по соизвелению Господню, кругосветно вокруг земного шара, что не меньшая Божеская милость, нежели подвешиваться к небу”.

Роберт не был в этом уверен, но не умел возразить. Тогда он выбирал самую дальнюю дорогу, отправляясь от других услышанных аргументов, которые тоже, по его мнению, не противоречили идее Располагающего Господа, и спрашивал у Каспара, согласен ли он считать природу грандиозным театром. Декорации и механизмы предрасположены, чтобы производить приятное впечатление издалека, а колеса и противовесы, которыми производится движение, скрыты от публики. И все же среди зрителей может найтись искусный механик, способный угадать, как слажено, чтобы сделанная птица внезапно подлетела в небо. Тому же должен предаваться и философ при лицезрении мира. Безусловно, философу труднее, потому что в природе приводы машин запрятаны изрядно, и в течение долгого времени гадалось, кем же движимы механизмы природы. И тем не менее даже в этом нашем театре, если Фазтон воспаряет к Солнцу, это происходит потому, что на какие-то нити оказывается натяжение и какой-то противовес близится к Земле.

Эрго, торжествовал в заключение Роберт, возвращаясь к той посылке, из-за которой он начал разглагольствовать на данную тему, — сцена демонстрирует нам вращающееся Солнце, но природа этого механизма не такова, хотя это и не заметно с первого взгляда. Мы видим зрелище, но не коромысло, продвигающее Феба, и, что еще более изящно, сами восседаем на том коромысле... Тут, правда, Роберт запутывался, потому что если он прибежал к метафоре коромысла, разваливалась метафора театра и сравнение делалось до того принужденным, что нужда в нем отпадала (как сказал бы Сен-Савен остроязыкий).

Преподобный Каспар отвечал на это, что человек, дабы запела машина, должен обработать дерево и металл

и пробуровать на нужных местах дырки, натянуть на деку струны и елозить по этим струнам смычком; или даже — как он сделал в свое время на “Дафне” — соорудить водяной автомат; а у настоящего соловья, сколько ни заглядывай в глубину глотки, нету такого устройства; се знак, что Господь следует по неисповедимым для нас путям.

Потом он спросил, что если Роберт так уж сильно напирает на идею бесконечных солнечных систем, которые обращаются на небе, не допускает ли он, что каждая из этих систем входит частью в некую систему покрупнее, которая вращается в свою очередь в составе другой системы, еще более огромной, и так далее, и сознает ли он, что продвигаясь такой дорогой можно увидеть себя в положении девицы, совращаемой развратником, которая, пойдя на маленькую уступку, вынуждена предоставлять тому все более и более свободы, поскольку, в сущности, не отпирает его поползновений.

Разумеется, отвечивал Роберт, думать можно о чем угодно. О вихрях без планет, о завихрениях, налетающих друг на друга, о воронках не круглых, а шестиугольных, причем к каждой грани шестиугольной фигуры примаскивается новая воронка, и все вместе слепиваются как будто медосборные соты, но можно вообразить себе и вихри-многоугольники, которые соприкасаются не тесно и остается пустота; природа заполняет пустоту другими, более мелкими водоворотиками, и все они сообщены между собой, как шестерни часового механизма, и их совокупность двигается во вселенных небесах как огромный вихрь водоворотов, который, вертясь, запитывает энергией мелкие колеса, содержащиеся у него внутри, и целое это величайшее колесо прокатывается по небу по гигантскому кольцу протяженностью в тысячелетья, может быть, вокруг иной воронки вихрей водоворотов... На этом месте Роберт рисковал вообще пойти на дно от великого кружения в голове, которое у него вызывали эти мысли.

И именно на этом месте для фатера Каспара начинался звездный час. Ну в таком разе, заявлял он, если Земля обращается вокруг Солнца, ну а Солнце против еще чего-то (с молчаливым допущением, что это еще что-то способно

крутиться вокруг еще чего-то нового), мы получим ситуацию с трансцендентными кривыми, о чем, по-видимому, Роберт должен был слышать в Париже, поскольку именно из Парижа завезли эту теорию в Италию галилеяне, подбиравшие все возможное и невозможное, дабы в мире добавилось беспорядка.

“Что такое трансцендентная кривая?” — спросил Роберт.

“Можешь звать еще трохойдой или циклоидой, мало что переменится. Вздумай колесо”.

“Я уже вздумывал”.

“Нет, не такое, теперь вздумай колесо, как у повозки. Представь, что на ободе колеса гвоздь. Колесо не едет, гвоздь смотрит в землю. Теперь вздумай, как колесо поехало, что делает гвоздь?”

“Если колесо поехало, значит, гвоздь сначала поднимается, потом снова опускается на землю”.

“Значит, думаешь, гвоздь описал окружность?”

“Не квадрат же он описал”.

“Так слушай на это, болванская голова. Скажи, гвоздь приземляется в то место, на которое опирался сначала?”

“Минутку... Нет, повозка-то двинулась вперед, значит, гвоздь упрется в землю значительно дальше, чем он был раньше”.

“Значит, он не описывал окружность”.

“Значит, нет, разрази меня на этом месте!”

“Нельзя выражаться: разрази меня на этом месте”.

“Извините. Что же описал гвоздь?”

“Трохоиду он описал, а чтоб до тебя дошло, скажу: это похоже на прыготно мяча, который ты швыряешь оземь, он от земли отскакивает, после этого описывает полукруг, снова бьется... с той только разницей, что у мячика полукруги каждый раз уменьшаются, а у нашего гвоздя они равномерны, если колесо вращается с равномерной скоростью”.

“И к чему приводит это рассуждение?” — спросил Роберт, чуя убийственность Каспаровой логики.

“Приводит, что ты толкуешь о водоворотах и бесконечности миров и будто Земля вращается, а вдруг и выйдет очевидно, что Земля твоя вовсе и не вращается, а прыгает по бесконечному небу как будто мячик, шлеп, шлеп, шлеп,

хороша траектория для такой важной планеты! Если же твоя теория водоворотов справедлива, значит, и все небесные тела делают шлеп, шлеп, шлеп, это мне препотешно, никогда так не смеялся в моей жизни!”

Затруднительно опровергнуть довод столь утонченный и геометрически идеальный, а также идеально бессовестный, ибо отцу-то Каспару не могло не быть ясно, что нечто сходное будет иметь место даже если планеты будут двигаться по рецепту Тихо Браге. Роберт отправился в постель мокрый и потрепанный, как пес. Ночью он порассудил, не следует ли ему в таком случае отказаться от всех своих еретических идей о вращении Земли. Поглядим, сказал он себе. Если правда окажется на стороне фатера Каспара и Земля не вращается (так как в противном случае она вращается как-то чересчур и нет возможности ее попридержать), что из этого следует? Поставит это под сомнение его открытие антимериديана, и его теорию Потопа, и то обстоятельство, что Остров на горизонте находится во вчерашнем дне? Не поставит ни в малой мере.

А следовательно, сказал он себе, мне, наверное, лучше не обсуждать взгляды на астрономию с моим новым учителем, а поусердствовать в плавании и добиться того, что на самом деле меня интересует, а интересует меня не разбор, был ли прав Коперник или Галилей или этот шарашливый Тихо из Ураниборга, — а поглядеть на Апельсинную Голубку, да совершить прыжок в день вчерашний. О таком ни Галилей, ни Коперник, ни Тихо и ни один из моих учителей и друзей в Париже и не мечтавали.

Поэтому на следующее утро он предстал перед отцом Каспаром как почтительнейший последователь, как в отношении водоплавания, так и астрономии.

Однако отец Каспар, сославшись на волнующееся море и на новые расчеты, которые его чрезмерно занимали, на этот день отказался преподавать ему плавание. К вечеру он объявил Роберту, что учиться плавать можно только при большой концентрации и в молчании, и нельзя, чтобы голова витала в облаках. Поелику Роберт был настроен на совершенно обратное, следовало заключить, что к плаванию у него не имелось дара.

Роберт спросил себя, как же это его преподаватель, столь гордившийся идеей, внезапно оставил дорогой ему замысел. И, по-моему, вывод, к которому он пришел, справедлив. Фатер Каспар забрал себе в ум, будто лежать или даже ворочаться на глади моря под солнышком для Роберта приводило к такому кипению фантазии, что рассудок приобретал опасное развитие. От благорастворения в телесности, от омывания влагою, которая являла собой ту же материю, он в значительной степени оскотинивался, и в его голове заводилось нечто по качеству своему нечеловеческое и дикое.

Поэтому фатеру Каспару Вандердросселю следовало поискать чего-то иного для приближения к Острову, чего-то, что не стоило бы Роберту здоровья души.

25. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА¹



Когда фатер Каспар сказал, что снова воскресенье, Роберт осознал: миновало более недели с их знакомства. Фатер Каспар отслужил мессу, а потом обратился к Роберту с решительным видом.

“Не могу дожидаться, пока ты учишься плавать”, — сказал он.

Роберт ответил, что не виноват. Иезуит согласился, что, может, Роберт и не виноват, но что время идет и непогоды с лесными зверями портят ему Установку, а она требует ежедневного ухода. По этой причине, *ultima ratio*, остается только одно решение: на Остров отправится сам Каспар. На вопрос, как же ему удастся такое, священник ответил, что попытается применить Водяной Колпак.

Он пояснил, что вот уж долгое время изучает, как передвигаться под водой. И собирался даже построить деревянную лодку, обнести ее металлом и сделать двойной корпус, вроде короба в футляре. Длиною этот корабль должен был быть в семьдесят два фута, высотой в тридцать два, шириною в восемь и достаточно тяжел, чтоб вверзиться в глубину морскую. Двигало бы корабль колесо с лопастями, приводимое двумя матросами изнутри, как вращают ослы жернова мельниц. Чтобы видеть, куда корабль плывет, применялся бы трубоспекулум, то есть очко на высокой трубе,

¹ Латиноязычный трактат немца-иезуита, знатока механики Каспара Шотта (1608–1666) “*Technica curiosa sive mirabilia artis libri XXI*” (“Занимательная техника или же чудеса искусства в XXI книгах”, 1664).

которое благодаря поставленным зеркалам позволяло бы наблюдать изнутри все происходящее над поверхностью моря.

Почему он не выстроил эту лодку? Потому что такова природа, — сокрушено разводил он руками, — унижающая нас в нашей малости. Некоторые идеи превосходно выглядят на бумаге, но в действительности они далеки от превосходства, и никто не может объяснить, какова тут причина.

Однако отец Каспар соорудил Водяной Колпак! “И безграмотные людишки, если бы им сказали, что по лону Рейна можно гулять не омочая одежд и даже неся раскаленную головешку, ответили бы, что это благодурствованье. А между тем подобный опыт уже производился, около столетия тому назад, в Испании, близ блокауза Толедо. Вот я и намерен дойти до Острова с помощью Водяного Колпака, шагая, как сейчас я шагаю перед тобой”.

Он снова нырнул в глубины трюма, который поистине представлял собою на “Дафне” неисчерпаемую сокровищницу. Кроме астрономического арсенала, там складировалось много других вещей. Роберту было велено выволакивать из трюма на верхнюю палубу какие-то новые палки и дуги из металла, а также тяжеленную юбку из кожи, до сих пор сохранявшей запах своего рогатого протовладельца. Мало проку было от Робертовых напоминаний, что негоже-де работать в воскресенье Господне: фатер Каспар отвечал, что это вовсе не работа, и в особенности не работа низменная, а исповедание благочинного искусства, и что сегодняшняя рачительность будет ими посвящена усовершению знания великой книги природы. Так что это таково же как и раздумывание над Святынным Писанием, от коего книга природы не далеко отстоит.

Роберт потому был вынужден заняться работою, понукаемый фатером Каспаром, включавшимся в труд на самых затруднительных стадиях, когда металлические части нужно было просовывать в пазы. Проработавши целое утро, они взгородили клетку в форме обрубленного конуса, чуть выше роста человека, из трех обручей, самого узкого сверху, срединного в центре и широкого снизу,

параллельно соединенных посредством четырех наклонных жердей.

К серединному колесу прицепливался подгузник из холстины, на котором мог сидеть человек, и при этом благодаря лямкам, обкручивавшим его грудь и плечи, хомут не только не давал бы ему выпасть, но и сам не осаживался бы вниз, и голова бы не могла проходить наружу через верхнее отверстие.

Пока Роберт гадал, для чего предназначалась постройка, фатер Каспар развернул дубленый фартук, и стало видно, что тот — идеальный чехол для металлического костяка, куда он легко и насадился, зацепляясь крючками за готовые петли таким образом, чтобы, единожды насевши, кожаная полость не сползала. Целокупная постройка представляла собой все тот же усеченный по верхушке конус, закрытый сверху и открытый снизу, или, если угодно, колпак. В его боку, между верхним и средним кругом, открывалось стеклянное окошко. В крышу колокола было вращено мощное кольцо.

Собранный колокол подтащили к площадке кабестана и зацепили за лебедку, благодаря шкиву которой обреталась возможность его поднимать, опускать, вывешивать за борт, снижать и подтягивать, как любой другой тюк, ящик или сверток, грузимый на корабль или сгружаемый с него.

Подъемный ворот немного оборжавел от неупотребления, но потом Роберту удалось раскрутить его и приподнять колпак над палубой, так чтобы была видна начинка. Колпак был готов, он ждал пассажира, готового сесть и привязаться, повиснуть в сердце колокола как повисает в колоколе язык.

Туда мог поместиться человек любой комплекции: достаточно было регулировать рубезки, затужать и ослаблять пражки и узловины. Должным образом подсупоненный, обитатель колпака мог отправляться в путь, неся дом свой на себе, а ремни придерживали окошко прямо напротив глаз, а нижний край колпака доходил путешественнику приблизительно до лодыжек.

Теперь Роберт сам имел возможность вообразить, торжественно провозглашал фатер Каспар, что бы случилось,

если бы лебедка опустила колокол вместе с подвязанным туда человеком в морскую глубину.

“Случилось бы, что пассажир бы потоп”, — отвечал на это Роберт, как сказал бы любой на его месте. На что отец Каспар обвинил Роберта, что он мало еще понимает о “равновесии текучих тел”.

“Ты, может, и веришь, что где-то существует пустота, как тебя учили эти украшения синагоги Сатаны, с которыми ты водил дружбу в Париже. И все-таки, наверное, ты согласишься, что под колоколом не пустота, а воздух. Когда ты погружаешь колокол, под которым воздух, вода не может войти. Или там воздух, или там вода”.

Это справедливо, признал Роберт. А значит, как бы глубока ни была пучина моря, человек в ней может идти, и вода в колпак не вступает, хотя бы вплоть до того времени, пока человек своим дыханием не вытребует весь воздух, преобразовав его в пар (который виден, когда дышим на зеркало). Пар же этот, будучи жиже воды, ей постепенно освобождает место — окончательное доказательство, ликовал отец Каспар, что природа не терпит пустот. Но при колоколе таких размеров у пассажира в распоряжении имеется, как подсчитал отец Каспар, по меньшей мере тридцать минут времени. Берег представлялся отдаленным, если до него плыть без лодки, но пешком эта прогулка, наверное, не будет долгой, потому что на полупути пролегает коралловый волнорез, из-за которого, кстати, шлюпке в свое время не было прямого хода к Острову и она должна была заходить в бухту за мыс. На некоторых участках рифа кораллы почти торчали из воды. Дополнительное сокращение дистанции достигалось, если наметить экспедицию на час отлива. Надо только добраться до хребта, а там, как выйдешь на место, где вода по колено, свежий и добрый воздух снова ворвется в колокол.

Но как удастся Каспару продвигаться по донной почве, должно быть, заставленной преградами, и как он подымет на скалы, отроги которых круты, а кораллы режут хуже лезвий? И как добиться, чтобы колокол опустился в воду, не опрокинувшись и не вытолкнувшись из жидкости тем же

манером, которым всякого ныряющего выпихивает на поверхность вода?

Отец Каспар с хитрейшей улыбкой добавил, что Роберту не пришло в голову самое важное возражение. А именно, что для погружения в воду колокола, в котором воздух, должен прийти в движение объем воды, эквивалентный объему колокола, и вес этого количества существенно превзойдет вес погружаемого тела, и образуется противность. Так вот, чтоб этого не опасаться, присчитаем к весу самого колокола и фатер-каспаровы фунты, а кроме того, наденем Металлические Подковы! И с видом человека, у которого продумано все до мелочей, Каспар вынес из неисчерпаемого трюма пару сапог с железными подпятниками по пяти дюймов, с застежками у колен. Железо должно было служить балластом, к тому же подошвы защищали ступню от острых камней. Путь в таких сапогах, разумеется, замедлялся, но зато можно было не думать, куда опираешь ногу.

“Но как же из котловины вам выбираться на берег, когда дорога пойдет резко вверх!”

“Ты не был, когда опускали якорь. Я промерил дно лотом. Нет провалов. Если бы “Дафна” прошла еще немного вперед, пропорола бы киль!”

“Но как вы удержите на голове колокол, такую тяжесть?” — не успокаивался Роберт. А отец Каспар на это, что в воде тяжесть перестает ощущаться, и Роберту тоже это следовало бы знать, и он знал бы, если бы имел опыт, толкал бы шлюпку, или пробовал выудить рукой железный шарик из ванночки, он бы помнил, что тяжесть вещей в воде совсем не такая, как на воздухе.

Роберт, увидев упрямство старика, старался отдалить момент его похода. “Но даже опустивши колпак на дно журавлем, — говорил он, — как удастся отцепить его от каната? А в противном случае веревка не даст вам уйти и вы от корабля не удалитесь”.

Каспар отвечал, что как только он достигнет дна моря, Роберт почувствует удар колокола о почву и натяжение каната прекратится. Тут надлежит веревку перестричь. Неужели, по представлению Роберта, возвращаться он станет той же

дорогой? Нет, конечно! Достигнув Острова, иезуит вступит во владение прекрасной шлюпкой и на ней обратно доплывет до “Дафны” с помощью и волею Господней.

Но когда выйдет Каспар на землю, даже если он выпутается из лямок, ведь колпак, не будучи присоединен к другой лебедке, не захочет подниматься и выпускать преподобного узника из недра? “Вы что, хотите провести остаток своих дней на острове в заключении в кожаной машине?” Но старец отвечал, что, как только высвободится из подгузника, уж оболочку-то колокола он вспорет без труда острым ножиком и заново родится на свет, как Минерва из головы Юпитера.

А если подле морского дна Каспару повстречается большая рыба, из тех, что нападают на людей? Иезуит расхохотался: даже самая свирепая акула, надо полагать, повстречавшись с блуждающим колпаком, перетрусит, как перетрусили бы и люди, и спасется стремительным бегством.

“Ну ладно, — подвел итог Роберт, искренне озабоченный судьбой друга. — Вы стары и немощны, если кому-то и пробовать, то мне!” Отец Каспар поблагодарил его, но отвечал в таком духе, что Роберт-де уже неоднократно продемонстрировал свою легковесную натуру и неизвестно, на какие дурости он оказался бы горазд, сойдя в колоколе; что он, Каспар, уже отчасти ознакомился с этой областью моря и с этим рифом и похожие рифы он уже исследовал в других местах, когда плавал на плоскодонке; что колокол соорудил он сам и сам имеет понятие о всех его прелестях и пороках; что он понимает побольше Роберта в гидростатической физике и будет знать, как выйти из затруднения в случае внезапных помех; и наконец, заключил он речь последним аргументом в свою пользу, “я имею веру, а ты нет”.

И Роберту стало ясно, что это вовсе даже не последний, а главный довод, и конечно же, самый прекрасный. Фатер Каспар Вандердроссель веровал в свой Водяной Колпак, как он верил в Мальтийскую Установку, и верил, что именно Колпак поможет ему достичь Установки, и верил, что

все, что он делает, совершается в Господнее имя и во славу. А поскольку вера движет горы, она, несомненно, сумеет доставить и Водяной Колокол на Остров.

Оставалось собирать на мостике колокол и готовить к погружению. Это занятие отняло у них весь день до ночи. Промазать жиром колпак, чтобы ни вода не проходила внутрь, ни воздух вовне не просачивался. Следовало варить особую смесь на медленном огне: три части воска, одна часть венецианского терпентина, четыре части клея, используемого столярами. Затем пропитать этой субстанцией кожу и выдержать до следующего дня. А потом другой промазкой из дегтя и воска надо было залакировать все щели по краям окошка, где стекло прикреплялось особым клеем, а поверх клея нанести слой смолы.

“Omnibus rimis diligenter repletis”¹, сказав так, отец Каспар провел ночь в молитвенном бдении. На восходе они проверили колокол, все его завязки и крюки. Каспар выждал наилучший миг, когда можно было использовать осушающее действие отлива, но чтобы солнце стояло уже достаточно высоко и таким образом освещало воду впереди от идущего, отбрасывая все тени за спину ему. Потом они обнялись.

Отец Каспар повторил, что речь идет об усладительнейшей вылазке, в ходе которой он сумеет увидеть такие дива, с которыми ни Адам, ни Ной не знакомились, и опасался, что предастся гордынной греховности, ибо тщеславится, будучи первым из человеческого рода, кто сойдет на дно морское. “Притом, — добавил иезуит, — это и доказательство смирения: Господь прошествовал по водам, я же пройду под водами, как приличествует грешному”.

Нужно было только поднять колокол, опустить его на Каспара и проверить, способен ли он перемещаться куда ему надо.

В течение нескольких минут Роберт присутствовал при эволюциях улитки, даже не улитки, а какого-то гриба, пере-

¹ Надлежаще просмолишь щели внутри и снаружи (лат.). — Бытие 6—14.

кати-поля, переползавшего тягуче и неуклюже с частыми остановками и разворачивавшегося целым боком, когда ему требовалось на что-то взглянуть. В большей степени чем ходьбой, движения ходячей шляпы казались гавотом или каким-то еще старинным танцем, удвоенно несуразным из-за отсутствия музыки.

Наконец отец Каспар, удовлетворенный своими пробами, и таким голосом, который как будто раздавался у него из-под подошв, велел приступать к опусканию.

Колпак установился около лебедки, Роберт его подцепил и начал действовать воротом, потом решил посмотреть, все ли в порядке и не выпадает ли из колокола подвешенный иезуит. Тот, раскачиваясь в своем футляре, заверил, что все подвесы надежны, но что действовать следует поскорее: “Эти копыта вырывают мне ноги из брюха! Скорее опускай меня в воду!”

Роберт прокричал еще несколько ободряющих фраз и погрузил в морские волны и кожанный гриб, и его поселенца. Труд был нелегкий, приходилось в одиночку справляться с задачей нескольких матросов. Поэтому размот кабестана показался ему бесконечным, казалось, уровень воды постепенно понижался сообразно тому как Роберт прилагал все более отчаянное усилие. Наконец послышался плеск, он почувствовал, что напряжение сократилось, и еще через несколько мгновений (показавшихся годами) колесо лебедки пошло вхолостую. Значит, колокол сел на дно моря. Роберт отрезал канат и кинулся к борту, чтобы посмотреть, что внизу. Внизу ничего не было.

От фатера Каспара и от колпака не оставалось никакого следа.

“Вот же, иезуитская голова, — в восхищении сказал сам себе Роберт. — Вот же, сумел! Подумать только: там, под водою, разгуливает себе иезуит, а кто бы мог это заподозрить? И может, дно всех на свете океанов кишмя кишит иезуитами, а кто бы мог заподозрить?”

Вслед за тем его охватили мысли более рассудительные. Что отец Каспар находится там, в этом не могло быть сомнения. Но что он оттуда выберется куда-нибудь, это еще не было доказано.

Роберту показалось, что вода в том месте беспокойна. День был выбран еще и за то, что погода стояла превосходная; но все-таки во время последней подготовки поднялся ветер, который здесь, на рейде, только-только наморщивал водяные глади, но вблизи берега создавал какое-то волнение, которое у оголенных отливом скал могло усугубить трудность высадки.

Возле северного мыса, там, где скала сходила в море стремительно-отвесно, клубы пены лупили о каменную стену и раздроблялись на воздухе роем белых искр. Разумеется, это волны резались рядами мелких незаметных зазубрин, полувысунутых из-под воды, но с корабля казалось, будто дракон изрыгает хрустальные вздохи из скрывающих ярость пучин.

Тем не менее берег выглядел спокойным, зыбь простиралась только до половины дороги, и в глазах Роберта это был хороший знак: именно там, надо думать, пролегала борозда за коралловым рифом, и значит, добредя туда, фатер Каспар находился бы уже в безопасности.

Где же сейчас старик? Если он идет с той минуты, как опустился на дно, время ему уже достичь суши... Но сколько на самом деле времени прошло? Роберт потерял чувство пролетающих мгновений, каждая частичка времени воспринималась им как вечность, и теперь он старался переосмыслить инстинктивный результат и уговаривал себя, что преподобномудрый сошел совсем недавно и, наверное, еще копошится под килем, ориентируется. Но тут появлялась забота: что если канат, закручиваясь по мере спуска, завертел колпак на полоборота, и потому фатер Каспар, сам не зная того, оказался с окошком, глядящим на запад, и по этой причине ушел в открытый океан?

Потом Роберт сказал себе, что, поворотившись на запад, любой бы понял, что дно в том направлении не восходит, а опускается ниже, и вернулся бы в сторону подъема. Да, но что если в том месте случайно подымала свои края какая-нибудь дюна? Неважно, все равно указателем должен был служить свет солнца. Да, но насколько проникается светом солнца морские глубины? И как доходят туда лучи — будто через витраж храма, направленными пучка-

ми, или они раздробляются, преломляясь в каплях влаги, и глядящий со дна видит луч как мерцание, лишенное направления?

Нет, перебивал он сразу же сам себя. Старец знает, куда и зачем держит он свою дорогу, он уже на полупути от корабля к волнорезу и, более того, уже достиг своей цели и сейчас выкарабкивается на своих здоровенных подошвах и через миг я его увижу...

Другая мысль. Действительно, до сегодняшнего дня никто из людей не углублялся в морскую пучину. Кто может знать, а вдруг на глубине нескольких футов наступает великая чернота, обитаемая только теми тварями, из очей которых сочится призрачный блеск? И кто знает, присутствует ли на глубине моря чувство прямого пути? Может, старик кружит по собственному следу, повторяет пройденные круги, вплоть до мига, когда воздух внутри его грудной клетки претворится в мокроту и затаяет родственную стихию влаги в середину колпака...

Он сожалел, что не запасся, идя на мостик, хотя бы песочными часами. Сколько прошло минут? Может, и более получаса, уввы, вполне вероятно что и более, и вот Каспар уже задыхается внизу. Роберт задыхался. Опамятовавшись, набирал полные легкие воздуха, приходил в себя и убеждал себя, что вот как раз доказательство, что на самом деле времени прошло еще очень мало, и что у фатера Каспара еще есть в запасе чистый воздух.

Иезуит имел полную возможность пойти вкось вдоль берега, и Роберту не имело смысла вперивать взор строго вперед себя, как если б Каспар был обязан выбирать-ся на привалье в месте напротив судна, на дистанции выстрела из аркебузы. Он мог отдалиться в любую сторону, выбирая самый удобный подступ к коралловой мелине. Не говорил ли он, когда подвязывали колокол к кабестану, что это удивительно удачное место, потому что в десяти шагах от той точки риф обрывается вниз и там стоит гладкая стенка, о которую однажды стукнулась лодка, а вот именно напротив спуска колокола имеется проход, и там легко проходила шлюпка и мягко выплывала на береговой

песок в месте, где каменные скалы постепенно подымались к пляжу.

Вот, может быть, он спутался в маршруте и оказался у подножия стены, и теперь бредет вдоль нее в южном направлении, отыскивая проход. А может, он огибает стену в северном направлении. Поэтому берег следовало осматривать по всей его ширине, от северной оконечности до южной, иезуит мог вынырнуть где придется, опутанный водорослями... Роберт вертел головой туда и сюда вдоль линии залива, опасаясь, что, вглядываясь в левый край, он может не заметить Каспара, вышедшего на правом. Хотя на этом расстоянии не рассмотреть человека было невозможно, а уж тем более не потерялся бы из виду кожаный колпак, сверкающий брызгами на солнце, как медная кастрюля.

Рыбина? Может, и вправду в глубине воды повстречалась людоедка, собака-рыба и, не утраченная колоколом, растерзала иезуита? Невозможно! Роберт разглядел бы ее черную тень. Если встреча имела место, то между кораблем и подступами к коралловому отрогу, никак не дальше. Нет, видимо, старец добрался до барьера, но какие-то животные или минералы своими шипами продырявили колокол, и вышел тот немногий воздух...

Еще одна мысль. Кто меня уверит, что воздуха в колоколе действительно хватило на порядочное время? Уверял Каспар сам, но ведь и он ошибается. Он ошибался, когда уверял, что таз с ворванью сработает. В конечном счете, добрейший фатер часто оказывался сумасбродом и, может быть, все его рассуждения о Великом Потопии, об антимеридиане, об Острове Соломона не иное как бредни. И потом, если бы он был и прав относительно Острова, может, он ошибся именно в подсчете количества воздуха, необходимого человеку. Кроме того, кто поручится, что наши масла, замазки и клеи действительно просмолили все щели в обшивке? А что если в данную минуту внутренность колокола напоминает те гроты, в которые сочится влага с потолка и всех стенок? Если кожаная полость пропускает воду, как губка, разве наша собственная кожа не являет собою сито из невидимых дырок, через которые, однако, пот выпаривается

каплями? Если такова кожа человека, почему должна иною быть бычачья? Быки разве не потеют? Но если идет дождь, бык что, промачивается насквозь?..

Роберт заламывал руки и проклинал свою поспешность. Конечно, ясно: когда он мнил, будто пробежали часы, на самом деле пролетели только миги, немногие сокращения пульса. Он сказал себе, что не имеет никаких причин дрожать, он, Роберт, и гораздо более причин на то имеет отважный старец. Может быть, Роберту следовало споспешествовать путешествию иезуита молитвой или же хотя бы надеждой и упованием на удачу.

И к тому же, сказал он себе, я навоображал чересчур много перипетий трагедии. Меланхоликам свойственно изобретать напасти, которым реальность не в силах противоборствовать. Отцом Каспаром изучены законы гидростатики, он промерил дно этого моря, он изучал Потопие и даже те окаменелости, которые находятся в морях. Спокойствие, сказал Роберт, надо только чтобы я усвоил, что миновало совсем немного времени, и сумел подождать.

Он осознал, что полюбил, что любит того, кто представлялся некогда Посторонним, и он понял, что плачет уже сейчас — от мысли, что с ним могло приключиться недоброе. Ну, старый, бормотал он, вернись, возродись, воскресни, во имя всех чертей, и скрутим шею самой откормленной куры, ты же не хочешь оставить без призора свою Наблюдательную Постройку?

И внезапно он отдал себе отчет в том, что скалы около суши уже не виднеются из моря, значит, море прилило к берегам; и солнце, которое до этого смотрело прямо ему в лицо, теперь отвесно прожаривает темя. Значит, от момента опускания колокола миновали не минуты, а часы.

Он был вынужден проговорить эту истину вслух и громким голосом, чтоб уверовать. То, что он принимал за секунды, были минуты. Он убеждал себя, что внутри груди у него обезумевший механизм, чье биение слишком быстро, а на самом деле помещенные в тело часы не торопили, а замешкивали свой гон. Неизвестно как давно, стараясь себе внушить что отец Каспар только что погружен, он поджидает существо, воздух у которого не мог не кончиться и чье

время истекло. Неизвестно как давно он дожидается появления тела, которое безжизненно покоится у придонного бугра под водой.

Что могло приключиться? Все. Все из того, о чем думал Роберт. Не злосчастные ли его фантазии накликали беду, не сам ли Роберт черными мыслями навел злую долю на старца? Гидростатические принципы фатера Каспара могли оказаться непроверенными. Может, вода в данном опыте заходит в колокол и снизу, в особенности если тот, кто в нем идет, движениями выбрыкивает воздух из обиталища? И впрямь, много ли понимал Роберт о равновесии жидкостей. А может, падение в воду было чересчур стремительно, колокол перевернулся? Или, может быть, Каспар споткнулся, когда пошел? Сбился с дороги? Или более чем семидесятилетнее сердце, не умея соответствовать его порывистости, остановилось? И наконец, кто поручится, что на такой глубине вес воды, навалившись на скорлупку, не расплющил ее, как лимон или фасолину?

Но если священник погиб, разве труп не всплывет? Нет, он отягощен железными котурнами, из которых его бедные ноги высвободятся только когда совместными усилиями едкой влаги и маленьких голодных рыбок оголится скелет и отполируются иезуитовы кости...

Вдруг, как-то внезапно, у Роберта наступило просветление. О чем это он тут бормочет и сокрушается? Ну разумеется, ведь сказано же Каспаром, что Остров, который видится напротив, это Остров не сегодняшнего, а вчерашнего дня! Как Роберт может ждать, что на берег, где сегодня еще не наступило, выйдет тот, кто спустился в воду сегодня? Невозможно! Погружение состоялось в понедельник на заре утром, но на Острове стояло до сих пор воскресенье, и фигура старика вырисовывается на излучине только завтра в утренний час, когда понедельник на Острове наступит...

Значит, надо дожидаться завтра, сказал он себе. Однако... Каспару невозможно до завтра ждать, у него воздуха лишь на малое время! И сам себе возразил: да это мне надо ждать, а не Каспару, Каспар просто возвратился в воскре-

сенье, как только пересек линию меридиана. О Господи, но тогда, значит, видимый мною Остров не находится в воскресенье, потому что если в воскресенье туда высадился старик, я должен бы этого старика мочь сейчас видеть!

Нет, я путаю все. Остров, видимый мной, лежит в сегодняшнем дне. Невозможно, чтобы я созерцал прошлое, как сквозь магический шар. Это только там на Острове, только для Острова самого, все еще длится вчерашний день. Но если для меня виден Остров сегодняшний, должен быть виден и старик, который в островном вчера уже присутствует и сейчас снова проживает воскресный день... Как бы то ни было, высадишь старик вчера, высадишь сегодня, но должен же оставаться на песке вспоротый колокол! Однако колокола не видно. Может, старик заташил колокол в рощицу? Когда он это мог сделать? Вчера. Так, поразмыслим еще раз. Предположим, что видимый мною берег Острова обретается в воскресенье. Если я подожду до завтра, значит, я увижу появление старика в понедельник...

Мы могли бы сделать вывод, что Роберт окончательно лишился рассудка, и не без причин: с которой стороны он ни считал, концы с концами не увязывались. Парадоксы времени способны сводить с ума и нас. Поэтому было нормально, что Роберт не в состоянии был уяснить, что ему делать. Тогда он ограничился тем, что любой и каждый, кто оказался в роли жертвы собственной надежды, сделал бы. Прежде чем охватиться отчаянием, он решил подождать наступающего дня.

Как он ждал, нелегко восстановить. Шагал взад и вперед по мостику. Не притрагивался к еде. Разговаривал с собой, с фатером Каспаром и со звездами и, скорее всего, часто обращался за помощью к крепкой водке из бочонка. В любом случае мы находим Роберта на палубе на следующее утро, в то время как ночь бледнеет и окрашиваются небеса, а немногим позднее того подымается солнце, и он все более напряжен по мере того, как часы протекают, вот он уже в неистовстве между одиннадцатью и полуднем, вот он вне себя в промежутке от полудня до заката, вот наконец сдается перед неопровержимостью — и на этот раз без всякой тени сомнений. Вчера, несомненно вчера фатер Каспар

спустился под толщу вод южного океана, и ни вчера ни сегодня он не выходил оттуда. А поскольку вся диковинность антиподного меридиана состоит в перепрыгивании со вчера на сегодня, никак не со вчера на послезавтра или с завтра на запозавчера, не подлежало сомнению, что из моря фатер Каспар не выберется уже никогда.

Имелась математическая, более того, космографическая и астрономическая уверенность, что бедный друг его погиб. И не имелось понятия, где находится тело. В неопределенном месте внизу. Может быть, существовали неистовые течения под водою и тело унеслось ими в открытый океан. Или же нет, мог существовать под “Дафной” обрыв или колодец, туда провалился колокол и иезуит был погребен под ним, истрачивая свое небольшое дыхание, все сильнее насыщавшееся мокротою, на стоны о помощи.

Может, желая спастись, он взрезал путы и колокол, временно сохранявший воздух, сделал скачок в вышину, но металлические ковы укротили импульс и освободившемуся пришлось зависнуть в толщине вод, неизвестно в котором месте. Фатер Каспар хотел скинуть сапоги, но не умел совладать с замками. И теперь внутри расщелины, пронизывающей скалу насквозь, безжизненное тело бултыхается, как водоросль.

И покуда Роберт так думал, солнце вторника переместилось уже куда-то за его плечи и час гибели фатера Каспара становился все более и более далеким.

Закат лил желтуху на небо за мрачную зеленью Острова, вода была цвета Стикса. Роберт понял, что натура сокрушается с ним вместе, и как бывает с теми, кто лишился дорогого человека, постепенно начал плакать не о его несчастье, а о собственном, и о собственном вновь обретенном одиночестве.

Только несколько дней Роберт был от одиночества избавлен, фатер Каспар превратился ему и в друга и в отца и в брата и стал его семьей и родиной. Отныне Роберту предстояло снова быть отрешенцем и отшельником. И отныне навсегда.

И все-таки среди уныния новая иллюзия обретала форму. Он был уверен отныне, что единственно куда ему можно выйти из заключения, это не в Пространство, а во Время.

Теперь уж точно он должен был научиться плавать и достичь того Острова. Не затем, чтобы найти останки отца Каспара, затерянные в складках минувшего, а чтоб предотвратить чудовищное наступление собственного завтра.

26. ТЕАТР ЭМБЛЕМ¹



Ири дня Роберт не отлипал от запасного телескопа, сетуя, что первый, мощнее, привелся в негодность. Он наблюдал за береговой рощей. Ждал: взлетит Апельсиновая Голубица.

На третий день, содрогнувшись, сказал себе, что утрачен единственный товарищ, сам он пропадает на этих далеких долготах, однако ждет утечи от пернатого, которое пропорхнуло, вероятно, только в бреднях утопшего иезуита!

Он решил переосвидетельствовать свою твердыню, чтоб понять, сколько времени продержится на борту. Куры продолжали класть яйца, вывелись цыплята. Что до собранных растений, выжили немногие, ббольшая часть пересохла, их следовало отдать птицам. Воды имелись считанные бочонки, правда, в ближайшие дожди он рассчитывал пополнить запас. И, наконец, улов обещал быть регулярным.

Потом пришла мысль о том, что не имея зеленой пищи, он умрет от цинги. В оранжерее что-то зеленело, однако для полива требовались осадки. В период засухи, разве расходовать питьевой запас. А если грозы и бури зарядят на долгое время, питье накопится, но невозможным делается рыболовство.

Дабы утихомирить печали, Роберт зачастил в залу с органом, от Каспара он научился пускать машину и без конца

¹ Название книги итальянского литератора Джованни Ферро (1582–1630) “Teatro d’Imprese” (1623).

слушал “Дафну”, менять валики не умел. Но его не утомляла мелодия, он отождествил корабль “Дафну” с естественством любимой женщины. Не Дафной ли звали ту, что претворилась в лавр, в древесный ствол, и не из стволов ли выстроен корабль? Значит, мелодия пела о Лилее. Как видим, цепь ассоциаций не блистала логичностью — но такие уж были ассоциации у Роберта.

Он корил себя, что из-за встречи с Каспаром отвлекся, охватился механическим соблазном и не блюл любовный обет. Единственная музыка, к которой он не знал слов, если слова, конечно, вообще имелись, стала молитвой, и он заповедал себе ежедневно исполнять ее на машине. “Дафна”, воспроизводимая водой и ветром в таибницах “Дафны”: параболы пресуществления Дафны в мифе. Каждый вечер, созерцая небо, он тихонько напевал. Это было как литания.

Потом возвращался в жилище и писал Лилее.

Работая, он задумывался о том, что предыдущую неделю провел на воздухе и в дневные часы, а теперь опять вдался в полутьму, в обычные для него условия не только житья на “Дафне” до появления Каспара, но всего десятилетия, прошедшего с казальского удара.

Правда, не верится, чтобы Роберт просуществовал все эти годы, как пытается показать, в ночном режиме. Что не злоупотреблял солнцепеком — вероятно; но за Лилеей он ходил в дневное время. Полагаю, недомогание сопрягалось больше с мрачным духом, нежели с глазным расстройством. Роберту свет мешал лишь при печали, а развлекаясь чем-то приятным, он не обращал вниманья на свет.

Независимо от того, что было тогда и прежде, в первый вечер он впервые философствовал о прелести тени. Пища и подымаемая орудие, чтобы макнуть в чернила, он видел свет: то золотой ореол на листе, то восковую и прозрачную зыбь кругом контура пальцев. Свет будто прятался в кисть руки и выглядывал только с краю. Все обворачивалось сокровенною капуцинскою рясой, нежным ореховым свечением, которое трогало тень и умирало в тени.

Впериваясь в огонек свечи, Роберт угадывал там два жара: красный, прогрызавший поглощаемый воск, и второй, этот второй дыбился ослепительно-бело, исходил будто

паром, удаляясь от собственного корня незабудкового цвета. Так, говорил Роберт, и моя любовь, питаясь отживающим организмом, приращивает плоть к небесному прообразу любимой.

Намереваясь отпраздновать после несколькодневного дезертирства свое возвращение в сумрак, он отправился на шканцы в то время как тени распространялись повсеместно, покрывая корабль, море, Остров, где теперь было заметно только скорое потемнение холмов. По деревенской привычке он попробовал разглядеть на берегу, есть ли там светляки, одушевленные крылатые искры, брызжущие в темных кустах. Светляков Роберт не обнаружил и поразмыслил о наоборотности антиподов, у которых, возможно, светляки делают свою работу в сияющий полдень.

Потом он разлегся на баке и запрокинул лицо под луну, предоставляя, чтоб его убаюкивало качанье мостков, в то время как с Острова докатывался плеск отлива, смешанный со стрекотаньем сверчков, то есть их аналогов здешнего полушарья.

Он раздумывал: краса дня напоминает красоту блондинки, между тем как краса ночи — черная прелестница. Смаковал противоречивость томления по светлой деве в самой густоте ночной черни. Вспоминал косы цвета урожая, затмевавшие другие источники света у Артеники, и делал вывод: луна тем хороша, что отражает своим мерцаньем лучи отсутствующего солнца. Пообещал себе использовать новообретенные дни, чтобы искать в бликах на океанской глади отсветы злата волос и голубизны глаз любимой.

Упивался красотами ночи, когда мнится, будто все отдыхает, и звезды движутся медлительнее, чем солнце, и кажется, что ты единственный в мире отдаешься мечтанью.

Ночью он почти дал слово, что обоснуется на корабле остаток жизни. Но взирая на небеса, заметил стайку звезд, которые неожиданно объединились в голубиный абрис, с растопыренными крыльями и с маслянивою веточкой во рту. Вообще-то бесспорно, что на небе южного полушарья, неподалеку от созвездия Большого Пса, уже за сорок лет до того было открыто созвездие Голубя. Но я не слишком убежден, что Роберт с того места, где находился, в то время

суток и в тот сезон года мог наблюдать именно это сочетание. Как бы то ни было, те, кто разглядел на небе птичку (как Иоганн Бауэр в “*Uranometria Nova*”, или позднее как Коронелли в своей “*Книге полушарий*”), демонстрируют фантазию почище Робертовой. Я бы сказал, что любое расположение звезд в эту пору могло сложиться в глазах Роберта голубем, горлинкой, воркуном, сизарем, турманом, трубачом, клинтухом; хотя утром он усомнился в истинности ее существованья, но Апельсинная Летунья засела у него в голове как гвоздь, или, увидим мы позднее, как чистого золота булавка.

Действительно, попробуем дознаться, почему с первого полуслова иезуита среди всех прочих див, которыми мог очаровать Роберта Остров, именно порхающая Багряница оказалась на первом плане.

Мы увидим, сообразно тому как станем исследовать повесть, что в воображении Роберта (которое от одиночества ото дня ко дню распаялось и распаялось) голубка, едва намечавшаяся в рассказе, приобретала тем большую реальность, чем менее реальна была возможность ее увидеть, это непознаваемое средоточие страстей любвеобильного Роберта: она вызывала восхищение, почтение, поклонение, упование, ревнование, зависть, ликование и восторг. Роберту было неясно (и потому неясно должно быть и нам), тождественна ли она Островине, или тождественна Лилее, или и той и другой, или вчерашнему дню, в котором все три любимые были в единстве; Роберту, заточенному в нескончаемом сегодня, будущее сулило некое необыкновенное завтра — когда он сможет совершить прыжок во вчера.

Можно было бы сказать, что Каспар привел ему на память Соломонову Песнь Песней, которую, кстати, и кармелит читывал не раз и вдолбил ему в голову; с отрочества медосладостная отравка точила его, томя по той, у кого глаза голубины, по голубке, на чей лик любоваться и вслушиваться в ее голос в расщелинах скал... Однако все это мне годится лишь в определенной степени. Не обойтись, полагаю, без “Отступления о голубке”, конспективной пробы трактата с рабочим названием “Голубица

распространенная” (“*Columba patefacta*”), и это не пустяшная трата места. Отводят же некоторые полные главы на рассуждения о Чувствах Китов, притом что киты — довольно простые черно-серые звери (в крайнем случае белые, правда их только один). Наш же предмет — *gaga avis*¹ еще более невиданной расцветки, но из разряда птичек, о которых человечество высказывалось поактивнее, чем о китах.

В том-то и штука. Говорил ли он с кармелитом, дискутировал ли с отцом Иммануилом, встречал ли эту тему в трактатах, бывших в семнадцатом веке в великом почете, слушивал ли в Париже лекции о том, что тогда именовалось Эмблемами или Замысловатыми Картинами, худо-бедно Роберт был обязан кое-что знать о голубях.

Вспомним, что в означенную эпоху изобреталось и переизобреталось много рисунков, чтобы ухоранивать в них тайные зашифрованные смыслы. Завидев, не говорю уж цветок или крокодила, но даже и корзину, лестницу, сито или колонну, ее облепливали кучей смыслов, которые на первый взгляд к картинке отношения не имели. Не станем разбирать разницу между Гербом и Эмблемой, и как различными способами эти изображения сочетались с Девизами и Подписными стихами (скажем вкратце, что Эмблема идет от конкретного качества, не обязательно показанного на рисунке, к общему рассуждению; а Герб соотносит конкретный показываемый предмет со свойством или намерением конкретной личности, скажем “я непорочнее снега” или “хитроумнее змеи”, или “умру, но не отступлюсь”, в том же ряду вошедшие в пословицы “*Frangar non Flectar*”² и “*Spiritus durissima sicut*”³). Люди того столетия считали обязанностью преобразовывать мир в чашу Символов, Знаков, Конных Игрищ, Маскарадов, Живописностей, Языческих Трофеев, Почетных Добыч, Гербов, Иронических Рисунков, Монетных Чеканов, Басен, Аллегорий, Апологий, Эпиграмм, Сентенций, Двусмысленностей, Пословиц, Вывесок, Лаконичных Эпистол, Эпитафий, Комментариев, Лапидарных Гравировок, Щитов, Глифов, Медальонов... и тут

¹ Редкая птица (*лат.*).

² Сломится, но не согнется (*лат.*).

³ Дух самое твердое переваривает (*лат.*).

позволю себе остановиться, хотя они не останавливались. Так, всякий порядочный Герб должен был быть метафоричен, поэтичен, должен был скрывать, разумеется, потаенную Душу, которую надлежит выискивать, но и прежде всего — иметь чувственное тело, воспроизводящее предмет мира. От Герба ожидалось благородство, изумительность, новизна вместе со знакомостью, абстрактность вместе с реалистичностью, необычайность, пропорциональность пространству, острота и краткость, двусмысленность и прямота, явность и загадочность, соответствие, уникальность, героизм.

Герб рождался в продумываниях и отражал тайные связи; это был стих, но не звучащий, а составленный из немого знака и из девиза, по поручению знака глаголящего к глазам. Герб был прециозен только в той степени, в которой замысловат. Его сиянье было блеском жемчужин и бриллиантов, являемых по очереди, по зерну. Герб рассказывал много, но нешумливо: там, где Эпическая Поэма требовала сюжета и эпизодов, а Историческая Повесть предполагала комментарии и речи, Гербу было достаточно пары линий и слога слова. Его ароматы источались неуловимыми флюидами, и лишь их учуяв, удавалось разглядеть предметы под личинами, как бывает, когда Чужеземцы или Маски. Герб утаивал более нежели открывал. Дух не обременялся материей, а питался сутью. Герб обязан был быть (в терминологии, бытовавшей в тогдашней моде и нами уже употреблявшейся) *предивным*, то есть *диковинным*, попросту говоря *удивительным*.

Ну, и есть ли что предивнее Апельсинноокрашенной Голубицы? Спросим даже, есть что дивнее, нежели Голубица сама по себе? О, сокровищница смыслов, упрятанная в символе голубки! И каждый смысл тем острее, чем сильнее контрастирует с остальными.

Первыми заговорили о Голубе, естественно, египтяне, от самой стариннейшей “Иероглифики” Горополлона, и среди многих созданий именно это животное почиталось наичистейшим, тем паче что когда случались моровые болезни, осквернявшие и людей и вещи, от них спасены были те, кто питался голубями. Казалось бы, это объяснимо, поскольку

голубь единственное существо, природой избавленное от желчи (от яда, который все одушевленные твари носят около печени), и говорил в свое время Плиний, что если захворает голубь, он поклоет листочек лавра и исцеляется. Лавр = Дафна, какие вам еще объяснения.

Однако при всей чистоте голубь являет собою и символ пагубы, ибо похотливостью себя вкрай изводит. Целые дни проводят они в поцелуях (“удвоя лобзанья, дабы любящие уста смолкали”) и переплетая языки; от того рождаются многие выраженья (голубиться в смысле любиться), используемые поэтами. Не будем забывать: Роберту не могли быть неизвестны строки “Где, смешивая жаркий пот лица, /на ложе, в иступлении желаний, /голубясь, сладострастные сердца /берут друг с друга урожай лобзаний...”. Заметьте, что если прочие скоты имеют время для любви, у голубя нет сезона года, когда бы он не крыл голубку.

Начнем с того, что происходят голуби с Кипра, острова, посвященного Венере. Апулей, да и кое-кто до Апулея, рассказывает, что колесница Венеры влечется белоснежными голубями, зовомыми как раз Венериною птицей по крайней любчивости. Другие помнят, что Греки называли “peristera” голубку, потому что в нее превратилась по воле ревнивого Эрота нимфа по имени Перистера, излюбленная Венерой, которая помогствовала ей в соревновании, кто больше сберет цветов (что, кстати, подразумевается под “излюбленная”?).

Элиан пишет, что голубки были посвящены Венере, потому что на горе Вересковой в Сицилии устраивался праздник, когда богиня пролетала над Ливией; в этот день года над всею Сицилией нельзя было видеть голубя, потому что все они пересекали море, чтоб эскортировать богиню. После этого, через девять дней, от ливийских побережий прибывала на трехконечную Тринакрию (Сицилию) голубица “цвета огненного”, свидетельствует Анакреон (прошу вас обратить внимания на эту окраску перьев), и это была сама Венера, не случайно именовавшаяся Алоцветной, а за нею летело толпище прочих голубиц. Тот же Элиан повествует о какой-то девице по имени Фития, Юпитер любил ее и превратил в голубиную самку.

Ассирийцы изображали Семирамиду в голубином облике, Семирамида была вскормлена голубями и потом сама сделалась как они. Нам всем известно, что она была дама небезукоризненного обычая, но такая красивая, что Скавробат, царствовавший над индусами, влюбился в нее отчаянно, а она была наложница ассирийского властелина, и не пропускала ни дня, дабы не учинить измену царю ассирийцев, и историк Иуба пишет, что она умудрилась любить даже лошадь.

Однако любовному символу извиняются любые дури, он все равно притягивает поэтов, и потому (можно ли предположить, что Роберт не знал?) Петрарка спрашивает себя “какая благодать, любовь, судьба/ даст перья мне, подобно голубице?”, а Банделло пишет: “Тот голубок, мне равный по пыланью/ терзается Амуровым огнем/ взыскует темной ночью, светлым днем/ голубушку, и гибнет от желанья”.

Голубушки важнее, голубушки притягательнее Семирамид, и в них влюбляются за нежнейшее умение: они рыдают, иначе говоря стонут, вместо того чтоб петь, как если бы бесконечное удовлетворение все же не насыщало их страстность. “*Idem cantus gemitusque*”¹ — гласит одна из эмблем Камерариуса. “*Gemitibus gaudet*”² — вторит другая, еще более эротически-интригующая картинка. Впору с ума сойти, правое слово.

И тем не менее, истекая сластолюбьем и изнемогая в лобызаниях, голуби — о дивное противоречие, их от всех прочих отличающее! — тем самым демонстрируют, до чего полны верности, и становятся символом целомудрия, по крайней мере в брачном сожительстве. Плиний свидетельствует: при всех прелюбах они стыдливы и не ведают вероломства. Их супружескую обходительность подмечают и Тертуллиан, и язычник Проперций, пища, что, кстати, в тех редких случаях, когда есть подозрение в адюльтере, петушки становятся самовластны, в их голосе слышатся упреки, и жестоко, бывает, они избивают супружницу клювом. Но после этого сразу, дабы избить

¹ Едины пенье и стенанье (лат.).

² Стеная ликует (лат.).

нанесенный ущерб, молодчик улещивает даму и заискивает, бегая вокруг нея частыми кругами. Эта идея, что безумной ревностью подпитывается любовь, а значит, укрепляется преданность (и вновь несчитанные поцелуи в любую пору года и в любое время дня) мне представляется довольно милой, и, как увидим, безмерно милой показалась нашему Роберту.

Можно ль не возлюбить символ, обещающий взаимность? Верность даже за гробовой чертою, потому что утратив напарника, голуби не спариваются с другими. Голубица является эмблемой честного вдовенья. Ферро рассказывает о вдове, которая, по утрате мужа, держала белую голубку и будучи укорена, отвечала: “Dolor non color”; что-де не колер, а печаль имеет важность.

Как бы то ни было, и при похотливости, для Оригена их несдержанная любовь соответствовала символу любви Господней. Оттого-то, по святому Киприану, Божий Дух нисходит на нас в обличии голубином, оттого наипаче, что у оного создання не только не наличествует желчь, но оно и не когтит, не кусает, благолепно, любит человеческие дома, гнезд не строит более одного, воспитывает отродье и проводит целую жизнь во взаимной беседе, развлекаясь с товарищем в единодушии — в данном случае несомнительном — поцелуев. Из чего следует, что поцелуи могут выступать также и символом великой любви к ближним; и в религии существует ритуал поцелуя мира. Древние римляне обычно обменивались поцелуем, в частности женщины с мужчинами. Ехидные схолиасты замечают, что это делалось с целью обнюхивать женщин, поскольку им воспрещалось пить вино. В любом случае считались неотесанными нумидийцы, которые не целовали никого, кроме потомства.

Поелику все народы самую благородною стихией чтили воздух, они поклонялись голубице, коя летывает превыше прочих пернатых, а затем истово возвращается в семью. Это свойственно и ласточке, но никто еще не преуспел в их приручении, а голуби одомашниваются. Сообщает же, например, Святой Василий, что голубятники окропляют питомиц благовоньями, и другие голуби притекают в стаю, привле-

ченные запахом: *Odore trahit*¹. Не знаю, насколько сочетается это с говоренным выше... как умильна эта их ароматная добродетель, пахучее целомудрие, соблазнительная непорочность...

Тем не менее голубка не только безгреховна и приверженна, но и проста (*columbina simplicitas*: “будьте мудры как змеи и просты как голуби” — из Евангелия) и потому означает жизнь укромническую и отшельническую; а сочетается ли такое с немеренными поцелуями, прошу вас, спрашивайте у кого-нибудь кроме меня.

Другой мотив привлекательности кроется в трепетности голубки, *trepiditas*, и ее греческое имя *trepon* безусловно происходит от *treo*, “бегу трепеща”. Так утверждают Гомер, Овидий и Вергилий (“Трепещет уподобительно горлинке в час черного ветра”). Не будем забывать, что голуби всегда боятся орлов или, хуже этого, коршунов. Валериан подчеркивает, что голуби гнездятся в труднодоступном месте (*Secura nidificat*²). В 54-м Псалме о том же сказано устами Иеремии: “Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы!”

У евреев считалось, что голуби и горлинки — самые гонимые существа и потому заслуживают алтарей, ибо достойнее быть гонимыми, чем гонителями. Для Аретинца же, который не был кроток как евреи, “смирись как голубочек, попадешь на зубочек”. Епифаний подчеркивает, что голубка никогда не защищается от коварства, а Августин добавляет, что она не только поддается крупным животным, от которых обороняться не умеет, но в частности, воробьям.

Одна легенда гласит, что в Индии есть густолиственное дерево, по-гречески зовомое *Paradision*. На правой его части витают семьи голубиные и никогда не выходят из тени веток; удались они от дерева, сразу сделались бы добычей дракона, своего недруга. Он же, дракон, опасается древесной тени и когда тень справа от него, сидит в засаде слева, а если тень слева — дракон справа.

¹ Запах влечет (*лат.*).

² В безопасности гнезда вьет (*лат.*).

Тем не менее, при всей трепетности своей, голубица одарена осмотрительностью почти змеиной, и если на Острове водился дракон, Апельсиновая Горлица, можно не сомневаться, держала ухо востро. Не случайно согласно народному верованию голубка обычно летит над водой, чтобы ястреб, захотевши скогтить ее, спутал с отражением и промахнулся.

Какой же вывод: обороняется голубица от коварства или нет?

При всех этих разнообразных и сильно разнотипных свойствах голубице удалось занять место мистического символа, и не будем утомлять читателя экскурсами о Всемирном Потопе и о роли этой птички как провозвестницы покоя и благополучия и новоявленных земель. Но во многих случаях она еще и воплощение *Mater Dolorosa*, незлобивого плача Богородицы. Об этой ее ипостаси сказано “*Intus et extra*” (“[непорочная] внутри и снаружи”). Бывает, что рисуют, как горлинка разрывает путы (“*Effracto libera vincolo*”): тут она отображает Христа, восставшего от смерти. Голубка связана с вечерним богослужением: ей нежелательно, чтобы ночь, иначе говоря смерть, застигла ее в проступке, она спешит очиститься от грехов. Не повторяя того, что уж сказано, как мы читаем у Иоанна: “Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем”.

Так вот, припоминая красивые примеры о Голубках, Бог знает сколько перебрал их Роберт: “*Mollius ut cubant*”¹ — голубка выщипывает с груди перья, дабы устилать гнездо для выводков; “*Luce lucidior*”² — сияет, когда поднимается к солнцу; “*Quiescit in motu*”³ — летает всегда присобравши крылья, желая не перетрудиться. Один военный, дабы извинили его любовные невольности, изобразил на гербе круглый шлем, внутри которого голубки свили гнездо, с подписью “*Amica Venus*”⁴.

*

¹ В мягкости, чтоб возлегли (лат.).

² Светлее света (лат.).

³ Покоится в движении (лат.).

⁴ Подруга Венера (лат.).

Читающему покажется, что значений у голубицы даже чрезмерно много. Но если велено избирать себе символ или иероглиф и упокоиваться на нем, пусть у символа будет больше смыслов, или назовем просто хлеб хлебом, брагу брагой, атом атомом и пустоту пустотой: на радость, может быть, философам-веществословам, с которыми Роберт дружил у Дюпюи; но не отцу Иммануилу (а мы помним, что наш милый потерпевший поочередно подпадал под обаяние то тех идей, то этих). К тому же самый смак Голубки, по меньшей мере (полагаю) в глазах Роберта, был в том, что Голубица не представляла собой, как остальные Гербы и Эмблемы, просто Посланье, а представляла послание такого рода, содержание которого заключалось в непроницаемости остроумных посланий.

Когда Эней готовится спуститься в недра Аверна и там обрести тень отца, то есть отыскать предшедший день, — как реагирует Сивилла? Приказывает Энею, ладно, пусть хоронит Мисена и совершает богатые жертвы быками и скотом, но если он действительно собирается на подвиг, на кой никогда и ни у кого недоставало смелости или везенья, надо найти ветвистое пышное дерево, а на нем золотую ветвь. Лес скрывает ветвь, ее прячут росистые кроны, а между тем без этой ветви (“*auricomus*”¹) невозможно проникнуть внутрь земли. Кто же дает возможность Энею найти ветвь? Две голубицы, воплощающие — никуда не денешься — материнский элемент. Развить под силу любому студенту. Короче говоря, Вергилий понятия не имеет о Ное, но голубица средство отсылки, она выявляет реминисценцию.

Случилось же вдобавок, что две голубки были оракулами при храме Юпитера, Юпитер пророчествовал через их уста. Потом одна из этих голубок улетела в храм Аммона, а другая в Дельфийский, отчего понятно, почему и египтяне и греки прорицали одни и те же тайны, хотя и под мутными покровами. Без голубиц же не прорицали.

И вот мы до наших дней пытаемся понять, что означает Золотая Ветвь. Выходит, голубицы послания-то оставляют, но очень зашифрованные.

¹ Златолистой (*лат.*).

Не знаю, насколько Роберт был сведущ в еврейской Каббале, которая, кстати, была тогда в изрядной моде; если он был вхож к господину Гаффарелю, то явно что-то знал. И в частности знал, что евреи на символике голубки нагромодили целый замок. Мы вспоминали, вернее, вспоминал фатер Каспар, что в 67-м Псалме говорится о голубице, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Отчего? И отчего в Притчах встречается очень похожий образ “золотых яблок в серебряных прозрачных сосудах”, и с дополнением “слово, сказанное прилично”? И почему в Песни Песней Соломоновых к девице, чьи глаза голубиные, обращение таково: “Возлюбленная моя, золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестящими”?

Каббалисты комментируют, что золото — письмена, серебро — пробелы между букв и слов. Один из них, неизвестно, знакомый ли Роберту по трудам, но в свою очередь повлиявший на рассуждения многих раввинов, говорил, что золотые яблоки, уложенные в серебряные сосуды, тонко изукрашенные, означают, что в каждом отрывке Писания (но, разумеется, и в каждом предмете или событии мира) есть два лица, явное и потаенное. Явное — серебро; однако же ценнее потаенное и оно — золото. И кто видит сосуды издали, когда яблоки заслонены резьбою серебряною, мнит, будто яблоки серебряные, и лишь взглядевшись, различает сияние золота.

Все в Священном Писании *prima facie*¹ блистает подобно серебру, но смысл, оккультно в нем сокрытый, светится, будто золото. Неприкосновенная целомудренность Слова Божия спрятана от очей профанов под стыдливым покрывалом, в сумраке иносказания. В Писании рекомендуется не метать бисера свиниям. Иметь очи голубиные значит не останавливаться на буквальном значении прочитываемого, а проведывать мистическую тайну.

Однако эта тайна, как сама голубка, ускользает и никогда не известно, где она. Голубка обозначает, что мир изъясняется иероглифами и следовательно, она сама — иероглиф,

¹ На первый взгляд (*лат.*).

значащий иероглифы. Иероглиф не говорит и не утаивает, только показывает.

Еще евреи говорили, что голубка есть оракул, и не случайно на еврейском языке ее именованье “*tore*”, это слово напоминает Тору, а Тора — для евреев Библия, святая книга, начало всех откровений.

Голубка, витающая в солнце, мерещится как блеск серебра, но лишь тот, кто сумел выждать время, провести откровение, видит ее золото, цвет сиятельного апельсина.

Со времен достопочтенного Исидора и до наших дней христиане тоже вспоминают, что голубка, отражая в полете лучи солнца, ее озаряющие, является в различной расцветке. Она зависит от солнца, и существуют потому Гербы с подписями “От твоего сияния мои знаки” или “Тобою украшаюсь и просияваю”. Горлышко ее одето в отблески разных цветов, но остается самим собою. Потому предписывается не обманываться видом, а искать истинный облик под обманным.

Каков окрас голубки? В древнем bestiarii сказано:

Uncor m'estuet que vos devis
des columps, qui sunt blans et bis:
li un ont color aierine,
et li autre l'ont stephanine;
li un sont neir, li autre rous,
li un vermel, l'autre cendrous,
et des columps i a plusors
qui ont trestotes les colors ¹.

Апельсинно-Голубая Голубица?

*

¹ Вот мнят, что голубиный цвет
Лишь сер и бел; но право, нет,
Сей цвет воздушно-быстротечен,
Блистательно-златовенечен,
Те пурпурны, а те черны,
Те пепельны, а те красны,
И есть довольно голубков,
Одетых в множество цветов.

Для финала, предполагая, что Роберт хоть как-то подкопан на эту тему, сошлюсь на Талмуд, где говорится, что едомские властители, гонительски относясь к евреям, обещали вышибить мозги тем, кто будет носить филактерии (повязки со священными цитатами). Елисей надел повязки и пошел на улицу. Законоблюститель за ним погнался. Когда Елисей был настигнут, он снял филактерии и спрятал в ладонях. Его спросили, что спрятано. Он отвечал: “Крылья голубки”. Ему велели разнять ладони. Там были крылья голубки.

Не знаю смысла этой повести, но нахожу ее прекрасной. То же, наверное, думал и Роберт.

Amabilis columba,
unde, unde ades volando?
Quid est rei, quod altum
coelum cito secando
tam copia benigna
spires liquentem odorem?
Tam copia benigna
unguenta grata stilles?¹

Коротко говоря, голубка символ немаловажный, и вполне понятно, почему человек, затерянный у антиподов, почел, что ему надо хорошенько вперивать очи, выпытывая, что же лично ему сулится этим знаком.

Недостижим Остров, утрачена Лилея; разуверение в каждом упованьи; не выпадало ли незримой Оранжецветной Голубке стать *medulla aurea*², философским камнем, пределом пределов, летучим, как все алкаемое? Грезить

¹ Любезнейшая голубица,
Отколе, отколе ты прядашь?
Ради чего ты, небо
Высокое быстро рассекая,
Толикие в благостыни
Ипускаешь дивные ароматы?
Толикие в благостыни
Масла сладковонные точишь?

² Золотая сердцевина (*лат.*).

о том, что заведомо не дастся, не вершина ли это наиболее благородных желаний?

По-моему, все так понятно (*lucis lucidior*), что я на этом сворачиваю свое Развертывание Голубки.

Вернемся к нашему рассказу.

27. СЕКРЕТЫ ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ ¹



а следующее утро, при самопервейших лучах солнца, Роберт снял всю одежду. При Каспаре он совестился, хоть понимал, что платье сковывает и отяжеляет. Теперь он был наг. Он обвязал поясицу швартовом, сошел по лестнице Иакова и погрузился.

Держаться на воде он был уже обучен. Требовалось понять, как двигают руками и ногами, как плавают псы. Он испытал одну манеру, потом другую, увидел, что отплыл от борта судна всего на несколько гребков. А силы уже иссякали.

Он умел отдыхать и запрокинулся на спину, чтоб покачаться на воде, понежиться на солнце.

Снова вернулись силы. Значит, следовало продвигаться, уставая, потом расслабляться до мертвенности, отдыхать, начинать снова. Продвижение минимально, затраты времени колоссальны, и все же метод был только такой.

После нескольких проб он принял волевое решение. Трап Иакова свисал с правой части бушприта, со стороны Острова. Он решил попробовать обогнуть нос и подплыть к восточной половине, передохнуть и возвратиться.

Подныриванье под бушприт оказалось делом недолгим, он увидел носовую часть с противоположного бока и преисполнился чувства победы. Вытянулся телом на волнах, глядя ввысь, широко раскинув ноги и руки, в ощущении,

¹ «I segreti dei flussi e riflussi del mare» (1616) — записка Галилео Галилея (см. сноску к назв. главы 24) кардиналу Алессандро Орсини.

что под восточным бортом вода баюкает нежнее, чем под западным.

И вдруг за поясницу что-то дернуло. Швартов оказался до звона натянут. Перевернувшись по-собачьи, Роберт понял: море перетащило его сильно к северу, отнеся налево от корабля и на много локтей отдалив от окончания бушприта. Другими словами, с юго-запада к северо-востоку имелось быстрое течение, то самое, которое бурлило западнее “Дафны”; оно, видимо, сказывалось и в заливе. До тех пор Роберт не замечал его, ибо окунался по правую руку от флибота. Попавши влево, был немедленно подхвачен, и течение утащило бы его, если б не спас канат. Роберту мнилось, что он в неподвижности, а между тем он несся, как несется Земля со своей вихревой воронкой. Вот почему он настолько без труда огибал носовую часть “Дафны”: не от возросшего умения, а от помощи моря.

Обеспокоившись, он попытался вернуться к борту “Дафны” вплавь самостоятельно, но осознал: стоит ему, побившись по-собачьему, пододвинуться на две-три пяди, как при первом замедлении, пока он переводит дух, канат опять натягивается, а значит, Роберта снова оттаскивает струей.

Он ухватился за свой швартов и стал тянуть его, оборачивая у пояса, и путем такого кручения вокруг оси докрутился-таки до трапа. Закарабкавшись вверх, Роберт решил, что пробовать плыть к Острову слишком опасно. Лучше бы построить плот. Освидетельствовав все имевшиеся на “Дафне” деревяшки, он снова сказал себе: ничего путного. Разве что посвятить годы перепиливанию мачт столовыми ножами.

Хотя... не доска ли доставила его на “Дафну”? Значит, надо снять с петель дверь, использовать для плавучей связки. Выдавить руками. Вместо обуха — шпажный эфес; клинок — не рычаг, но сгодится. Наконец Роберт выдрал петли и снял одну дверь в кают-компании. Поломал клинок. Неважно. Ему не сражаться больше с людьми, только с морем.

Но если он спустит на воду свою дверку, куда отнесет его течение? Он подтащил дверь к левому фальшборту и с трудом перевалил через перила.

Дверь лениво побарахталась у борта, но через какие-то доли минуты вот она уже далеко от корабля и уплывает сначала налево, приблизительно в том направлении, куда уносило и Роберта, а потом на северо-восток. Удаляясь от корабельного носа, дверь набирала скорость, покуда не достигла некоей точки — на уровне северного мыса, замыкавшего залив, — откуда уверенно и шибко понеслась мористее на север.

Теперь она шла по курсу, который предстоял бы и “Дафне”, снимись она с якорей. Роберту удавалось следить за дверью простым глазом, пока она не оставила сзади мыс; потом ему пришлось обратиться к подзорной трубке, и он увидел, как дверь резво улепетывает дальше за каменистые отроги. Она неслась будто в широкой реке, текшей по особому руслу между особыми берегами в середине моря, покоившегося вне береговых ее пределов.

Роберт подумал, что если сто восьмидесятый меридиан идет по идеальной линии, связующей две оконечности залива, то река, стремя свой бег на север по ту сторону северного мыса, надо думать, прочерчивает линию наоборотного меридиана!

Роберт, будь сейчас на этой доске, дрейфовал бы по черте, отъединяющей сегодня от вчера... или завтра от того, что приходится ему кануном...

В тот момент, однако, Робертов ум был занят не этим. Будь он на доске, он не сумел бы противостоять течению, сколько бы руками ни махал. Даже на управление собственным телом требовались огромные усилия, что говорить об обломке дерева без носа, кормы и руля.

В ночь прибытия доска подомчала его к подножью бушприта лишь благодаря попутному ветру или малому местному течению. Предусмотреть новый фактор подобного рода? Надлежало бы изучить все игры приливов и отливов, пронаблюдать недели и недели, а может быть, месяцы, опрокидывая в море десятки и десятки подобных досок, да и после этого, кто знает...

Нет, это нереально, по крайней мере для него по малости познаний как гидростатических, так и гидродинамических.

Лучше уж упражняться, снова плавать. Больше шансов выбраться из стремнины у барахтающейся собаки, а не у собаки, посаженной в корзину.

Выходит, следовало продолжать ему учебу. И не только чтоб преодолеть расстояние от “Дафны” до залива. Надо было учесть, что в бухте сообразно времени дня, часам приливов и отливов, пробуждались и малые течения. И могло выйти так, что плывя Роберт преданно к востоку, оказался бы игрушкой вод, тащащих его все западнее, чтоб потом повернуть прямо к северному мысу. Роберту надо было уметь преодолевать течения. Со своим верным канатом он приготавливался бросить вызов тем водам, что левее корабля.

В течение наступивших дней Роберт, обучаясь с того края, где лесенка, припоминал, что в Грив он видел, как плывут не только собаки, но и жабы. А поскольку человеческое туловище с растопыренными руками и ногами напоминает более лягушку, нежели собаку, он сказал себе: может быть, поплыть как лягва? Он даже звуки издавал подобные. Кричал “квах, квах” и лягался во все стороны. Потом он квакать бросил, потому что на эти болотные вопли тратилось чересчур много сил и вдобавок при открытом рте происходило то, что мог бы предвидеть любой пловец, обладая хоть каким-либо опытом.

Роберт переделался в жабу почтенную и пожилую, величественно молчащую. Когда плечи у него уставали из-за постоянного выбрасывания рук вперед и вбок, он снова плыл *поге сапно*¹. Однажды, видя над собою белых птиц, которые с карканьем наблюдали за его экзерсисами, периодически подлетая в самую близость к нему, чтоб поймать рыбу (“Ударом баклана”!) с громадным размахом крыльев, он повторил этот размах; но тут же понял, что затруднительнее держать закрытыми нос и рот, нежели клюв, и от нового способа отказался. Теперь он не знал уже, какой тварью был, собакой или жабой; может, мохнатой лягвой, пресмыкающимся псом, морским кентавром, мужской сиреной?

¹ По-собачьему (*лат.*).

Однако от рывка к рывку он научался, плохо или хорошо, плыть хоть немного. Теперь, начиная путь с носа, он добирался уже до полуборта. Но когда решал повернуть во свояси и вернуться к трапу, понимал, что сил больше нету, и возвращаться приходилось перехватывая швартов.

Чего ему впрямь нехватало, это дыхания. На путь туда, бывало, достачествовало, но вот обратно... Плавать он как бы умел, но очень в духе того пилигрима, который преодолел путь из Рима в Иерусалим по полумиле в день в своем огороде. Роберт атлетом не был и до морского путешествия, но за месяцы “Амариллиды”, закупоренный в каюте, ослабился вдвойне; потом крушение корабля и безделие на “Дафне” (если не считать тех упражнений, к которым поуждал его иезуит) усугубили его вялость.

Роберт, похоже, не догадывался, что уроки плавания укрепляют силу. Он считал, наоборот, что должен усиливаться перед уроками плаванья. Поэтому выпивал по четыре яйца единым махом и съедал целую курицу перед тем как спуститься в воду; и благо, что имелся канат, потому что после подобного обеда у него в воде так свело живот, что он еле спасся по ступенькам на палубу.

После чего вечером он медитировал о парадоксе. Прежде, когда он не обольщался мечтою достигнуть Остров, тот казался ему дивно близким. Ныне, по мере как он осваивал искусство туда добираться, Остров отодвигался все дальше и дальше.

Вдобавок, поскольку отодвигался он, как Роберт думал, не столько в пространстве, сколько (вспять) во времени, отныне всякий раз, рассуждая об этом расстоянии, Роберт смешивает временные и пространственные категории. Он пишет: “берег, увы, настолько вчерашний...”, а также “о как добираться туда, где еще так рано...”, “какое большое море между мною и дном, только что ушедшим...” Мы находим в его записях даже такое: “На Острове видны грозовые зарницы, в то время как у нас уже просветлело”.

Но если Остров отдалялся все решительнее, стоило ли учиться искусству к нему подплывания? Роберт забросил тренировки и снова взял трубу, выглядывать Апельсиновую Птицу.

В листве порхали попугаи, Роберт мог наблюдать редкие фрукты, следить с восхода до заката за оживлением и затуханием многоцветия растений, но Голубица ему не показывалась. Он начал думать, что отец Каспар налгал ему, или что он стал жертвой какого-то морока. Постепенно он стал внушать себе, что и фатера Каспара на корабле никогда не бывало — и не видел никаких его следов. Роберт не верил больше в Голубицу, а заодно не верил и в существование на Острове Мальтийской Установки. Тем лучше, убедил себя Роберт, ибо негоже, чтоб машина оскверняла дикородную чистоту этого места. Он снова стал воображать Остров в соразмерности своим мерам, то есть мерам собственных снов.

Если Остров возвышался в прошедшем дне, наипаче следовало класть любые силы, чтоб достичь туда. В этом вывихнутом времени он станет не искать, а вновь изобретать бытие перволюдей. Остров — не урочище, где льется кладезь юности; Остров и есть сам этот кладезь, он станет тем уделом, где существо человеческое, забыв страстоносную мудрость, обрящет, как ребенок, затерявшийся в чаще, новый язык, формирующийся от новой встречи с вещами. На той основе возникнет единственная верная и новая наука, в непосредственном знании мира, не заперченная философией, и Островина будет не отцом, передающим сыну речения Завета, а будет матерью, переучивающей на речь первые младенческие лепеты.

Только при этом возрождающийся кораблекрушец сможет новооткрыть правила, регулирующие бег небесных тел и объясняющие смысл акростихов, вычерчиваемых телами в небе, не пользуясь Альмагестами и Четырехкнижиями, а прямо глядя на затмения, пролеты сереброхвостых болидов и фазы звезд. Сорвавшийся с дерева плод, раскровянив ему нос, обучит в одиночасье и законам тяготения тел, и правилам *de motu cordis et sanguinis in animalibus*¹. Усевшись на берегу пруда и опустив в пруд ветку, лозу или долгий упругий лист металлического куста, новый Нарцисс —

¹ Обращения в кишках и в крови у животных (лат.).

не подверженный бесплодным и безалаберным фантазиям — изучит противоборство теней со светом. И поймет, может быть, по которой причине земля — тусклое зеркало, мажущее в чернилах все, что на нее попадает; вода — стена, на которой отпечатываясь, тени бледнеют; а в воздухе образы не находят поверхность, где запечатлеться, и двигаются вперед до крайних ограничений эфира, а назад возвращаются редко и лишь под видом миражей и марев.

Возобладать Островиной, не значило ль — возобладать Лилеей? И следовательно... Логика Роберта отличалась от логики болтливых и суетных любомудров, пробившихся в переднюю Лицея, которые желают, чтобы нечто, если уж таково, не могло бы и быть наоборотно. По ошибке, я имею в виду — по заблуждению фантазии, свойственному влюбленным, Роберт знал заранее, что обладанье Лилеей означало бы и первооснову любого откровения. Исследовать законы универса при помощи подзорной трубки представлялось ему только более долгим способом постичь ту же истину, которая иначе была бы ему явлена в слепящем свете услады, когда б он мог забыться головою на лоне возлюбленной в Саду, где каждый куст воплощал бы Древо познания добра.

Однако поелику — как и нам бы следовало знать — желать что-то далекое означает вспоминать о лемуре, похитившем его у нас, Роберт содрогнулся, помыслив, что в сладости этого Эдема окажется спрятан Змей. То есть он вострепетал от мысли, что на Острове, как более скорый узурпатор, его поджидает Феррант.

28. О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОМАНОВ¹



любовники любят свои несчастья сильнее, чем свои радости. Роберт не мог бы предположить, что отделенный навеки от той, кого любил, чем более разведен был с нею, тем сильнее он терзался из-за мысли, что кто-либо другой мог быть к ней близок.

Как мы видели, обвиненный Мазарини, будто был в том месте, где он не был, Роберт забрал в голову, что Феррант находился в Париже и в некоторых обстоятельствах занимал его место. Если это было правдой, Роберт был арестован кардиналом и отправлен на борт “Амариллиды”, но Феррант остался в Париже и для всех (включая и Ее!) был Робертом. Некуда было деться, таким образом, от вывода, что она с Феррантом... тут океаническое чистилище преобразалось в женье ада.

Роберту было ведомо, что ревность образуется вне всякого уважения к тому, что на самом деле есть, чего нет или чего никогда не будет; что в угаре ревности воображаемые бедствия ролят настоящую боль; что ревнивый, будто ипохондрик, болеет из-за боязни заболеть. Значит, Бог обереги, говорил он себе, от этих отравительных фантазий, которые понуждают представлять себе Ее с Другим, и ничто так не питательно для подозрения, как одиночество, и ничто успешнее фантазии не перековывает подозрение в свершившийся факт.

¹ Трактат французского епископа, ученого и антиквара Пьера-Даниэля Юэ (Huet, 1630–1721) “De l’origine des Romains” (1678).

И действительно, ревнивость из всех страхов самый не-радостный. Когда страшишься смерти, можно надеяться, что проживешь долго или в путешествии наткнешься на источник вечной молодости. Когда боишься бедности, можно мечтать найти клад; на каждую боязнь находится бодрящая душу обратная надежда. Не то, если влюблен, а любимая где-то. Разлука для любви как ветер для пламени: слабое загасит, сильное воспалит.

Если ревнивость возбуждается крепкой любовью, значит, кто не ревнует любимую, тот не любит, или любит легковесно. Памятны случаи любовников, которые, опасаясь, что любовь их догорает, подпитывали ее, ища любой ценою причины ревновать.

Таким образом ревнивый (который в то же время желает или желал бы возлюбленную целомудренную и верную) не может и не хочет воображать ее иначе чем заслуживающую ревности, и значит, виноватую в предательстве, возжигая таким образом в наличествующем страдании радость отсутствующей любви. В частности, из-за того, что воображать себя в обладании далекой любимой — если ясно, что обладания быть не может — это бессилие, и не обогащаются такою живостью мысли о ней, о ее теплоте, о ее алении, о ее запахе, как обогащаются когда воображаешь ее в обладании Другого. В то время как твое собственное отсутствие бесспорно, присутствие врага небесспорно, и если ты в этом не уверен, то по крайней мере не безусловно разубежден. Любовные отношения, в том виде в котором воображает их ревнивый, являются единственным способом, позволяющим воспроизвести с известной долей правдоподобия связь ее с Другим, каковая связь если не несомненна, то по крайней мере возможна, в то время как связь с нею самого ревнивца невозможна совершенно.

Поэтому ревнивый неспособен и не имеет желания хотеть противоположности того, что его устрасило, более того, он не может наслаждаться иначе как преувеличивая беду и сокрушаясь из-за преувеличенного великолепия того, что ему не дано. Радости любви — это бедствия, которые заставляют себя желать. В них сочетаются сладость с мучением; любовь — это добровольное заболевание, адов пара-

диз и небесный ад, в общем, сочетание мечтанных противоположностей, болезненный смех и хрупкий диамант.

Тоскуя приблизительно на этот манер, но и облегчая себя соображениями о бесконечности миров, на тему, многократно обсужденную в предшествовавшие дни, Роберт выработал идею, Идею с большой буквы, великое анаморфное проявление Гения.

Он замыслил создать повествование, героем которого являлся бы, разумеется, не он, поскольку повесть разворачивалась бы не в пределах мира сего, а в Романической Державе, и события в повести текли бы параллельно событиям мира, где был Роберт, и две череды событий не могли бы никоим образом сопрягаться, пересекаться.

Что могло это дать Роберту? Очень много. Решив изобрести повесть о другом мире, существовавшем только у него в голове, он оккупировал в этом мире хозяйское место и мог следить, чтобы происшествия не превысили его сил терпеть. С другой стороны, в качестве читателя романа, чей он был автор, он получал возможность участвовать в драмах героев: разве не случается с читателями обыкновенных книг влюбляться в Тисбу, без всякой ревности, и использовать Пирама как наместника, или томиться по Астрее, вселяясь в Селадона?

Любовь в Романном Государстве не сопрягалась ни с какою ревностью; ведь внутри романа то, что не наше, все равно наше, а что в реальном мире было нашим и было отнято у нас, в Стране Романов не существует, — даже если то, что там существует, походит на то, что существовало на самом деле и не было нашим или было нами утрачено.

Таким образом, Роберт должен был бы составить (на бумаге или в мыслях) роман о Ферранте и о его любви к Лилее, и только создавши романтический мир, он избавился бы от терзаний, причиняемых ревностью, бытующей в мире реальном.

Вдобавок к этому, рассуждал Роберт, чтобы понять, что произошло со мною и как я влип в ловушку, расставленную Мазарини, мне следует восстановить Истории всех этих событий, узнавши их мотивы и секретные пружины. Но есть ли что недостовернее в мире, нежели История,

повествуемая в книгах, где два автора описывают одно сражение, но столь несоразмерны несоответствия двух рассказов, что кажется, будто речь ведется о двух битвах, не об одной? И есть ли что достовернее, нежели Сюжет Романа, в развязке которого любая Загадка получает свое Объяснение, подчиненное закону правдоподобия? Роман рассказывает то, что, допустим, и не бывало на самом деле, но что прекрасно могло бы быть. Объясни я мои несчастья в форме романа, и мне гарантируется возможность хоть как-то распутать созданный наворот и, следовательно, я не буду больше добычею кошмара. Эта идея коварно противоречила предшествовавшей идее, поскольку в подобном случае романский сюжет был призван заслонить собою Историю реальной жизни.

И вдобавок, рассуждал далее Роберт, мое положение определяется любовью к женщине; раз так, единственно Роман, и никак, разумеется, не История, посвящается проблемам любви, и только Роман, никак не История, занят объяснением того, что думают и ощущают дочери Евы, которые с эпохи земного рая и до адовых придворных штатов настоящего времени столь весомо повлияли на дела нашего человеческого рода.

Все перечисленные аргументы были резонны каждый сам по себе, но никак не все вместе. Действительно, существует разница между тем, кто пишет роман и кто страдает от ревности. Ревнивый наслаждается, воображая то, что он бы не хотел, чтобы происходило, но в то же время отказывается верить, что это произошло; а автор романа прибегает к любому изощрению, лишь бы читатель не только наслаждался, воображая то, что не происходило, но и в какой-то миг забыл бы, что занят чтением, и поверил, что это действительно произошло. Уже и без того причина сильнейших мучений для ревнивого читать роман, написанный другим; что бы там ни было сказано, ревнивый принимает на собственный счет. Куда уж говорить о том ревнивце, который собственную историю делает вид, будто выдумывает. Не говорят ли о ревнивых, что они облачают плотью призраки? Вот, сколь бы призрачными ни были создания в романах, поскольку роман есть кровный брат истории, эти призраки

кажутся ревнивому чересчур плотскими, а тем более если они являются призраками не другого, а самого его.

С другой стороны, у романов, кроме достоинств, есть недостатки. Роберт должен был это знать. Как медицина учит, в частности, ядам, как метафизика неуместными мудрствованиями подрывает догмы религий, как этика понуждает к щедротам (что не для всех полезно), астрология попустительствует суеверию, оптика строит обманы, музыка воспламеняет страсти, землемерие поощряет неправосудный захват, математика питает скупость — так и Искусство Романов, предостерегая нас о том, что будут предложены вымыслы, открывает дверь Дворца Абсурдностей, и стоит необдуманно перешагнуть порог этой двери, как дверь хлопывается за плечами у нас.

Однако не в нашей власти удержать Роберта от этого шага, поскольку нам достоверно известно, что шаг был Робертом совершен.

29. ДУША ФЕРРАНТА ¹



какого места возвращать-
ся к истории Ферранта?

Роберт решил начать со дня, как тот, предав французов, с которыми обманно соработствовал в Казале, прикинувшись капитаном Гамберо, утек в испанские палатки.

Возможно, там его с распахнутым объятием дожидался некий гранд, обещавший забрать Ферранта по окончании войны с собою в Мадрид. Там началось восхождение Ферранта к периферии испанского света, там он постиг, что добродетель властителей — это их самоуправство, что власть — ненасытимое чудовище, перед которым необходимо пресмыкаться преданным рабом, ловя самомельчайшие объедки с накрытого для начальников стола, и иметь путь для медленного и мучительного восхожденья, сначала в качестве наушника, наемного убийцы и конфидента, впоследствии выдавая себя за благородного.

Ферранту было не отказать в живости ума, хоть и направленного ко злу, и в той обстановке он сообразил, как надлежит орудовать, то есть либо перенял по наущению, либо усвоил по наитию азбуку царедворной психологии, которую господин Саласар в свое время втолковывал Роберту, цивилизуя.

¹ “L’anima di Ferrante Pallavicino” (1644) — произведение, приписываемое авантюристу и сочинителю Ферранте Паллавичино (1616–1644), биография которого, наряду с многими другими источниками, легла в основу линии Ферранта в романе Эко. Некоторые сюжетные ходы Паллавичино переработаны Лесажем. Паллавичино был обезглавлен в Авиньоне по приговору инквизиции.

Феррант лелеял свою посредственность (низость ублюдочного рождения), не опасаясь быть недюжинным в посредственных вещах, дабы не открылось, что он посредствен в вещах недюжинных.

Он понял, что когда невозможно одеться во льва, надо одеваться в лисицу, к тому же от Потопия больше сбереглось лисиц, нежели львов. У всякого своя мудрость, и от лисы Феррант перенял, что игра в открытую не сулит ни удовольствия, ни пользы.

Если от него требовалось распространить клевету среди чьей-то челяди, чтоб она постепенно дошла до ушей хозяина, и он был уверен в благорасположении сенной девки, то заявлял, что пойдет в кабак и напьется с кучером; а если кучер был его товарищем по обжирательству в трактире, то, по словам Ферранта, лучше было начинать с камеристки. Не понимая, что замыслил Феррант и что им уже содеяно, посылавший его терялся в догадках, а Феррант убеждался, что тот, кто собственных карт разом не открывает, держит всех в кулаке. Окружая себя неясностью, он пробуждает уваженье во всех.

Устраняя конкурентов, спервоначала ими были стременные и пажи, потом всякие дворяне, почитавшие его равнею, он взял обычай всегда стрелять в спину и никогда — в упор; ум, сталкиваясь с подло расставленной ловушкой, пасует; хитроумие — в непредсказуемости. Если он делился намерением, это бывало лишь обманно; наметив в воздухе какой-то жест, двигался совсем иначе, опровергая мнимое умышление. Не нападал до тех пор, пока видел, что противник обретается в полной силе; напротив, выказывал ему уважение и дружбу; разил же, когда тот открывался, беззащитный, и тогда волочил недруга к пропасти с видом, будто спешил ему на помощь.

Лгал частенько, но осторожно. Помнил: чтоб верили, следует подчас свидетельствовать истину даже себе во вред, или замалчивать даже когда она могла бы снискать ему торговли. С другой стороны, он старался приобрести репутацию искреннего человека среди низших, с целью, чтоб слухи об этом достигли владетелей. Он полагал, что даже если

морочить равных себе возбранно, тем не менее не морочить сильнейших — безрассудно.

Однако он не вдавался в откровенности, то есть не излишествовал, боялся, что окружающие подметят его привычку и в какой-то день предугадают его поступки. С другой стороны, и двурушничеством не злоупотреблял, дабы не вышло, что его подловили на обмане.

Чтоб стать мудрее, он понуждал себя терпеть глупцов, которыми окружался. Но не валил на них огульно любую свою ошибку. Только в случаях, когда ставка бывала высокой, заботился, чтоб иметь неподалеку чью-то дурью голову (вдобавок высунутую по вздорному тщеславию в первый ряд, тогда как Феррант жался сзади), которую даже не он сам, а другие люди могли бы овиноватить в провале дела.

В общем, все, что могло прославить, выглядело плодом его действий, а все, что могло осрамить, он подстраивал, чтоб делали другие.

Демонстрируя ловкость (правильнее сказать, ушлость), он знал, что сколько выставишь напоказ от себя, столько же и таить в тени; это ценится дороже показа. Замыслив побахвалиться, он прибегал к немому красноречию, небрежно бравировал достоинствами, был начеку, не обнаруживаясь во всей красе.

Постепенно продвигаясь по общественной лестнице, оказавшись среди людей высокого положения, он копировал их речи и обычай, но делал это только перед низшими по званию, если желал их зачаровать ради какого-то своего незаконного замысла. С вышестоящими же берегся, дабы не щегольнуть познаниями, и расточал похвалы тем свойствам, которыми втайне обладал сам.

Он выполнял любые безнравственные поручения, но только если злодейство не предполагалось столь грандиозным, чтобы вызвать гадливость. Если от Ферранта ожидалось уголовного непомерные, он не брался; во-первых, чтоб не подумали, что однажды он способен супостатствовать против хозяев; а во-вторых, если вина вопияла к небесам, ему не было расчета превращаться в ходячую укоризну.

Прикидывался благоговейным, на деле же чтил только попятничество, попиранье доброты, себялюбие, неблаго-

дарность, презрение к святыням. Поносил Господа в сердце своем и думал, что мир сотворен на авось; однако доверялся фортуне, надеясь, что удастся поворачивать ее на пользу тем, кто умело перекладывает вожжу.

В недолгие разгулы он путался только с замужними бабами, невоздержными вдовами, распущенными девками. И то с большим разбором, так как плетя свои козни Феррант часто отказывался от немедленных услад, лишь бы ввязаться в новую кову; испорченность не позволяла ему отвлекаться.

Так он жил день ото дня, замирая, подобно убийце, подкарауливающему жертву под палисадом, в темном месте, там, где клинки кинжалов не выдадут себя сверканьем. Он знал, что первейшая формула успеха, это дожидаться оказии, и переживал из-за того, что оказия слишком долго не возникала.

Мрачная и упрямая дума лишала спокойствия его душу. Он забил себе в голову, будто Роберт узурпировал место, принадлежавшее ему по праву, и какое ни есть награждение оставляло его неублаженным, и единственную формой благосостояния и счастья в глазах его души могла быть невзгода брата при условии, что он бы, Феррант, выступил причиной этой невзгоды. В остальном же его воображение было населено исполинскими призраками, побивающими друг друга, и не было моря или земли или неба, где бы он имел убежище и покой. Что он имел, ему казалось зазорно; что он желал, было мучительно для него.

Он не улыбался, разве только в кабаках, подпавая очередных невольных осведомителей. Но в сокровении своей комнаты подолгу показывался перед зеркалом, чтобы понять, способны ли движения выдать его беспокойство, не выглядит ли у него взгляд дерзким, не придает ли чересчур склоненная голова ему нерешительный вид, а слишком глубокие морщины лба не делают ли его зловецим.

Когда же он прекращал упражнения, когда отбрасывал и по усталости и по вечерней позднеоте свои личины, становился ясен его истинный облик, и вот тут... О, единственное, что мог произнести тут Роберт, были строки стихов, читанные несколькими годами прежде:

Кромешны у него зеницы,
Но в них звездится алый свет,
И злокипучие зарницы
Там брызжут, будто сонм комет,
И вопль гремящ, и дух паскуден,
И облик дик, и лик бессуден.

Поскольку никто не совершенен, и паки в злокачественности, и он не был вполне способен усмирять излишества своего лиходейства, Феррант не избег промаха. Подосланный хозяином на похищение целомудренной девушки из высокой семьи, сговоренной за достойного человека, он осыпал ее любовными письмами от имени своего принцепала. Дальше, притом что девушка отстранила ухаживания, он проник к ней в альков и — низведя до жертвы насильственного соблазнения — надругался над ней. Единым махом он оскорбил и ее, и жениха, и того, кто заказывал увоз.

По оглашении злодейства подозрение пало на барина, и тот погиб на дуэли с поруганным женихом изнасилованной, но Феррант в это время уже пересекал границу Франции.

В минуту веселости Роберт надумал переправлять Ферранта через пиренейский перевал ночью, в январе, верхом на ворованной ослице, по всей видимости совершавшей искомупительное паломничество, что явствовало не только по покаянной истертости ее шкуры, но и по великому пощению, трезвости, воздержности и умеренности, способствовавшим умерщвлению плоти; богобоязненность этой твари была такова, что при каждом шаге, преклоняя колена, лобызала землю.

Отроги горы были обмазаны свернувшимся молоком, отвердели, звенели под копытом. Те немногие деревья, что не были погребены под снегом, казалось, стояли без нательных рубах и потому еще больше мерзли и тряслись не под ветром, а в ознобе. Солнце сидело в своем доме и не отваживалось даже выходить на балкон. Если же оно высовывало кончик носа, даже эта часть лица была плотно укутана облачными отрепьями.

Редкие встречные, как монахи Монтеоливето, могли бы пропеть гимн аббатства «Снегом омывшись и обелившись

я...". Сам Феррант, убитый мучнистыми присыпками, принимал все более итальянский вид, напоминая "мукомола" из флорентийской "Академии Отрубей".

Одною из ночей столь велики и жирны были комья хлопьяной ваты, что он опасался, не обратится ли в снеговой столп, как другие в соляной. Сипухи, нетопыри, сычи, пугачи с канюками токовали вокруг него в такой сарабанде, будто собирались подманить. В конце концов он ткнулся носом в пятки повешенного, болтавшегося на суку, — гротескный эскиз по сумрачно-свинцовому фону.

Однако Феррант — хотя романы и принято украшать забавными описаниями — не мог быть выведен героем комедии. Он должен был преследовать цель, воображая по собственному подобию тот Париж, к которому подвигался.

И вот Феррант вожделем: "О Париж, беспредельная бухта, где киты видятся мелкостными, как дельфины, о страна сирен, о ярмарка тщеславия, сад удовлетворений, меандр интриг, о Нил низкопоклонничества и Океан притворств!"

И тут Роберт, желая изобрести такой ход, который никем из сочинителей романов до оных пор не использовался, с целью передать ощущения этого прожорливца, шедшего на завоевание города, где затмевают друг друга Европа вежеством, Азия изобилием, Африка причудливостью и Америка богатством, и который для новизны является полем, для обмана королевством, для роскоши центром, для доблести ареной, для красоты амфитеатром, для моды колыбелью, а для добродетели гробницей, вложил в уста Ферранту вызывающий выкрик: "Париж, посмотрим, кто кого!"

От Гаскони до Пуату, а от Пуату до Иль-де-Франса, Феррант повсюду наплел интриг и бесчестностей, давших ему переложить маленькое состояние из карманов некоторых простаков в собственные и прибыть в столицу в облачении молодого дворянина, выдержанного и приветливого, господина Дель Поццо. Не достигнув еще Парижа молва о его мадридских проделках, он наладил связи с испанцами, вхожими к королеве; они сразу оценили его ловкость в деликатных делах для государыни, которая, хоть и верна была

супругу и уважительна к Кардиналу, поддерживала сношения со станом врагов.

Его слава безотказного исполнителя донеслась до сведения Ришелье, который, глубокий знаток человеческого сердца, рассудил, что индивид без совести, служащий монархине, как всем известно неимущей, ради более щедрого вознаграждения послужит и ему, Ришелье, как и было сговорено в настолько глубочайшей тайне, что даже самые доверенные сотрудники не знали о существовании этого молодого агента.

Не говоря уже о навыках, приобретенных в Мадриде, Феррант имел редкие способности к быстрому усвоению языков и к подражанию акцентам. Не в его обычае было выставлять дарования, но однажды, когда Ришелье принимал английского шпиона, Феррант показал, что способен беседовать с тем предателем. Поэтому Ришелье в один из трудных моментов взаимоотношений между Францией и Англией отправил Ферранта в Лондон, где тот должен был притвориться мальтийским купцом и собирать информацию о движении судов в портах.

Феррант в какой-то степени увенчал мечту жизни: теперь он шпионил не на простого хозяина, а на библейского Левиафана, чьи руки досягали куда угодно.

Шпион! — возмущался, охваченный омерзением, Роберт. Чума прилипчивее любых придворных хвороб, Гарпия, простирающаяся над тронами с нарумяненным лицом и обостренными когтями, парящая на вампирьих крыльях, подслушивающая широчайшими перепонками, мышь летучая, видимая только в ранних сумерках, гадюка среди роз, аспид, цветочная тля, обращающая в отраву нектар, сладостно пригубляемый, мизгирь коридорный, тот, кто тклет паутину утонченных разговоров, дабы улавливать любое насекомое; попугай с крючковатым клювом, который все, что слышит, пересказывает, превращая истинное в ложь и выдавая ложь за истину, хамелеон, перенимающий каждый цвет и облаченный в любое, кроме одежд, соответствующих его подлинному виду. Подобных качеств всякому приличествовало бы устыдиться, кроме как раз того, который волею Небес (или Преисподни) был рожден для угождения злу.

Но Феррант не довольствовался шпионажем и владычеством над теми, чьи признания он переторговывал; ему хотелось быть, как говорили в его эпоху, двойным шпионом, который, подобно мифическому уроду амфисбене, одновременно шел в обе стороны. Ежели агон, на котором сталкиваются власти, может представлять собой лабиринт интриг, кто будет Минотавром, воплощающим сращение двух несходственных естеств? Двойной шпион! Если поле, на котором разворачиваются придворные ристанья, носит имя сущий Ад, где струит по руслу Неблагодарности свои полные воды Флегетон забвения, в бурномутных водоворотах страстей, — кто же будет трехзевым Цербером и залает, вынюхав пришельца, вступившего в адские края, дабы быть пожранным? Тоже двойной шпион...

Засланный в Англию шпионить на Ришелье, Феррант решил обогатиться, оказывая услуги и англичанам. Набравшись сведений от челяди и от низкоразрядных конторских под пиво из громадных кружек, в притонах, продымленных бараньим салом, он предстал пред священнослужителями, заявив, что является испанским пастырем, желающим отринуть Римскую Церковь, не вынеся ее мерзот.

Мед для ушей антипапистов, искавших okazji для обличения католического духовенства. Не потребовалось даже от Ферранта присягать в том, что ему не было известно. У англичан имелись анонимные показания, то ли выдуманные, то ли подлинные, какого-то католического священника. Феррант только завизировал их бумагу, подписавшись именем одного викария из Мадрида, который некогда повел себя с Феррантом высокомерно и которому тот решил отомстить, как подвернется раз.

Посылаемый от англичан снова в Испанию, на поиски новых свидетельств от представителей клира, расположенных оклеветать Священный Престол, в портовом кабаке Феррант познакомился с генуэзцем, вкрался в доверие и выведал, что тот на самом деле Махмут, ренегат, принявший на Востоке магометанство и под видом португальского купца собирающий данные о состоянии английского флота, в то время как другие разведчики Высокой Порты занимаются тем же делом во Франции.

Феррант открылся тому, будто работает на турецких агентов в Италии и будто тайно перешел в ту же мусульманскую веру и имеет имя Дженнет Оглу. Он продал Махмуту сведения о передвижениях английских судов и взял за это награждение, а также за согласие оповестить кое о чем собратьев во Франции. В то время как английские церковники считали, что он отправился в Испанию, он решил попользоваться еще одной выгодой, сопряженной с бытностью в Англии, и связался с флотским ведомством, под именем венецианца Грансеолы (вымышленное имя означало “морской паук”, в честь приснопамятного капитана Гамберо — “креветки”), состоявшего якобы на секретных поручениях при Совете Венецианской республики, в частности разведывающего планы французского торгового мореходства. Ныне, объявленный вне закона за дуэль, он, словно, не имеет дороги кроме как искать приюта в дружественной стране. Дабы доказать добрую волю, он оповестил уполномоченных английского адмиралтейства, что Франция заслала разведывать английские гавани одного Махмута, турецкого шпиона, и тот проживает в Лондоне, прикидываясь португальцем.

У Махмута, арестованного в тот же день, были найдены планы английских доков, и Феррант, под именем Грансеолы, был признан личностью, заслуживающей доверия. Получив обещание английского вида на жительство по исправлении службы и с задатком в виде крупной первой суммы он был отправлен во Францию, где должен был объединиться с другими английскими разведчиками.

В Париже он сразу преподнес кардиналу Ришелье всю информацию, которую англичане выпытали у Махмута. Потом связался с друзьями генуэзского ренегата, адреса которых были от того получены, и явился к ним как Шарль де ла Бреш, монах-расстрига, переметнувшийся к неверным и сумевший затеять в Лондоне такую интригу, которая дискредитировала все христианское племя. Те подосланные взяли Феррантовы речи на веру, благодаря тому, что к ним уже попала книжица, в которой англиканская церковь обнародовала низости одного испанского священника, — а в это время в Мадриде, по публикации брошюры, арестовали прелата,

которому Феррант приписал предательство, и ныне он дождался казни в застенках инквизиции.

Феррант разузнавал от этих турецких агентов все, что они успевали нашпионить во Франции, и понемногу пересылал эти сведения в английское Адмиралтейство, получая каждый раз причитающуюся плату. Через некоторое время он пошел к Ришелье и объявил ему, что в Париже, у всех перед носом, работает турецкая шпионская сеть. Ришелье в очередной раз восхитился ловкостью и преданностью Ферранта — до такой степени, что поручил ему еще более замысловатое дело.

Вот уж немало времени как Кардинал интересовался тем, что делалось в салоне маркизы Рамбуйе, и подозревал, что у тамошних вольнодумцев случаются нелестные отзывы о нем. Ошибкой Кардинала было заслать к Рамбуйе своего порученца, который в наивности задал маркизе вопрос, не было ли недозволенных высказываний. Артеника ответила, что ее приглашенные превосходно представляют себе ее мнение о Его Высокопреосвященстве и, даже имея у них противоположные взгляды, они не осмелились бы обнаруживать их в ее, Артеникином, присутствии.

Обескураженный Кардинал начал выжидать, пока появится в Париже чужестранец, который сможет получить доступ в этот ареопаг. Тут Роберт, не имея охоты выдумывать разные обманные перипетии, за счет которых Феррант сумел бы втереться в общество, решил, что проще всего провести его по чьей-то рекомендации и в переодетом обличе: парик, седая накладная борода, кожа, состаренная гримом и притираниями, черная повязка на левом глазу, вот перед нами аббат де Морфи.

Роберт не мог допустить, что Феррант, целиком и полностью походивший на него, был рядом с ним в те самые, вспоминавшиеся теперь как столь далекие, вечера; но он помнил, что видел одноглазого аббата, и решил, что это, по видимому, был Феррант.

Феррант, который именно в этом благородном собрании, по прошествии десяти и более лет, снова встречает Роберта! Невозможно описать ликование злобы, когда наглый

проходимец вновь обрел ненавистного брата. С лицом, которое выдала бы искажающая гримаса враждебности, не будь оно прикрито атрибутами маскарада, он сказал себе, что наконец уничтожит Роберта и завладеет его именем и именем.

Вечер за вечером он наблюдал за жертвой, выискивая на ее лице мельчайшие подробности сокровений. Умея неподражаемо скрывать свои мысли, Феррант был ловок в открытии чужих. Впрочем, любовь не скроешь; как пламя, она обнаруживается по дыму. Проследив направление взглядов Роберта, Феррант моментально догадался, какие чувства тот питает и на кого они нацелены. Раз так, сказал он себе, прежде всего отберем у Роберта то, что ему дороже всего.

От Ферранта не укрылось, что Роберт, сумев привлечь внимание Прекрасной Дамы, не находил храбрости приблизиться к ней. Стеснительность брата играла на руку Ферранту. Владычица могла помыслить, что тут недостаток интереса, а разыгрывать пренебрежение — лучший способ завоевывать. Роберт подготовил Ферранту дорогу. Феррант дал Госпоже дозреть в нерешительном поджидании, а потом — улучив подходящую минуту — бросился обольщать.

Но мог ли Роберт разрешить Ферранту испытывать любовь, равную его собственной? Разумеется, нет. Феррант видел в любой женщине портрет непостоянства, жрицу обмана, легкомысленную в речах, мешкотную в действиях и резвую в капризах. Воспитанный сумрачными аскетами, которые ему вбивали в голову, что “*El hombre es el fuego, la mujer la estopa, viene el diablo y sopla*”¹, он привык считать всех дочерей Евы несовершенными животными, ошибками природы, при уродстве — пыткой для очей, при красоте — растравой для сердца, для тех, кто их любит — тираншами, для тех, кто недооценивает — врагинями, беспорядочными в требованиях, непреклонными в гневе, в чьих устах очарование, а в очах кандалы.

¹ Мужчина — огонь, женщина — пакля, приходит дьявол и дует (исп.).

Однако именно это неуважение подталкивало его обольщать. Пуская с губ лстивые речи, в сердце он наслаждался униженностью жертвы.

Итак, именно Феррант торопился наложить руку на тело, которого он (Роберт) не отваживался коснуться даже в мечтаньях. Феррант же, ненавистник всего, что для Роберта было предметом преклонения, намеревался — теперь — отнять у него Лилею, дабы низвести до роли пресной любовницы в безвкусной комедии. Какая мука. И какой огорчительный удел, следуя безумной логике романов, разделять самые гнусные чувства и пестовать как чадо собственного воображения самого омерзительного из сюжетных героев.

Но деваться Роберту было некуда. Ферранту надлежало взять Лилею — а иначе зачем автор завязывал интригу, если не для того, чтоб самому ею удушиться?

Каким образом и что из событий имело место, Роберту представить не удавалось (потому что никогда не удавалось попробовать захотеть представить). Может быть, Феррант проник глубокой ночью в почивальню Лилеи, вскарабкавшись, конечно, по плющу (крепко вцепляющемся в камни — о ночная приманка для любого очарованного сердца!), выющемся вплоть до подоконника ее алькова.

Вот Лилея проявляет знаки оскорбленной добродетели, да так, что всякий отступил бы пред подобным негодованием, всякий, но только не Феррант, уверенный, что человеческие существа всегда расположены к притворству. Вот Феррант становится на колени и держит речь. Что говорит Феррант? Он говорит, своим лживым голосом, все то, что Роберт не только хотел бы ей высказать, но даже и высказывал, хотя она никогда не узнала, от кого поступали эти послания.

Как же сумел бандит, недоумевал Роберт, разведать содержание тех писем, которые посланы мною ей? И не только! Даже и тех, которые Сен-Савен продиктовал мне в Каза-ле, а я уничтожил! И даже тех, которые пишу я ныне, сидя на корабле! Тем не менее нет сомнений, это так, и Феррант декламирует с чистосердечным видом фразы, Роберту памятные как нельзя лучше:

“Госпожа, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня Миротворения, что я встречаю вас и я вас люблю... Простите исступление отчаявшегося, или лучше скажу, не смущайтесь этим исступлением, поскольку неслыханно, чтобы правители отвечали за гибель своих подданных... Не вы ли претворили в два алабика мне очи, дабы они дистиллировали жизнь и перегоняли в прозрачную воду? Прошу, не отворачивайте прекрасную голову от меня. Лишенный вашего взора, я слеп, так как вы меня не видите, без ваших речей я нем, потому что вы не говорите ко мне, и беспамятен, потому что вы меня не вспоминаете. О, если бы любовь превратила меня в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный источник, смывающий слезами любое томление!”

Теперь Владычица его души, конечно, трепетала; в очах ее пылала та любовь, которую она пыталась прежде утаивать; к ней пришла энергичность узника, которому некто взломит решетку Сдержанности и вбросит шелковую лестницу Случая. Не подлежало сомнению, что атаку следует усилить. Феррант не ограничился тем, что было сочинено и записано Робертом, он ведал и другие речи, лил речи в ее замороженные уши, чаруя и ее и самого Роберта, который до этих пор не знал, что знает такие слова.

“О тусклое мое солнце, от вашей сладостной бледности утрачивает алая заря весь пламяогненный жар! О сладкие взоры, от вас прошу я только — позволить томиться недугом! Не стоит мне утекать в поля или в пущи, дабы от вас отрешиться. Нет пущи подобной на свете, нет дерева подобного в пуще, нет ветви подобной на древе, такого побега на ветви, нет цвета на этом побеге, такого плода этой почки, чтобы в нем мне не виделся милый, единственный, нежный ваш лик...”

И при ее первом рдении: “О Лилея, когда бы вы ведали! Я любил вас, не зная ни обличья ни имени вашего. Искал вас, и не знал, где вы находитесь. Но однажды вы поразили меня, как ангел... О, я знаю, вы гадаете, отчего моя любовь не осталась в незапятнанном молчании, в целомудренной дали... Но я умираю, сердце мое, вы же видите сами, дух

уже излетает, не позволяйте ему улетучиваться в воздух, дайте сохраниваться, опочивши на ваших устах!”

Тон Ферранта при этих речах был до того искренен, что Роберту и самому уж хотелось, чтоб она пала в сладкие сети. Только этим доказалось бы, что она его любит.

Поэтому Лилия наклонилась, чтоб поцеловать, и не посмела, и приникая и отшатываясь трижды близила уста к желанному дыханию, три раза отстранялась и потом вскричала: “О да, о да, ежели вы меня не прикуете, я не буду свободна, и не буду целомудренна, ежели вы не обеспечите меня!”

И взявши кисть руки его, она ее поцеловала и возложила на грудь; потом привлекла его к себе, нежно похищая дыхание его уст. Феррант склонился на этот сосуд ликования (в котором Роберт захоронил останки собственного сердца) и два тела слились в единую душу. Роберт уже не знал, кто находится в объятии, поскольку Лилея полагала, что лежит в Робертовом, а он, приближая к ней уста Ферранта, стремился отворотить собственные, поскольку не мог снести, чтобы она дала этот поцелуй.

И вот так, в то время как Феррант наносил поцелуи, а она их возвращала, поцелуи уничтожались, и в Роберте укреплялась уверенность, что его обворовали кругом. Но он не мог уберечься от мыслей о том, чего не хотел вообразить: он знал, что в природе любви заложена избыточность.

Разобидевшись на эту избыточность, забывая, что, отдаваясь Ферранту, она считала его Робертом и что то был знак для Роберта донельзя желанный, он ненавидел Лилею и метался по кораблю, забывая: “О ничтожество, оскорбил бы я всю породу твою, наименовав тебя женщиной! То, что надделала ты, более достойно фурии, нежели дамы, и даже имя свирепой скотины чересчур лестно для такого исчадия ада! Ты хуже аспиды, отравившего Клеопатру, хуже рогатой гадюки, что обманно приваживает пернатых, дабы закласть на алтаре собственного аппетита, хуже амфисбены, двухголового гада, который коснувшегося так опрыскивает отравой, что в течение немногих минут незадачливый умирает, хуже головогрыза, который, вооруженный четырьмя ядовитыми клыками, портит мясо, когда кусает его, и хуже

гиены, когда она кидается с дерев и удушает свою жертву, и хуже дракона, изрыгающего смертное зелие в фонтаны, и василиска, изничтожающего свою жертву единым взглядом! О супостатка и мегера, не знающая ни неба, ни земли, ни веры, и ни женского и ни мужского рода, урод, порожденный камнем, горою, дубом!”

Потом он останавливался и снова сознавал, что она отдавалась Ферранту, полагая его Робертом, и что не попрана, а оборонена должна быть от этого наскока: “Осторожнее, любимая моя любовь, сей представляется тебе с моим лицом, ему известно, что другого, то есть того, кто не является мною, ты не влюбила бы никогда! Что же я должен теперь делать, если не враждовать с собственной персоной, дабы вражда перекинулась на него? Могу ли я оставить тебя во власти обмана, чтоб нежилась в его объятии, полагая, что нежишься в моем? Я, который уже смирился с жизнью в этом узилище, чтобы всецело посвящать и ночи и дни размышлениям о тебе, могу ли я позволить, чтобы ты, будто околдовывая меня, на самом деле становилась суккубом соблазнительного чародея? О Любовь, Любовь, Любовь, разве ты меня еще недостаточно наказала, и разве это не смерть помимо смерти?”

30. ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ ИЛИ ЭРОТИЧЕСКАЯ МЕЛАНХОЛИЯ ¹



ва дня после того Роберт прятался от света.

Во снах видел мертвецов. Десны и язык у него опухли. Из кишок болезненность распространилась на грудь, потом на спину, его рвало кислотной блевотой, хотя он пищи не принимал. Черная желчь донимала и разбирала все тело, исходила пузырями, подобными пузырям воды, когда воду сильно нагревают.

Он неусомнительно составлял тяжелый случай (трудно поверить, как до тех пор не замечал) так называемой *Melancholia Erotica*. Разве не объяснял он тогда в салоне у Артеники путь, коим фигура возлюбленного создания берет любовные хвори, проникая, как привидение, через глазные продухи, эти лазы и двери души? Проникнув, притягательное впечатление медленно растекается по венам и населяет собой печень, пробуждая похотливость, которая сеет в теле бунтарство, и мятежная плоть подымается на штурм цитадели-сердца, где, побившись с самыми благородными силами мозга, их порабощает.

Это значит, что жертвы утрачивают рассудок, чувства смущаются, интеллект оупевает, воображение опорочивается, и несчастный влюбившийся тощает, его глаза западают, слышны вздохи, и ревность его доканывает.

*

¹ Название книги французского литератора Жака Феррана (XVII в.) “*De la maladie d’amour ou Melancholie érotique*” (1623). Использован и текст “*Anatomy of Melancholy*” (1621) английского литератора Роберта Бартона (Burton, 1577–1640).

Как вылечиваются? Роберт припомнил, что имелось врачевание врачеваний, для него неприменимое: обладать возлюбленным предметом. Он не знал, Роберт, что и это не выход, потому что меланхолики не от любви становятся такими, а влюбляются, ища выход меланхолии, и предпочитают пустынное место, где спиритствовать с любимым видением, вождедея только, как бы сблизиться с ним. Но стоит видению подойти ближе, они еще более угнетаются и невольно начинают тяготеть к обратному.

Роберт припоминал теории ученых мужей об Эротической Меланхолии. Она вроде вызывается безделием, сном навзничью и задержанием семени. Роберт вот уж сколько времени поневоле был бездельником. Что до задержания семени, не хотелось ему вдаваться ни в обдумывание причин, ни в изобретение встречных средств.

Забвению способствуют охотничьи досуги. О, если так, он станет в море выплывать как можно чаще, и на спину не станет ложиться. Однако среди веществ, разнуздывающих чувственность, соль — на одном из первых мест. А при плавании соль заглатывается из моря в таком избытке... К тому же он, помнится, читал, что получающие много солнца жители Африки похотливее, чем гиперборейцы.

Может быть, пища послужила затравкой, воспалившей его сатурнов аппетит? Доктора запрещали есть дичь, печень гуся, фисташки, трюфеля и имбирь, но не поясняли, каких видов рыб следует остерегаться. Предписывали не носить разнеживающие наряды, горностаи и аксамиты, и не нюхиваться мускуса, амбры, мускатных орехов; не пудриться. Но что он знал о скрытой силе тех ароматов, которые шли из оранжереи или доносились на крыльях ветра с берега Острова?

Ему бы защищаться от этих пагубных поветрий с помощью камфоры, огуречника или кислицы, использовать клистиры, рвотный камень в мясном отваре, пускать кровь из средней вены предплечья или из вены во лбу; питаться только цикорием, одуванчиками, латуком, а также дынями, виноградом и черешней, сливами, грушами, в первую голову — свежей мятой... Ничего этого под рукой на “Дафне” не было.

Он снова бултыхался в волнах, стараясь не глотать слишком много соли и отдыхая как можно меньше.

Конечно, он не перестал обдумывать созданную им самим историю, но обида на Ферранта ныне выражалась в злобных выпадах; он вымещал свой гнев на море, будто, подчиняя его своей воле, торжествовал над неприятелем.

Дни шли, и вот однажды, пообедав, он впервые обнаружил, что окрасились золотом волоски у него на груди и — сообщает он посредством множества риторических выкрутасов — на лонном холме; единственной причиной этого высветления могло быть, что тело его загорело. И не только. Тело заметно усилилось, и на плечах надулись такие мускулы, каких он никогда не видел. Роберт возомнил себя Геркулесом и благоразумие было отброшено. Назавтра он отправился в море без каната.

Он решил отцепиться от трапа и обплыть корабль вдоль правого борта, до самого руля, затем обогнуть корму и вернуться с другого бока, поднырнув под бушприт. Решил — и заработал ногами и руками. Море было не сильно тихое, водяные гребешки то и дело наталкивали Роберта на доски борта, из-за чего ему приходилось работать вдвое, как для того, чтобы приблизиться к корме, так и для того, чтоб не биться о корпус корабля. Дыхания не хватало, но он бестрепетно влекся. И наконец вот он в середине пути, то есть под ютом.

Выяснилось, что он растратил все свои силы. У него не могло хватить мочи обойти вдоль левого борта; но и возвращаться обок правого борта было не под силу. Он решил подержаться за перо руля, но там не на что было опереться: все облеплено склизким цветом, и жалобно поскрипывает, получая мерные пощечины волн.

Над головой он видел тот балкон, за остеклением которого угадывался его надежный оплот, его квартира. Он говорил себе, что если по несчастию трапик, ведущий на бак, вдруг оборвется, ему предстоит перед смертью еще немалые часы, задравши голову, молить судьбу, чтоб помогла попасть на тот мостик, который так много раз ему мечталось навсегда покинуть.

Солнце было загорожено толпищем туч, Роберт болтался, окаменелый. Закинул голову назад, как будто чтобы

спать, потом глаза открылись, он повернулся на живот и понял: случилось, чего он опасался, течение оттаскивало его все дальше от судна.

Употребив все силы, он вырвался обратно к “Дафне” и приник к борту, будто спрашивая от “Дафны” прилива мощи. Над головой он увидел большую пушку, торчащую из порта. Был бы тут с ним его швартов, подумал Роберт, может, сумел бы закинуть петлю, уцепиться за шею, за жерло, поджаться, враспи в размокшую пеньку руками, ногами вцепиться в борт... Но не только швартова не было с Робертом, но и, разумеется, не хватило бы у него цепкости и упора, чтобы взлезть по откосной вертикали, да еще на такую высь. И все же несказуемо глупо было помирать так близко от желанного оплота.

Роберт принял решение. От кормы, где его болтало, расстояние как по правому, так и по левому борту было одно и то же. Будто при жеребьевке, без всякой причины, он положил себе идти вдоль левого бока судна и бороться с течением, не позволяя разлучать “Дафну” с собою. Сжав зубы и напрягая все мышцы, он приказал себе выжить, пусть даже — как принято было командовать в ту пору — не щадя живота.

Вопль ликования вырвался, когда он достиг бушприта, пальцами врос в древесину; перебирая доску за доской, долез до Иакова трапа, и да будет благословен Иаков и благословенны и вечно хранимы с ним все патриархи Святого Писанья, и препрославлен Всевышний Владыка Бог наш Создатель Господь!

Сил совсем не было. Он провисел на мокрой лестнице, может быть, полчаса. В конце же концов взъезжил до палубы, чтобы затем подвести итоги произведенного опыта.

Во-первых, плавать он мог, то есть был в состоянии преодолеть водный путь от носа до кормы судна и обратно. Во-вторых, подобное упражнение измочаливало его до пределов физического выживания. В-третьих, так как расстояние между берегом и кораблем во многие и многие разы превосходило периметр этого плавательного средства, даже ежели мерить в часы отлива, Роберту не было надежды доплыть, если ему не будет за что держаться; в-четвертых,

отлив хотя и сокращал расстояние до суши, но и отгонял воду от берега, затрудняя подплыв; в-пятых, если ему удастся преодолеть половину пути, а потом он откажется от намерения, вернуться назад у него сил не хватит.

Поэтому следовало продолжать упражненья с веревкой, и на этот раз взять очень длинную. Он продвинется на восток сколько хватит у него выдержки, а потом возвратится путем наматыванья. Только наращивая уменье и силу день за днем, Роберт дойдет до того, что сможет попытаться самостоятельно.

Он выбрал спокойный день, когда солнце уже клонилось и светило ему в затылок. Привязал длиннейшую веревку одним концом за комель грот-мачты, разложил ее кольцами на палубе, чтоб соскальзывали по порядку. Плыл он ровно, был внимателен, не утомлялся, отдыхал часто. Разглядывал берег и оба его боковых мыса. Только сейчас, видя снизу, он понимал, до чего далека идеальная черта, соединяющая северную и южную закраину бухты и за которой ему предусмотрен накануне день.

Он не до конца понял рассказ иезуита и полагал, что коралловый риф начинается только там, где белые барашки разбиваются о первые скалы. А между тем даже в период отлива риф торчал под водой почти у самого судна. Иначе "Дафна" опустила бы якоря гораздо приближеннее к пляжу.

Из-за того-то он и толкнулся босыми ногами в что-то такое, что можно было разглядеть в воде, но только оказавшись прямо сверху. Почти одновременно он поразился движению цветных форм под самой поверхностью моря, и тут же ощутил невыносимое саднение кожи колена и бедра. Будто бы что-то его укусило или ободрало. Метнувшись от этой мели, он брыкнул обеими ногами и изранил еще и пятку.

Вцепился в веревку и стал так истоиво тянуть и перебирать, что поднявшись на борт, увидел содранные ладони; но внимание было отвлечено на боль в колене и ступне. Все покрылось гноевицами, болело. Прополоскав сыпь пресной водой, Роберт утишил боль. Но ближе к вечеру и в течение всей ночи жжение сопровождалось нестерпимым зудом,

и он, наверное, чесал во сне, потому что утром много прыщей было раздавлено и вытекали кровь и бели.

Тогда он обратился к препаратам преподобного Каспара (Спиритус, Олей и Флора), которые вроде сняли воспаление, но в течение целого дня удерживался, чтоб не царапать бубоны ногтями.

Он снова подвел итог испытанного и вывел четыре расчета. Коралловый риф находится ближе, чем кажется по отливам; это поощряет на повторение похода. Какие-то обитающие на нем создания, раки, рыбы, а может быть, кораллы, или же острые камни, чреваты смертоношием. Снова приближаться к этим отрогам можно только в одежде и обуви, то есть стеснив себя в плавании. Поелику защитить целиком все тело он в любом случае не может, надо бы заручиться способом видеть под водой.

Последний из этих выводов напомнил ему о той Стекло-Личине, или маске для подводного видения, которую показывал Каспар. Застегнув пряжку на затылке, он увидел, что лицо окаймлено и взгляд проходит через стекло, как сквозь окошко. Подышал: немного воздуха поступало. Если поступает воздух, значит, вхлынет и вода. Значит, маской надо пользоваться, задерживая дыхание. Если воздух медленно брать из маски, то и вода будет медленно вливаться. А чтоб выплеснуть накопившуюся воду, придется выныривать и снимать личину.

Умение не из простых; от Роберта это потребовало трех дней, он учился, не отрываясь от "Дафны". Роясь в койках моряков, он нашел холщовые бахилы, ими можно было обуться, не отяжелясь; сверху — длинные штаны с завязками у щиколоток. И еще полдня ушло, чтобы наново привыкнуть, одетому, к движениям, которые так хорошо получались у него при обнаженном теле.

Потом он плавал с маской. Там, где глубокие места, он разглядел совсем немного, но был косяк золоченых рыб, во многих футах ниже уровня моря, видимых четко, как в кадлушке.

Как сказано, три дня. За этот срок Роберту удалось обучиться глядеть на дно, втянувши воздух; затем и подвигаться, не отводя взгляда; а после этого — стаскивать с лица

маску, оставаясь на плаву. Учась всему, он инстинктивно находил нужные позы. Чтоб освободить руки, требовалось надувать и выпячивать грудь, ногами семенить, как на бегу, а подбородок задирать повыше. Довольно сложно Роберту было, не утрачивая равновесность, сызнава напяливать на себя личину и застегивать на голове. Кроме того, он себе сразу сказал, что возле рифа подобная стойка опасна: повсюду острые скалы, а когда лицо высунуто, вдобавок не видишь, в каком месте ты месишь пятками. Поэтому он подумал, что разумней всего не застегивать, а прижимать обеими ладонями личину к голове. Это, однако, принуждало его продвигаться только с помощью взбрыков ног, но при этом следя, чтоб тело было горизонтально и ноги книзу не клонились. В подобном плаванье он еще не упражнялся, и немало усилий ушло, чтобы эту манеру освоить.

Предаваясь экзерсисам, он при каждом припадке ярости обращал запальчивость и злобу в новый эпизод Романа о Ферранте.

Так сюжету придалось более ехидное направление, при котором Ферранта ждала заслуженная кара.

31. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛИТИКОВ¹



Сюжет, по правде, не следовало надолго забрасывать. Конечно, поэты, описавши любопытный эпизод, на время отстраняются, дабы читатель оставался в любопытстве, именно в этом их умении увлекательность повести; но нельзя останавливать интригу на излишнее время, не то читатель о ней забудет среди параллельных линий. Пора наставала, значит, возвращаться к Ферранту.

Отнять Лилею у Роберта, это была лишь одна из двух целей, намеченных Феррантом. Второю было — навлекать на Роберта немилость Кардинала. Нелегкая цель: Кардиналу было неизвестно само существование Роберта.

Но Феррант умел использовать случай. Ришелье при нем читал письмо и сказал: “Кардинал Мазарини намекает на эту английскую Пудру Симпатии. Вы слышали в Лондоне?”

“О чем идет речь, Ваше Высокопреосвященство?”

“Знаете, Поццо, или как вас там, не отвечайте вопросом на вопрос, тем более с теми, кто выше. Когда б я понимал, о чем речь, к вам бы не обращался. В любом случае, пудра или что иное, вы слышали о поиске долгот?”

“Признаюсь, мне не доводилось сталкиваться с этою темой... Если Вашему Высокопреосвященству угодно будет посвятить меня, я постараюсь..”

¹ “Breviarium Politicorum” (1646) — латиноязычное сочинение итальянского кардинала и французского премьер-министра Джулио Раймондо Маззарино (1602–1661).

“Ваша фраза почти остроумна, Поццо, но звучит как-то дерзко... Я бы не был хозяином страны, посвящая я окружающих в секреты, им недоступные... если только они не короли Франции. Но это не ваш случай. Делайте что умеете: вынюхивайте, раскапывайте секреты, недоступные ни для кого. Потом изложите мне их. Потом потрудитесь забыть”.

“Я поступал так всегда, Ваше Высокопреосвященство. По крайней мере, думаю, что поступал... Хотя потрудился забыть все”.

“Вот теперь вы мне нравитесь. Ступайте”.

Прошло время, и на памятном вечере Феррант услышал, как Роберт рассуждает подлинно о том порошке. Он не поверил своему счастью. Доложить Ришелье, что итальянский помещик, связанный дружбой с англичанином Д’Игби (бывшим приближенным Букингэма) что-то знает о Симпатической Присыпи!

Компрометируя Роберта, Феррант заботился сохранить для себя его место; поэтому довел до сведения Ришелье, что он, Феррант, выдающий себя за господина Дель Поццо (ибо работа осведомителя предполагает анонимность), на самом деле является Робертом де ла Грив и молодецки воевал в полку французов в казальскую осаду. Другой же, кто злопыхательствует насчет английской ружейной притирки, тот жульнически использует отдаленную внешнюю похожесть, а сам под именем Арабского Махмута шпионствовал в Лондоне на турецких хлебах.

Нашептывая это, Феррант подготавливался к мигу, когда, погубив брата, сумеет подменить его собой, назвавшись единственным и истинным Робертом, не только для родственников, остающихся в Грив, но и в глазах всего Парижа, как будто тот, другой, и не существовал на свете.

Тем временем, под обликом Роберта ухаживая за Лилеей, Феррант узнал, как остальные парижане, о гибели Сен-Мара, и немало, надо сказать, рискуя, но не жалея даже всей жизни ради свершения задуманной мести, в том самом облике Роберта умышленно показывался в компании знакомых наказанного крамольника.

Потом он нашептал Кардиналу, что лже-Роберт де ла Грив, осведомленный о тайне, интересующей британцев, без всякого сомнения злоумышляет и имеются улики, поскольку многие наблюдали Роберта с таким-то и таким-то.

Так выплелась ловушка из передергиванья и лжи, куда Роберту сулилось попадать, когда бы он не подловился совсем по другим причинам; как — было неизвестно и самому Ферранту, чьи планы вдруг переиначились ришельевскою кончиной.

Как это вышло, в самом деле? Ришелье, верх скрытности, держал при себе Ферранта, не посвящая никого, даже Мазарини, которому, понятно, не доверял ни в коей мере, наблюдая, как тот простирает, будто коршун, крыла над его бранным больным телом. И все же по мере отягчения недугов Ришелье снабжал Мазарини кое-какою информацией, хотя из принципа не указывал источник.

“Кстати говоря, Джулио драгоценный!”

“Слушаю, Высокопреосвященство и возлюбленный падре...”

“Обратите внимание на такого де ла Грив. Проводит вечера у Рамбуйе. Кажется, просвещен о симпатической примочке... И вдобавок, знаю от информатора, этот парень видается с заговорщиками...”

“Не утруждайтесь, Высокопреосвященство. Я им займусь”.

После чего Мазарини затевает собственную слежку за Робертом, получая те немногие данные, которые и обнаружил в вечер ареста. При всем том он не имеет понятия о Ферранте.

Ришелье на смертном одре. Как повернуть историю Ферранта?

После смерти Ришелье Феррант остался без опоры. Во что бы то ни стало он хотел предложиться Мазарини, потому что предательство, как подсолнух, обращает голову к тому, кто светит ярче. Но не мог являться к новому министру, не располагая козырями, чтоб набить себе цену. А от Роберта простыл и след. Что он — болеет или уехал?

Феррант подозревает одно, другое, но только не арест по его же собственному навету.

Теперь Феррант не рискует и выходит в Робертовом обличье, чтобы не натолкнуться на тех, кому известно, что Роберт в другом месте. Как бы ни сложилось у него с Лилеей, он прерывает все их сношенья с хладнокровием знающего, что для победы порою требуется выжиданье. И расстояние можно использовать: достоинства утрачивают глянец, если к ним приглядеться; воображение сягает дальше зренья, и даже феникс предпочитает самые далекие сени для сохранения своей славы.

Однако время не терпит. Необходимо, чтобы к возврату Роберта Мазарини имел подозрения и желал его смерти. Феррант советуется с пособниками при дворе и узнает, что путь к Мазарини лежит через молодого Кольбера, и шлет тому письмо, в котором намекает на английские козни и на проблему долгот (ничего об этом не зная, помня только обмолвку Ришелье). За сведения он запросил изрядную денежную сумму. Ему назначают прийти, он является переодетым в аббата и с черной повязкой на глазу.

Кольбер не так простодушен. У аббата знакомый голос, немногие его слова сомнительны, вызывают двух из охраны, срывают фальшивые бороду и бельмо, кто же перед Кольбером? Роберт де ла Грив, которого он собственноручно сдал на руки надежным людям, дабы они препроводили его до отправки на корабле Берда!

Изобретая этот ход, Роберт торжествовал. Ферранта отправили в западню, им же и расставленную! “Как, Сан Патрицио?” — вскрикивает Кольбер. Поскольку Феррант мнется и запирается, его бросают в подземный каземат и замыкают дверь.

Нет ничего легче, нежели вообразить диалог Кольбера с Мазарини, которого тут же поставили в известность.

“Он, по-видимому, сумасшедший, Высокопреосвященство. Сбежать с задания, еще понимаю, но являться прямо к нам с вами, дабы перепродать, что от нас же и услышал, надо быть душевнобольным”.

“Кольбер, нет такого полоумного, чтоб считал меня дураком. Значит, наш мальчик повышает ставку, руки полны козырей”.

“Каких же?”

“Взошел на корабль и немедленно все выведал, нет нужды отправляться в плаванье”.

“И замыслил перепродать данные... Так шел бы к испанцам, к голландцам. Но зачем он возвращается сюда? Что ему нужно от нас? Оплату? Но ведь знал, что если выполнит порученное, получит даже жалованье при дворе”.

“Значит, он убежден, что добытый секрет стоит больше придворного жалованья. Поверьте мне. Я знаю людей. Остается принять его игру. Я увижу его сегодня же”.

Принимая Ферранта, Мазарини собственными руками прибавлял последние штрихи, заканчивая сервированный для гостей стол. Триумф мнимости, все на этом столе прикидывалось чем-то иным. Светильники расставлены были в плосках из льда, цветные бутылки сообщали вину неожиданные оттенки, корзины латука были наполнены композициями из цветов, подобранных, чтоб напоминать плоды, и обрызганных фруктовыми эссенциями.

Мазарини, полагавший, что Роберт, то есть на самом деле Феррант, обладает секретом, из которого он, кардинал, сможет извлечь выгоду, решил делать вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя.

В то же время Феррант, оказавшийся в присутствии кардинала, догадался, что Роберт владеет неким секретом, из которого ему, Ферранту, хорошо бы получить как можно большую выгоду, и решил принять вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя.

Поэтому на сцене двое, и каждый из них не знает ничего того, что, по его мнению, известно второму, и дабы взаимно обманывать друг друга, они выражаются намеками, каждый из обоих в напрасной надежде, что у другого есть ключ от шифра. Какая красивая фабула, говорил себе Роберт, нашаривая кончик нити от силка, расставленного им самим.

“Господин де Сан Патрицио, — начал Мазарини, перекладывая на блюде живых омаров, казавшихся ошпаренными, с вареными, имевшими вид живых. — Неделю назад мы отправили вас из Амстердама на борту “Амариллиды”. Вы не могли попросту выйти из игры: ведь вам известно, что цена такого поступка — смерть. Значит, вы уже разведали то, что вам поручено разведать”.

Перед лицом подобной дилеммы Феррант догадался, что не в его интересах заявлять, будто он не стал выполнять задание. Значит, оставалась только альтернативная дорога. “Раз уж угодно спрашивать Вашему Высокопреосвященству, — отвечал он, — в некотором смысле, мною выведено то, что Вашим Высокопреосвященством предполагалось узнать”. А сам себе подумал: “Теперь я знаю, что секрет находится на борту корабля “Амариллида”, отплывшего на прошлой неделе из Амстердама”.

“Так к делу, отбрасывайте ложную скромность. Нет сомнений, что вы обнаружили гораздо больше, чем вас просили. С тех пор как вас заслали туда, мною были собраны дополнительные данные, ведь вы не можете думать, правда, будто вы у нас единственный агент? Так что само собой разумеется, что добытое вами дорогого стоит, и мы не постоем за ценой. Однако непостижимо, отчего вам взбрело в ум возвращаться ко мне такую кривой дорогой”. Он указал официантам, куда следует ставить разварное мясо в деревянных формах, имевших фигуры рыб, и залитое не бульоном, а желе.

Феррант все сильнее уверивался, что тайна такова, что цены ей нет, и он знал: легко застреливают птицу, летящую по прямой, и с большим трудом ту, которая мечется. Так что он тянул время, испытывая противника: “Ваше Высокопреосвященство знает, что ставка в этой игре вынуждала к изощренным методам”.

“Ну и шельма, — бормотал себе тем временем Мазарини, — ты не знаешь, какова точно цена добытых знаний, и хочешь, чтобы я назвал сумму. Но я добыюсь, чтобы ты высказался первым”. Он передвинул на середину стола мороженое, сделанное в виде персиков, отягчавших

урожайную ветвь, и сказал громким голосом: “Мне известно, чем вы владеете. И вам известно, что никому, кроме меня, вы это не предложите. Неужели вам выгодно прикидываться, будто белое — это черное, а черное — белое?”

“О, проклятая лисица, — бормотал про себя Феррант. — Ты понятия не имеешь, что же мне следовало узнать. Беда, что и я не имею понятия”. Затем вслух: “Вашему Высокопреосвященству известно, что зачастую истина становится поместилищем горечи”.

“Знание не приносит вреда”.

“Но нередко наносит боль”.

“Ну, так наносите же, и покончим с этим. Я огорчусь ничуть не больше, нежели когда мне сказали, что вы запятнали себя в государственной измене и единственный выход — передать вас палачам”.

До Ферранта дошло наконец, что продолжая разыгрывать роль Роберта, он рискует очутиться на плахе. Лучше уж было обнаружиться, кто он на самом деле, и рисковать самое большее быть побитым палками.

“Высокопреосвященство, — произнес он тогда. — Я ошибся, не открыв вам с первых слов истину. Господин Кольбер спутал меня с Робертом де ла Грив, и его ошибка сумела смутить даже такой непогрешимый глаз, как ваш. Однако я не Роберт, я его естественнорожденный брат, Феррант. Я явился предложить вам некие сведения, которые, я уповал, заинтересуют Ваше Высокопреосвященство... Учитывая, что Ваше Высокопреосвященство было первым, кто наименовал пред покойным и незабвенным Его Высокопреосвященством Кардиналом те козни англичан, вы знаете... Порошок симпатии, выяснение долгот...”

Заслышав эти речи, Мазарини досадливо махнул рукой, чуть не сваливши супницу, окрашенную под золото и сверкающую поддельными самоцветами из стекла. Он выругал за это официанта и процедил Кольберу: “Верните туда, где был”.

Воистину, боги ослепляют тех, кого намерены погубить. Феррант надеялся пробудить интерес, намекнув, будто знает заповедные секреты опочившего Кардинала, но перебрал

меру, по гордыне ябедника, захотевшего показаться осведомленнее, чем хозяин. Однако никто до тех пор не докладывал Мазарини (и достаточно тяжело было бы теперь доказать это), что между Робертом и Ришелье имели место тайные сношения. Перед Мазарини оказался некто, будь он Робертом или будь он иным лицом, который знал не только что было говорено между Мазарини и Робертом, но и что было писано между Мазарини и Ришелье. Откуда он выведал это?

Когда Ферранта увели, Кольбер сказал: “Ваше Высокопреосвященство склонны верить словам этой особы? Если он и впрямь двойчатник, этим объясняется многое. Роберт до сих пор находится в море, а этот...”

“Нет, если речь идет о близнецах, наш случай объясняется еще менее. Как может новоявленный брат знать то, что до этих пор знали только вы, я, наш английский шпион и господин де ла Грив?”

“От брата...”

“Нет, брат узнал секрет только от нас и не ранее той самой ночи, и с этих пор ни разу не был выпущен из виду, пока корабль не вышел из порта. Нет, нет, этому человеку известно гораздо больше, чем ему приличествует знать”.

“Что будем делать?”

“Интересный вопрос, Кольбер. Если данная особь — Роберт, он что-то выведал на корабле и хорошо бы он с нами этим поделился. Если он не Роберт, нам абсолютно необходимо знать, откуда он взял сведения. В обоих случаях исключается допрос на суде, где он расскажет слишком много и слишком многим слушателям. Но мы не можем и всадить ему пару дюймов клинка под лопатку: он еще не успел нам исповедаться. Если же это не Роберт, а, как он там рекомендовался, Ферран или Фернан...”

“Феррант, кажется...”

“Как предпочитаете. Если он не Роберт, кто стоит за этой личностью? Для такого и Бастилия недостаточно надежна. Известно, что из Бастилии и отправляли послания и получали ответы. Надо добиться, чтоб этот субъект заговорил, то есть найти способ развязать ему язык, а до тех пор

ухоронить его в такое место, чтобы никому не было ведомо, и чтобы в том месте никому не было ведомо, кто он”.

Тут Кольбера осенило зловещей гениальностью.

За несколько дней до того французские моряки захватили у берега Бретани пиратское судно. Это был, по совпадению, голландский флибот, с непроизносимым именем Tweede Daphne, иначе говоря, “Дафна Вторая”, сигнал, заметил Мазарини, что где-то существует Дафна Первая, и блестящее подтверждение, что протестантам свойственно не только иметь мало веры, но и мало фантазии. Бандитская шайка состояла из отребья всех племен. Повесить всех сразу, но ждали развязки следствия, не состояли ли часом эти бродяги на службе у английской монархии, и у кого они отбили корабль, — вдруг законные владельцы раскошелятся, чтоб им его вернули.

Поэтому было решено держать судно на приколе у устья Сены, в бухточке, укрытой от глаз, не замечаемой даже паломниками святого Иакова, маршрут которых из Фландрии пролегал поблизости. На песчаной косе, замыкавшей бухту, был старый форт, в свое время он служил тюрьмой, теперь его забросили. Туда, в подвальные камеры, замкнули пиратов, для охраны хватало трех человек.

“Это годится, — сказал Мазарини. — Возьмите десяток моих гвардейцев, найдите хорошего командира, не лишеного рассудительности...”

“Бискара. Прекрасная репутация, с тех самых пор как отличался в дуэлях с мушкетерами к прославлению имени Кардинала...”

“Замечательно. Заключение перевезут в тот форт и поместят в квартиру с гвардейцами. Бискара будет принимать пищу с ним в его комнате и будет лично водить его на прогулку. Караульный пост к дверям комнаты, как днем так и ночью. Сидение под стражей смягчает самых упорных. Наш строптивец будет иметь возможным собеседником одного Бискара. Может, он заоткровенничает. Пусть никто не видит его лица, ни в поездке ни в укреплении...”

“Ни во время прогулки...”

“Вот-вот, Кольбер, поизобретательнее. Прикройте ему физиономию”.

“Осмелюсь предложить... Железная маска, закрывается на замок, ключ выбрасывается в море...”

“Ну-ну, Кольбер, что мы, в Стране Романов? Вчера мы смотрели итальянских комедиантов. Вот у них такие кожаные маски с большими носами, лицо искажено, а рот остается свободным. Найдите такую маску, и пусть ее прикрутят, чтобы самому было снять невозможно, и повесьте зеркало в комнату, чтобы он все время огорчался от своего непристойного вида. Он хотел маскироваться под брата? А мы его замаскируем в Полишинеля. И присматривайте хорошенько. Отсюда и до форта — закрытая карета, остановки только ночью и в чистом поле, пусть не высовывается на почтовых станциях. Если кто-нибудь спросит, надо отвечать, что провозят в ссылку знатную даму, злоумышлявшую против Кардинала”.

Феррант, ошарашенный шутовским маскарадом, целыми днями рассматривал через щели в решетке, пропускавшей в его узилище слабый свет, серый амфитеатр кривых дюн и “Вторую Дафну” на рейде залива.

Он был в полном самообладании и в присутствии Бискара прикидывался то Робертом, то Феррантом, так чтобы режиссии, направляемые Мазарини, носили противоречивый характер. Он подслушивал за гвардейцами и из обрывков их разговоров сделал вывод, что в подземелье тюрьмы содержатся пираты.

Желая расквитаться с Робертом за оскорбление, никогда не наносившееся, он измышлял способы затеять мятеж, освободить ватагу, захватить корабль и догнать Роберта. Он знал, как действовать: в Амстердаме он связался бы со шпионами, которые добыли бы ему сведения о назначении “Амариллиды”. Он догнал бы “Амариллиду”, вырвал тайну у Роберта, потопил бы в океане опостылевшего брата и сумел бы продать этому новому кардиналу кое-что за высочайшую цену.

А может, и не так. Выведав секрет, он попробовал бы сбывать его кому-то другому. И вообще, зачем сбывать? Насколько он догадывался, тайна Роберта могла относиться

к карте острова сокровищ, или к секрету Алумбрадос и Розенкрейцеров, о которых молва так много говорила в последнее двадцатилетие. Он обернул бы открытие на собственную пользу, кончилось бы шпионство на хозяина, он бы начал нанимать шпионов для собственной нужды. А по обретении богатства и власти, и отеческая фамилия и нежнейшая Госпожа перешли бы в его владение.

Разумеется, Феррант, с его внутренним разладом, не был способен на истинную любовь, но Роберт говорил себе, что есть люди, которые вообще никогда не полюбили бы, если бы не слышали о существовании подобных чувств. Может быть, Ферранту попался под руку Роман, и он прочел его и убедил себя, будто любит, чтоб убежать от реальности, в которой был.

Может, Она в их первую встречу подарила Ферранту в залог любви свой гребень? Теперь Феррант целовал его и, целуя, самозабвенно утопал в золотистых струях, что недавно бороздились белоснежной и матовой костью?

А может, кто знает, даже подобный поддоник мог быть тронут воспоминанием о такой чистоте... Роберт так и видел Ферранта, сидящего в полумраке напротив зеркала, которое в глазах всякого глядящего сбоку отражает только поставленную напротив свечку. Вглядываясь в игру двух огней, причем один — повторение другого, зрачок приковывается, воображение околдовывается и являются виденья. Постепенно подвигая свой взгляд, Феррант находит в зеркале Лилею, лик ее из очищенного воска, он от сияния настолько влажен, что будто впитывает любой новый луч, и белокурые пряди рядом с толикой белизною темнеют и струятся ручьями, перехваченные лентой за плечом, грудь едва обрисовывается под тончайшею пеленою...

После этого Феррант (ну, так тебе и надо! — торжествовал Роберт), домогаясь слишком многого от суетного сна, хищно двигался к зеркальному стеклу, и за таявшим свечным отблеском он узревал одну только срамную харю, заменявшую ему лицо.

Зверем, не переносящим отнятие незаслуженного дара, он бросался мерзко ласкать заповедный гребень, но теперь, в чаду коптящего огарка, эта вещица (которая для Роберта могла бы стать самой обожаемой из бесценных реликвий) враждебно скалила пожелтелые зубья, как олицетворенный укор.

32. САД НАСЛАЖДЕНИЙ¹



Рисуя себе Ферранта в заточении в той речной пойме, с взглядом, устремленным на “Вторую Дафну”, куда не мог попадать, и вдали от Прекрасной Дамы, Роберт ощущал, простим ему, удовлетворенье, хотя предосудительное, но понятное, нераздельное и с определенным авторским самодовольством, поскольку посредством прелестной антимабулы сумел засадить противника в осаду, зеркально противную его собственной.

Со своего острова, сквозь свой кожаный намордник ты разглядываешь корабль, куда не доберешься вовеки. Я же, вот я уже на корабле, и моя стеклянная маска вот-вот подведет меня к желанному Острову. Так говорил ему (себе) Роберт, приуговтавливаясь к новому заплыву.

Роберт помнил, на каком расстоянии от “Дафны” он поранился, и поэтому плыл без опаски и стеклянное забрало держал на поясе. Когда почувствовал, что приближается к барьеру, он нахлобучил маску и наклонился ко дну морскому.

Спервоначала он видел только пятна, потом, как бывает, когда корабль туманною ночью находит на скалы и берег

¹ “Der fluuyten lust-hof” (1649) — название сборника музыкальных пьес (в частности для флейты) Якоба Младшего Ван Эйка (см. примечания к названиям глав 1 и 7). Таково же название книги Яна Янссона Штартера (Starter, ? — 1626) (“Friesche lust-hof”, 1621); это сборник стихов для исполнения на известные фламандские, английские, испанские, французские и итальянские мелодии XVII в.

внезапной остроконечностью вырисовывается перед людьми, нашел обрубистый уступ, ограничивающий бездну, над коею он болтался.

Роберт стащил маску, вылил воду, прижал к лицу, держа обеими руками, и под медленные извивы стоп снова вошел в картину, промелькнувшую незадолго перед тем.

Вот, значит, кораллы! Первое впечатление, по записям, было беспорядочным, ошеломленным. Огромная тканевая лавка, где раскинулись штофы, атласы, плисы, тафта, парча и паволоки, травчатые, лощенные, узорочные; позументы, бахромки, плетажки, галуны и кисти, покрывала, накидки, шали, палантины. И вдобавок ткани жили и дышали, колыхаясь, как сладострастные восточные танцовщицы.

В сей ландшафт, который Роберт не умеет описать, видя такое впервые и не помня слов для похожих зрелищ, врывались сонмы существ, их-то он опознать был способен, приравнявши к чему-то виденному. Эти существа рыбы, и снуя, они пересекались, как белые пути падучих звезд августовской ночью, но подбор и сочетание чешуек показывали, сколько в природе имеется окрасок и сколько их может присутствовать одновременно на едином фоне.

Бороздчатые, дорожчатые, с полосами то вдоль, то впоперечь, а то наискосок, или волнистыми; чубарые, как инкрустированные, с прихотливо разбросанными пятнами, пестрые, рябые, многоцветные, разномастные, одни кольчатые, а другие крапчатые, или разубранные прожилками, напоминающими пластины мрамора. Были рыбы с рисунком аспидовым, были цепями оплетенные, были усыпанные глазурями, в горошек были и в звездочку; наикрасивейшая опутана тесемками, с одного бока винного колера, а с другой сливочного; чудо было наблюдать, как тесьма искусно перевортывалась и укладывалась новыми рядами, и без сбоев, дело рук изошренного мастера.

Только рассмотревши рыб, он мог различать коралловые тела, при начале ему невнятные: и грозди бананов, и корзины с выпеченными хлебами, и плетенки с бронзовеющими ягодами, на которые слетались канарейки, сползались ящерики, садились колибри.

Роберт парил над садом, нет, не совсем над садом, над каменной рощею, где стояли окостеневшие грибы столбами, нет, не совсем, он витал над горою, ущелием, балкой, над откосом, пещерой, над отлогими долами одушевленных глыб, на которых неземная растительность создавала побеги сплюсненные, скругленные, блестящие, с зернистыми изломами, как гранит, или узловатые, или ссученные. Но при всех различиях побеги были необычайны по изяществу и миловзornости, и столь изрядны, что даже те, которые сработаны с притворной небрежностью, аляповато, топорно, отличались величием и показывались пусть уродами, но уродами прелести.

А может быть (Роберт то и дело черкает, поправляет, не умеет определить, пасует перед задачей: поди перескажи округлый квадрат, крутую пологость, суматошную тишину, полуночную радугу) он попал в каменоломню киновари?

Или от стесненных легких у него в голове помутилось, и вода, затекавшая в маску, переиначила контуры, обновила цвет? Он высунул голову за воздухом и опять распростерся над закраиной обрыва, исследуя разломы природы, глинистые коридоры, куда юркали виноцветные рыбы-пульчинеллы и сразу под скатом брезжил в огнецветной люльке, вздыхая и поводя клешнями, молочно-белый хохлатый рак, а сама сетка была выкручена из нитей, перевитых, будто косы чеснока.

Затем он воззрился на то, что не было рыбой, и не было водорослью, на что-то живое, на мясное, вздутое, бледное, разваленное на половины, чьи закраины рдели, а наверху служил веерный султан. Там, где полагалось глядеть глазам, торчали сургучные подвижные жужжальца.

Полипы тигровой окраски, в липучем пресмыкании вывертывая плотскость крупной срединной губы, терлись о голые тулова голотурий, каждое из которых — белесый хлуп с амарантовыми ядрами; рыбешки, медно-розовые под оливковой муругостью, выклевывали в пепельного цвета кочанах пунцовые бисерины и отщипывали крохи от клубней, леопардовых по масти, испеженных чернильными наростами. Рядом дышала пористая печень цвета пупавника, простреливали воду ртутные зарницы, бенгальские огни,

на заднем плане выставлялись лихие ости в кровавых пятнах, отсвечивал на боках какого-то кубка матовый перламутр...

Этот-то кубок и примерещился Роберту кладбищенскою урной; тогда он подумал: не среди ли этих отрогов погребалище подвигоположника Каспара? Уже не видимый, так как океан поспешил укутать его коралловой попоной, однако, высосав земные гуморы, переполнявшие это тело, кораллы приобрели фигуры цветов и абрисы садовых фруктов. Может, взглядевшись, Роберт распознал бы бедного старца, остающегося чужим для этих новых мест: череп сделан из волосатого кокоса, два подвядших яблока образуют щеки, глаза и веки — абрикосы, нос — шишковатая репа, напоминающая скотий помет. Ниже, где быть бы рту, сухие фиги. Свекла со суженною маковицей приделана на месте подбородка. Шея составлена из бодяков с чертополохами; повыше ушей два взъерошенных каштана топорщатся космами волос, а сами уши — половинки орехов с прорисованными перепонками; вместо пальцев корни моркови, арбуз на месте живота и айвиное яблоко в коленной чаше.

Как же вышло, что у Роберта такие траурные мысли приобрели столь гротескную форму? Совершенно по-иному приличествовало бы праху павшего друга увековечиваться на месте пророческого “Et in Arcadia ego”...

Может, под видом вон того черепа из рыхлых кораллов? Этот двойчатник камня почему-то был вылуцен из лунки. Отчасти на память о покойном учителе, отчасти чтобы взять у моря хотя бы часть его сокровищ, Роберт сжал рукой череп и, поскольку в этот день повидал больше чем мог вместить, с прижатой к груди добычей возвратился обратно на корабль.

33. ПОДЗЕМНЫЙ МИР¹



ораллы бросали Роберту вызов. Обнаружив,

на какие причуды способна Natura, он будто вступал с нею в состязанье. Он не мог забросить Ферранта в той темнице, а повесть на середине. Ублаготворилась бы его ненависть к сопернику, но не тщеславие романиста. Что ж содеять с этим Феррантом?

Идея пришла Роберту в голову одним утром, когда, как обычно, он засел перед рассветом глядеть на берег Острова, поджидая Огнецветную Голубицу. С зари сверкание ослепляло очи, и Роберт даже попробовал насадить на конечное стекло своей зрительной трубки что-то вроде козырька, вырвав лист из корабельного журнала, но навесец загоразживал обзор и давал видеть сплошное бликованье. Когда же солнце установилось над горизонтом, море отразило лучи, как зеркало, и удвоило световые пучки.

Но в этот день Роберт внушил себе, будто на его глазах что-то воспарило от деревьев к солнцу, а потом смешалось с сияющей сферой. Наверно, это была иллюзия. Какая угодно птица в подобном освещении показалась бы жароцветной... Роберту было ясно, что он видел Голубку, и в то же время обидно, что так обманулся. В подобном двойственном настрое, он жил с ощущением подлога.

Для такого, как Роберт, то есть дошедшего уже до способности ревниво наслаждаться только тем, что у него ото-

¹ "Mundus Subterraneus" (1665) — название еще одного произведения отца Атанасиуса Кирхера (см. прим. к назв. глав 6 и 39).

брано, не было труда вообразить, что Феррант, напротив, получает все то, что ему, Роберту, не воздано. Но поелику Роберт этой повести приходился еще и автором и не желал чересчур много потачек давать Ферранту, он решил, что позволит тому иметь дело только с самцом голубем, с тем, кто был зеленовато-синего цвета. И все потому, что Роберт, оторванный от каких бы то ни было достоверностей, произвольно постановил, что в голубиной паре апельсиновая птичка должна непременно быть самкой, это как бы означало “быть Ею”. Так как в повести о Ферранте голубиная роль не символизировала самоцели, а скорее касалась средства обладания, Ферранту предстояло обходиться голубком.

Имел ли возможность голубовато-зеленый голубь, пархивающий только над южными морями, присесть на подоконник острога, за которым Феррант вздыхал по утраченной воле? В Романической Стране — имел, конечно. Вдобавок, разве не могла “Вторая Дафна” только-только возвратиться из далекого океана, завершив свой путь успешней, нежели старшая сестрица, и привезти в трюме пернатое, которое бы теперь освободилось?

В любом случае Феррант, не ведающий об антиподах, не желал на этот счет объяснений. Он заметил птичку, сперва подкормил ее крошками, скорее от нечего делать, потом задумался, нельзя ли получить от птички пользу. Он знал, что голуби иногда переносят вести; разумеется, вверяя послание подобной твари, никто не мог быть гарантирован, что оно попадет куда надо, но учитывая скуку, отчего было не попробовать этот способ?

К кому он мог обратиться за поддержкой, он, враждебствовавший со всеми, вплоть до себя, а о тех немногих, кем пользовался, — знавший, что они готовы быть с ним лишь при успехе и никак не в несчастье? Он сказал себе: обращай-ка к Госпоже, она меня любит (“но с чего же он так уверен?” — завистливо терзался Роберт, выдумывая этот гордый довод).

Бискара приготовил в его спальне письменные припасы, если ночью надоумится повиниться, сочинить показания кардиналу. Феррант обозначил на одной стороне местожительство Дамы и добавил, что донесшему письмо будут

выплачены деньги. На другой стороне листа он указал, куда его заключили (о чем подслушал от гвардейцев) и что виною тому отвратительная интрига кардинала, и умолял освободить. Лист этот он скрутил в трубку, привязал к лапе голубя и согнал того с подоконницы.

По правде говоря, в скором времени он забыл, или почти забыл, о затее. Мог ли он думать, что зеленоватый голубь донесет послание до Лилей? Так бывает исключительно в сказках, а Феррант был не из тех, кто вверяет себя сказочникам. Может быть, голубочка подстрелил какой-то охотник и, рухая наземь, в сучьях дерева он выронил пакет?

Ферранту было невдомек, что этот голубь попал на смолу к мужику, который решил подзаработать, догадавшись, что записки безусловно дожидается кто-то, может быть, войсковой командир.

Поэтому грамотку снесли к единственному в деревне знавшему буквы, а именно к приходскому священнику, и он организовал все как нельзя лучше. Он отправил к Госпоже бывалого человека, чтобы сговориться об условиях доставки пакета, причем было сторговано щедрое пожертвование в пользу церкви того села, а также чаевые для крестьянина. Лилея прочла, поплакала и поговорила с надежными людьми, ища совета. Разжалобить кардинала? Легче легкого для миловидной придворной дамы. Но эта дама посещала салон Артеники, который не вызывал у кардинала доверия. О новом министре двора гуляли сатирические куплеты, и поговаривали, что родятся они именно в тех гостиных. Прециозница, идя к кардиналу за милосердием для друга, могла бы добиться только отягчения приговора.

Нет, оставалось собрать команду отважных и атаковать укрепление. Но к кому обратиться?

И тут Роберт останавливался в великой трудности. Будь он королевским мушкетером или неимущим гасконцем, Лилее прямой бы путь был к его славным братьям, к тем, кто известен взаимовыручкой. Но кто рискнет немилостью государственного министра, а может быть, и короля, ради чужестранца, завсегдага библиотекарей и астрономов? Что же до самих астрономов с библиотекарями, просьба уволить; потому что как ни размашист Роберт был в сочинении

сюжета, он все же не мог изображать каноника Диня или господина Гаффареля, стелющихся наметом в атаке на Робертову темницу, то есть на Феррантову, поскольку Феррант для всех, кто знал его, был Робертом.

Озарение осенило Роберта чуть позже. Он забросил на несколько дней Ферранта и снова плывал осматривать коралловые плесы. В тот день он преследовал косяк рыб, у них на головах были желтые шлемы и вся их стая напоминала гарцующий полк. Одна за другой прошмыгивали эти рыбы меж двух каменных башен, там, где кораллы напоминали полуразрушенные дворцы затонувшего царства.

Роберту подумалось, что эти рыбы кружат среди развалин легендарного города Ис, о котором он слышал рассказы, будто бы он лежит на дне моря в нескольких милях от побережья Бретани, там, где воды его затопили. Так вот, самая крупная рыба — исконный царь той державы, сопровождаемый свитой, генералы гарцуют на самих себе, ищут богатства, заглотанные океаном...

Но к чему вспоминать старинную сказку? Почему не вообразить, что рыбы живут в особенном мире, где есть леса и горы, деревья и долины, и ничего не ведают о мире суши? Так же точно и мы существуем, не зная, что полые небеса содержат миры иные, где люди не ступают и не плавают, а летают и парят на воздухе; то, что мы зовем планетами, это подзоры их кораблей; мы видим золотой киль каждой лодки. Так и эти детища Нептуна видят на высоте лишь тени днищ наших галеонов и считают их эфирными телами, движущимися по раскинутой на вышине водной тверди.

Если жизнь идет под водой, значит, жизнь может идти и под землею: цивилизация саламандр, способных прокапывать туннели к сердцевинному огню, греющему планету.

Рассуждая подобным образом, Роберт вспомнил аргументацию Сен-Савена: мы считаем, что невозможно жить на внешней стороне Луны, потому что там безводно, но ведь можно допустить, что вода имеется там в подземных резервуарах и что природа предусмотрела на Луне колодцы, они-то и есть те пятна, которые нам заметны. Кто исключит,

что обитатели Луны находят пристанище именно в этих нишах и укрываются от невыносимой близости Солнца? И не под землей ли обитали первохристиане? Лунатики никогда не выходят из катакомб, там и есть их местопребывание.

Притом не обязательно там у них темнота. Может, существуют множественные отверстия в корке спутника и внутренность его получает свет через эти тысячи дыр; там в Луне стоит вечная ночь, пронизаемая пучками света, очень похоже на освещение соборов или на освещение гондека “Дафны”. Или же нет: на поверхности Луны изобилуют фосфорические камни, которые днем напитываются солнечными лучами и отдают лучи ночью, так что лунатики запасаются камнями каждый день на закате и у них галереи блистательнее, чем дворец короля.

Париж, подумал Роберт. Разве не общеизвестно, что там, как и в Риме, подпочва продырявлена катакомбами и там отогреваются ночами побродяги и нищая вошва?

Вошва! Вот идея для спасения Ферранта! Вошвой, по рассказам, управляет Верховный Вшивец, у них есть жесточайшие законы; вошва — это государство босяцкого сброда, живущее злодеяниями, грабежами и надувательством, разбоем и плутовством, мошенством, татьбою, при лицемерном представительстве, будто доходы у них берутся от христианской милостыни!

Такое зарождается лишь в душе любящей женщины. Лилея — по сюжету, создаваемому Робертом — доверилась не светским друзьям, и не знакомым законникам, а последней из горничных девок, зная, что у той шашни с извозчиком, который столуется в трактире подле церкви Нотр-Дам, а туда каждый вечер стекаются христарадники, до закрытия храма клянчащие на погосте. Это был единственный путь.

Лилею провели глубокой ночью в собор Сен-Мартен-де-Шан, вынули плиту пола в хоре, и она сошла в парижские катакомбы и отправилась при факельном свете на условленную встречу с Верховным Вшивцем.

Вот она, переодетая в мужскую одежду, гибким и стройным андрогином проскальзывает по туннелям, поднимается

по лестницам, пролезает в щели и внезапно разглядывает в полумраке там и сям развалившиеся на лохмотьях и тряпках, раскоряченные туловища и лица, испещренные вередями, нарывами, бородавками, волдырями, пузырями и булдырями, огневиками, наростами, паршой, волчанкой, коростой и чирьями и раком, и все они громко воют, с вытянутой вперед рукою, неразлично: не то “Подайте сирому убогому”, не то “Пройдите, вас ожидают”.

Ее действительно ожидал владетель вшивого царства, Верховный Вшивец, на помосте в центре тронного зала, тысячей футов ниже уровня почвы, восседая на пивном бочонке в окружении карманных тяглецов, уличных певцов, ночных придорожников, обирал, плутов, рукоприкладчиков, словом, мошенников, непревзойденных в кривде и лихоимстве.

Каким быть ему, Верховному Вшивцу? Разумеется, в драной мантии, с шелудьями по голове, со сгнившим носом, с мраморными глазами, один из которых был черен, другой с прозеленью, с куньим взором, с нависшими бровями, с заячьей губой, из-под которой торчали острые, как у волка, выкаченные вперед зубы. Волосы его курчавились, кожа серела, ногти короткопалых рук были окогчены.

Он выслушал Госпожу и ответил, что у него под рукой войско, в сравнении с коим армия короля Франции — заштатный гарнизошишка. И обходится оно значительно дешевле: если братву пожалуют, скажем, двойною выручкой в сравнении с той, которую наканунечили бы люди за то же время, они ради такой дарительницы не пожалеют живота.

Лилея спустила с пальца рубин (как положено в подобных эпизодах) и царственно проронила: “Этого с вас довольно?”

“Довольно, — отвечал Верховный Вшивец, лаская яхонтисьим оком. — Скажите где. — И, узнавши имя местности, добавил: — Мои люди не пользуются ни конями ни колесным тяглом, но вижу, что туда можно доплыть на барже по течению Сены”.

Роберт воображал себе Ферранта, как он дышит воздухом на закате на часовой башенке форта в компании

Бискара, и вдруг появляются они на горизонте. Сначала на вершинках дюн, потом заполняют всю долину.

“Паломники Сант-Яго, — пренебрежительно комментирует Бискара. — И самые жалкие, или самые несчастные, те, кто тащится за здоровьем, а сами одной ногой в могиле”.

Действительно, пилигримы, вытянувшись длинною цепочкой, подходили все ближе, видны были бредущие гуськом слепцы со сцепленными вытянутыми руками, и колченогие на костылях, и прокаженные, и гноеточивые, и изъязвленные, и чесоточные, скопище кривых, косых и убогих, в опорках и в обносках.

“Не хватало еще чтобы они запросились к нам на ночь, — проговорил Бискара. — Наносить сюда грязь”. И велел прострелять троекратно из мушкета в воздух, чтобы дать понять, что эта крепостца — для них не харчевня.

Однако выстрелы почему-то возымели обратный результат. Издалека все появлялся и появлялся новый сброд; вся эта богомольщина обкладывала стены форта и слышалось их нечленораздельное бормотанье.

“Черт побери, отгоняйте же их!” — прокричал Бискара и велел бросать со стены хлеб, будто поясняя, что на этом благотворительность местного начальника кончается и чтобы большего не ожидали. Однако подлая ватага, разрастаясь на глазах, теснила свой авангард прямо на крепостную стену, топтала подаяние и глядела вверх на укрепленья, будто ждала более лакомую добычу.

Теперь можно было разглядеть всех по отдельности, они не походили на пилигримов, обиженных богом, молящих небеса об исцелении. Нет сомнений, обеспокоенно пробормотал Бискара, что тут бандиты, подорожная вольница. По крайней мере, насколько удавалось разглядеть, потому что день вечерел и логовина превращалась на глазах смотрящего в серо-неразборчивое копошенье крысыных теней.

“В ружье, в ружье!” — кричал Бискара, наконец понимая, что не о пилигримстве и не о попрошайничестве идет дело, а о военном приступе. И велел стрелять прямо по шайке, по тем, кто лез на стену. Но это было как палить в свору гнуса: кто набегал сзади, подталкивал вперед стояв-

ших перед насыпью, на тела упавших карабкались следующие, трупы использовали как подпорки, можно было видеть уже самых ближних у трещин старого укрепления, они вцеплялись в щели и амбразуры, сотрясали прутья решеток, совали обрубки конечностей в воздуховод. Тем временем новый отряд прохвостов штурмовал ворота, пытаясь вышибить их ударами плеч.

Бискара скомандовал забаррикадировать двери, но самые крепкие балки переплетов уже скрипели под натиском мерзейшей голи.

Гвардейцы падали из ружей, однако на место каждого застреленного катилась новая гурьба, теперь уже различалось только кишенье, откуда постепенно начали выметываться, подобно гибким ужам, концы веревок, и захлестывали воздух, и постепенно сделалось понятно, что на концах у веревок железные крючья, и что некоторые из крючьев уже зацеплены за зубцы. И стоило высунуться одному гвардейцу, чтоб отцепить клюку от кирпичей опояски, как вздыбился от низу целый лес дреколья, и миг его запеглили, зацепили баграми, замели и стащили в месиво остервенелого отребья, без всякой возможности даже распознать вопли несчастного от завывания душегубов.

Короче говоря, наблюдающему эту свалку с дюны почти не видно было бы замок, а только кипение мух на падали, рой пчел на колоде, снованье муравьев на куче.

Тем временем послышалось крушение ворот и суматоха во дворе. Бискара и гвардейцы кинулись к другому борту часовой башни и не занимались Феррантом, который спрятался за косяком дверей, откуда шла вниз лестница, не слишком-то напуганный, как будто понимал, что нападавшие в некоторой степени для него свои.

Эти "свои" уже оседлали зубцы ограды, не заботились о жизнях, косимых последними выстрелами мушкетов, не прикрывая грудей, перли на выставленные шпаги, приводя в ужас гвардейцев безобразными гримасами дикого лица. И потому гвардейцы кардинала, не знавшие ни страха, ни упрека, бросали оружие и молили небеса о милосердии пред лицом тех, кого считали исчадиями ада, а те сначала сшибали их наземь дубьем, а потом кидались на тела,

в которых еще теплилась жизнь, и лупили, терзали, кромсали, загрызали, впивались зубами, врезались когтями, неистовствовали, давая выход зверству, глумились над останками, Феррант видел, как они вспарывали утробы, выхватывали неостывшие сердца и пожирали с урчанием, ледящим душу.

Последним из живых был Бискара, оборонявшийся как лев. Видя, что победа невозможна, он с парашютом за спиной черкнул окровавленную шпагой линию вокруг себя и выкрикнул: "Icy mourra Biscarat, seul de ceux qui sont avec luy!"¹

Однако в тот самый миг кривой с деревянной ногою, вздымая секиру, показался из лестничного проема и пресек кровопролитие, велел, чтобы связали Бискара. Потом он увидел Ферранта, узнавши именно по маске, чье назначение было — делать неузнаваемым. Приветствовав его оружным салютом от самого плеча, как будто прикоснувшись к полу перьями украшенной шляпы, он сообщил Ферранту: "Вы свободны".

Он вытащил из куртки письмо с печатью, которая была Ферранту знакома, и подал. Она писала, что Феррант должен довериться этому отряду, неприглядному, но благонадежному, и ждать ее в том месте, а она прибудет на рассвете.

Феррант, избавленный наконец от гадкой маски, первым делом вызволил из подземелия пиратов и заключил с ними пакт. Речь шла о приведении в порядок судна и об отплытии куда укажет он, и без вопросов. Вознаграждением будет казна, превосходящая размером монастырскую кашеварню. Сообразно своей привычке, Феррант не предполагал сдерживать слово. Как поравняется с нагоняемым Робертом, он собирался донести на свою команду в первом же порту, и чтобы всех повесили, а ему бы достался корабль и имущество.

Вшивая братва тоже его не интересовала. Их предводитель, видимо человек порядочный, сообщил, что за побой-

¹ Здесь падет Бискара, один из всех иже были с ним! (старо-франц.)

ще плата получена. Босяки торопились восвояси, так что орава рассыпалась и побрела себе обратно в Париж, попросайничая по дороге.

Не стоило трудов сесть на лодку, зачаленную в заливе, добраться до корабля и сбросить в море двух часовых. Бискара был закован в цепи в трюме в качестве заложника, который имел ценность. Феррант доставил себе удовольствие отдохнуть, а на рассвете снова поплыл на лодке к берегу, как раз подоспевши к карете, из которой вышла Лилея, еще более прекрасная, чем всегда, и с мальчишеской прической.

Роберт подумал, что жесточайшая для него пытка — воображать, как они сдержанно раскланяются друг с другом, не выдавая себя перед пиратской командой, которая должна посчитать новоприбывшее лицо благородным дворянином. Они поднимаются на борт, Феррант проверяет, готово ли к отправке, и по поднятии якоря спускается в каюту, заранее приготовленную пассажиру.

Та, что ожидает его, с очами, не просящими ни о чем кроме ласок, в многоструйном великолепии кудрей, теперь свободно распущенных и покрывающих плечи, готова к счастливому самопожертвованию. Кудри вьющиеся, бьющиеся, чьими кольцами я околдован и очарован, кудри жаркие и желанные, летящие и шутящие и с ума сводящие, — сходил с ума Роберт, на месте Ферранта...

Лица их сблизились, дабы собрать урожай поцелуев от давешнего сева вздохов, и тут Роберт притиснулся мечтою к ее телесно-розовым губкам. Феррант целовал Лилею, а Роберт ощущал трепетанье и страсть при приближении устами к этому истинному кораллу. Однако миг — и он чувствовал, что она исчезает, ветреное дуновение, и рассеивается теплота, которую, казалось, он впитывал в предыдущую секунду, и все замещалось холодным видением в зеркале, она в объятиях чужого, на дально распростершемся ложе, на другом корабле.

Для защиты любовников он опустил ревнивый почти непрозрачный полог, и обнаженные тела стали фолиантами солнечной некромантии, сакральные их записи были

вняты лишь для этих двух избранных, которые переводывали их друг другу, шепот в шепот, уста в уста.

Корабль несся прочь, летел быстро, Феррант овладевал, Лилея любила в Ферранте Роберта, чье сердце эти образы прожигали и воспламеняли, точно искры охапку сухостоя.

34. МОНОЛОГ О МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРОВ¹



Мы припомним (надеюсь, припомним, хотя Роберт взял от романистов семнадцатого века привычку развивать столько линий одновременно, что становится трудно возобновлять повесть), что из первого путешествия в мир кораллов Роберт вынес нечто описываемое им как “двойчатник камня” и напомнимшее ему череп, может быть, череп Каспара.

Ныне, чтоб позабыть о любви Лилеи и Ферранта, Роберт уселся на шканцах в солнцезакатную пору, созерцая подводный трофей и вглядываясь в его устройство.

Это был не череп, а какой-то окаменелый улей. Соты из неправильных многоугольников, каждый из которых разбит от центра лучами, радиально симметричными; между тонкими лучами можно было углядеть, сощурясь, промежуточные фигуры, в свою очередь многоугольные, а если бы взгляд имел силу проникать в еще более мелкие поля, он бы отметил, что и те симметрично разбиты, покуда бы взору, разбивающему мелкость на мелкости, и дальше на мелкости еще более дробные, не привелось бы натолкнуться на нечто неделимое, то есть на атомы. Но поскольку Роберт не имел понятия, до какой степени способна подразделяться материя, ему было и неясно, до какой степени взгляд его (увы, отнюдь не рысий и не обогащенный такою линзою,

¹ Обыгрывается название произведения французского философа Бернара Ле Бювье де Фонтенеля (1657–1757) “Entretiens sur la pluralité des mondes” (1686).

с помощью которой Каспар мог рассматривать даже мелких чумных разносчиков) пронизывал пропасть, продолжая находить все новые формы внутри подразумеваемых.

Даже шевелюра аббата, помнится, восклицал, дуэлирую, Сен-Савен, могла восприниматься как вселенная аббатовыми гнидами... О, сколько повторял Роберт эти слова, помышляя о мире, где обитали, счастливейшие из чужаеядов! насекомые Анны Марии или Франчески из Новары! Но если учесть, что и вши не являются атомами, а представляют собой бесконечные миры в глазах атомов, из которых эти вши составлены... может, в теле вши жительствоуют другие животные, более мелкие, просторно там себя чувствующие? Так и собственная моя плоть, думал Роберт, и моя кровь — товарищество мелких зверушек, которые двигаются и наделяют движением меня, и руководятся моею волей, и моя воля для них как возникший? И мои зверушки, несомненно, интересуются, куда я их гоняю, зачем извожу то океанскою стынью, то солнечным жаром, и теряясь в попеременности погод, так же обеспокоены своей будущностью, как я моею.

А что если в настолько же неисчерпаемом пространстве барахтаются еще более мелкие твари, чей мир — это внутренность тех наимельчайших, о коих только что говорилось?

Почему бы мне так не думать? Только потому, что я никогда не знал об этом? Как говорили мои парижские знакомцы: забравшись на Нотр-Дам и глядя свысока на Сен-Дени, кто подумает, что расплывчатое пятно населено похожими на нас существами? Мы видим Юпитер, он огромный, но с Юпитера не видят нас и не догадываются о нашем быте. Вчера еще не предполагал ли я, что на дне моря — не на дальнем небесном теле и не в капле воды, но в части нашего универса — располагается Мир Иной?

А с другой стороны, что сказал бы я лишь несколько месяцев назад об Австралийной Земле? Сказал бы, что она фантазия еретиков-географов; что неизвестно, не жгли ли в незапамятные времена на этих островах какого-нибудь их философа, гортанно возвещавшего, будто в мире существуют Монферрато и Франция. Тем не менее теперь я тут, и не-

возможно оспаривать, что антиподы существуют в мире, и что обратно представлениям людей в свое время великомудрых, я не повернут головой вниз. Просто обитатели тутошнего мира заселили корму, а мы заселяем нос единого ковчега, на котором, не подозревая друг о друге, совершаем жизненный пробег.

Так и искусство летания пока еще нам неподвластно, но если верить господину Годвину, о нем рассказывал Д'Игби, однажды будет совершен полет к Луне, как совершилось плавание в Америку, хотя до Колумба никто не ведал ни что есть на свете континент, ни что он так будет прозываться.

Закат сменился вечером и ночью. На кругловидной луне проглядывали пятна, которые малолетним и неученым людям кажутся очами и устами миролюбивого лика.

Поддразнивая фатера Каспара (в каком краю, на какой планете праведников отдыхает сейчас старик?), Роберт говорил ему, что Луна населена. Но может ли Луна действительно обитать? А почему нет? Это как Сен-Дени. Что знает человечество о мире Луны?

Роберт рассуждал: я стою на Луне, брошу кверху булыжник, полетит он на Землю? Нет, вернется на лунную почву. Значит, Луна, как любая звезда и другая планета, это мир, имеющий центр и сферу; центр притягивает тела, бытующие в сфере влияния лунного мира. Почему бы на Луне не совершаться и другим процессам, отмечаемым на Земле?

Луна окружена атмосферой. Сорок лет тому, на вербное воскресенье, кем-то наблюдались, помнится, лунные тучи? И я слышал, астрономы прослеживают дрожание этой планеты в преддверии затмений? Разве это не довод, что там есть воздух! Испарение присуще и планетам и звездам. Чем иначе объяснить пятна, которые будто видны на Солнце и из которых рождаются падучие звезды?

На Луне безусловно есть вода. Иначе не объясняются лунные пятна, то есть озера (кто-то предполагал, рукотворные, столь они четко вырисованы и распределены по поверхности). С другой стороны, если бы Луна была сотворена

лишь как большое зеркало, потребное для отбрасывания на поверхность Земли солнечного света, зачем Создателю понадобилось бы эту зеркальную поверхность пятнать? Выходит, пятна — не погрешности, а произведения. Это озера, пруды, моря. А если на Луне есть вода и воздух, значит, там есть жизнь.

Жизнь, возможно, непохожая на нашу. Может, их вода отдает кардамоном, лакрицей, кто ее знает, или перцем. Если миры бесконечны, бесконечна гениальность Архитектора присносущего мира; но беспредельна и поэтичность Творца. Он мог разметать населенные миры где угодно. Мог заселить их какими угодно жителями. На Солнце поселить теплых, блестящих и просвещенных, непохожих на тяжело-весных жителей Земли. Те, кто живет на Луне, полумера между теми и нами. Предположим, в мире Солнца жители — чистые Формы, иначе говоря, Стремления; обитатели земного мира представляют собою Силы в их развитии, а на Луне поселенцы все *in medio fluctuantes*¹, одно слово лунатики...

А мы могли бы ли жить в среде лунности? Наверно, нет, закружились бы головы. Вот и рыбам нет жизни в нашей среде обитания, а птицам в среде рыб. Лунный воздух, вероятно, чище нашего, а поелику наш, в силу насыщенности, служит натуральной лупой, фильтрующей солнечные лучи, селениты предположительно видят Солнце в ином преломлении. Заря и заклон Солнца, освещающие наш мир, когда Солнца еще нет или уже нету, суть подарки нашей воздушной оболочки, которая благодаря рассеянным в ней нечистотам принимает и переадресовывает свет; свет этот заведомо нам не причитается и мы его получаем в прибавку к основному. Приходя кривой дорогой, эти виды света подготавливают нас к обретению Солнца и к расставанию с Солнцем постепенно. Наверное, на Луне, поскольку там воздух чище, дни и ночи чередуются резко. Солнце внезапно выскакивает над горизонтом, будто вздергивают занавес. Потом после ослепительного света на их мир падает темно-

¹ В середине (в неопределенности) колышущиеся (*лат.*).

та без зги. На Луне непредставима радуга, ибо радуга образовывается из пара, взвешенного в воздухе. Следовательно по тому же расчету, на Луне нет дождя, нет грома, нет молний.

На планетах, которые ближе к Солнцу, кто на них обитает? Пламенные мавры, более возвышенного, чем мы, духа? Насколько велико кажется им Солнце? Как они переносят его свет? Может, металлы там плавятся в природе и текут реками?

Да вправду существуют ли бесконечные миры? Из-за подобного вопроса в Париже была одна дуэль. Диньский каноник говорил, что он не знает. Вернее, его занятия физикой располагали его отвечать “да”, по примеру великого Эпикура. Мир может быть только бесконечным, не иначе; атомы толпятся в пустоте; что тела существуют, на то указывают чувства; что пустота существует, на то указывает разум. Как и где в противном случае двигались бы атомы? Если б не было пустоты, не было бы движенья, разве что тела просовывались бы друг в друга. Смешно подумать, как бабочка двинет краешком крыла частицу воздуха, эта частица стукнет другую, впередистоящую, а та переднюю, и значит, дрожание в лапке блохи, приведя к подобному перепихиванью, в результате набьет шишку на краесветном конце мироздания!

С другой стороны, будь бесконечной пустота, а конечным количество атомов, эти последние неукротимо разбежались бы в стороны и никогда между собой не состукивались (как и два путника не могут налететь друг на друга, разве что по непредставимому невероятию, если они блуждают в бескрайней пустыне) и не было бы возможности сопряжения атомов. Если же пустота конечна, а бесконечны тела, то в пустоте не хватит места, чтоб содержать их.

Разумеется, задача решаема при предположении, что пустота конечна и содержит атомы в конечном количестве. Каноник говорил мне, что это вероятно кажется ему самым разумным. С какой стати Господь бы обязывался, подобно циркачу, бесконечно трюкачествовать? Господь проявил свою волю, свободно и вечно, посредством творчества

и обустройства единственного мира. Нет аргументов против множественности миров, но нет и доказательств в пользу оных. Господь, существовавший ранее мира, сделал себе достаточное количество атомов и поместил их в достаточно просторное пространство, чтобы выстроить из них свой шедевр. В своем бесконечном совершенстве он еще и Гений Ограниченности.

Чтоб понять, содержатся ли миры в мертвых вещах и сколько там их, Роберт сошел в судовую коллекцию и вытащил оттуда на мостик, расставив, как вереницу астрагалов, все что нашел: окаменелости, черепки, чешуи — и переводил взгляд от одной на другую, перекатывая в сознании случайные мысли о Случае и его случайностях.

Но откуда явствует, рассуждал он, что Господь самоограничился? Ведь опыт открывает мне новые и новые миры, как на высоте, так и внизу? Раз так, не исключено, что не Создатель, а универс вечен и бесконечен и всегда был и всегда будет: бесконечные пересочетания бесконечных атомов среди бесконечной пустоты, по определенным законам (законам, мне пока неизвестным), в подчинении неведомым, но расчисленным маршрутам атомов, которые в противном случае скакали бы куда попало. Это значит, что мир есть Бог. Бог рождается из вечности, он равен миру без береговых кромок, и я подвержен закону мира, не ведая, в чем состоит закон.

Глупец, ответят некоторые. Ты толкуешь о Божией бесконечности, потому что не обязан представлять ее себе, ты только в нее веришь, как веруют в явленье. Но перейдя к натуральной философии, этот бесконечный мир все-таки придется себе представить. А ты не можешь.

Допустим... Что ж, тогда попробуем представить себе, что мир полон и мир конечен. Вообразим, уж коли так, то ничто, которое начинается где кончается мир. Как нарисуем мы себе это ничто? В виде ветра? Нет, это должно быть совершенное ничто, не может быть ветра. Можно ли сформулировать в понятиях натуральной философии (а не в понятиях веры) нескончаемое ничто? Гораздо проще представить себе мир, растянутый до пределов глазного досяганья; вспомним, что сочинители создают рогатых людей и дву-

хвостых рыб из известных материалов; и попробуем по их примеру приставить к известному миру, там, где, как думаем, он обрывается, известные материалы. Мы сумеем представить себе пространство, содержащее все новые и новые земли и воды, светила и небеса, похожие на те, что нам известны. И все это без пределов.

Тогда вот что выходит: если мир все же конечен, но ничто, как таковое, существовать не может, чему же быть за пределами мира? Пустоте! Значит, опровергая бесконечность, мы утверждаем пустоту, которая должна и может быть только бесконечной: в противном случае там, где кончается эта пустота, должна бы снова начинаться новая, невообразимая растянутость ничего. Тогда уж лучше немедленно и свободно помыслить себе пустоту и населить ее атомами, или же попробовать поверить в нечто такое пустое, что в нем прямо-таки ничего нет...

Вообще-то Роберт пользовался уникальной возможностью, придававшей смысл его отторженности. Он имел наглядное доказательство существования других небес, не будучи обязан подыматься за небесные сферы, а наблюдая множественные миры внутри коралла. Какой смысл подсчитывать, в сколько сочетаний складываются атомы вселенной, какой смысл жечь на кострах тех, кто заявлял, что числу сочетаний нет конца, когда достаточно было бы промедитировать много лет над одним из этих морских творений, чтоб понять, что отклонение одного только атома, возможно, желавшееся Господом, а возможно, вызванное случаем, могло бы положить начало непредвиденным Млечным Путям?

Мир, где искупается первородный грех, есть только сей... Ложный довод, то есть нет — оговаривался Роберт, боясь осложнять отношения с первым же иезуитом, который ему встретится, — довод тех, кто не умеет вообразить всемогущество Творца. Как знать? Быть может, на просторах мироздания первородный грех совершился одновременно во всех универсах, допустим, различными, неожиданными способами, однако единомоментно, и Христос принимает крестную смерть сразу за всех: за селенитов, за сириусцев и за полипняков, гнездившихся на молекулах

этого ажурного камня еще в ту пору когда этот минерал был организмом?

На самом деле Роберт не удовлетворялся собственными доказательствами. Доводилось стряпать из чересчур разнообразной дичи, то есть слепливать суждение из услышанного там и сям. И Роберт был не настолько легкомыслен, чтоб этого не видеть. Поэтому, сразив вероятного противника, он возвращал ему слово и отождествлялся с оспариванием.

Как-то в споре о пустоте Каспар заткнул ему рот силлогизмом, на который Роберт не нашел ответа: пустота — небытие, но небытия не бытует, значит, пустоты не бытует. Довод был хорош, поскольку опровергал пустоту, признавая, что пустота представима. Представимо ведь то, чего нет! Может ли химера, жужжащая в пустоте, пожирать вторые интенции? Нет, потому что химер нет, в пустоте не слышится жужжанье, вторые интенции умственны, а воображаемые груши несъедобны. И все же я представляю себе химеру во всей ее химеричности, то есть несбыточности. То же с пустотой.

Роберту вспомнилось некое собрание философов в Париже. Туда пригласили одного девятнадцатилетнего изобретателя, о котором ходил слух, будто он конструирует машину для арифметических подсчетов. Роберт не вполне разобрал, как работает эта машина, а механик показался ему, возможно по предвзятости, каким-то блеклым, каким-то кислым и заумным, невзирая на молодость, в то время как Робертовы друзья-собутельники проповедовали шутиливую манеру высокоумствования. Тем сильнее Роберту не понравилось, что по поводу пустоты мудрец-малолетка захотел высказаться, и довольно-таки нагло: “О пустоте до сегодняшних пор только болтали. Надо доказывать опытом”. И с таким видом, будто это доказательство сумеет предложить именно он.

Роберт спросил, какого рода опыт имеется в виду, и молодчик ответил, что пока не может ответить. Роберт, желая его ущучить, выложил все философские опровержения, какие помнил. При пустоте не существует материя (которая

полна) и не существует дух, потому что непредставим дух, который пуст, и не существует Бог, не может Бог быть лишен сам себя, он в этом случае ни субстанция и ни акциденция, он не может проводить свет, не будучи светопроводным... Что это будет в таком случае?

Юный гений отвечал с притворной скромностью, но твердо, потупившись: “Будет, по-видимому, нечто на полдороге между материей и ничем. Нечто не сообщающееся ни с ничем, ни с материей. В отличие от ничего, пустота пространственно ограничена; в отличие от материи, неподвижна. Она — почти небытие. Не суппозиция и не абстракция. Она просто будет и все. Как данность. Простая и ясная”.

“Как это: простая и ясная данность, не имеющая определения?” — наседали в схоластическом раже Роберт, хотя не имел никаких предубеждений в отношении этой темы и желал только показать свою образованность.

“Я не способен дать определение простому и ясному, — отвечал молодой человек. — С другой стороны, как вы определите естество? Скажете, что оно есть нечто. Вот, чтоб определить естество, мы говорим: “оно есть”. Это означает использовать в определении само определяемое понятие. По-моему, некоторые понятия определить невозможно, и пустота к ним принадлежит. Может, я ошибаюсь”.

“Не ошибаетесь. Пустота как время, — поддержал его кто-то из либертинских дружков Роберта. — Время не есть количество движения, поскольку движение выводится из времени, а не наоборот. Оно бесконечно, не сотворено, едино, не является акциденцией в пространстве... Время есть, и довольно. Пространство есть, и довольно. И пустота есть, и довольно”.

Кое-кто протестовал в том смысле, что-де если что-то есть, и довольно, но не имеет определяемой эссенции, этого все равно что нет. “Позвольте, — сказал тогда Диньский настоятель, — хотя истинно, что пространство и время не являются ни телесностью, ни духовностью, и они нематериальны, но это не означает, что они не реальны. Они не акциденция и не субстанция, но они появились до сотворения мира, прежде любой субстанции и прежде любой акциденции, и будут существовать и после разрушения любой

субстанции. Они неотвратимы и неизменны, что бы вы ни вместили в них”.

“Но, — заикнулся Роберт, — пространство имеет протяженность, а протяженность есть качество тел...”

“Нет, — парировал приятель-либертин. — Протяженны все тела, но не очевидно, что все протяженное телесно, вопреки теориям известной личности, которая, кстати, не удостоивает меня ответа, поскольку, похоже, не желает возвращаться из Голландии. Протяженность есть способность всего сущего. Пространство есть протяженность абсолютная, вечная, бесконечная, не сотворенная, неизбежная, не ограниченная. Как и у времени, у пространства нет заката, оно непрестанно и неминуемо, арабский феникс, змея, кусающая хвост...”

“Простите, — перебил его каноник. — Нельзя помещать пространство на место Бога...”

“Это вы простите, — отпарировал либертин, — но нельзя провозглашать тут идеи, которые всем кажутся истинными, и протестовать, если мы их развиваем до самой крайней степени... Так вот, я подозреваю, что в таком случае нам не понадобятся больше ни Господь, ни Господня бесконечность, поскольку бесконечностей нам хватает, куда ни глянь, и мы сами сведены ими к видимостям, и срок нам — мгновение без возврата. Посему предлагаю компании победить Божий страх и пойти в питейный дом”.

Каноник, качая головой, стал прощаться. Юноша также, видимо разбудораженный разговорами, набычившись, под каким-то предлогом откланялся.

“Несчастный парень, — сказал ему вслед либертин. — Делал машины, чтоб пересчитывать конечное, а мы его запугали разговорами про вечное молчание и бесконечность. Эх, загубили яркий талант”.

“Он не выдержит удара, — продолжил еще один пирронинец. — Пытаясь замириться с миром, пойдет к иезуитам!”

Теперь Роберт возвратился к продумыванию той беседы. Пустота и пространство были как время, или же время было как пустота и пространство... Разве это не позволяло

думать, что как наличествуют астрономические пространства, в которых наша земля кажется букашкой, и существуют иные пространства, как миры кораллов (букашки нашего универса), и все укладываются одно в другое, — не могут ли упрятываться одно в другое также и времена? Слышал ведь где-то Роберт, что на Юпитере день длится год. Следовательно, должны существовать миры, которые живут и умирают на протяжении одной минуты, а другие превосходят любые наши возможности летосчислять хоть по китайским династиям, хоть по векам от Потопа. Универсы, где и движения и реакции на эти движения требуют не часов и не минут, а тысячелетий. Другие миры, где планеты создаются и погибают в мгновение ока?

Разве не существовало рядом с ним, на малом расстоянии, место, где время было вчерашнее?

Может, он уже и заброшен в один из таких миров, где с той минуты как атом воды начал действовать на корку мертвого коралла, и коралл поддался первым признакам распада, миновало не меньше лет чем от рождения Адама до Искупления. Разве он не переживает свою любовь именно в таком времени, где Лилея, как и Оранжевая Голубка, стали быть чем-то, для чьего завоевания у него теперь в распоряжении досуг длиной в столетья? Разве он не приуговтавливается к жизни в нескончаемом грядущем?

Таковым и стольким рефлексиям оказался подвержен молодой дворянин, недавно открывший кораллы... И кто знает куда бы рефлексии завели его, будь у него дух истого философа. Но Роберт был не философ, а несчастливый влюбленный, едва вынырнувший из плавания, в сущности пока еще неуспешного, к Острову, который ускользал от него в ледяные туманы накануне суток.

Тем не менее этот влюбленный, хотя и учился в Париже, не забыл деревенской жизни. Поэтому он дошел до мысли, что время, которое он тичится представить, можно разделять в любую форму, как яичное тесто, что раскатывали кухарки в Грив. Невесть отчего Роберту пришла в голову эта параллель. Может, много думал и проголодался.

А может, запугал и сам себя присносущими молчаниями всяких бесконечностей и захотелось попасть домой, прямо на кухню к матери. И зароились воспоминания о разных видах кушаний.

Так вот, бывают пироги с начинкой из курятины, кроликов, перепелок... Существуют и миры один рядом с другим, один внутри другого. Да, но мать умела слепить тесто по немецкому рецепту, промазывала тертыми фруктами и ягодами, в другую прослойку клала масло, сахар и гвоздику. Делала мать и блинники, прокладывая то ветчиной, то крутыми яйцами, то овощами. Поэтому Роберту вообразился мир в виде огромного противня, на котором одновременно готовилось много историй, не исключено, что с одними и теми же персонажами, хотя каждая со своим временем. И поскольку внутри блинника яичная прослойка не знает, как там печется этажом выше другая яичная или ветчинная, так в одном слое мира один Роберт не знает, что поделывает другой Роберт в другом слое.

Ясно, это было не самое славное рассуждение, восходило оно из брюха. Но ясно и что голова заранее знала, куда Роберт метит. Он доказывал себе, что в одну и ту же минуту многие и разные Роберты занимаются многим и разным, и возможно, под разными именами.

Значит, и под именем Ферранта? Значит, сюжет о соллюбовнике-враге, сочиняемый Робертом, смутно отображает альтернативный мир, в котором на долю Роберта выпадают совсем другие события, не то что в этом времени и в этом мире?

Понятное дело, сказал Роберт, как не хочется пережить то, что пережил Феррант, когда "Вторая Дафна" распустила паруса... Это уж как водится: от Сен-Савена известно, что есть думы, которые как будто не продумываются, а влияют прямо на сердце, но даже и сердце при этом (не говоря уж о рассудке) не отдает себе отчета; и получают смутные побуждения, а иногда не очень смутные, которые выливаются в Роман, притом что тебе кажется, ты описываешь в Романи мысли не свои, а других... И все-таки я это я, сказал Роберт, а Феррант это Феррант, и я это докажу, загнав его в такие перипетии, где я просто не мог бы быть героем,

и показав, что мир этого действия — это мир Фантазии, то есть никакому не параллелен.

И услаждался в течение целой ночи, забывши думать о кораллах, сочинением сюжета, который привел его, однако, к наиболее раздирающей из радостей, вернее, к самому восторженному из страданий.

35. УТЕШЕНИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ¹



Феррант рассказывал Лилее, а она была расположена верить любой напраслине, слетавшей с возлюбленных уст, почти что подлинную повесть, только с разницей, что он выступал в роли Роберта, а Роберт в роли его. И убедил ее в необходимости употребить все ценности из ларца, захваченного из дома, чтоб отыскать узурпатора и отнять у него бумагу капитальной важности для судеб государства, которую обманно исторгли и возвратив которую можно было добиться помилования от кардинала.

Бежав французских берегов, первый заход в гавань “Второй Дафны” состоялся в Амстердаме. Там Феррант, отъявленный двойной шпион, без труда нашел возможность разузнать о судне “Амариллида”. Действуя на основании узнанного, через несколько дней он был уже в Лондоне и кого-то искал. Кому он доверился, это могло быть только существо его же отродья, готовое предать всех, ради кѳго обыкновенно предательствовало.

И вот Феррант, неся Лилеин бриллиант чистейшей воды, входит ночью в грязное логово существа неопределенного пола, где его встречает обитатель, бывший прежде евнухом у турок, безбородый и с крошечным ртом, чтоб ухмыльнуться, ему надо двигать носом. Камора, где его гнездо, ужасна. Всюду копать от груды горящих в топке на медленном огне костей. В углу повешен за ноги мертвец,

¹ Произведение немецко-голландского химика Джона Рудольфа Глаубера (1604–1668) “*Consolatio Navigantium*” (1652).

из его рта в латунную чашку высачивается крапивного цвета жижа.

Скопец признает в Ферранте преступного собрата. Он слышит вопрос, видит алмаз, предает хозяев. Он ведет Ферранта в соседний закут, где у него зельница, стоят глиняные жбаны, банки из стекла, олова, меди. Его снадобья помогают изменять свой истинный облик и мегерам, в погоне за юным видом, и плутам, стремящимся к неузнаваемости: у него есть косметики, смягчительные, корневища асфоделей, кора драконова куста, мыший чай, рогатая трава, заячий горох, петров крест и другие вещества, истончающие кожу, изготовленные из костного мозга козлят и отвара каприфолия. У него есть месиво для осветления волос из каменного дуба, ржи, шандры, селитры, квасцов и тысячелистника. Чтобы менять оттенок кожи, он предлагает кал коровы, медведя, кобылы, верблюда, ужа, кроля, кита, выпи, лани, кота и выдры; притирания для лица — стораксовое, лимонное, кедровое, вязовое, люпиновое, виковое, бобовое. Держит он и пузыри, переделывать блудниц на девственниц. Кому надо любовный приман, заготовлены гадючьи языки, перепелочьи головы, ятрофа, чилибуха и черная белена, барсучьи пазанки, камни с орлицына гнезда, сердца из сала, нашпигованные полломанными иглами, и иные предметы, сделанные из помета и свинца, отталкивающего внешнего вида.

На столе посередине, под салфеткою в пятнах крови, стояла миска, на которую евнух кивнул с заговорщическим видом. Феррант продолжал не понимать. Тогда кастрат объяснил ему, что он попал как раз к тому, кого ищет. Именно он в свое время изъязвил бок Бердовой собаке и теперь ежедневно в условленный час мочит купоросным раствором напитанную кровью тряпку или подставляет ее к огню, и на “Амариллиду” посылаются сигналы для Берда.

Кастрат рассказал все, что знал об экспедиции Берда и о портах, куда тот намерен был заходить. Феррант, который на самом деле почти ничего не ведал о миссии определения долгот, не смог поверить, будто Мазарини заслал Роберта на корабль только ради того, что ему, Ферранту, казалось настолько нехитрым; он заподозрил, что Роберту

было поручено выведать для кардинала местоположение Соломоновых Островов.

Феррант рассчитывал, что “*Tweede Daphne*” поплывет быстрее “Амариллиды”, верил в свое везенье, надеялся, что без труда нагонит Бердов корабль в одной заветной бухте, а экипаж будет в это время на суше, и удастся перерезать всех, включая Роберта, и попользоваться богатствами Острова, назвавшись первооткрывателем.

Евнух подсказал ему важный способ, как не сбиться с дороги. Достаточно раскромсать еще одну собаку, а уж он берется каждый день колдовать над порцией ее крови, и собака на корабле будет вертеться как ошпаренная, и у Ферранта будут в распоряжении такие же сигнальные оповещения, какие есть у Берда.

Отплываем сегодня, сказал Феррант. Когда скопец возразил, что не нашли собаку, “есть у меня одна уже на примете”, ответил тот. Евнуха отвезли на корабль; уверились, что один из команды знает брадобрейное дело, кровопусканье и в этом роде. “Да я, капитан, — захлебывался тот, чудом ушедший от сотни виселиц и тысячи футов веревки, — как корсарствовали, больше понаотрезал ног и рук у ребят из команды, чем наделал царапин врагу!” Спустившись в трюм, Феррант велел привязать Бискара к двум перекрещенным балкам, потом собственной рукою глубоко взрезал ему бок. Бискара выл, а кастрат собирал его кровь на тряпку, тряпку вложил в мешок. Потом цирюльнику растолковали, как следовало поддерживать язву в разверстом виде всю продолжительность плавания, чтобы раненый не выпускал дух, но и отнюдь не лечился.

После этого нового злодейства Феррант отдал приказ подымать паруса и брать курс на Соломоновы.

Окончив эту главу своего романа, Роберт ощутил омерзение, усталость, изнеможение от гадостных описанных картин.

Он не желал продолжать думать об этом, и мысленно взмолился к Натуре, дабы она, подобно матери, укладывающей дитя, покрывающей его благоснисходительным пологом и создающей малую ночь — распростерла бы ночь над

планетой. Он молил, чтобы ночь, удаляя все предметы от зренья, принудила его взор к отуманению; чтоб с темнотою пришла тишина; и чтоб, точно так же как по восхождении солнца львы, медведи и волки (им, как вора́м и разбойникам, свет ненавистен) бегут упряты́ваться в гроты, где имеют себе убежище и укрому, так, чтоб, напротив, когда солнце убирается за кромку заката, угомонились бы мельтешение и сумятица дум. Чтобы, как умрет свет, обмерли бы внутри него и те духи, которые светом оживляются, и воцарились молчание и покой.

Он взял фонарь задуть, и державшие фонарь руки освещались только лунным блеском, проходившим извне. Мором встал туман от желудка к мозгу, и осевши на глазницах, закрыл веки, так что дух уже не смог выглядывать и рассеиваться предметами. Уснули в Роберте не только очи и уши, а еще и руки и ноги — только сердце не уснуло, не дремлющее никогда.

Спит ли во сне душа? Увы, она не спит, она бодрствует, только упряты́вается за покрывало и смотрит спектакль. Веселые призраки заполняют сцену, разыгрывается пьеса, но как в спектакле были бы позорны пьяные и шальные рожи, так же неуместны кажутся и дремные персонажи, странны наряды, бессовестны их выходы, неуместны положения и невоздержанны речи.

Будто рассеченная сороконожка, все куски которой бегут неведь в которые концы, потому что ни один кусок, кроме головного, не может видеть; и каждая часть, как целокупный таракан, идет себе на пяти-шести оставшихся лапах и несет в себе тот кусок души, который ей выпал на долю — так же в снах распускается на стебле цветка цапельная шея, венчаемая мордой бабуина, с четырьмя улиточными рогами, мешущими пламя. Или на подбородке старца вместо бороды курчавятся павлиньи перья. У другого конечности извиваются, как лозы, глаза мерцают будто свечки, вставленные в створки моллюска, нос похож на сопло.

Роберту, спавшему, по всему этому во дреме грезился Феррант, однако снился он под видом сновиденья.

Разоблачительный сон, хочется откомментировать. Почти как если бы Роберт, покончив с осмыслением

нескончаемых миров, решил себе впредь заниматься не сюжетом, разворачивающимся в Романной Державе, а только тем, что происходит на самом деле и во всамделишной стране, в которой и он, Роберт, обитает, с той оговоркой только — подобно тому как Остров обретается в совсем недавнем прошлом — что новому сюжету предстояло расположиться в совсем недалеком грядущем, где удовлетворялась бы тяга Роберта к пространствам не настолько краткосрочным, как те, к которым кораблекрушение его приговорило.

Если в замысле повести Феррант заимствовался непосредственно из маньеристской новеллистики — некий перепев того прообраза Яго, который действует в “Ста сказаниях” Джиральди Чинцио — то впоследствии, не в силах зреть злодея в объятьях Лилеи, Роберт стал замещать героя собою и — осмеливаясь проникать в мрачных помыслах Ферранта — признавал без экивоков, что Феррант и он — одно.

Убежденный, что мир может обитать несосчитанными параллаксами, если прежде он выдвигал себя на должность бесцеремонного наблюдателя за приключениями Ферранта в Романной Державе, или где-то в минувшем, совместимом с Робертовым минувшим (но до того неброско, что Роберт не отдавал себе в том отчета), ныне он, Роберт, становится зреньем Ферранта. Он хотел впивать вместе с противником те восторги, которые судьба должна была бы уготовить ему.

Итак, корабль разрезал водную гладь и пираты были послушны. Оберегая покой любивших, команда ограничивалась обсуждением морских чудищ. Перед американским берегом они увидели Тритона. Насколько можно было разглядеть над глубиной воды, тело его было мужское, хотя руки и были коротковаты, несоразмерно туловищу. Кисти рук крупные, шевелюра густая, седая, борода до пупа, глаза навывкате, кожа бородавчатая. С приближением корабля тритон не обеспокоился, сам пошел в сеть. Но как только догадался, что его вытаскивают на борт “Дафны”, и еще прежде нежели разглядели, каков он ниже поясницы, и с ру-

салочьим ли хвостом, он порвал сетку единым брыком и скрылся. Попозже увидели, что он загорает на соседнем утесе, но опять не оголяет круп. Глядя на корабль, тритон рукоплескал в ладоши.

Среди так названного Тихого Океана они подошли к острову, где львы были черной масти, куры покрыты мехом, на деревьях цветы распускались ночью, рыбы имели крылья, птицы чешуи, камни умели плавать, древесина тонула, бабочки в ночи сверкали, вода пьянила как водка.

На втором острове дворец был выстроен из гниющей древесины и раскрашен в уродливые цвета. Войдя, они увидели стены, оклеенные вороньим пером. На стенах под стеклом вместо мраморных бюстов находились уродцы с печальными личиками, по капризу судьбы от рождения не имеющие ног.

На загаженном пьедестале восседал местный царь, магией руки он дал начало концерту молотками по камню, долотами по каменным доскам, лобзиками по фарфору. На шум явились шестеро изможденных — кожа да кости — и мерзovidных из-за косоглазия.

Навстречу тем вышли жирные бабы, по три обхвата. Поклонившись кавалерам, они заваялись в пляске, выявлявшей все уродство их сложения. Затем схватились с теми шестерыми ублюдками, что будто произошли от единой матери, судя по громадным ртам и громадным носам, а сами были горбатые такие, что казались недоразумением природы.

После танца, не услышав еще от них ни слова, однако полагая, что на острове употребляется наречие отличное от их языка, путешественники стали доведываться жестами, которые — универсальный язык и им возможно сообщаться даже с пребывающими в дикарстве. Но спрошенный ответствовал на утраченном Птичьем Языке, сотканном из клекота и треска, и он был внятен как если бы употреблялся их родной язык. Так их уведомили, что в то время как повсюду почитается краса, в этом доме ценится только чудаковатость. Не следовало ждать иного, заезжая в подобные дали, где все перевернуто головою к ногам, а низ поставлен на место верхушки.

Снова отправившись в путь, они пристали на третий остров, казавшийся пустынным, и Феррант углубился в его середину, один на один со своей Лилеей. Вдруг послышался голос, убеждавший их бежать; это был остров Невидимого Народа. При этом они ощущали, что окружены толпою, и все указывают на них, без прикрытья выставленных на обозрение этого сброда. У обитателей, как стало известно, рассматриваемый весь улетучивался от чужих взглядов и утрачивал свою природу, преобразуясь в универс собственной личности.

Четвертый остров был прибежищем человека со впалыми щеками, со слабым голосом, с лицом наморщенным, хотя цвета его были довольно сочны. Борода и волосы тонки, как пух одуванчика, а сам такой оцепенелый, что оборачиваться мог лишь целиком всем туловищем. Он сказал, что годов ему триста сорок, и что за эти века трижды возвращалась к нему молодость, после питья борной воды из кладезя, быющего как раз на этой земле и продлевающего жизнь, но только до трехсот сорока весен. Поэтому ему предстояло умереть скоро. Старец отсоветовал высадившимся искать борный источник. Прожить три жизни, становясь то двойником, а то потом и тройником собственной персоны, вело, оказывается, к непомерной скорблости: в итоге он сам уже не понимал, кто он. Того более! Троекратно переживать одни и те же горести было огорчительно, но еще нестерпимее было трижды переживать одни и те же радости. Радость жизни обретается в ощущении, что и счастье, и кручина непродолжительны; беда, если знаешь, что удостоился вековечной благодатности.

Однако Антиподный Универс был дивен разнообразием. Пройдя морем не менее тысячи миль, они открыли пятый остров, сплошные россыпи прудов, где обитатели всю жизнь проводили на коленях, любовались своими отраженьями в воде, предполагая, что на кого перестают глядеть, он прекращает быть; и если только они отведут взгляд, прекратив глядеться в водные глади, они немедля умрут.

Потом они высадились на шестой остров, он лежал западнее и все на нем беспрестанно говорили, каждый рассказывал окружающим, чего бы от них хотел, какого облика

и каких действий, а те отвечали взаимностью. Оказывается, островитяне воображали, что живут только благодаря рассказам. Найдись зловредный собеседник и расскажи о них досадные вещи, они переживут эту неприятность, но в отместку перестанут говорить о возмутителе, и тот вообще погибнет.

Труднее всего, что обо всех требовалось говорить особое. Ибо если бы на нескольких людей пришлось одинаковые рассказы, один от другого бы не распознался, ибо всякий — сумма случаев своей жизни. Так что островитяне возвели великое колесо (называя его *Cynosura Lucensis*¹) на главной площади городка, колесо о шести концентрических ободьях, каждый крутился отдельным порядком. В первом круге было двадцать четыре сектора, во втором тридцать шесть, в третьем сорок восемь, в четвертом шестьдесят, в пятом семьдесят два и в шестом восемьдесят четыре. В каждый сектор, согласно системе, которую Лиля с Феррантом не поняли по недостатку времени, были вписаны поступки (прибывать, отбывать, умирать), страсти (ненавидеть, любить, мерзнуть), а также наклонения: к дурному и к доброму, к печали или к веселию. Там были и обстоятельства места и времени: “у себя дома”, “в прошедший месяц”.

Закрутив несколько кругов, можно было получать рассказы в духе “отбыл вчера домой и увидел недруга, который сокрушался, и подал тому помощь”, или же “повстречал гада о семи головах и убил”. Островитяне уверяли, что круги дают возможность написать или сочинить семьсот двадцать два миллиона миллионов всяких историй и каждая исполнит смысла чью-то жизнь в грядущие века. Это порадовало Роберта, значит, можно было воссоздать это сооружение и, сочиняя истории, сидеть на “Дафне” еще хоть десять тысяч лет.

Многообразные и причудливые открывались путникам земли, которые и Роберт не прочь бы был открыть. Однако через сон он сознавал, что любовникам нужно обособленное место, где бы они могли насладиться отрадной взаимностью.

¹ Полярная Звезда Николая Луканского (лат. из греч.).

И он привел пару на седьмой и ласкающий душу остров, где прелестная роща подбиралась почти к самой кромке пляжа. Пройдя в глубину, они увидели королевский сад, где была центральная аллея посреди газонов и клумб и били фонтаны.

Но Роберт, поскольку двоица искала более задушевного уединения, а он — более яркого терзанья, провел их под убранную цветами арку, за которой расстелилась ложбина, опушенная колышущимся озерным камышом, и воздух в ней сочился благоуханно-свеже, потому что нежное озеро искрилось неподалеку прозрачной, как пронизи жемчуга, струей.

Требовалось — и мнится, что при этой режиссуре были соблюдены все правила, — чтобы плотная листва дуба дала место любовникам раскинуться для трапезы, и Роберт обсадил место действия жизнерадостными платанами, земляничными деревьями, цепкими можжевельными кустами, хрупкими тамарисками и гибкими липами, и эта диадема обвила собою луг, создав узорчатый бордюр, как в арабском гобелене. Чем должна была заткать это зеленое поле Природа, художница всего сущего? Фиалками и нарциссами.

Предоставив дуэту забыть обо всем на свете, а примятый ими мак все тщился приподнять головку от тяжелого наркотического сна и причаститься росных въздыханий, Роберт поразмыслил и решил, что даже маков цвет, устыженный открывшимся зрелищем, запламенеет невероятным по силе стыдливости пурпуром. Точно как и сочинитель, Роберт. Поделом ему за все его фантазии.

Дабы не видеть того, что ему несказанно манилось увидеть, Роберт, морфеически всеведущий, пошел овладевать остальным простором острова, где в это время фонтаны толмачествовали любовный дуэт, певшийся на волшебном наречии.

На острове колонны, вазы, кувшины выбрасывали по одной струе или по многу тонких струечек. У некоторых наверхие гнулось сводом и дуга плескала изо всех мелких руслиц, как двойная плачущая ива. Ствол цилиндрической формы надставлялся малыми трубами, жерла торчали

во все стороны, будто из рavelина или бастиона или с линейного корабля пушечного оснащенья, только артиллерия была тут водяная.

Залпы излетали и оперенные, и гривастые, и брадатые, столько разновидностей, сколько видов звезда Сириус имеет в рождественских вертепах; фонтаны подражали кометам и прысками и хвостами. Была фигура мальчика, державшего в руке зонт, со спиц которого брызгало. Второй же рукой он направлял собственную струйку, и моча падала в кропильницу, мешаясь со влагой, текшей с купола.

Еще один фонтан изображал хвостатую рыбу, которая будто недавно съела Иону, она пускала воду из глазниц и из зубов и из двух отверстий, бывших над глазами. На ней был верхом амурчик с трезубцем. Другой водомет-цветок держал на струе шар. Был сделан и пышный куст, усеянный цветами, каждый цветок был водной вертушкой и казалось, что многие планеты движутся, одни окрест других, внутри влажного шара. В каких-то венчиках лепестки были водяные, выбрасывались из круглой щели на капители колонны.

Пуская воду вместо воздуха, во всем другом фонтан был неотличим от органа, но издавал не звуки, а разжиженные вздохи. Пуская огонь вместо воды, рядом высился канделябр, и тонкие пламена, вылетавшие из его недр-колонок, мельтешили бликами по фонтанной пене и рябизне.

Был там павлин с хохлом на темени, с распыженным хвостом во всех небосводных красках, были болваны, как будто поставленные для держания париков у завивальщика; кудри струились и бурлили. Там распускался подсолнечник, одетый в морозный иней. Тут у истукана было солнечное лицо, искуснейшей резьбы по камню, увенчанное короной устьиц, и полуденное светило излучало не жар, а холод. Рядом вращалась трубка, плеща водой из отверстий, расположенных по спирали. Львиные пасти, тигровые клыки, грифоновы зевы, змеиные жала... жена, слезоточивая из глаз и из сосцов. И дальше без конца — извержения фавнов, изрыганья крылатых чудовищ, захлебыванье лебедей, трубные выхлопы нильского слона, истечение из алебастровой посуды, опорожненье изобильных рогов.

Все эти зрелища для Роберта, если призадуматься, были сиганьем из огня да в полымя.

А на дальних муравах любовникам, уже насытившимся, стоило поднять руку, и лоза винограда даровала им сахарные гроздья, а фиги, будто плача в растроганности от подсмотренного браченья, сочили медовые капли, в то время как на миндальной сени, отяжелелой от соцветий, ворковала Померанцевая Голубка...

Роберт пробудился, липкий от пота.

“Как же так, — спросил он себя. — Я поддался соблазну проживать жизнь сквозь Ферранта, а теперь мне приходится видеть, что на самом деле это я являюсь для Ферранта посредником, и пока я тут строю воздушные замки, он в реальности переживает то, что я даю ему возможность переживать!”

Дабы охладить негодование и посмотреть хоть на что-то такое, чего Ферранту уж точно невозможно было видеть, он снова спустился в воду моря в самые первые часы утра, с концом лinya вокруг бедер и со Стеклойной Личиной, навязанной на голову, разглядывать мир кораллов.

36. ЧЕЛОВЕК НА КОНУ ¹



Подрейфовав до волнолома, Роберт поплыл, опуская лицо к вековечным подводным логам, но не мог сосредоточиться на созерцании живых скал, поскольку некая Медуза его самого превратила в мертвый камень. Во сне Роберт успел-таки перехватить взоры, которые Лилея обращала к узурпатору. Если во время сна эти взгляды его воспламенили, ныне они оледеняли его память.

Желая снова вступить в обладанье Лилеей, он плыл, зарывая лицо глубоко в морскую воду, как будто это совокупление с морем способно было вернуть ему ту пальму первенства, которую во сне он уступил Ферранту. Не стоило больших усилий, при его-то привычке строить умственные концепты, ощутить Лилею в волнообразном ритме затопленного дола, увидеть ее губы в каждом морском цветке, в который ему хотелось впиться, ненасытимо, как пчела. Морская рябь казалась ему завесой, туманившей ее лицо в первый вечер, и он тянул руку, чтобы приподнять покрывало.

В самозабвении рассудка он огорчался, что очи не могут прядать, как хотелось бы сердцу, и выискивал среди кораллов мелкие принадлежности суженой: хоть пряжку, хоть сеточку для волос, или подвеску, облагораживавшую мочку ее

¹ "L'Uomo al Punto cioè l'uomo in punto di morte" ("Человек на Кону, то есть человек на грани смерти", 1668) — произведение итальянского литератора-иезуита Даниелло Бартоли (1608–1686), который считался лучшим стилистом века; в романе Эко много скрытых цитат из Бартоли.

уха, а может, роскошные ожерелья, красившие лебединую шею.

Весь предаваясь охоте, он соблазнился бирюлькой, видневшейся в расщелине скалы, снял маску, выгорбил дугою спину, с силой плеснул ногами и ушел в толщу вод. Толчок, по-видимому, был слишком сильным, он инстинктивно попрिдержался за выступ склона, и за какие-то полмига до того, как пальцы сомкнулись вокруг заскорузлого камня, ему помстилось, будто бы открылся в камне заплывший сонливый глаз. В это же мгновение он и вспомнил, как доктор Берд рассказывал о Камень-рыбе, что приманивается на коралловых рифах, уготавливая для всего живого, что в окрестностях у нее, смертный яд колких плавников.

Слишком поздно! Ладонь уже соприкоснулась с отравой и острейшая боль пронизала руку до плеча. Цепеня, напрягая все тело, чистым чудом он удержался и не въехал лицом и грудью в ершистое страшилище, однако чтоб остановить разгон, ему пришлось выставить вперед маску. От удара она раскололась, но в любом случае приходилось выпустить ее из рук. Он толкнулся ногами от скалистого выступа и достиг поверхности, в те же секунды провожая глазами Стекланную Личину, опускающуюся в пропасть, недостижимую для него.

Правая кисть и рука вплоть до локтя опухли, плечо цепенело, подступала дурнота. Он стал выбирать леер и с великою натугой смог подтягивать его понемножку одной здоровой рукою. Всполз по трапику, почти как в первую ночь своего появления и, как в первую ночь, рухнул на палубные доски.

Но сейчас солнце стояло высоко. Зубы его плясали, и Роберт припоминал слышанное от Берда: после встречи с Камень-рыбой большинству людей помочь невозможно, но кое-кто выживает, а противоядия этой одури нет. Невзирая на отуманенное зреньё, он рассмотрел порез. Почти неразличимая царапина, но ее достаточно было, чтобы впустить в его жилы ядовитую пагубу. Он лишился чувств.

После обморока он понял, что у него горячка. Очень хотелось пить. Он сказал себе, что на этой оконечности корабля, весь во власти стихий, вдалеке от питья и питанья,

он не выживет. Он сумел доползти на нижний ярус в переход между провиант-камерой и куриным загоном. Жадно припал к бочонку с водою, но попив, почувствовал рвотный позыв. Опять упал в обморок в собственную блевоту.

В ходе ночи, во власти злодыхательных снов, он винил в своих страданиях Ферранта, который сделался неотличим от Камень-рыбы. Почему он препятствует сближению Роберта с Островом и со Рдяной Голубицей? Почему ему надо преследовать его, Роберта?

Он видел самого себя, распластанного, глядящего на второго самого себя, тот сидел напротив этого, у камина, в домашней одежде, и пытался решить, были ли руки, которыми он касался себя, и тело, которое ощущал, для него своими. Он же, глядящий на того, чувствовал, что платье его огненное, хотя платье было надето на втором, а он сам был голым, непонятно было еще, кто из них грезит, а кто существует взаправду, и он подумал, что, безусловно, эти два порождены во сне его разума. Он же сам — нет, потому что он думал, эрго существовал.

Второй же (но который?) в определенный момент поднялся, однако, наверно, злобный гений переиначивал видевшийся мир в сон, потому что он был уже не он, а фатер Каспар. “Возвратились!” — промычал Роберт, раскрывая ему объятье. Но тот и не пошевелился и не ответил. Только смотрел. Безусловно, это был фатер Каспар, но похоже, будто бы море, возвращая иезуита, вычистило его и омолодило. С подстриженной бородой, свежими щеками, розовый, как отец Иммануил, и на рясе больше ни махров, ни сальных пятен. Помолчав, бездвижный, как читающий монолог актер, с безукоризненным выговором оратора, угрюмо усмехнувшись, он произнес: “Бессмысленно тебе бороться. Теперь от целого мира остается только половина, и она ад”.

И продолжал торжественно, как будто читал церковную проповедь: “Да, ад, о котором мало вам известно, тебе и всем, которые с тобою движутся убыстренным шагом и в безрассудности души! Вы полагали, будто ад вам готовит мечи, кинжалы, колеса, лезвия, горящую серу, расплавленный свинец, ледяную воду, котлы с решетками, секиры и дубье, и шила для глазных орбит, и клещи для лунок

зубов, и когти для выдирания ребер, и цепи для дробленья костей, и что в аду грызущие звери, волокущие шипы, удушашающее вервие, саранча, крестные муки, секиры и плахи? Не так! Все сие суть лютые муки, но такие, что уму человека еще под силу вымыслить их, потому что вымыслили люди бронзовых быков, железные скамьи и раскаленные иголки, чтобы загонять под ногти... Вы надеялись, что ад — риф кораллов, наштигованный Камень-рыбами. Нет, не таковы адовые муки, потому что рождаются не из нашего предельного понятия, но из запредельного понятия Бога, от Бога ярого и мстливого, принужденного возвеличивать неистовство, дабы показать, что как великую употребляет благостыню в грехоотпущении, такое же непомерное правосудие употребляет при гоньбе! И муки адовые таковы должны быть, чтоб проявилась несоразмерность между нашим бессилием и Господним всемогуществом!”

“В этом мире, — продолжал глашатай покаяния, — вам привычливо, что на всякое зло обретается спасение, и что на всякую рану находится мазь, и на любой яд — притирка. Но не думайте, что такое же повторяется в аду. Там взаправду, это точно, несказанно болезненны раны, но не находится бальзама на эту боль; жгуча жажда, но нет освежающего питья; глад звериный, но нету брашна, чтобы глад утолился; и позор непереносим, но не существует полога, прикрыться от срама. Была бы там по крайней мере смерть, чтобы положить границу несчастьям, о смерть, о смерть... Наихуже, что там вы не можете питать надежду на снисхождение даже настолько чудовищное, как быть истребленны! Взалчете смерти от какого угодно способа, взыщите смерти и никогда к вам она не придет. Смерть, Смерть, где же ты (вечно вы станете кричать), найдется ли щирый бес, ниспосылающий нам ее? И тогда вы убедитесь, что в аду никогда не прекращаются мученья!”

В этом месте старец сделал паузу, протянул руки к небу и зашептал, будто поверяя ужаснейшую тайну, не должную распространяться за стены. “Никогда не прекращаются мученья? Это значит, мучиться мы будем, куда самый крошечный воробей, выпивая по капле в год, не осушит мировые океаны? И даже после того! In saecula! Во веки!

Будем мучиться, пока малая кустовая тля, откусывая по разу в год, не обезлистит все леса на свете? И даже после того! In saecula! Значит, нам мучиться до того часа, когда муравей, ступая по шагу за год, не сумеет обойти всю землю? И даже после того! In saecula! А если весь существующий мир был бы только пустыней песка, и в каждый век изымалось бы оттуда по одной крупинке, может быть, кончится терзанье, когда пустыня будет оголена? Нет, не кончится! In saecula! Загадаем себе, что если мучимый раз в миллион лет будет ронять из глаз две слезинки, надо ли ему терзаться даже после того как из этих слез накопится великое потопие, большее даже, нежели то, что в древности погребло под собой целый человеческий род? Вот что, хватит вопросов, мы не ребята! Вы ждете, чтобы я вам повторил? In saecula, in saecula надлежит обреченным маяться, in saecula, а это значит, столько веков, что нет векам счисления, ни скончания, ни предела”.

Теперь лицо у отца Каспара напоминало кармелита из имения Грив. Он возводил очи к небу, как будто ища там единственной надежды на сострадание. “Но Господь Бог, — спросил он голосом кающегося, уповающего на жалость, — но Господь Бог не смилосердствуется ли, зря на толикие обиды? Не родится ли в нем сочувствие и не выкажет ли он сопечалование, дабы мы хоть тем утешались, что делили кручину Богову? До чего же, ах, простодушны вы! Господь Бог, к прискорбию, предстанет вам, только вам невдогад, в каком виде! Вознесся взорами горе, мы увидим, что Господь... продолжать ли?... мы увидим, что Господь, приняв против нас роль Неронову, не из пристрастия, а из суровости, не только не спешит утешить нас, утишить муки, но и с несообразным удовольствием восхохочет! Подумайте, в коликое уныние повергнет нас веселость Божия. Как, скажем мы, мы горим, а Бог смеется? Мы горим, а он смеется! Жесточайший ты Бог! Отчего не поражаешь нас грохотом молнии, а унижаешь хохотом? Удваивай лучше, безжалостный, пыточный жар у нас, но не веселись от этого! О, смех для нас горчее наших слезных рыданий! О, радость для нас отравнее скорбей! Почему в нашем аду нету прорвы, чтобы в нее погрузившись, избегнуть зрелища этого

Бога, который смеется? Ужасно мы были обмануты теми, кто предрекал, будто карой суждено нам — глядеть на лик гневного Господа. Следовало иначе упреждать: смеющегося! Чтоб не видеть тот лик и не слышать тот смех, мы предпочтем, чтоб горы обрушились нам на темя или земля ускользнула из-под ног. Но и при этом, о печаль, будем видеть того, кто глумится, и сделаемся глухи и слепы ко всему, кроме того, к чему желали бы оглохнуть и ослепнуть!”

Роберта воротило от отрывки и прогорклого курьего корма, вонявшего из щелей в палубе, а грай морских чаек, доносившийся с воздуха, он воспринимал как Божий смех.

“Но за что же в ад меня, — задал он вопрос, — и за что всех прочих? Разве не для того, чтобы в ад идти лишь немногим, искупил нас всех Христос?”

Фатер Каспар захохотал всем черевом, точно Бог окаянных: “Да когда ж это он искупил вас? Да на какой же планете и в каком универсуме думаешь ты, что живешь теперь?”

И он взял Роберта за руку, с силой сдернувши с настила, и потащил по меандрам “Дафны”, в то время как больному, мнилось, выворачивало кишечник, а под черепом дребезжали тысячи маятников. Часы, говорил он себе, часы, время, гибель...

Каспар доволок его до закуточка, о существовании которого Роберт не знал. Беленые стены, посередине закрытый катафалк с круглым окном в одной из боковин. Перед этим круглым окном, по рифленому рельсу, двигалась деревянная планка, пронизанная одинаковыми круглыми очками со вставными мутноватыми стеклянными пластинками. Передвигая рейку, можно было совмещать стеклянные вделанные оконца с отверстием короба. Роберту вспомнилось, что он уже в Провансе осматривал экземпляр подобного этому устройства, о котором объяснялось, что оно способно оживать свет, основываясь на действии тени.

Каспар подвинул и разнял один бок короба, вдвигая туда на треножнике большую лампу, которая на стороне, противоположенной носку, имела вместо рукояти закругленное зеркало особого выгиба. Когда зажгли фитиль, зеркало стало метать сияющие лучи вовнутрь трубки, короткой подзор-

ной трубы, конечной линзой которой являлось вделанное в ребро короба окно. Из этой машины, стоило Каспару закрыть свой короб, лучи пронизывали стеклышко в планке, затем расширились веером и высвечивали на стене разноцветные картины, и Роберту показались они оживленными, до такой степени все было ярко и подробно.

Первая картина показывала человека, лицо его было демонское, он был прикован к скале в океане и побиваем волнами. От этого виденья Роберт никак не мог отвести взгляда и оно будто слилось с другими образами, которые возбуждал к жизни Каспар, двигая линейку перед окном, и движение было настолько живо — сон внутри сновиденья, — что он не мог отграничить того, что ему рассказывали, от того, что видел.

К той скале приближался корабль, можно было опознать “Tweede Daphne”; с корабля сошел Феррант, который теперь вызволял заключенного. Все было понятно. В ходе плавания Феррант обнаружил прикованного — соответственно распространенной легенде — посреди океана Иуду, в наказание за его злодейство.

“Благодарю, — обратился Иуда к Ферранту. Но до Роберта его слова излетали как будто из уст отца Каспара. — С тех пор как я тут утесняем, с девяти часов сегодняшнего утра, я все надеюсь, что смогу исправить содеянное мною... Я благодарен, брат...”

“Ты здесь только день, даже меньше дня? — переспросил Феррант. — Но ведь твое греходеяние совершилось в тридцать третий год по рождении Спасителя, а следовательно тысячу шестьсот десять лет тому...”

“Наивный человек, — отвечал Иуда. — Разумеется, тысяча шестьсот десять лет вашего людского времени прошло с тех пор, как меня посадили на эту скалу. Но не исполнилось еще и не исполнится никогда даже одного дня по моему исчислению. Ты не ведаешь, что, вплыв в море, окружающее этот мой остров, ты попал в другой универсум, который живет рядом с вашим и внутри него, и тут у нас Солнце, обращаясь около Земли, уподоблено желвецу, который каждый шаг проползает медленнее, чем предыдущий. Так, уподобляясь черепахе, в этом моем мире первый мой

день соответствовал двум дням вашим, потом стал равняться трем, потом все более долгому сроку, каждый раз более долгому, и так до нынешнего времени; имея тысячу шестьсот десять ваших лет, я внутри своего дня все еще на девятом вечернем часу. Вскоре время мое потечет еще медлительнее, я буду вечно проживать девятый час тридцать третьего года по счислению от Вифлеемского сочельника...”

“Но почему?” — спрашивал Феррант.

“Да потому что Господь захотел сделать так, чтоб мое наказание состояло в вечном переживании Страстной пятницы, ежедневно и ежечасно существуя в час страсти человека, которого предал я. В первый день моей кары, между тем как для других близился закат, а потом сошла ночь, а потом занялся рассвет Святой субботы, в моем мире миновал только атом атома мига девятого часа той приснопамятной пятницы. Затем замедлился еще и еще бег Солнца, и для вас Христос воскрес, а я остался вдальеке от воскресенья. Ныне для вас пролетели столетия и столетия, а я отошел на какую-то кроху от первой минуты...”

“Но ведь это твое Солнце продвигается тоже, и наступит время, может, через десять тысяч или более лет, для тебя начнется суббота...”

“Да, и тогда будет хуже. Я покину чистилище и попаду прямо в ад. Не остановится страдание из-за той смерти, которая вызвана мной, но я утрачу возможность, какую имею сейчас, сделать так, чтоб случившееся не случилось”.

“Но как ты можешь сделать...”

“Ты не знаешь, что недалеко от нашего места пролегает антиподный меридиан. За той линией и в моем и в твоём универсуме — накануне день. Если я, ныне освобожденный, мог бы переступить эту линию, я бы оказался в Страстном четверге, потому что наголовник, который у меня накинута, повелевает моему Солнцу сопровождать меня подобно тени, и где бы я ни оказывался, там время исчисляется в соответствии со мной. Я мог бы успеть и в Иерусалим, путешествуя в этом длиннейшем четверге, и прибыть туда скорее, чем совершится мое душепродавство. И отвратить от Учителя его участь”.

“Но, — перебил его Феррант, — если ты предвосхитишь Страсти Господни, не совершится Искупление и мир останется поныне во власти первородного греха”.

“Ну вот, — прокричал, рыдая, Иуда. — А я думал только о себе! Но как же тогда мне быть? Оставлю свои деяния в том виде, в каком содеял, и буду проклят. Предупрежу свою ошибку, и воспрепятствую промыслу Господню и обрету проклятие. Что же, где-то было с самого начала прописано, будто я обречен на обречение?”

Шествие образов угасло с плачущим Иудой: выгорело масло в фонаре. Опять говорил отец Каспар, но голос его был для Роберта неузнаваем. Слабый свет, проходящий через щель в стене, освещал только половину лица говорящего, переиначивая форму его носа и странно разделяя бороду: одна ее сторона казалась седой, а другая темной. Глаза настолько запали, что даже глаз, остававшийся на свету, казался затененным. Только сейчас Роберт различил на нем черную нашлепку.

“И вот тогда-то, — продолжал возглашать говоривший, и он несомненно представлял собою аббата де Морфи, — твой брат сумел изобрести шедевр своего Гения. И он проделал путь, намеченный Иудой, воспрепятствовал совершению Господних Страстей и не дозволил искупления грехов. Никто на свете не искупится! Все будем жертвами единого первородного греха, все обречены проклятью! Твой брат пребудет грешником, но не в большей степени, чем остальные люди, что вполне извинимо!”

“Но возможно ли такое, и свершилось ли?” — спрашивал Роберт.

“О, — с издевкой ухмыльнулся аббат, — свершилось и очень запросто. Вполне возможно обмануть Державца: не все извращения истины он постигает. Достаточно было умертвить Иуду, что я тогда же и совершил на морском утесе, облекся в его наголовник, отправил судно вперед себя к противоположному берегу Острова, а сам прибыл сюда к тебе в обманном подобии, и не допустил тебя как следует обучиться плаванию, чтобы ты не мог последовать за мной туда, куда я вознамерился, и я использовал твою подмогу

для создания подводного колокола, чтоб я смог добраться до Острова". Говоря все это, чтобы показать наголовник, он совлек с себя широкое платье и оказался в наряде пирата, а потом столь же медленно отнял от лица бороду, стащил накладной парик, и Роберту померещилось, будто он перед зеркалом.

"Феррант!" — закричал Роберт.

"Именно я, братец! Я, пока ты бултыхался, то как кобель, то как жаба, у противоположного берега Острова снова взял под командование свой корабль и проплыл на нем весь мой бесконечный Страстной четверг до Иерусалима, и нашел там четвергового Иуду, готовящегося предать, и повесил его на осине, и не дал передать Сына Человечьего Стражникам Тьмы, я пробрался в Гефсиманский сад с моими наемниками и похитил Нашего Господа, уберегши его от распятия! И теперь ты, я, мы все проживаем в мире, который не был искуплен!"

"А Христос, похищенный Христос, где он?"

"Ты, видимо, не знаешь, что в самых древних текстах Писания говорится, что бывают рдяноцветные голубицы, потому что Спаситель, перед тем как взойти на крест, облачился в тунику цвета алого? Тысячу и шестьсот и десять лет Христос в заключении здесь на Острове, и отсюда стремится бежать в обличии Голубицы Цвета Пламени, но он не в силах расстаться с этим местом, потому что около Мальтийской Установки я оставил Иудин наголовник и, значит, там постоянно длится один и тот же самый день. Сейчас для меня единственное — уничтожить тебя, а затем жить счастливому во Вселенной, откуда удалено раскаяние, где ад обеспечен всем, и там в аду, когда наступит мой час, меня восприветствуют, как нового Люцифера!" — И он хохотнул, подступая ближе к Роберту, чтоб совершить последнее из злодейств.

"Нет, — крикнул Роберт. — Я тебе это не позволю! Я убью тебя и возвращу Христу свободу. Я еще не забыл шпажной науки, а тебя мой отец не учил потаенным приемам!"

"У меня не было отца и ни матери, я порожден твоим закоснелым домислом, — отвечал на это Феррант с грустной

улыбкой. — Ты учил меня только ненавидеть. Думаешь, ты меня сильно осчастливил, дав мне жизнь лишь ради того, чтобы я в твоей Романной Стране олицетворил Подозрение? Покуда ты живешь и думаешь обо мне то, что и я вынужден о себе думать, я не могу не презирать себя. Следовательно, ты меня убьешь или я тебя, исход одинаков. Выйдем”.

“Прошу о прощении, брат, — прокричал Роберт, рыдая. — Да, выйдем, кто-то из нас должен перестать жить!”

Чего хотелось Роберту? Умереть? Вызволить Ферранта, предав Ферранта смерти? Мы никогда не узнаем, потому что этого не знал и он сам. Но во снах такое случается.

Они поднялись на палубу, Роберт стал искать свое оружие и нашел шпагу переломанной (в памятных обстоятельствах) пополам. Но он воскликнул, что Господь ниспошлет ему силу в битве и что добрый фехтовальщик должен уметь сражаться и со сломанным клинком.

Братья встали друг против друга впервые в жизни, чтобы решить исход последнего из их несогласий.

Небо стояло при братоубийстве, как секундант. Розовая туча внезапно растянула от корабля до воздушной тверди алые нити, как будто кто-то перерезал горловые вены скакунам Солнца. Природа разрешилась великим торжеством громов и молний с дождепролитием, и небо и море ошеломляли слух дуэлянтов, затуманивали им зренье, лупили мерзлой водой по рукам.

Те же двое увертывались от зарниц, разивших повсюду, и сыпались уколы, и разворачивались фланконады, и совершались ретирады, и канаты использовались для спасенья, чтобы, взвиваясь в лет, убежать от жала шпаги; воздух наполнился обидами, каждый удар сопровождался оскорблением, и наскоки мешались с толчками и с воем ненастья, охватившего их.

На скользкой палубной настилке Роберт сражался, чтоб Спаситель мог быть распят, и просил в том помощи у Бога; а Феррант за то, чтобы Спасителю не казниться, и на то звал по именам всех адовых дьяволов.

Как воззвал он к Астароту, в этот миг Вредитель (выступавший Вредителем и для Божественного Провидения)

неосознанно подставился для Удара Баклана. А может быть, он сознательно сделал это, дабы прекратить бесконечный и безначальный сон.

Роберт сделал вид, будто падает, и тот набросился на него, чтоб прикончить, и тут, опершись на левый локоть, Роберт подставил свои полклинки ему под сердце. Не вышло вывернуться легким пируэтом, как это делал Сен-Савен, но Феррантом в свою очередь был набран чересчур сильный разгон, и он не избежал крушения, и сел всем туловом на шпагу, и сам пропорол себе грудину обрубленным клинком врага. Роберта захлестнула лавина крови, которую противник, испуская дух, излил изо рта.

Роберт ощущал во рту привкус крови, наверное, в припадке бреда куснул себя за язык. Теперь он плыл в этой крови, плыл в пурпурной струе, тянувшейся от корабля на Остров. Он не хотел поддаваться тяге, опасаясь Камень-рыбы, но миссия его не была кончена, и Христос ждал его на Острове, чтобы смочь пролить кровь за людей, и Роберт оставался Его единственным мессией.

Что он делал теперь в своем сне? Палашом Ферранта нарезал паруса на длинные ленты, которые увязывал за концы, укрепляя линиями. Другими канатами он опутал самых крепких журавлей, аистов и цапель, которые сидели в клетках нижней палубы, и приделал к лапам этих гонимых птиц свой ковер-самолет.

Воссев на воздушный настил, он поднялся на воздух, правя путь к приобретенной доступности суше. У подножия Мальтийской Установки он нашел наголовник и уничтожил. Вернувши времени нормальное пространство, он смог наблюдать сошествие Голубицы, которую наконец лицезрел, восхищаясь, в полнейшей Ее славе. Но было естественно — более того, сверхъестественно, — что она низошла не в апельсиновом, а в белейшем обличье. И это не могла быть голубка (потому что этой птице не дозволяется олицетворять второе лицо Троицы), а наверное, Божественный Пеликан, который воплощает Господня Сына; Роберт не четко видел, какая же птица впряглась, будто вещей кормчий, в летучую упряжку крылатого корабля.

Он видел только, что летит все выше и выше, и образы чередовались перед ним по желанию причудливых видений. Поочередно он причащался неисчислимым и нескончаемым миров, со всех планет и со всех звезд, ради того чтобы в каждом таком мире, почти в один и тот же миг, свершалось грехоискупление.

Первая из планет на их пути была непорочная Луна, во власти ночи, освещавшейся сиянием дня Земли. А Земля была видима вдалеке, на линии небоската: огромная, навислая гора кукурузной поленты, почти над головой Роберта варимой и варящейся, валяющейся выпрь, с воркотанием взрывающейся, ворошимой, ворчащей в лихоманке, в корче, в желтухе, в тряско-бледной лихорадке, пробуровленной буграми бурно-бурых пузырей, бормочущей, бурлящей и бурунами бурчащей... Лихорадочный жар преобразует заболевшего в кукурузную бурду, и любой блик в глазах отдается, будто бур пробирается в череп, превращающийся в бурдюк...

Он на Луне и с Голубкой.

Согласимся, что не стоит искать связности и правдоподобия в том, что рассказывалось выше, поскольку речь идет о кошмаре отравившегося ядом Камня-рыбы. Но то, что я намерен изложить далее, превосходит любые наши ожидания. Мысль или душа Роберта, в любом случае его *vis imaginativa*, посягнули на святотатственную метаморфозу. На Луне он увидел себя в обществе Голубки, но она была не Владыкою небесным, а Владычицей его дум. Это была Лилея, наконец отбитая у Ферранта. Подле морей Селены Роберт вступал во владение тем же, что было отобрано у него братом подле озер фонтанного острова. Он лобзал ее лик своими очами, он созерцал устами, впивался, вкушал и впитывал, и играли в прятки друг с другом возбужденные языки...

Только тогда Роберт (лихорадка, по-видимому, слабела) наконец-то опаматовался, но остался в очаровании пережитого, как бывает после сна, который, отойдя, оставляет затронутым не только дух, но и самое тело.

Он плакал, но из-за чего? От счастья снова обретенной любви? Или от жалости, что перекроил, при поборничестве лихорадки, для которой не писаны жанровые законы, Священную Мистерию в скабресный фарс?

Этот миг, сказал он, мне действительно будет стоить ада. Ибо я, конечно же, не лучше Иуды или Ферранта. Более того, я и есть Феррант, до сих пор я использовал его, беззачетного, дабы делать такое, до чего сам не допускал себя по причине трусости.

Может, меня и не призовут к ответу за эту грешность, потому что грешил не я, а Рыба-камень, которая заставляла меня блудить на свой лад. Однако если я достиг подобной безотчетности, это сигнал, что и взаправду близится моя кончина. Надо было мне повстречаться с Камнем, чтобы отважиться возмыслить себе смерть. А ведь этот помысел обязан быть первейшим долгом хорошего христианина.

Почему же я никогда не помышлял о смерти и о гневе хохочущего Господа? Потому что следовал поучениям моих философов, согласно которым смерть составляет натуральную необходимость, а Бог есть тот, кто к беспорядку атомов применил Закон, располагающий их в гармонии мироздания. Мог ли подобный Бог, учитель геометрии, спроектировать беспорядок Преисподни, хоть бы и в целях возмездия, и мог ли он смеяться над подобной перетряской всех на свете потрясений?

Нет, Господь не смеется, говорил себе Роберт. Но Он сдается пред лицом Закона, который сам Он постановил. Этот Закон взыскует, чтобы порядок нашего тела был нарушен, как несомненно разрушается уже и сейчас мое тело посреди всей этой прорухи. Говоря, Роберт видел червей у рта. Эти черви выходили не из кошмара, а из щелей между досками, где самопроизвольно возникали на куриных пако-стях, будучи порождением их экскрементов.

Роберт приветствовал приход этих возвестников распада, сознавая, что растекание в бесформенной материи следует воспринять как окончание мук, как соответствие с расположением Природы и с волей Небес, управляющих ею.

Надо немного подождать, бормотал он как на молитве. Через совсем немного дней мое тело, пока еще хорошо сбитое, претерпит изменения в расцветке и сделается брызглым, как чечевица, потом почернеет от головы и до ног и выделит подспудную теплоту. После этого тело опухнет, и по его пухлоте пойдет гнойная плесень. Вскоре после того живот растрескается, и вывалится брение, и в жиже станут колыхаться, может, глазное яблоко с червобоем, а может, полгубы. По этой слякоти ползут многие семейства малой мошкары и мелких тварей, которые пойдут клубиться по моей крови и переваривать меня, кроху за крохой. Какая-то часть их выползет из груди, другая вытечет со слизью из носа; прочие, обмазанные прелью, обживут мой рот, вползая и выползая, а самые сытые закопошатся в горле... Пока все это будет, “Дафну” обживут пернатые, и занесенная ими с острова зелень даст начало былью, и из моего перегноя корни злаков возьмут корм. Наконец, когда от моего телесного единства останется голый скелет, за месяцы и годы — а может, тысячелетия, — этот каркас распылится на атомы, по которым станут ступать живущие, не задумываясь, что весь земноводный шар с морями, с пустынями, с лесами и долами не что иное, как населенное ими кладбище.

Ничто так не споспешествует здоровью, как Опыт Благого Умирания, в котором через смирение обретается легкость. Так говорил ему когда-то кармелит, и это было правдой, потому что к Роберту возвратились голод и жажда. Он был слабее чем когда грезил, будто фехтует на юте, но не так слаб, как когда простирался около куриц. У него хватило силы выпить яйцо. Жидкость, стекавшая по горлу, имела прекрасный вкус. И еще вкуснее показалось ему молоко ореха, который он вскрыл в кладовке. По окончании медитаций о своем мертвом теле, сейчас он умерщвлял ради потребности этого тела, чтобы его оздоровить, тела, исполненные здоровья, ежедневно получающие от Природы жизнь.

Так вот почему, за вычетом некоторых фраз учителя-кармелита, никто в имении Грив не подводил его к мыслям о смерти. В часы семейных бесед, почти всегда совпадавших с ужином и обедом (в перерывах — одинокие скитания

Роберта по закоулкам старинного дома, где он часами медлил в тенистых полуподвалах, вдыхая аромат яблок, оставленных дозревать на полу), говорилось только об урожае дынь, о жатве хлебов и об ожидаемом сборе винограда.

Роберт припоминал, как мать его поучала жить счастливо и благоденно изобильными плодами гривского домохозяйства: “И нехудо, ежели ты не будешь забывать запасаться засоленным бычачьим мясом, а также овечьим и бараньим, телячьим и свиным, потому что запас сохраняется долго и пригожается всегда. Режь мякоть умеренно большими кусками, клади на поднос и засыпай густо солью и держи так неделю. Потом вешай на балки на кухне около печи и пусть копятся себе в дыму, и делать это надо, когда прохладно, ведрено и дует ветер, и после ноябрьского Мартына, и заготовки сберегутся сколько пожелаешь. В сентябре же заготавливают птицу и бьют ягней на целую зиму, а также каплунов, старых куриц, уток, готовят гусиные полотки. Не пренебрегай даже ослом, если осел ломает ногу, вели выделат из ливера круглые колбаски, которые потом пусть надрезут и жарят, и это самая господская пища. Пусть к Великой Четырдесятнице будут припасены и грибы, и суповые наборы, и изюм, и яблоки, и все, что Господь позволяет; на тот же срок, на Великий Пост, надобно иметь разные корни и клубни и такие травы, которые обваливать в муке и жарить на растительном масле, и выходит вкуснее минюги. Тогда же делают пресные пирожки и в них кладется постная начинка. На тесто отпускай оливковое масло, муку, розовую воду, шафран и сахар, потом подливают немного мальвазии, вырезают кружочки, как оконные стекла, а на начинку идет тертая булка, отварные яблоки, гвоздичный цвет и толченый орех, потом подсаливают и сажают в печь, чтобы подрумянилось. Вкуснее, чем у архиерея в доме. Когда минует Пасха, будет время молочных козлят, спаржи, голубей... Потом начинают делать творог и мягкий сыр. Но не забывай и горох с фасолью, они хороши как в вареном виде так и в жареном, и запеченные в тесто, это превосходные и полезные блюда. Так что, любезный сын, надеюсь, ты проживешь как живали деды, милозорно и без кручины...”

Вот так-то, в имени Грив не было в заводе разговоров о смерти, о суде, загробной муке и рае с адом. Со смертью Роберт повстречался в Казале, а в Провансе и в Париже он приучился рассуждать о смерти то для благочинной беседы, то для разнузданного спора.

Я обязательно умру, говорил он себе ныне, если не от Рыбы-камня, то через некоторое время, поелику понятно, что с этого судна мне никуда не деться, тем более теперь, когда я утратил — вместе с Визирной Личиной — всякую возможность безопасного подплыва к коралловому рифу. И чем я оболящал себя? Я все равно бы умер, пускай и несколько позднее, даже если бы не угодил на этот обломок. Я вступил в бытие, и мне сказали, что законом предписано раньше или позже ретироваться. Как говорил Сен-Савен, мы разыгрываем собственные роли, у некоторых роль длиннее, у иных короче, и сходим со сцены. Многие, я видел, играли и уходили, многие увидят, как я сыграю и уйду, и сами составят подобное же зрелище для своих преемников.

С другой стороны, как же долго до меня меня не было, и как долго не будет снова! Я занимаю столь невеликое пространство в протяжении времен. Предоставленному промежутку не под силу разграничить меня — и то ничто, в которое мне предстоит вернуться. Я был в мире только ради добавления единички к огромному числу. Моя роль была настолько маленькой, что если бы я не выступил из-за кулис, все сказали бы все равно, что пьеса была превосходна. Это как попадание в шторм. Одни тонут сразу, другие крушатся о скалы, третьи плывут на обломках, но суждено погибать и им. Жизнь затухает сама, по образу свечки, вещество которой сократилось. И следовало бы с этим свыкнуться живя, потому что, как и свеча, мы начинаем утрачивать атомы с того самого первого мига, когда нас за-теплили.

Невеликая мудрость знать подобные вещи, говорил себе Роберт, не спору. Их следует знать начиная с минуты, когда мы родимся. Однако обычно мы обдумываем исключительно смерть чужую. О да, все мы наделены достаточной

силой, чтоб выдержать чужое несчастье. Потом наступает момент задуматься о смерти, когда несчастье становится нашим, и тогда мы понимаем, что ни на солнце ни на смерть невозможно смотреть прямо. Если только в твоей жизни не было правильного учителя.

У меня они были. Кто-то мне говорил, что на самом деле мало кто видит смерть. В большинстве случаев ее принимают по глупости или по обычаю, но не с решительностью. Умирают из-за того, что поделаться нечего. Только философы умеют понимать смерть как долг, встречать ее охотно и без боязни: пока мы существуем, смерти еще нет, а когда она придет, мы уже существовать не будем. Зачем иначе я столько часов проговорил на философские темы, если теперь я не способен сделать из собственной смерти достойный венец моей жизни?

Силы возвращались к нему. Он благодарил мать, ее память побудила его отбросить мысли о развязке. И не могла подействовать иначе она, даровавшая ему начало.

Роберт задумался о своем рождении. Он знал о нем еще менее, чем о смерти. Он сказал себе, что думать о зачатках имманентно для философа. Философ без труда оправдывает смерть: что предстоит вверзиться в темноту, это одна из самых ясных вещей на свете. Что гораздо сильнее томит философа, это не естественность конца, а загадочность начала. Мы можем пренебрегать той вечностью, что идет за нами, но как нам уйти от томительной проблемы вечности, предварившей наш приход? Вечность материи она или вечность Бога?

Вот для чего он был заброшен на эту "Дафну", втолковывал себе Роберт. Потому что только тут в отдохновенном отшельничестве он возымеет достаточно досуга, дабы размыслить о единственной проблеме, которая освобождает нас от страха небытия, преисполняя изумления перед бытием.

37. ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ТЕМУ: КАК МЫСЛЯТ КАМНИ¹



Сколько он проболел? Дни, недели? Может, этим временем на корабль обрушилась буря? Или до встречи с Камень-рыбой, занятый то морем, то Романом, он не замечал происходившего? Можно ли так отвлекаться от вещей!

“Дафна” стала другим кораблем. Мостик был изгажен, из бочонков сочилась вода и припасы шли прахом. Гитовы поослабли, паруса запласкивались на ветру о стволы мачт, и древесина проглядывала будто в карнавальную маску, хихикая, через скважины холста.

Птицы горланили, Роберт кинулся туда. Многие передохли. Слава случаю, растения, получая свежую воду и воздух, разрослись, и ветви просунулись в середину клеток, одним из птиц предложив корма, а для других поощрив расплождение жучков и букашек. Уцелевшие пернатые даже вывели детей, и падеж поправился за счет молодежи.

Остров же не переменился; только вот от Роберта после утраты Личины он как будто отплыл по течению. Полиповый вал, который, как обнаружилось, защищен Камнем-рыбой, стал непреодолим. Если Роберту и плавать опять в океане, то только ради любви к искусству и на почтительном расстоянии от подводного рифа.

¹ Обыгрывается латиноязычное название трактата французского философа Пьера Гассенди (1592–1655) “*Exertitationes paradoxicae adversus Aristoteleos*” (“Парадоксальные упражнения в опровержение Аристотеля”) (1624).

“О произведенья людские, до чего химеричны вы, — бормотал он. — Если мы не иное как тени, вы — туманы. Если мы всего только сны, вы — наважденья. Если мы лишь нули, то вы — точки. А если точки — мы сами, то нули — вы”.

Сколько передряг, рассуждал Роберт, ради вывода, что я ноль... Еще ближе к нулю, чем до попадания на эту рухлядь. Кораблекрушение взбудрило меня, призвало отстаивать жизнь, а сейчас мне нечего отстаивать и не с кем мужествовать. Меня приговорили к длинному отдыху. Я созерцаю не пустоту пространств, а собственную пустоту, и породить она способна только скуку, разочарование и печаль.

Вскорости не только меня, но и самой “Дафны” не станет. Она и я, мы превратимся в окаменелость, как коралл.

Череп-коралл до сих пор находился на шканцах и в неподверженности общему распаду составлял единственное живое, что было на корабле.

Диковинный предмет дал новый толчок рассуждениям нашего сокрушенца, приученного открывать новые край лишь сквозь подзорную трубку словес. Если коралл живой, сказал он себе, значит, он единственное мыслящее существо в среде бессистемных мыслей. Мыслит он не иначе как о собственной стройной сложности, о которой, впрочем, все знает, и не ждет внезапных изменений в своей архитектуре.

Живут ли и думают ли вещи? Диньский каноник говорил ему однажды, что для продолжения и развития жизни надо, чтобы в вещах содержались зародыши материи, споры, семена. Молекулы — взаимоположения определенных атомов в определенном порядке; Господь придал этот порядок хаосу атомов; значит, от этих взаимоположений должны родиться аналогичные сочетания. Эти вот камни перед нами не допотопны. Они произошли, и они производят.

Мир состоит из простых атомов, совокупленных в фигуры. Сложась в фигуры, атомы не перестают двигаться. Внутри каждого предмета, следовательно, поддерживается постоянное движение атомов: вихреобразное в ветрах, жидкое и упорядоченное в животных телах, медленное, но неотвратимое в растениях и, конечно, еще более медленное,

однако не отсутствующее и в минералах. Вон тот коралл, умерший для коралловой жизни, чувствует подспудное возбуждение, как полагается камням.

Роберт раздумывал. Допустим, каждое тело составлено из атомов. В том числе и тела, которыми занимается геометрия: имеющие только протяженность. Атомы значит неделимые... В то же время любая прямая делима на две равные части, какова бы ни была ее длина. Если длина не имеет значения... значит, делима на две равные части и прямая, состоящая из нечетного числа неделимых. Значит, серединная неделимая частица на самом деле делима пополам. Конечно! Она, обладая в свою очередь какой-то длиной и следовательно в этом измерении составляя собой прямую линию, пусть даже невероятно короткую, должна быть делима пополам. И так до бесконечности.

Каноник говорил, что атом — это сомножество частей, хотя он и сбит настолько плотно, что мы не в состоянии производить деление внутри его границ. Это мы... Но, может, кто-нибудь другой может?

Из твердых тел золото самое плотное; тем не менее из одной унции этого крушца золотобит выбивает тысячу пластин. Половины этих пластин хватает вызолотить всю поверхность серебряного слитка. Из той же унции филигрантики натягивают волосяных нитей на полверсты. Ремесленник останавливается, не имея достаточных снарядов. Зренью неподвластно разглядеть нить чрезмерной тонины. Однако насекомые, такие мелкие, что мы не видим их, и такие ловкие, чтобы превзойти умением всех ремесленников нашего рода, сумели бы допрясть эту золотую нитку, сравнять ее с расстоянием от Турина до Парижа. А живущие на этих насекомых паразиты-насекомые, они-то до какой тонины сумели бы нитку дотянуть?

Эх, видеть бы аргусовым оком многоугольники коралла и волоконцы, вплетенные в грани, и внутренность волокон... я исследовал бы атом бесконечно... Однако атом, отсекаясь до бесконечности, делясь на все мельчайшие части, в свою очередь делимые, этак заведет меня в предел, где материя представит собой одну бесконечную делимость. Ее твердость и полнота зиждятся на простом равновесии

пустот. Не страшится вакуума материя, а обожает пустоту и состоит из пустоты, пустая сама в себе, абсолютная пустота. Абсолютная пустота составляет сердцевину непредставимой геометрической точки. Непредставимая геометрическая точка и есть остров Утопия, тот, который мы привыкли воображать в водяном океане.

Гипотезируя материальное пространство, составленное из атомов, мы приходим к выводу, что атомов вовсе нет. Что же есть? Воронки. Притом не то чтобы воронки вертели солнцем и планетами, полной материей, сопротивляющейся их вихрю. Нет, солнце и планеты сами являются воронками, вращающимися в себе более мелкие вихри. Крупнейший вихрь, который вихрит галактики, содержит в середине другие воронки. Те являются вихрями вихрей, пучинами пучин. Бездна великой пучины пучин пучин низвергается в бесконечность и опирается на Ничто.

Мы, обитатели большого коралла космоса, считаем полной материей атом (хотя его не видим), тогда как и атом, подобно всему прочему, является вышиваньем пустотой по пустоте. Бытием, насыщенным и даже вековечным, мы зовем вереницу бестелесностей, бескрайнюю протяженность, которая отождествлена с абсолютной пустотой и которая своим несуществованием порождает мнимовидность всего.

И вот я сижу тут и мню, будто вижу мнимовидность мнимовидности, я, мнимовидность себя самого? Стоило ли утратить все, угодить на эту посудину, застрявшую в антиподном крае, чтобы понять: утрачивать было нечего? Впрочем, уяснив это, я выигрываю бесконечно много. Я становлюсь единственной мыслящей точкой, в которой универс признал собственную мнимосущность.

В то же время я мыслю, значит, обладаю душой. Ух, как запутано. Все состоит из ничего, однако чтобы это ничто помыслить, надо иметь душу, которая что хотите, но уж только не ничто.

Что есть я? Говоря “я — Роберт де ла Грив”, я подразумеваю сумму воспоминаний личного минувшего. Говоря “я — то, что присутствует сейчас здесь и не является ни мачтой ни кораллом”, я подразумеваю сумму ощущений

личного настоящего. Но ощущения моего настоящего, что они? Они — это множество взаимоотношений между предположительными неделимыми, отзывающихся внутри той системы отношений, основанной на исключительном единстве, которое есть мое тело.

Значит, моя душа не то, что думал Эпикур: не материя, состоящая из частиц, более тонких, чем другие частицы, не дуновение, смешанное с теплом, а способ, которым эти отношения ощущают себя в качестве таковых.

Какая разреженная плотность! Какая плотная неосязаемость! Я есмь лишь взаимоотношение моих частей, которые ощущают себя лишь в процессах взаимоотношений друг с другом. Однако эти процессы в свою очередь делимы на новые взаимоотношения, и так далее, далее, далее. Значит, всякая система отношений, сознавая себя, более того — составляя собой сознание себя, является мыслящим ядром. Я мыслю себя, свою кровь, свои нервы; но каждая капелька моей крови мыслит сама себя.

Мыслит ли она похоже на то, как я мыслю себя? Безусловно нет. В живой природе человеку свойственно мыслить себя достаточно сложным образом, животное мыслит попроще (чувствует аппетит, например, но не чувствует совесть), а растение чувствует, что растет, и безусловно чувствует, когда его срубают, и может быть, говорит о себе “я”, но не так внятно, как я говорю это. Всякая вещь мыслит, но сообразно своей сложности.

Если так, это значит, что и камни мыслят. И мыслит вот эта глыба, которая вообще-то не глыба, а растение. Или животное. Как оно мыслит? Каменно. Господь, который есть великое взаимоотношение всех взаимоотношений универса, мыслит себя мыслящим, по теории Философа... Ну, а этот камень мыслит себя каменеющим. Бог мыслит целую действительность и бесконечные миры, которые создает и которые подкрепляет своей мыслью, я мыслю о своей незадавшейся любви, об одиночестве на корабле, об умерших отце и матери, о своих грехах и о грядущей кончине, а этот камень, возможно, думает только: “я камень, я камень, я камень”. Даже “я” он вряд ли думает. Только: камень, камень, камень.

Наверно, это скучно. Хотя, может, это я чувствую скуку, я, способный думать что-то еще, а он (она, оно) удовлетворено своей каменностью, счастливо, как Господь. Ибо Господь счастлив бытностью Всем, а этот камень счастлив бытностью почти ничем, но поскольку ему неведомы другие способы бытовать, он смакует свой способ, несказанно собой довольствуясь.

Однако верно ли, что камень чувствует только свою каменность? Каноник говорил, что камни тоже — такие тела, которые в некоторых случаях сгорают и превращаются в иное. Действительно, упав в вулкан, и в напряжении жара пламенного жира, который именовался в древнем мире Магма, камень сплавится с другими камнями, превратится в расплавленную массу, и скоро (или нескоро) вновь обретет себя уже как часть более крупного камня. Мыслимо ли, что прекращая быть этим самым камнем, в миг, когда надо стать камнем другим, он не чувствует разогрева, не ощущает, что приблизилась смерть?

Солнце било отвесно, легкий бриз ослаблял припеку, пот сох на коже Роберта. Давно занятый тем, что воображал себя окаменелым от взора нежной Медузы, он решился прочувствовать, что значит мыслить каменностью камня, может, готовясь к дню, когда претворится в простые белые кости, выставленные на то же солнце, овеваемые теми же ветрами.

Он разделся донага, улегся с закрытыми глазами, засунувши в уши пальцы, чтоб не отвлекаться на шумы, как не может отвлекаться камень, лишенный органов слуха. Он отринул любое воспоминание, любую телесную потребность. Если б мог, он бы отринул и свою кожу, а так как не мог, старался сделать ее понечувствительнее.

Я камень, я камень, повторял он. Затем, дабы избежать говорения о себе: камень, камень, камень.

Что бы я чувствовал, будь я действительно камнем? Прежде всего — движение тех атомов, из которых составлен, то есть постоянную вибрацию в соположениях, которые частицы частиц моих частиц образуют между собой. Я слышал бы гул своей каменности. Но без возможности сказать “я”, потому что сказанное “я” предполагает, что

имеют место и иные: нечто иное, чему “я” противопоставляется. Изначально камень не может знать, что есть иное вне его. Он гудит, он каменит свое камнение, не ведает об инаком. Он мир. Мир, самотно мировеющий.

Тем не менее, если тронуть коралл, чувствуется, что поверхность приняла в себя тепло солнца, попавшего на верхнюю ее сторону. Нижняя сторона прохладней. А расколи я коралл на две части, может, почувствую, как тепло сякнет от верху до низу. Так вот, в теплых телах атомы движутся более отчаянно, и значит, этот камень, ощущающий себя как движение, не может не испытывать в себе перепад движений. Оставайся он вечно выставленным на солнце вечно в том же положении, может, начал бы воспринимать и что-то вроде верхности, и что-то вроде нижности, хотя бы только под видом двух разных типов движения. Не ведая, что причиной этого различия является внешнее воздействие, он воспринимал бы себя через это, как если бы движение являлось его натурой. Но если бы камень обвалился, откатился к подножию и принял новое положение, он почувал бы, что теперь совсем новые его стороны засутились, хоть раньше были медленны, и замедлились те, которые прежде были подвижны. Покуда оползает земной пласт (это может происходить очень медленно), он мог бы чувствовать, что тепло, то есть составляющая тепло подвижность, постепенно смещается с одной стороны на другую.

Думая так, Роберт медленно подставлял разные бока лучам солнца, перекаtywаясь по шканцам, покуда не закатился в тень, постепенно пасмурнея, как должно было бы происходить и с камнем.

Как знать, задумался Роберт, не начинает ли в подобном качении камень обладать если не понятием места, то хотя бы понятием бока? И по меньшей мере понятием смены. Но не понятием страсти, ибо камню недоступна ее противоположность, а именно действие. А может быть, доступна? Потому что бытность свою камнем, имеющим особый состав, он ощущает постоянно, в то время как бытность свою то холодным, то горячим он ощущает попеременно. Значит, каким-то образом камень способен отграничивать себя самое как субстанцию от собственных акциденций. Или же

нет... Воспринимая самое себя как отношение, камень себя чувствует взаимоотношением разных акциденций. Чувствует себя субстанцией в становлении. Но что это значит? Разве я сам воспринимаю себя иначе? Поди разбери, мыслят ли себя камни по теории Аристотеля или по теории Каноника. Все это в любом случае должно занять тысячелетия. Но проблема не в этом. Проблема в том, способен ли камень пользоваться этими сменяющимися друг друга самоперцепциями. Потому что если камень чует себя то горячим наверху и холодным снизу, то совсем наоборот, однако при этом во втором состоянии он не помнит состояния первого, камень все-таки, значит, считает, что его внутреннее движение всегда одинаково.

Хотя с какой стати, обладая самоперцепцией, камню бы не обладать памятью? Память одна из возможностей души, и как бы ни была мала та душа, которая у камня, соответственного размера память должна у него иметься.

Помнить означает понимать разницу между “прежде” и “ныне”, в противном случае и я бы верил всегда, что вспоминаемое горе и вспоминаемая радость делятся в месте и в миг, где и когда я говорю. А мне известно, что это только миновавшие перцепции, потому что они слабее перцепций, связанных с “сейчас”. Следовательно, проблема — иметь ощущение времени. Которое, наверное, и я не должен бы иметь, если время — это что-то, чему научаются... Хотя... Разве я не убеждал себя дни или месяцы тому, до болезни, что время есть условие движения, а не результат? Если части камня состоят в движении, у этого движения есть ритм, который, хотя и неслышим, напоминает тиканье часов; камень часы самому себе. Ощущать свое движение. Тиканье своего времени. Земля, крупный камень в небе, слышит время своего движенья, время вздохов своих приливов. Что слышит Земля, то я вижу в начертаниях небесного свода. Земля слышит то же время, что я вижу.

Значит, камень осознает время. Он его осознает еще прежде чем истолковать перемены своего нагрева как перемещения в пространстве. По-моему, камень может и не знать, что перемены нагрева зависят от ориентации в пространстве. Он может думать, что изменения вытекают

из хода времени, как переход ото сна к бодрствованию, от энергии к утомлению... как я сейчас заметил, что, не двигаясь, отсидел левую ногу. Хотя нет, камень должен ощущать и пространство, чувствуя шевеленье там, где прежде существовал покой, а покой там, где прежде двигалось. Камень, значит, понимает “там” и “здесь”.

Вообразим теперь, что кто-то поднял этот камень и замуровал между других камней стены. В принципе этот камень всегда воспринимал игру своих внутренних положений именно благодаря тому, что чуял в своих атомах напряженное усилие сложиться ячейками пчелиных сот, где все притиснуты друг к другу и каждый посреди других. Так себя чувствует и совокупность камней в арке церковного свода, где камень подпирается камнем и все подпирают замковую плиту, а камни, близкие к замку, отпихивают прочие вниз и наружу.

Привыкнув к такой игре подпора и распора, свод в своей совокупности, наверно, понимает себя сводом, суммой невидимого движенья, совершаемого кирпичами, беспрестанно жмущими друг на друга. Значит, он ощутит толчок, и если его станут сокрушать, догадается, что он уже почти не свод, когда подпорная стена, с контрфорсами, грянет оземь.

До этой поры камень, затиснутый между прочих настолько тесно, что готов расколоться (и будь давление сильнее, треснет), должен чувствовать принуждение, напор, не ощущавшийся им прежде, давление, как-то сказывающееся и на его внутреннем движенье. Не значит ли это, что в подобном положении камень обязательно помыслит о чем-то внешнем, что не есть он? Камень поймет существование Мира. А может быть, подумает, что подавляющая его сила есть что-то сильнейшее его, и отождествит понятия Мира и Бога.

Но в тот день как разрушится стенка, как принужденье не станет, камень почувствует Свободу. Как почувствовал бы Свободу я, решившись преодолеть принуждение, навязанное мне. Только вот я могу желать преодолеть принуждение, а камень нет. Следовательно, свобода — это страсть, в то время как желание освободиться — поступок, вот какая разница между мною и камнем. Я способен желать. Камень

же по крайности (почему бы нет?) способен тяготеть к возврату в то, чем он себя чувствовал до стенки, и испытывать приятность освобождаясь. Но он не может действовать, чтобы достичь, к чему тяготеет.

А я, могу ли я вправду хотеть? Вот сейчас я испытываю приятность бытности камнем, солнце греет меня, ветер делает переносимым это проявление тела, у меня нет намерения прекращать бытность камнем. Почему? Потому что она приятна. Следовательно, и я в рабстве страсти, она удерживает меня от свободного желания ее противоположности. Однако при желании я мог бы пожелать. Тем не менее я не желаю этого. До какой степени я свободнее камня?

Не существует более ужасной мысли, особенно для философа, нежели мысль о свободной воле. По философскому малодушию Роберт отогнал слишком тяжкое размышление. Тяжкое и для него, разумеется, но вдвойне слишком тяжкое для камня, который Роберт уже одарил страстями, но которому отказал во всякой возможности действия. В любом случае, даже и не имея права задаваться вопросами о возможности или невозможности губить себя свободовольно, камень все-таки приобрел многие и благородные способности, превосходящие те, коими человеческие существа когда бы то ни было его наделяли.

Теперь Роберт раздумывал скорее о другом: в минуту, когда камень падает в вулкан, посещает ли его мысль о смерти. Конечно, нет, ибо камень никогда не ведал, что означает “умереть”. А полностью растворившись в магме, имеет ли камень представление о своей наступившей смерти? Нет, потому что уже не существует этого исключительного единства, камня. С другой стороны, кто знает, замечают ли люди, что они умерли? Прежде нечто представляло себе себя. А теперь оно магма... магмо, магм. Я магм, магм, магм, шлеп и шлеп, я теку, точусь, текучь, сочусь, хлюп и хлюп, клопочу и ключом киплю, шиплю, плещу, харкочу и хрючу жгучей жижей. Хрр... представляя себя магмой, Роберт брызгал пеной как бешеная собака, изрыгал непотребные урчания из утробы, чуть было не испражнился.

Худо у него выходило быть магмой. Лучше было возвращаться к думанию как камень.

Но какое значение имеет для бывшего камня магма, магмящая собственную магмость? Для камней нет жизни после смерти. И ни для кого нет, из тех кому обещано или дозволено после смерти превращаться в растение или животное. Что если после моей смерти мои атомы снова сбегутся, уже вслед за тем как моя плоть как следует рассредоточится по земле, и всосется корнями, и взойдет снова — в благородную форму пальмы? Что мне, говорить “я пальма”? Так сказала бы пальма, не менее мыслящая, нежели камень. Но когда пальма скажет “я”, подразумевается ли “я” Роберта? Дурно было бы отнимать у нее право говорить “я пальма”. И что она тогда за пальма, если скажет “я Роберт есмь пальма”? Того единства, которое говорило “я Роберт”, воспринимая себя в качестве единства, больше нет. А если его больше нет, вместе с восприятием себя я утрачу и воспоминание себя. Мне даже нельзя будет сказать “Я пальма был Робертом”. Если бы это было можно, то сейчас я знал бы, что я, Роберт, некогда был... чем? Ну чем-то. Однако я того совершенно не помню. Чем я был прежде, я уже не знаю, так же как не помню того зародыша, которым был в материнной утробе. Я знаю, что был зародышем, потому что мне об этом сказали другие. А по мне, я мог бы никогда им и не бывать.

Боже, ведь я мог бы изведывать душу... Да, душу могут изведывать даже камни, и именно по душе камней я и сужу, что моя душа не переживет моего тела. К чему я тут разглагольствую и играю в камень, если потом я ничего не буду знать о себе?

Однако в конечном счете что такое это “я”, которое, как мне верится, мыслит меня? Не говорил ли я, что оно лишь представление, которым пустота, равнозначная пространству, познает себя в этом исключительном единстве? Посему: не я мыслю. Пустота или пространство мыслят меня. Значит, состав меня есть акциденция, при которой пустота и пространство замедлились на один взмах крыла, прежде чем возвратиться к совершенно иным помыслам. В этой грандиозной пустоте пустот единственное, что действительно существует, есть вереница становлений в бесчисленных

недолговечных составах... Составях чего? Составях единого великого Ничто, которое и есть Субстанция всего.

По законам величественной неминуемости, побуждающей творить и уничтожать миры, она размечает наши тусклые жизни. Принять ее, эту Неминуемость, сумеет полюбить, вернуться к ней и преклониться перед ее грядущею волей — условие Счастья. Только приняв ее законы, получу свободу. Снова вхлынуть в нее — обрести Спасение, бегство от страстей в единственной страсти, Интеллектуальной Любви к Богу.

Если б мне удалось действительно постичь это, я бы стал единственным человеком, нашедшим Истинную Философию, и узнал бы все о Боге, все сокровенное. Но у кого же хватит духу предстать пред миром и провозвещать эту философию? Это тайна, которую я заберу с собой в гробницу в стране антиподов.

Как я уже говорил, Роберт не обладал философской закаленностью. Придя к сему Богоявлению, отшлифовав его с суровостью, с которой оптик полировал свои линзы, он снова впал в любовное отступничество. Поскольку камни любить не могут, он подтянулся, сел и снова стал влюбленным человеком.

Но в этом случае, сказал он, если нам всем возвращаться в большое море единой и великой субстанции, сходиться в нее, всходить в нее, в любое место, где там она, я прямо и объединюсь с Властительницей моею! Мы будем частью и целым единого макрокосма. Я буду ею, она мною. Не это ли глубинный смысл истории Гермафродита? Лилея, я, в едином теле и мысль едина...

Разве я уже не предвосхитил это событие? Сколько дней (недель и месяцев!) я заставляю ее жить в мире, который только мой. Пусть даже чрез посредствие Ферранта. Лилея уже — помышление моего помысла.

Вот в чем писанье Романов. Жить чрез посредствие своих героев, заставлять их жить в мире, который наш, и предавать себя самого и собственные создания мыслям тех, кто придет за нами, тогда когда уже мы не сможем сказать "я".

Но если так, значит, только от меня зависит полностью искоренить Ферранта из моего собственного мира, сделать, чтоб его уничтожение было волею Суда Божьего, и создать условия, чтобы мне соединиться с Лилеей.

Полный нового воодушевления, Роберт решил выдумать последнюю главу своего сюжета.

Он не знал, что, особенно когда сочинитель решил умереть, Романы дописываются сами, идут куда захочется им.

38. О ПРИРОДЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ АДА ¹



Роберт рассказал себе, как, скитаясь с острова на остров и ища в большей степени забавы для себя, нежели верного маршрута, Феррант, неспособный применять для пользы те сигналы, которые евнух посылал через раненого Бискара, наконец потерял всякое представление о том, где находился.

Корабль тем не менее плыл, и небогатые запасы провизии испортились, вода загнила. Чтобы команда не заподозрила, Феррант велел каждому по очереди спускаться только один раз в день в место возле провиант-камеры и там чтобы выдавали в потемках порцию, достаточную для жизни, и чтоб никто не подсматривал, что там есть.

Только Лилея ни о чем не догадывалась, спокойно переносила утеснения и, казалось, готова была жить каплей воды и одним сухарем в день, жаждая лишь чтобы ее желанный преуспел в замышленном походе. Что до Ферранта, он, будучи бесчувствен к той любви и ощущая только похоть, которую та любовь удовлетворяла, продолжал подстрекать своих матросов, ослепляя их жадность призрачными прообразами богатства. Вот так слепец, ослепленный обидой, гнал вперед других слепцов, отуманенных алчностью, томя в плену своих тенет незрячую красу.

У многих членов экипажа, однако, от великой жажды пухли десны и в них утопали зубы. Ноги нарывали и сочи-

¹ “Enquiry on the Nature and Place of Hell” — название произведения английского теолога Суиндена (XVII в.).

лись мертвым салом, воспаление поднималось до детородных мест.

По всему сказанному, примерно под двадцать пятым градусом южной широты на корабле вспыхнул бунт. Феррант усмирил его с помощью пяти верных из команды корсаров (Андропода, Борида, Ордония, Сафара и Аспранда), и изменников с небольшим запасом еды спустили за борт в шлюпке. Но "Tweede Daphne" осталась без средства спасения. Какая разница, говорил Феррант, очень скоро мы пристанем к месту, куда нас влечет угождение богу злата. Но у него не хватало людей для управления судном.

Да они и не желали работать; выручив командира, теперь они притязали быть с ним на равной ноге. Один из пятерых выследил таинственного незнакомца, который очень редко подымался на палубу, и обнаружил, что это женщина. Тогда головорезы приступили к Ферранту, требуя отдать пассажирку. Феррант, Адонис обличьем, но Вулкан душою, больше ценил Плутона, нежели Венеру, и Лилеино счастье, что она не слыхала, как он шепотом обещал бунтовщикам удовлетворить их запрос.

Роберт обязан был помешать Ферранту исполнить последнюю гнусность. И он устроил так, чтобы Нептуну неудобно показалось вторжение в его округу без страха пред его, Нептуновым, гневом. Или, избегая описывать событие в столь языческих, хотя и живописно-концептуальных, тонах: Роберт посчитал невероятным, чтобы (так как романы должны содержать моральный урок) Небеса оставили без возмездия это поместилще мерзот. И ликовал, воображая, как Ноты, Аквилоны и Австры, неутомимые неприятели океанической тиши, хотя до тех пор предоставляли миролюбивым Зефирам заботу о тропе, по коей продвигалась "Tweede Daphne", в глубинах своих подводных местожительств уже выказывали знаки досады.

Он спустил их со сворки всех зараз. Скрипу снастей вторили стоны моряков, море лило блевотину на них, а они в море, некоторые волны обертывали их саваном и казалось, будто закатывают их в ледяной саркофаг, а около гробницы молнии стояли неподвижными погребальными свечами.

Буря сперва наталкивала тучи на тучи, воды на воды, ветры на ветры. Но очень скоро море вышло из предписанных ему берегов и стало расти, набухая, кверху к небу, низвергался губительный дождь, вода перемешивалась с воздухом, птица оказывалась на плаву, рыба в полете. Это была уже не битва природы с мореходством, а сражение стихий между собой. Не оставалось такого атома в воздухе, который бы не превратился в градобитье. Нептун вздымался, чтоб заглушить молнии в руках у Юпитера, дабы отбить у него охоту жечь человеческий род, который Нептуну хотелось потопить. Море выкапывало могилу в собственном лоне, дабы похитить тела у суши, и видя, как судно без руля и ветрил несется на утес, внезапной оплеухой отметывало его в противоположный край.

Корабль закапывался то кормой, то носом, и каждый раз летел, казалось, с верха колокольни. Корма уходила в море вместе с балконом, а что до носа, водой покрывался и бушприт. Андрапод, пробуя вытравить парус, был смыт со шкаторины и, уносимый в море, захлестнул веревкой Борида, цеплявшегося за какой-то леер, и тому оторвало голову. Корабль отказался подчиняться кормчему Ордолию. Сильным ветром снесло грот-стенгугу. Сафар стал убирать паруса, понукаемый Феррантом, изрыгавшим богохульства, но не успел он поставить первый гик, как корабль сам пошел на траверс и получил прямо в борт три волны такой страшной силы, что Сафара выкинуло за противоположный ширстрек прямо в пучину. Затем сломалась и упала в океан грот-мачта, развалив палубу и пробив череп Аспранду. И наконец, был разнесен в мелкую щепу руль, а также простился с жизнью Ордоний, неудачливый рулевой этой команды. Теперь беспомощное дерево, без экипажа, покидалось последними крысами, выпрыгивающими за борт, в ту воду, от которой они рассчитывали спастись.

Представляется невозможным, чтобы Феррант в таком тарараме стал думать о Лилее, поскольку от него мы ждем только заботы о собственной особе. Не знаю, сознательно ли Роберт захотел нарушить законы правдоподобия, но чтобы подать спасение той, которой он препоручил свое серд-

це, он позволил иметь сердце даже и Ферранту, хотя бы на несколько минут.

Итак, Феррант выволакивает Лилею на мостик, и что он делает? Опыт подсказывал Роберту, что он должен привязать ее к доске и пустить на волю моря и надеяться, что даже неистовство пучин смилосердится над подобной красотой.

После того и Феррант ухватывается за кусок древесины и накручивает на него шкот, чтобы обвить вокруг себя. Но в этот миг на мостик, Бог весть как освободившийся от своей голгофы, со все еще скованными руками, более мертвый нежели живой на вид, но с очами ободраемыми ненавистью, выкарабкивается Бискара.

Бискара, который весь их путь промаялся, точно пес на "Амариллиде", в пытке на своей дыбе, каждый день ему бередили рану, которую потом чуть-чуть лечили. Бискара, который день за днем лелеял единственную надежду: выместить все на Ферранте.

Deus ex machina, Бискара неожиданно выныривает за Феррантом, уже поставившим ногу на трянец, воздымает руки и опускает, используя оковы как удавку, руки на плечи Ферранта, и охватывает ему цепью горло с воплем: "Пропадай, пропадай в аду со мною", видно, и почти слышно, как ломаются позвонки шеи, лезет язык из богохульных уст и на них останавливается проклятье. А потом тело казненного своим весом стягивает повисшего на плечах, как мантия, карателя, еще живого, и тот победоносно встречает воинственные волны, он, получивший наконец в сердце мир.

Роберт представить себе не мог, что должна была чувствовать Лилея при виде этого, и понадеялся, что она не видела ничего. Поскольку он не помнил, что происходило с ним с минуты, как его закруговертило в воронку, ему не удавалось придумать и что должно было происходить с ней.

По существу, он так увлекся организацией законного наказания Ферранта на том свете, что предпочел следить за его загробным уделом и пока что оставить Лилею в бурлении шторма.

Безжизненный труп Ферранта был выброшен на пустынный берег. Море стояло спокойно как вода в стакане, на берегу не виделось никакого прибоя. Все было подернуто легкой дымкой, как бывает, когда солнце уже закатилось, но ночь еще не полностью овладела пейзажем.

Где кончался пляж, там не было кустов или деревьев, а сразу начиналась голокаменная равнина, где даже то, что на расстоянии выглядело кладбищенскими кипарисами, вблизи оказывалось памятниками из свинца. На горизонте в стороне заката вырисовывалась темная гряда гор с огоньками по склонам, что тоже было сходно на вид с могильными лампадками. Над этим массивом коченели длинные облака цвета потухших углей, твердые и плотные, напоминающие контуры на некоторых картинах, которые, если приглядеться к ним искоса и приспособить глаз, оказываются закамуфлированными черепами. Меж облаками и горой проглядывало желтоватого оттенка небо. Можно было бы сказать, что это самый крайний воздух, куда еще отбрасывает свет умирающее солнце, если бы не присутствовало ощущение, что последняя судорога захода никогда не имела начала и скончания тоже не будет иметь.

Там, где равнина приобретала покатость, Феррант углядел небольшую группу людей и побрел им навстречу.

Эти люди, во всяком случае человекоподобные создания, выглядели таковыми издали, но когда Феррант подошел к ним ближе, он увидел, что их тела побывали или, может, готовились побывать на столе анатомического театра. Так рассудил Роберт, припоминая, как был приведен однажды в подобную залу, где лекари в темных одеждах, краснощечкие, с рубиновыми прожилками на носгах и щеках, напоминающая заплечных мастеров, грудились подле трупа, занятые выведением вовне того, что природа прячет вовнутрь, чтобы выведывать у мертвых тайны устройства тех, кто живет. Лекаря сволакивали кожу, надрезывали мясо, вывертывали кости, распутывали нервы, вытаскивали мускулы, разбирали органы чувств, растягивали перепоны, раскладывали хрящи, разматывали потроха. Отделивши мышцы, вынув жилы, оголив костный мозг, они показывали обступившим орудное обустройство. Вот, говорили они, здесь

уваривается пища, здесь проходит кровооборот, здесь питание усваивается, там вырабатывается гумор, а отсюда вылетает дух. И кто-то поблизости от Роберта проговорил полупрошепотом, что после нашей земной кончины не что иное проделает с нами естество.

Однако Бог-Анатомист пожелал выделывать по-другому тех обитателей острова, которых Феррант мог теперь разглядеть поллучше.

Первый был освежеван, с натянутыми связками, с покорно опущенными руками, и в страдании он возносил лицо к небу, задирая череп и скулы. У второго была спущена кожа с кистей и крепилась на подушечках пальцев, на ногах была подвернута около колен, образуя сапоги из морщухи. У третьего кожа и лопасти мышц были так распахнуты, что вся его фигура, и в особенности лицо, напоминала раскрытую книгу. Как будто этому телу взманилось показать и кожу, и мясо, и мослы, трикрат живо и трикрат бренно, однако лохмотья плоти оказались мотыльковыми крыльями, и если бы на острове был ветер, они бы трепетали. Но ветра не существовало, и крылья никли в бездвижности и вяло тащились за шевелениями этого надорванного существа.

Неподалеку какой-то костяк оперся на заступ, которым, видимо, копал себе могилу, пустые глаза пучатся в небо, выскаливаются дуги зубов, левая рука умоляюще протянута. Другой скелет, круто скрюченный, показался со спины ссутуленными лопатками, он куда-то брел, припрыгивая, закрыв костлявой кистью склоненное лицо. Третий остов, тоже видевшийся с тыла: на облезлом черепе сохранились какие-то космы, съехавший набекрень колпак. Но странная у колпака опушка, белой и розовой кожи, будто изнанка раковины. Это вывернутая кожа, подрезанная от загрызка и завернутая на скальп.

Были в толпе такие, с которых содрано почти все, они подобны статуям из ганглий; с обезглавленных шейных стволов свешиваются беложилия, которые некогда тянулись в мозги. Стегна выплетены из лоз.

У тех, что с распоротыми брюшинами, желейно дрожат брыжейки шафранового колера, как будто безудержные обжоры налагомились непроваренной требухой. Там, где был

некогда уд, нечто облупленное до тонины нитки колыхнется рядом с иссушенной мошной.

Феррант глядел. Черно-алые трубчатые тяжи, передвижная лаборатория алхимика: в сосудиках и канальцах брызжет сукровная пасока, кровь безжизненной мошкары, выгоревшей в бессветном брезге несуществующего солнца.

Они стояли в великой прискорбной тиши. По некоторым можно было проследить знаки медлительной перемены: изваяния из мяса преобразались в изваяния из жил.

Последний из всех, ободранный наподобие Варфоломея, высоко поднимал на деснице свою кровотокащую кожу, дряблую, как изношенный плащ. Можно было еще разобрать черты лица, хотя на месте глаз и ноздрей были отверстия, на месте рта каверна, и вся физиономия походила на последнюю отливку восковой маски, перегретую и оттого расплывшуюся.

И этот человек (верней, беззубый и обезгубленный рот его снятой кожи) обратился к Ферранту и держал такую речь.

“Дурно пожаловать, — сказал он, — в это Владение Смерти, которое зовется Везальским островом. В твоё время и с тобой повторится, что с нами сейчас, но не надейся, будто в здешней юдоли разложение пойдет с такою же быстротой, как в простом могильнике. Сообразно тяготе приговора, каждый из нас дойдет до условной степени распада, как будто отведаёт небытия, и каждому из нас небытие представится наивысшим счастьем. О какое упоение, если бы наши мозги при касании порошились, если б грудные черева лопались при вдохе, покровы разлезались, мякоть смягчилась, жир растекался ручьем! Но нет! Такими, как видишь, мы стали нечувствительно, в исходе длительного томления, и каждое наше волоконце распадается долгие тысячи тысяч тысяч годов. Никто не ведаёт, до какого предела суждено каждому разложиться; те, которых ты видишь не вдалеке, дошедшие до костя, мнят, будто вскорости смерть ими овладеет, но вероятно, минуют столетия, прежде нежели их жданное сбудется. Другие, подобно мне, пребывают в таком обличии не знаю с которого срока, потому что здесь

в неотвратимой ночи мы утрачиваем временной счет. И все-таки надеюсь, что мне даруется, пусть медленное, уничтожение. Каждый из нас вожделеет распаданья, которое точно не будет окончательным, но каждый надеется, что Вечность для нас еще не начиналась, и опасается, что Вечность началась в миг давнего прихода на эту землю. Быв в живых, мы полагали, что ад — долина безнадежности. Так нам говорили. Но нет, и горе мне! Ибо ад — место надежды, из-за этого каждый новый день ужаснее предыдущего, потому что неизбывное жаданье поддерживается в нас, но никогда утолено не будет. Всегда имея крохи тела (а телам нормально или расти или гибнуть), мы не перестаем надеяться. Именно так судил Господь, положивший нам мучение *in saecula*”.

Феррант тогда спросил: “На что же ваша надежда?”

“Скажи лучше: наша, будешь надеяться и ты. Будешь надеяться, что легким сквозняком, что брызгою морскою, что укусом малейшего жучка ускорится распад и возвращение одного за другим твоих атомов в бескрайнюю пустоту универсума, чтобы снова могли как-то вступить в коловращение жизни. Но здесь сквозняки не дуют, море не брызгает, не бывает ни холодно ни жарко, мы здесь не знаем ни закатов ни зорь, и земля, которая еще мертвее нас, не приемлет никакого животного существа. О могильные черви, ими нас когда-то пугали! О любезные нутряки, восприемники человеческого духа, который мог бы хоть в них отродиться! Высасывая нашу желчь, вы окропили бы нас милосердным млеком невинности! Вгрызаясь, усмирили бы угрызения наших грехов, смертными ласками вдохнули бы новую жизнь, и сень гробницы сравнилась бы для нас с материнской утробой... Несбыточно. Об этом мы знаем, но наши телеса забывают в каждый особенный миг”.

“А Бог, — спросил Феррант, — Бог, Бог смеется?”

“К сожалению, нет, — ответил тот, кто без кожи. — Ведь даже унижение окрылило бы нас! Блаженство — видеть пусть и хохочущего, издевающегося, но Бога! Как развлекла бы нас картина Господа со всеми его святыми, что с тронов потешались бы над нами! Видеть веселие, пусть не наше, не менее было бы отрадно, чем видеть не нашу печаль.

Нет, никто не презирает, не осмеивает, никого не видно. Нет Бога. Есть только надежда без всякой цели”.

“Тогда пусть прокляты к дьяволу все святые, — вскричал Феррант, рассвирепев, — и если я проклят, хоть самому себе я покажу всю меру лютейшей злости!” Но он заметил, что голос вяло выделяется из гортани и что тело его угнетено и ему не удается озлобиться.

“Видишь, — сказал на это ободранец, не умея улыбнуться морщинистым ртом. — Твоя кара уже началась. Даже ненависть не выходит. Этот остров — единственное место Вселенной, где не дозволено страдать и где надежда без энергии неотличима от нуды без конца”.

Роберт продолжал выдумывать конец Феррантовой были, не уходя с верхней палубы, голый, раздевшийся, чтоб, как решил, стать камнем. Солнце опалило ему лицо и грудь и ноги. Его снова, как давеча, трясла лихорадка. Он перепутывал не только роман с реальностью, но даже жар души с телесным, и снова чувствовал горение любви. Где Лилея? Что стало с нею, тем временем как труп Ферранта бродил в Местожительстве Мертвецов?

Приемом, нередким у рассказывателей романов, которые часто грешат торопливостью и не блюдут единства времени и пространства, Роберт перескочил через несколько дней, чтоб найти Лилею, привязанную к доске, дрейфующей на успокоившихся волнах, посверкивающих на солнце, в то время как она подплывала (вот этого, любезнейший Читатель, ты безусловно не посмел предугадать!) к восточной кромке Острова Соломона, со стороны, противоположной той, где стояла на якоре “Дафна”.

На востоке, как знал Роберт от Каспара, берег был не столь гостеприимен, как с его, западного, края. Доска, вконец размокшая, треснула, налетев на утес. Лилея, очнувшись от сна, удержалась на этом утесе, в то время как щепки утлого плотика утаскивались струйным водоворотом.

Теперь Лилея находилась на камне, где еле хватало места, и небольшой пролив — но ей он представлялся океаном — был между нею и берегом. Истерзанная ветром, изможденная голодом, измученная превыше всего злою

жаждой, она не в силах была перебраться с утеса на кромку пляжа, за которой тусклый взор угадывал растительную благодать.

Скала припекала нежный бок, глубокое дыхание не только не освежало внутреннюю сухотку, но и палило ей внутренней жаром сухого зноя.

Она вообразала, как неподалеку на Острове журчат проворные ручейки в тенистых ущельях, но эти грезы не утоляли, напротив, жесточе воспаляли жажду. Хотела просить помощи у Небес, но скорбный язык присушился к заскорузлому небу и вместо слов выходило косное бормотанье.

Чем дольше тянулось пребывание, тем суровой бичевали ее когти ветра, и она опасалась (более, чем умереть) дожить до того, что стихии изуродуют ее, превратят в предмет отращения, а не любви. Опасалась, что если она и доберется до водяной глади, до проточной или стоялой воды, то, приходя ртом к воде, встретится взглядом с отражением своих глаз, прежде бывших двумя золотыми звездами, обещавшими жизнь, ныне — отвратительными затмениями; и лицо, где любилась и поигрывали Амуры, станет приютом отращения. Если даже и достигла бы она вожделенного пруда, очи ее пролили бы из сочувствия к собственной жалкости больше влаги, нежели восприняли бы из озера жаждущие уста.

Так Роберт дал Лилее наконец возможность подумать о себе. Однако тут же ощутил неловкость. Ему было неловко за нее, что она на пороге смерти предалась раздумьям о своей красе, как часто описывается в романах. И неловко за себя, за то, что он не умел отобразить, не загоразживаясь высокопарными гиперболами, зрелище своей гибнущей любви.

Как же выглядела Лилея в эти минуты на самом деле, без орнаментальных слов? От лишений длительного пути и дней в волнах волосы стали колтуном с седыми прядями; грудь бесспорно утратила свою лилейность, на лицо легли борозды времени. Шея и плечи наморщились... Нет, описывая в подобных красках ее отцветание, он будто снова

заводил поэтическую машину отца Иммануила. И Роберт принудил себя описать истинный вид Лилеи.

Голова запрокинута, глаза выкачены и уменьшены болью так, что кажутся слишком удаленными от заострившегося носа, и вдобавок отягощены мешками; уголки глаз покрыты сеточками мелких морщин, как гусиными лапками. Ноздри расширены и одна ноздря другой мясистее. Рот потрескан, аметистового цвета, с дугами морщин по краям, верхняя губа выдается над нижней и выпирают резцы отнюдь не жемчужного оттенка. Кожа лица кажется мягко вислой, под подбородком два валика, безобразящие линию шеи.

И все-таки этот полуувядший плод он не обменял бы на всех ангелов Неба. Он любил ее и такой, ведь не знал же он ее облика, когда возжелал впервые под занавесом черной вуали, в незапамятные вечера.

Он дал себя сбить с твердой линии в дни корабельного плена: решил воображать Лилею совершенной, как система планет; но и о системе планет он вообще-то слышал (хотя не посмел затронуть эту тему с фатером Каспаром), что составляющие ее тела, по всей видимости, не описывают безукоризненные окружности, а ходят около Солнца довольно кособоко.

Красота проста, а любовь замысловата. Он вдруг понял, что любит не только весну, но и другие времена милой, она желанна даже в осеннем упадке. Он всегда любил и чем она была и чем могла стать, и только такая любовь означает самоотдачу без требований дать взамен.

Он позволил себя одурманить океаническому пустынножительству и стал выдумывать в ближних отражения себя: скверное в Ферранте, славное в Лилее, величием которой возвеличивался сам. На самом же деле любить Лилею означало желать ее подобной себе, в рубцах обиды. До этой минуты он прибегал к ее красоте, чтоб уравновешивать чудовищность своей фантазии. Вкладывал в ее уста свои речи и в то же время мучился из-за того. Сейчас он знал, что она ему нужна и в красоте страдания, в сладострастном измождении, в отцветшей прелести, в очаровательной слабости, в худости и хилости. Он бы заботился, ласкал, слушал ее слова, настоящие, а не навязанные им самим.

Одержать Лилею, избавиться от себя.

Но слишком поздно. Больному кумиру уже не надобились дары.

С обратного боку Острова по Лилеиным жилам плавно текла разжиженная Смерть.

39. ЭКСТАТИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ МАРШРУТ¹



Т ак ли должны завершаться Романы? Обычно Романы разжигают в нас ненависть, чтобы затем ублаготворить зрелищем, как проиграли ненавистные; и преисполняют сопереживанием, чтобы затем усладились зрелищем, как избегли опасности те, кто люб нам. Романов же с настолько плохим концом Роберт не читывал никогда.

Разве что решить, что Роман пока не кончен и имеется тайный Герой, способный на подвиг, какие совершаются только в Романной Стране. Ради любви Роберт сказал себе, что этот подвиг совершит он сам, войдя в собственную повесть.

Только б добраться до Острова, говорил он, я бы сумел выручить Лилею. Это лень удерживает меня тут. Мы во власти одного моря и стремимся ступить с двух сторон на одну и ту же землю.

Тем не менее проиграно не все. Она сейчас умирает, но доберись я до Острова, я попаду на него днем прежде, нежели появится она, и смогу встретить ее и спасти в безопасное место.

Не беда, что я приму ее из моря уже почти бездыханной. Известно же, что, когда тело на последнем пределе, сильное

¹ "Itinerarium Extaticum Coeleste" — также сочинение отца Кирхера (см. примечания к названиям глав 6 и 33).

чувство может возбудить в нем прилив лимфы и сообщение, что избытка причина бед, приводит к новому расцвету.

А какое же чувство отраднее для этой умирающей, нежели благополучно новообрести любимое лицо? И я не должен даже оповещать ее, что не тот, кого она обожала, поскольку именно мне, и не иному, отдавала она себя; тот лишь захватывал место, изначально мое. И вдобавок Лилея безотчетно ощутила бы новую любовь в моем взгляде, очищенную от похоти, трепещущую поклонением.

Как же (задастся вопросом кто угодно) Роберт не смущался, что оказаться на Острове он должен до скончания суток, ну в крайнем случае в первые часы утра следующего дня, а это, как свидетельствовали прежние попытки, неисполнимо? Как он не сознавал, что ищет на Острове ту, которая заведена туда одною прихотью его вымысла?

Но Роберт, как мы уже наблюдали, отлетая мыслями в Страну Романов, стороннюю его собственному миру, сумел взаимоналожить две вселенные и перекрестить их законы. Он считал, что сумеет добраться до Острова, поскольку так ему воображалось; и воображал, что Лилея прибудет на Остров после того, как доберется он, поскольку такова была его сочинительская воля. С другой стороны, привыкнув к свободе воображать события и совершать их (залог непредсказуемости всех Романов), Роберт применил ту же свободу к событиям реального мира. Таким образом он обрел возможность достичь Острова, на следующем основании: в противном случае Роберт не знал бы, о чем дальше рассказывать рассказ.

Исходя из подобной позиции, которая любому не сопровождавшему рассказчика, как мы, с начала до этого места, показалась бы бредом, он теперь рассуждал математически, не упуская ни единой вероятности, которая подсказывалась ему благоразумием и осторожностью.

Как генерал, составляющий диспозицию ночью накануне боя и не только предусматривающий все затруднения, которые могут возникнуть, и все помехи, которые потребуют изменить план, — но и отождествляющий себя умственно

с командующим противника, дабы предвидеть ходы и контрходы и рассчитать будущее, вытекающее из расчета противника, вытекающего из его собственных расчетов, вытекающих из расчетов расчетов противника, — так Роберт соразмерял действия и цели, причины и следствия, за и против.

Он решил распрощаться с идеей плыть до кораллового переката и от него на берег. Без Личины не имелось возможности увидеть подводные протоки, а опираясь на торчащие вершины рифа, он рисковал попасть в коварные, несомненно гибельные капканы. Наконец, даже при допущении, что он пробрался бы за риф — по воде или под водой, — как узнать, осилили бы ослабелые голени дорогу бродом до Острова? И не таились ли в том дне смертельные обрывистые воронки?

Значит, к Острову он мог пристать только повторяя маршрут шлюпки, то есть с юга, описавши по заливу дугу приблизительно на расстоянии, на котором стоит “Дафна”, а потом, заплыв за южный мыс, резко повернувши к востоку, чтоб попасть в бухточку, о которой говорил фатер Каспар.

Подобный замысел не мог считаться дельным по двум причинам. Во первых, потому, что до сих пор Роберт еле добирался до кромки рифа и силы покидали его; ему было не проплыть расстояние в четыре или в пять раз больше, вдобавок не привязываясь — не только из-за отсутствия каната подобной длины, но и из принципа, что на сей раз он отплывал окончательно и даже при недостигнутой цели в возвращении не видел смысла. Вторая причина — поток тянул обратно, на север, а Роберт знал по опыту, что энергии у него хватит только на несколько гребков, после чего непреклонное течение развернет его и унесет далеко за северную оконечность, навсегда удалив от вожаденного Острова.

Строго взвесив эти свои возможности (и подтвердив себе, что жизнь коротка, наука обширна, случай шаток, опыт обманчив и суждение затруднительно), Роберт сказал, что недостойно дворянина унижаться до мелочных расчетов и только мещане мнутя, прежде чем поставить на кон скромные сбережения.

Или же, продолжал Роберт, да здравствует расчет, но пусть он будет величествен, как величественна ставка! На что ведется игра? На жизнь? Но пока что, пока он сидит на этом корабле, жизнь немногочисленна стоит, особенно теперь, когда к одиночеству прибавляется сознание, что Она утрачена навеки. А что будет выиграно, если подвиг удастся? Все. Счастье увидеть Ее и спасти Ее или по крайней мере умереть на ее трупе, осыпая мертвое тело мириадами поцелуев.

Конечно, заклад был несправедлив. Имелось больше вероятности погибнуть, чем достигнуть. Но и при таких условиях пари казалось привлекательным. Как иметь одну вероятность против тысячи: проиграть жалкую сумму или обрести великое богатство. Кто бы на Робертовом месте не прельстился?

Наконец, пришла еще одна мысль, которая несказанно уменьшала риск проигрыша и даже обещала победу при обоих вариантах. Даже если предположить, что течение повлечет его в обратную сторону... Что с того? Держа мористее от Острова, течение (как Роберт знал по опытам с досками) повторит линию меридиана.

Значит, лежа на спине на волнах и созерцая небо, он не будет видеть хода солнца. Дрейфуя посередине, где кончается вчера и начинается сегодня, он пребудет вне времени, в постоянном полудне. Время остановится для него, а значит, и для Острова, и до бесконечности отложится гибель Лилеи, так как все, что происходит с Лилеей, зависит только от его авторской воли. Приостановится его жизнь, замрет история Острова.

Надо признать, любопытный хиазм. Лилея оказывалась в положении, в котором просуществовал он сам неисчислимо протяжные времена, на расстоянии двух гребков от Острова; а Роберт затеривался в океане, передарив Лилее свою былую надежду, и удерживал ее в живых, в состоянии вечного стремленья. Оба живы, у обоих нет будущего и соответственно не будет смерти.

Потом Роберт принялся думать, какой путь выпадет ему самому; он постулировал взаимопроникновение миров,

следовательно, его путь был также и путем Лилеи. Удивительные приключения Роберта вовлекали даже и Лилею в бессмертие, которое, учитывая ее положение относительно меридиана, в противном случае на нее бы не распространилось.

Итак, он плыл бы в северном направлении с умеренной, однородной скоростью. Справа и слева от него сменялись бы дни и ночи, времена года, происходили затмения, приливы и отливы, беззаконные звезды прорезали бы небосклон, неся природные бедствия и крушение царств, монархии и понтифики покрывались бы сединою, их останки смешивались с пылью, и все циклоны мироздания вершили свои революционные вихри, и новые планеты создавались бы после гибели прежних планет... Окрест Роберта море бесилось и утихомиривалось, ализеи выплясывали свои менуэты, а для него ничего не изменялось бы в благой притинной борозде.

Остановился ли бы он хоть когда-то? Насколько он помнил карты, ни одна другая суша, кроме Острова Соломона, не находилась на этой долготе, разве что на концесветном полюсе, где долгота сливается с прочими долготами. Однако притом что и кораблю, с попутным ветром на раздутых парусах, требовались месяцы, месяцы и месяцы на путь, как он замыслил, сколько же ему-то будет нужно? Наверное, годы, прежде чем он попадет в место, где неизвестно, сменяются ли дни и ночи и как протекают столетия.

Но он проведет эти сроки в объятиях любви настолько утонченной, что нет нужды, если утрачены губы, руки, ресницы. Его тело освободится от всевозможной лимфы, крови, желчи, слизи, вода войдет во все его поры, через ушные отверстия промоет соляным раствором мозг, заместит собой в глазах стекловидное тело, вольется через ноздри, выполаскивая малейшие следы земляного элемента. В то же время благодаря солнечным лучам он напитается элементом огня, и частицы огня переработают жидкости в росу, состоящую из огня и воздуха, и эта роса силой симпатии призовется в вышину. И Роберт, становящийся легким и летучим, взмоет ввысь и соединится сперва с духами огня, потом с духами солнца.

То же самое произойдет и с Лилеей под упорным солнцем на ее утесе. Она растянется, как золото под молотком, превратится в воздушную сусаль.

Так пройдет немного дней, и они благодаря этому плану объединятся. Постепенно они действительно окажутся друг другу, как ноги циркуля: движение каждого связано с движением другого, один клонится тем сильнее, чем решительней удаляется другой, и выпрямляется, когда второй возвращается к нему близко.

И тогда оба они продолжают свое странствие в настоящем, стремясь к светилу, которое их притягивает, став атомной пылью среди многих частичек космоса, ставши вихрем среди вихрей, обретшие вечность, как мир, поскольку полные пустотой. Примирившись со своим уделом, потому что сдвиги земли влекут за собой бедствия и страхи, а трепетанье небесной сферы всегда невинно.

Поэтому, бросив вызов, он в любом случае одерживал победу. Не следовало колебаться. Но не следовало и идти на триумфальное жертвоприношение, не выполнив соответствующих ритуалов. Роберт доверил дневнику перечень последних дел, остальное додумываем сами — движения, темп, ритм.

Первоначальным ритуальным очищением для него был снос решеток верхней палубы (около часа работы). Затем он открыл все клетки. Выдергивая тростниковые засовы, он был оглушен клочкотанием крыльев и вынужден обороняться, закрываясь и голося “кыш, кыш”, и гнал в полет своих бывших пленников, подталкивая руками даже куриц, которые метались, не понимая, как им быть.

Потом он поднялся на мостик и видел, как стаи продирались сквозь стоячий такелаж, и на какую-то секунду, мнилось, сумели заслонить солнце радужные краски крыльев, смешиваясь с расцветкой морских птиц, которые в любопытстве спешили присоединиться к этому празднику.

Потом он выбросил в море все часы, не опасаясь, что утратит драгоценный счет. Он уничтожал время, собираясь в дорогу против времени.

Наконец, дабы застраховать себя от трусости, он сложил в кучу на мостике, у основания грот-мачты, куски рангоута, обломки реев, пустые бочонки, облил их маслом, опустошив все светильники, и подпустил огонь.

Первый же язык огня прихватился к парусам и канатам. Когда Роберт уверился, что пожар вполне способен поддерживать себя, настал момент прощанья.

Он был наг с тех пор, как бросил одежду, собравшись умирать путем превращения в камень. Сбросил даже опояску из каната: больше не следовало ограничивать свой путь. Он спустился в море.

Оттолкнувшись ступнями от деревянного бока корабля и придав себе скорость, оторвался от борта “Дафны” и, проплыв всю ее длину вплоть до самой кормы, отдалился от нее навеки, навстречу одному из двух счастлих, которые несомненно его ждали.

Прежде чем судьба и воды примут решение за него, я хотел бы, чтобы он, призамерев ненадолго, для захвата воздуха, оторвал свой взгляд от “Дафны”, с которой расставался, и перевел глаза на Остров.

Там над верхом линии, прочерченной верхушками деревьев, своими обострившимися глазами он должен был бы разглядеть, как снимается в высокий воздух — подобно дротику, желающему вонзиться в середину солнца, — Голубка Цвета Пламени и Апельсина.

40. КОЛОФОН



Вот. И что после этого случилось с Робертом, я не знаю, и не думаю, чтоб возможно было узнать.

Как придать форму сюжету, пускай даже столь романтическому, если неизвестен конец или, вернее сказать, истинное начало? Разве что сосредоточившись не на истории Роберта, а на истории его документов... Хотя и в этом не обойдешься без конъектур.

Если бумаги (следует оговорить, отрывочные. Я с затруднением вылепил из них сюжет, брал отдельные эпизоды и переплетал их друг с другом или нанизывал один на другой) сохранились до нашего времени, значит, “Дафна” сгорела не целиком — такой я делаю вывод. Может, огонь только полизал мачты, но потом погас, потому что день был без ветра? Нельзя исключать и что случился ливень и пожар затух сам собой.

Сколько времени прождали останки “Дафны”, пока их обнаружили и нашли записи Роберта? Предлагаю две версии, недостоверные в равной мере.

Как уже говорилось, за несколько месяцев до описанных событий, в феврале 1643 года, Абель Тасман, выйдя из порта Батавия в августе 1642-го, прошел мимо Земли Ван Димена, которой потом присвоили имя Тасмании, окинул взором Новую Зеландию и взял курс на острова Тонга (открытые в 1615 году Виллемом Схаутеном и Ле-Мером, и изначально названные островами Кокосовым и Предателей), а затем проследовал на север и обнаружил по пути

архипелаг, состоящий из островов с песчаными пляжами. Он зарегистрировал новооткрытую группу островов на координатах 17,19° южной широты и 201,35° долготы. Не будем сейчас разбираться с долготами. Острова получили имя Принца Виллельма, и если моя гипотеза верна, они примерно там же, где Остров нашей повести.

Тасман завершил плавание, как следует из его записей, в июне — то есть прежде, чем “Дафна” пристала в тамошние края. Но подлинность записей Тасмана не доказана, и вдобавок утрачен оригинал дневника¹. Попробуем вообразить, что при одном из тех странных отклонений, которыми изобилует его плавание, он снова зашел в тот же район, ну, скажем, в сентябре 1643 года, и тут-то наткнулся на “Дафну”. Корабль без рангоута и снастей реставрировать не было возможности, но Тасман обследовал его и нашел дневник Роберта.

Насколько он понимал по-итальянски, он догадался, что речь идет о поиске долгот, а значит, записи приобретали характер сверхсекретного материала, который он обязан был передать по начальству в Компанию Голландских Индий. Сверхсекретного: поэтому в журнале Тасмана факт замалчивается, и не исключено, что нарочно фальсифицируются даты, дабы замести все следы, а записи Роберта поступают в архив специального хранения. Тасман же отправляется в новое плавание на следующий год, и один Господь

¹ Все сказанное легко проверяется, см.: Leupe P.A. “De Handschriften der ontdekkingreis van A.J.Tasman en Franchoy Jacobsen Vissche 1642–3”, in “Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde”, N.R. 7, 1872, pp. 254–93. Неопровержимы, разумеется, и такие источники, как “Generale Missiven”, где приводится в выдержках свидетельство из “Daghregister van het Casteel Batavia” от 10 июня 1643 года с указанием на возвращение Тасмана. Однако, если моя гипотеза справедлива, можно было бы предположить, что для сохранения в тайне сведений о принципе определения долгот журнал-регистр тоже мог бы быть фальсифицирован. При том, с какой скоростью известия из Батавии попадали в Голландию, сдвигка в два месяца не должна была привлечь внимание. Вдобавок я совершенно не убежден, что Роберт действительно оказался у Острова в августе, а не ранее. — *Примеч. Умберто Эко.*

знает, действительно ли он плавал там, где принято считать¹.

Что же дали эти бумаги голландским географам? Мы-то знаем, что совершенно ничего интересного, за вычетом разве что собачьей системы доктора Берда, о какой-то системе, не сомневаюсь, уже было известно от других шпионов. Любопытно могло быть описание Мальтийской Установки, но в любом случае она оставалась недостижима в течение ста тридцати лет, прежде чем Кук наново отыскал эти Острова, поскольку по указаниям Тасмана найти их было невозможно.

Наконец, через сотню лет после нашей повести, после изобретения Харрисоном морского хронометра, кончились лихорадочные поиски punto fijo. Проблема долгот перестала быть проблемой, и кто-то из архивариусов Компании выкинул, подарил, а может, и продал дневник Роберта досужему коллекционеру манускриптов.

Вторая гипотеза выигрышнее в романном смысле. В мае 1789 года одна знаменательная персона проплывала в тех Робертовых краях. Я имею в виду капитана Блая, которого бунтующие матросы с “Баунти” спустили за борт в шлюпке с восемнадцатью верными из команды и предоставили милосердию волн.

Этот необыкновенный человек, каковы бы ни были там недостатки его характера, оказался в состоянии пройти более шести тысяч километров до первой гавани — Тимора. Проплыв архипелаг Фиджи, Блай почти коснулся Вануа-Леву и пересек архипелаг Ясава. Значит, стоит ему совсем немного отклониться на восток, и он бросает якорь у Тавеуни, а именно там, я думаю, обретается наш Остров. Если кто-то потребует доказательств в этих вопросах, хотя они основаны прежде всего на вере или на желании верить, добавлю: согласно некоторым данным, Оранжевая Голубка, Orange Dove, или Flame Dove, а по-научному Ptilinopus Victor, обитает только на этом острове. Беда, однако, что

¹ Второе путешествие абсолютно не документировано, не существует судового журнала. Почему? — *Примеч. Умберто Эко.*

в ущерб красоте сюжета наука утверждает, будто оранжевое оперение — не у самки, а у самца.

Так вот, такой человек, как Блай, если бы “Дафна” была хоть минимально употребима, учитывая, что он дошел до нее на простой шлюпке, сделал бы все возможное, чтоб вернуть ее в работу. Но она простояла там полтора века. Грозы разнесли в щепки корпус судна, выдрали с корнем якорь, корабль вывернуло на коралловый риф... Хотя нет, скорее всего течение проволокло посудину на север и выбросило на другую мель или на скалы крохотного островка, где с течением времени судно разлагалось и разрушалось.

Блай ступает на развалины призрака-корабля, скулы которого состоят из одних ракушек и водорослей, а в трюме в стоялой воде живут ядовитые рыбы с моллюсками.

Однако еще держатся, хотя и шатко, полуют и капитанская каюта, и там, рассыпающиеся в пыль от малейшего касания... нет, склизкие и водопрелые, дожидаются Блая листы, исписанные Робертом.

В мире тогда уже вышло из моды искание долгот, но может быть, Блая заинтриговало упоминание на неизвестном ему языке Соломоновых Островов. Примерно за десять лет до того некий мсье Бюаш, Королевский и Флотский Географ Франции, представил в Академию Наук “Мемориал о Существовании и Местонахождении Островов Соломона”, в котором утверждалось, что Соломоновы Острова являются в точности заливом Шуазель, где Бугенвиль побывал в 1768 году (и составленное им описание почти повторяло исходное описание Менданди) купно с Арзасидскими землями, пройденными в 1769 году Сюрвилем. Не случайно в те годы, когда Блай плавал, какой-то аноним (вероятно, господин де Флерио) возвещал о скором опубликовании труда “Территории, открытые французами в 1768–69 годах к юго-востоку от Новой Гвинеи”.

Мне неизвестно, читал ли Блай полемические писания господина Бюаша, но, несомненно, в среде английских моряков раздраженно комментировалось нахальство милых кузенов французов, похвалявшихся, будто они нашли ненаходимое. Французы на самом деле были правы, но Блай мог этого не знать или не хотеть знать. Поэтому, вполне вероят-

но, он подумал, что документ в его руках не только опровергнет утверждения французов, но и принесет ему самому славу открывателя Остров Соломона.

Представляю себе, как он мысленно поблагодарил Флетчера Кристиана и прочих бунтовщиков-матросов за то, что они бесцеремонно зашвырнули его на вершину славы. Потом он решил, из патриотических побуждений, никому не рассказывать о незначительном отклонении к востоку и о своем открытии и конфиденциально передать документы в британское Адмиралтейство.

Однако и в данном случае бумаги попали в безразличные руки, к кому-то не ведавшему изыскательского жара, и были опять же свалены в груды эрудитского сора для любителей словесности. Блай забыл мечту о Соломоновом Острове, удовлетворился титулом адмирала, который получил за неоспоримые заслуги в области навигации, и мирно почил, не подозревая, что по милости голливудских фильмов станет пугалом для потомков.

Если бы даже первая или вторая моя гипотеза и могла быть взята для объяснения рассказа, ее концовка не показалась бы достойным венцом для повести и оставила бы читателей в раздражении. В таком виде, вдобавок, история Роберта не содержит и моральной назидательности, и мы вечно будем гадать, почему с ним приключилось то, что приключилось, и придется сделать вывод, что в жизни события происходят по той причине, что они происходят, и что только в Романной Стране приключения имеют цель или объяснение.

Поэтому, если уж назидание действительно нам очень нужно, обратим внимание на одно место в записях Роберта, сделанных в период, когда он по ночам ломал голову о вторгнувшемся Постороннем. Был некий вечер, Роберт сидел и смотрел на небо. Он вспомнил, как в имени Грив, когда от ветхости рухнула фамильная капелла, его кармелит-гувернер, наездившийся по Востоку, посоветовал отстроить здание по византийскому плану, круглое, с куполом в центре, ну совершенно не такого стиля, который был принят в Монферрато. Старый Поццо не имел суждений по

вопросам религии и искусства и прислушался к совету божьего человека.

Созерцая антиподное небо, Роберт размышлял, что в имени Грив, в пейзаже, окруженном со всех сторон мягкими холмами, небесный свод сам казался куполом оратории, а купол почти совпадал с горизонтом и на небе среди прочих созвездий были два-три таких, которые Роберт умел находить, так что для него картина неба если и менялась, то от недели к неделе, а ложась рано, он не знал, что на самом деле звезды сдвигаются даже в течение одной ночи. И купол неба в Грив казался ему надежным и округлым, и столь же округлым и крепким казался мировой универс.

Глядя на небо в Казале, а город стоял на равнине, Роберт понял, что небо обширнее, нежели он думал. Но отец Иммануил заставлял его воображать описание звезд концептами, а не рассматривать те, которые были у него над макушкой.

Теперь же, антиподный созерцатель неоглядного простора океана, он взирал на безграничный горизонт. И в высоте над головою он видел звезды, прежде не виданные. Созвездия родного полушария он воспринимал в тех обличиях, которые были определены другими: многоугольная симметрия Большого Веза, алфавитная вычерченность Кассиопеи. На "Дафне" же никто не поучал его разбирать звезды, и он мог соединять любую точку с другой точкой, выдумывать обличия змеи, гиганта, развевающихся волос или хвоста ядовитого насекомого, потом отметить эти образы и примеривать другие формы.

Во Франции и в Италии небо было как страна, размеченная монаршею рукою, где предуказаны дороги и почтовые станции на них, а в промежутках дозволено расти лесам и рощам. Здесь же он продвигался как пионер по неисхоженной местности и сам прокладывал тропы, соединяя вершину горы с озером, и не руководствовался никакими критериями, потому что города и селения еще не возникли ни на склонах горы, ни на берегу вод. Роберт не высматривал созвездия. Он был приговорен выдумывать их. Его страшило, что результатом являлись спирали, витки улитки, водовороты.

Тут он и вспомнил об одной новопостроенной церкви, виденной в Риме, — единственный случай упоминания этого города; Роберт побывал там, скорее всего, перед Провансом. Церковь в Риме показалась ему крайне непохожей и на гривскую ораторию и на геометрически выверенные, составленные из арок и крестовин нефы соборов Казале. Теперь он понимал свое ощущение: она была как южное небо, манила зренье к построению новых перспектив и не давала опоры в центральной точке. В этой церкви откуда бы ни глядеть на купол, человек чувствовал себя не в центре, а сбоку.

И ныне он осознавал, что пусть не с той определенностью, не с той театральностью, пусть за счет мелких неожиданностей, переживаемых ото дня ко дню, но ощущение ускользающей опоры нарастало в нем сперва в Провансе, потом в Париже, всякий раз как разрушалось очередное его убеждение и появлялись новые возможности воспринимать мир, причем подсказки, которые получал он с различных сторон, не складывались в законченную картину.

Ему рассказывали о системах, способных изменять соотношение сил в природе, так чтобы вес тяготел к вышине, а легковесность жалась книзу, чтобы огонь орошал, а вода обжигала, как будто сам Творец универсума собирался переиначить сотворенное и понуждал растения к несоблюдению сезонов, а сезоны — к бунту против времен.

Если Творец меняет точку зрения, можно ли говорить о порядке, который Он предписывает миру? Может, Он предписал не один порядок, а много? Может, Он желает перетасовывать их со дня на день? Может, и заложена где-то тайная система, руководящая танцем порядков и перспектив, однако нам не суждено обнаружить эту систему никогда, и мы будем всегда зависеть от прихотливой игры пододбий порядка, перестраивающихся в зависимости от любых новоявленных факторов.

В этом случае история Роберта де ла Грив — только сюжет о безнадежно влюбленном, как он горюет под непомерными небесами и как не примиряется с тем фактом, что путь Земли являет собой эллипс, в котором Солнце — это только один из фокусов.

Подобный сюжет, согласимся, бедноват для приличного романа.

К тому же, соберись я выжать из этой истории роман, я докажу в очередной раз, что писать невозможно иначе как наводя вытертые строки случайно найденной рукописи и испытывая anxiety of influence, по Харольду Блуму — подавляющее действие влияний. Вдобавок снова пристанут пытливые читатели, желающие знать, действительно ли подлинный Роберт де ла Грив писал все то, что я тут пересказываю со множеством подробностей. Мне придется отвечать: не исключено, что это писал другой человек и он только притворялся, будто рассказывает правду. Тут и рухнет весь романический эффект: роман по правилу притворяется настоящим рассказом, но никак не может признаваться, что он — притворство.

Кроме того, не имею понятия, как я буду объяснять, откуда попали бумаги к тому, кто передал мне их, вытащив из потрепанной вылинявшей кипы.

“Автор неизвестен, — тем не менее должна была произвестись фраза. — Почерк хороший, но видите сами, выцвел и не читается, листы свалялись от грязи, их уже не разлепить. Что до содержания, я тут посмотрел. Маньеристские экзерсисы. Сами знаете, как писали в семнадцатом веке... Эти люди без души”.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПЕРЕВОДЧИКАМ “ОСТРОВА НАКАНУНЕ”¹

Как видите сами, в этом романе проблем стиля больше, чем в предыдущих. Прежде всего, имеется язык героев в прямой передаче (включая письма Роберта). Кроме того — язык повествователя, который иногда иронически дистанцируется от языка героев, но часто им подыгрывает и изъясняется, как они.

Многие страницы текста барочны. Я воспроизвел репертуар выражений европейского барокко, моими источниками явились Марино, итальянские прозаики семнадцатого века, а также поэты и писатели Франции, и Джон Донн, и Грифиус, и Гонгора. Каждый переводчик должен, так сказать, черпать вдохновение из барочных авторов своей литературы.

В то же время куски, написанные в барочном стиле, представляют собой коллажи из многочисленных авторов, и идеально было бы достичь такого результата, при котором источник заимствования практически не узнается. Поэтому, когда вы обнаруживаете отрывок из Марино, вам не надо заботиться искать то же самое в своей литературе. Еще лучше, если в переводе и само ощущение цитаты станет менее прозрачно.

Важно одно — чтобы в собственной литературе вы нашли вдохновение для того, чтоб писать в стиле барокко.

При этом учитывайте, что в семнадцатом веке не все писали в барочном стиле. Проза ученых и философов — сухая, без метафор, и таким должен оставаться у вас стиль научных дискуссий.

В моей книге содержатся цитаты из Марино и из Галилея, Сирано де Бержерака и из Гассенди, и все это разные стили.

Синонимы

Я тщательно старался не повторять редкие слова, много работал со словарем синонимов. Сюжет разворачивается на корабле, под небом, в море и напротив острова. Риск — использование одних и тех же

¹ Переведено по тексту, опубликованному в журнале “Эуропео” 12 октября 1994 г.

слов для того, чтобы дать понять, что небо голубое, а растительность зеленая. Я пытался разрешить эту проблему, хотя и не смог ничего поделаться: много раз повторены такие слова, как море, остров, волна и прочие подобные. Это не так страшно, потому что к этим словам читатель привык и не замечает, как они повторяются на каждой странице. Совсем иначе дело обстоит с такими словами, как пурпурный, пламенный или сапфирный. Для подобных случаев мне оказал большую помощь словарь языка такого лексически богатого автора, как Даниелло Бартоли. Иногда, чтобы не повторять слово, обозначающее цвет, я передавал его через упоминание цветка. Я составил глоссарий цветов и птиц. Но здесь нужна осторожность. Я, например, упомянул цветок робинию, но через некоторое время осознал, что цветок получил это имя только через два столетия после событий романа, когда его открыл и назвал некий господин Робин.

Как бы то ни было, но когда в описании, скажем, коралла или же птицы вы замечаете, что в вашем языке не существует больше слов, пригодных к описанию оттенков алого цвета, лучше, чтоб не повторять слово “алый”, меняйте расцветку птицы или цветка. Лучше пускай он станет синим, но нельзя повторять слово “пурпурный” два раза. Я описывал в точности виды кораллов, рыб, цветов и птиц, населяющих острова Фиджи, но если вы припишете им чуть-чуть не тот оттенок, никто вас проверять не станет, а в случае чего ошибку можно свалить на Роберта, которому что-то не так померещилось. Разумеется, переделывать рыб — самая крайняя мера, и лучше обходиться без этого.

Хронология лексики

Я пытался употреблять те слова, которые существовали в 1643 году. Это правило соблюдено во всех случаях, когда говорят персонажи. Язык Рассказчика — более гибкий, хотя и находится под обаянием записок Роберта. Мне помогли этимологические словари и первый итальянский словарь Академии Круска 1612 года.

Труднейшая работа! Например, я обнаруживал, что очень красивые слова попали в язык слишком поздно, и приходилось от них отказываться. Конечно, я старался подходить к вопросу разумно. Если слово присутствует в словарях конца семнадцатого века, не исключено, что его могли употреблять и за тридцать лет до того. Некоторые слова Роберт, живший в Париже, мог заимствовать из французского языка. В словаре Круска нет технической терминологии. Ее я проверял по Галлилю. В общем, вам понадобится хороший этимологический словарь.

Фехтование

Терминология фехтования не совпадает с нашей сегодняшней и не совпадает с принятой в “Энциклопедии” Дидро. Я писал по учебнику начала семнадцатого века. Самые лучшие учебники, должен вас

огорчить, итальянские. Но для французского перевода можно взять "Le maistre d'armes" Лианкура или "Academie de l'espée" Тибо.

В этом случае, как и в остальных, если в вашем языке есть красивое название выпада, пусть даже оно не совпадает с тем, что пишу я, это не имеет значения. Пусть герой дерется по-другому, лишь бы выпад был красивым и назывался соответственно эпохе. Однако технику Удара Баклана попросил бы не менять.

Умберто Эко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Е. Костюкович. От переводчика 5

ОСТРОВ НАКАНУНЕ. Роман

Перевод Е. Костюкович

1. Дафна	10
2. О том, что произошло в Монферрато	27
3. Зверинец чудес света	41
4. Наглядная фортификация	49
5. Лабиринт света	55
6. Великое искусство света и тени	65
7. Слезная павана	72
8. Занимательная наука изящных умов той эпохи ..	79
9. Подзорная труба Аристотеля	87
10. Переработанные география и гидрография	99
11. Искусство быть осмотрительным	109
12. Страсти души	115
13. Карта страны нежного	126
14. Трактат о боевой науке	131
15. Часы (среди прочих и маятниковые)	146
16. Диспут о симпатическом порохе	152
17. Упованная Наука Долгот	175
18. Неслыханные необычайности	194
19. Сиятельное мореплавание	200
20. Острота и искусство гения	222
21. Священная теория Земли	233
22. Пламяцветная голубица	260
23. Театр математических и механических инстру- ментов	269

24. Диалоги о величайших системах	283
25. Занимательная техника	310
26. Театр эмблем	326
27. Секреты приливов и отливов	342
28. О происхождении романов	349
29. Душа Ферранта	354
30. Любовный недуг или Эротическая меланхолия ..	369
31. Краткое руководство для политиков	376
32. Сад наслаждений	388
33. Подземный мир	392
34. Монолог о множественности миров	403
35. Утешение мореплавателей	416
36. Человек на кону	427
37. Парадоксальные упражнения на тему: как мыслят камни	445
38. О природе и местоположении ада	458
39. Экстатический небесный маршрут	470
40. Колофон	477

Умберто Эко. Открытое письмо переводчикам “Острова накануне”. Перевод Е. Костюкович 485

Умберто Эко

Э 40 Остров накануне. Роман / Пер. с итал. и предисловие
Е. Костюкович.— СПб.: Издательство «Симпозиум»,
1999.— 496 с.

ISBN 5-89091-076-0 (т. 3)

ISBN 5-89091-037-X

Умберто Эко (р. 1932) — один из крупнейших писателей современной Италии, известен российскому читателю прежде всего как автор романов «Имя Розы» (1980) и «Маятник Фуко» (1988).

Третий и пока последний крупный роман Эко «Остров накануне», изданный в Италии в 1995 г., сразу стал безусловным лидером мирового книжного рынка.

Действие романа разворачивается в XVII веке. Оказавшись в безвыходной ситуации после кораблекрушения в Южных морях, молодой Роберт де ла Грив вспоминает свое детство и юность, проведенные в Италии, жизнь в Париже и сочиняет роман, мечта о навсегда потерянной возлюбленной.

На русском языке авторизованный перевод полного текста романа публикуется впервые.

Ex Libris®

Умберто ЭКО

ОСТРОВ НАКАНУНЕ

Роман

Отв. редактор *А. К. Кононов*

Редактор *О. А. Миклухо-Маклай*

Художник *М. Г. Занько*

Тех. редактор *Е. И. Каплунова*

Верстка *И. В. Петрова*

Корректоры *А. А. Сазонова, В. В. Чеканова,*

О. П. Васильева

Издательство «SYMPOSIUM»

190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 10.

тел./факс +7 (812) 319-93-82. E-mail: symposium@neva.spb.ru

ЛР № 066158 от 02.11.98 г.

Подписано в печать 09.06.99 г. Формат 84×108 1/32.

Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 953.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»

Государственного комитета РФ по печати.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «SYMPOSIUM»

в серии
классиков зарубежной литературы XX века

Ex Libris[®]

ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ:

**Франц
КАФКА**

Собрание сочинений
в четырех томах

Впервые в России выпускается полное собрание сочинений великого австрийского писателя. В ставших уже классическими переводах выйдут романы «Америка» (вместе с фрагментами), «Процесс» и «Замок». В полном объеме публикуются все (как прижизненные, так и посмертные) сборники новелл и притч Кафки. Эпистолярное наследие писателя представлено практически полностью (единственное исключение — Письма Фелице, публикуемые не целиком). Дневники Франца Кафки выходят в полном объеме с подробным именованным указателем. Собрание снабжено вступительной статьей и подробными комментариями. Часть текстов — Письма Милене, Письма Максу Броду — в полном объеме на русском языке публикуется впервые.

Составление и вступительная статья — Е. Кацева
Комментарии — Е. Кацева, М. Рудницкий, М. Харитонов,
Е. Маркович, А. Карельский.

Том 1 **АМЕРИКА. Роман**

Сборники:

СОЗЕРЦАНИЕ. СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ. ГОЛОДАРЬ.

НОВЕЛЛЫ ИЗ НАСЛЕДИЯ

ПРИГОВОР. ПРЕВРАЩЕНИЕ. В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Том 2 **ПРОЦЕСС. Роман**

ПИСЬМО ОТЦУ. ПИСЬМА МАКСУ БРОДУ. ИЗ ПИСЕМ ФЕЛИЦЕ

Том 3 **ЗАМОК. Роман.**

АФОРИЗМЫ. ПИСЬМА МИЛЕНЕ. ЗАВЕЩАНИЕ

Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой

Том 4 **ДНЕВНИКИ (1910–1923)**

К столетию со дня рождения Владимира Набокова

Карл ПРОФФЕР

КЛЮЧИ К «ЛОЛИТЕ»

Карл Проффер (1938–1984) — известный американский литературовед, славист, один из основателей «Ардис Пресс», знаменитого издательства, публикующего произведения русской литературы на Западе, — многое сделал для изучения и популяризации творчества Владимира Набокова. Впервые издаваемая на русском языке книга «Ключи к “Лолите”» стала первым детальным исследованием самого известного романа Набокова. Проффер подробно рассматривает многочисленные литературные аллюзии, на которых строится «Лолита», анализирует блестящее стилистическое мастерство Набокова и с наблюдательностью литературного сыщика расследует детективные хитросплетения сюжета. «Ключи к “Лолите”» адресованы, в первую очередь, тем, кто, следуя совету самого Набокова, читает роман во второй или в третий раз.

Формат 75x90¹/₃₂, обл.

Объем — 304 стр.

Выход в свет — III кв. 1999 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «SYMPOSIUM»

выпускает

САША СОКОЛОВ

Собрание сочинений
в 2-х томах

Саша Соколов, определенно принадлежащий к плеяде «новых классиков», ярко выделяется на общем фоне русской литературы второй половины XX века эксцентричностью сюжетов и разнообразием стилистики своих произведений.

Сашу Соколова отличает виртуозное владение словом и умение изящно расцветить ткань русской прозы непринужденным вкраплением иноязычного бисера, а кроме того весьма своеобразная интонационная пунктуация.

В первый том вошли два романа: «Школа для дураков» — лирически-философское повествование, персонажи которого порождаются игрой слов, «вылупляются» из языковой «скорлупы» прозы, и «Между собакой и волком» — псевдодеревенская эпопея, сплетающая воедино реальность с вымыслом, поэзию с прозой, а героев с автором.

Второй том включает в себя нашумевший роман «Палисандрия», определенный как «Лолита-наоборот», своеобразное историко-эстетическое ерничание, где в противовес пушкинским «отвратительным таинствам [старухина] туалета» автор смакует прелести дам крайне преклонного возраста на фоне экстравагантно преподносимой им политической обстановки брежневских времен. Также во второй том вошли статьи и выступления писателя, в которых он выражает свой взгляд на творчество и современный литературный процесс.

Специально для этого издания все тексты заново отредактированы автором.

Формат 84x108¹/₃₂

Объем каждого тома ≈ 400 стр.

Выход в свет — III кв. 1999 г.